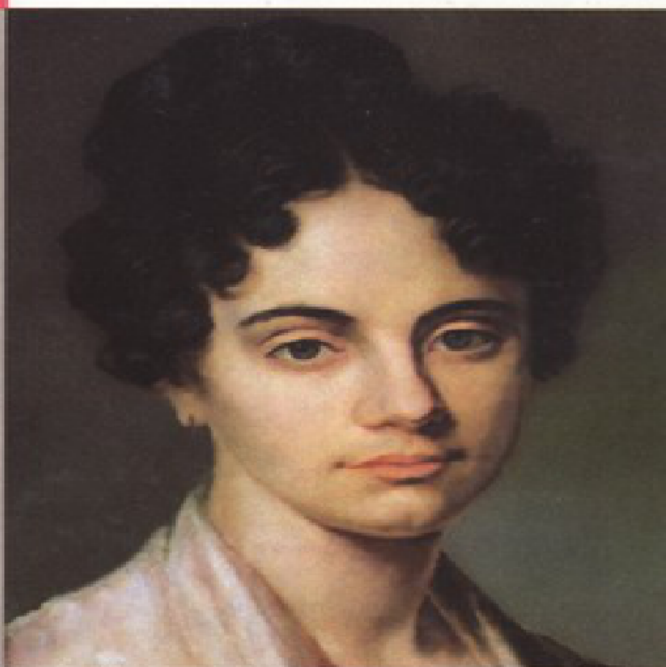
МАРИЯ ВОЛКОНСКАЯ



Михаил Филин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Пленительный образ княгини Марии Николаевны Волконской (урожденной Раевской; 1805–1863) — легендарной «русской женщины», дочери героя Наполеоновских войн и жены декабриста, последовавшей за осужденным супругом в Сибирь, — запечатлен в русской и зарубежной поэзии, прозе и мемуаристике, в живописи, драматургии и кино, в трудах историков, публицистов и литературоведов. Общественная мысль в течение полутора веков трактовала Волконскую преимущественно как «декабристку». В действительности же идеалы княгини имели мало общего с теорией и практикой «первенцев свободы»; Волконская избрала собственный путь, а «декабризм» был лишь неизбежным фоном ее удивительной биографии.

Вниманию читателей предлагается первое в отечественной историографии подробное жизнеописание М. Н. Волконской. По мнению автора книги М. Д. Филина, главным событием ее бурной, полной драматических и загадочных страниц жизни стало знакомство с Пушкиным, которое переросло во взаимную «утаённую любовь» — любовь на все отпущенные им годы. Следы этого чувства, в разлуке только окрепшего, обнаруживаются как в документах княгини, так и во многих произведениях поэта. Изучение пушкинских сочинений, черновиков и рисунков, а также иных текстов позволило автору сделать ряд оригинальных наблюдений и выводов, ранее не встречавшихся в пушкинистике.

- М. Д. Филин
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В РОССИИ
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ В СИБИРИ
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12

- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16

- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ У ГРОБОВОГО ВХОДА
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
- ЭПИЛОГ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ[1038]
- Список сокращений
- КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ КНЯГИНИ М. Н. ВОЛКОНСКОЙ (УРОЖДЕННОЙ РАЕВСКОЙ)
- БИБЛИОГРАФИЯ
- СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28

- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72

- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116

- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160

- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204

- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248

- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292

- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336

- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380

- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424

- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468

- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512

- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556

- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600

- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644

- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688

- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732

- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776

- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820

- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864

- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908

- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952

- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996

- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038

М. Д. Филин
Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина

Нельзя не пожалеть, что такие высокие и цельные по своей нравственной силе типы русских женщин, какими были жены декабристов, не нашли до сих пор ни должной оценки, ни своего Плутарха…

Н. А. Белоголовый

М. Н. Раевская. Неизвестный художник. Начало 1820-х гг.

«Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории», — писал П. А. Вяземский к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому 6 января 1827 года[1]. Этот эпистолярный комплимент (позднее ставший крылатой фразой) князь Петр Андреевич адресовал светским дамам, которые отправились тогда в Сибирь разделить участь своих мужей — приговоренных в каторжную работу государственных преступников.

За период с 1826 по 1831 год в «мрачные пропасти земли» к несчастным мужьям и суженым уехали из России одиннадцать женщин[2]. Сообща «ангелы-хранители» вписали яркую,

незабываемую страницу в отечественные хроники. Во многом благодаря дерзкому порыву представительниц нежного пола разгромленный военный заговор приобрел ореол романтической жертвенности. (А заодно и некоторые из мужей заняли в истории тайных обществ видное, не соответствовавшее их деяниям, место.)

Прошли годы, заговорщиков начали величать декабристами — а «великие страдалицы», которые «всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть» (Ф. М. Достоевский), по аналогии превратились в *декабристок*.

Драматические судьбы этих особ, далеко не идеальных, очень разных и одновременно в чем-то схожих, издавна привлекали внимание деятелей науки и культуры (среди которых было немало и первостатейных). Их образы и поступки запечатлены в русской и зарубежной поэзии, прозе и мемуаристике, в живописи, драматургии и кино, отражены в трудах историков, публицистов и литературоведов. Справочники по декабристоведению содержат внушительные перечни публикаций о каждой из добровольных изгнанниц.

Обладательницей же самого длинного библиографического списка по праву является княгиня Мария Николаевна Волконская (урожденная Раевская; 1805–1863) — дочь героя Наполеоновских войн, жена генерала и члена Южного общества, удивительная женщина, которая в юности дружила с Пушкиным. (Некоторые исследователи полагают, что поэт имел в виду именно ее, когда говорил в черновиках Посвящения «Полтавы» о своей «утаённой любви»[3].)

У истоков обширной литературы, посвященной декабристке Волконской, маячит авторитетная фигура Н. А. Некрасова. В начале 1870-х годов он получил (через сына покойной княгини, М. С. Волконского) доступ к рукописным воспоминаниям Марии Николаевны, тогда еще не опубликованным, и на их основе написал поэму «Княгиня М. Н. Волконская», которая была напечатана в «Отечественных записках» (1873, № 1). Ф. М. Достоевский, ознакомившись с произведением, тотчас указал на «мундирность мысли, слога»[4] стихотворца; сам же князь М. С. Волконский пенял автору за то, что «в поэме проскользнуло несколько выражений, не отвечающих характеру воспетой им женщины»[5]. Однако публика встретила «Княгиню М. Н. Волконскую» с восторгом. (Она пользовалась «таким успехом, какого не имело ни одно из моих прежних писаний», — сообщал Н. А. Некрасов брату[6].)

Родилась я, милые внуки мои,
Под Киевом, в тихой деревне;
Любимая дочь я была у семьи.
Наш род был богатый и древний…

По некрасовским лекалам, очень популярным в прогрессивных кругах, и создавались штудии о княгине в конце XIX — начале XX века. (Подспорьем для авторов были и фрагменты мемуаров декабристов.) Общественная мысль той поры выработала и канонизировала примерно такой, прямолинейный и довольно сусальный, взгляд на Марию Волконскую:

«Общее удивление возбуждает геройский подвиг этой женщины, отважившейся в девятнадцать лет бросить семью, роскошь и блеск своего положения и последовать за мужем в глубь сибирских рудников. Испытания, перенесенные княгиней, твердость духа, не покидавшая ее во все время жизни в Сибири, безграничная любовь к мужу, святое исполнение долга, утешения, доставленные ссыльным, самоотвержение, наконец, образование и ум делают княгиню М. Н. Волконскую достойнейшею представительницею русских женщин, приобретают ей уважение потомства и отводят ей видное место среди женщин-героинь»[7].

В дореволюционные десятилетия социально-политические аспекты данной темы обычно рассматривались завуалированно и мимоходом. Но после октябрьского переворота и резкой смены парадигмы исторических исследований в верхах было решено, что биография княгини Волконской удачно «вписывается» в летопись освободительного движения в России. И тогда биографы (за редкими, достойными всяческого уважения, исключениями) вполне официально сосредоточились на изучении «оппозиционности» Марии Николаевны как доминанты ее мировосприятия. В течение всего XX столетия утверждалось, что жизнь княгини была «не только подвигом любви, но и актом протеста против николаевского режима, демонстрацией сочувствия идеям декабристов»[8]. Подобным расхожим постулатом руководствовались и маститые ученые, в распоряжении которых, казалось бы, находился солидный корпус красноречивых исторических источников. Судя по всему, советские авторы чурались самой мысли, что идеалы княгини Волконской могли хоть в чем-то не совпадать с идеалами «первенцев свободы», что «декабризм» мог быть лишь невольным *фоном* многогранного и многотрудного бытия этой дамы.

В конце концов декабристоведы и сочинили биографию

любящей жены и убежденной соратницы революционера.

Словом, коллективное изучение жизни Марии Волконской — как общественной, так и сугубо частной — с самого начала и практически *всегда* шло в русле одной-единственной, объявленной универсальной, идеологической схемы.

Найдем мы униженных, скорбных мужей,
Но будем мы им утешеньем,
Мы кротостью нашей смягчим палачей,
Страданье осилим терпеньем.
Опорою гибнущим, слабым, больным
Мы будем в тюрьме ненавистной,
И рук не положим, пока не свершим
Обета любви бескорыстной!..

В декабре 2000 года в Петербурге прошла международная конференция «Истоки и судьбы российского либерализма», посвященная 175-летию мятежа декабристов. На ней выступили видные ученые и деятели культуры России, Европы и США. В одном из докладов, оглашенных в Аничковом дворце, о пушкинском «Послании в Сибирь», ответе на него Александра Одоевского и «демонстративном отъезде жен декабристов в 1826–1827 годах» было сказано, среди прочего, следующее: «Каждой из этих акций присуща своя морально-этическая мотивация, но все они объединены сознанием необходимости протеста против жестокой расправы с декабристами, свершения политического подвига открытым вызовом самодержавному режиму, мужественной поддержкой сибирских узников и их революционного дела. Пушкинский призыв — „хранить гордое терпенье“ и надеяться, что придет время, „темницы рухнут и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут“ — по времени совпал с поступком М. Н. Волконской в Благодатском руднике, когда при встрече с мужем она прежде поцеловала его кандалы, а потом обняла его»[9].

Приведенное суждение, к сожалению, отнюдь не выглядит в начале XXI века анахронизмом. В новейшей исторической науке существует спрос на всё те же догмы из «календаря осьмого года». К тому же регулярно переиздаются книги пламенных декабристоведов былых времен. Как правило, хранят верность старым догмам и объявившие себя историками влиятельные журналисты.

История дореволюционной России для многих по-прежнему устойчиво ассоциируется с историей российского подполья.

Поэтому-то в современных библиографических справочниках

значится тьма работ о Марии Волконской — но нам так и не удалось найти там пространного жизнеописания замечательной, сильной и «самодостаточной» *женщины, мужем которой в силу особых обстоятельств стал декабрист.*

Минуло ровно двести лет с тех пор, как появилась на свет Машенька Раевская. За столь долгий период времени проторенная ею узкая жизненная тропинка местами стала едва приметной, а кое-где она и вовсе затоптана или затерялась в чертополохе.

Бытие — а женское бытие и подавно — не вмещается в бездушные схемы и не исчерпывается никакой идеологией. В александровской и николаевской России, помимо «ста прапорщиков» с умозрительными полночными прожектами, наличествовали и другие действующие лица, и иные («нереволюционные») страсти, и совсем не схожие с декабристскими думы относительно спасения и благоденствия — личного и государственного. Людей «без декабря», но с Божьей искрой, разных полов, чинов и званий, жительствовавших в столицах, провинции и усадьбах, ведших полнокровную, достойную жизнь, было более чем достаточно.

И тогдашняя русская история созидалась прежде всего ими.

Памятуя обо всем этом, попробуем разглядеть в удаляющейся «эпохе заблуждений и несчастий» (Л. Н. Толстой) стежку княгини Марии Николаевны Волконской — и пройдем по ее сохранившимся *следам.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В РОССИИ

Глава 1
РАЕВСКИЕ

Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского.

А. С. Пушкин — Л. С. Пушкину, 24 сентября 1820 года

Род Раевских принадлежал к числу старейших и наиболее видных родов Российского государства. Он вел свое происхождение от древнего польского рода графов Дуниных (герба Лебедь), некогда живших в Дании. Поступив на русскую службу, представители фамилии Раевских уже к началу XVI века заняли влиятельное положение при московском дворе. В дальнейшем они, усердно неся государеву службу, всячески укрепляли и повышали свой статус. Родословные книги свидетельствуют, что Раевские были воеводами, стольниками, «ближними государевыми людьми», что они породнились со многими знатнейшими родами — Глинскими, Нарышкиными и т. д. (Знаменательно, что супруга царя Алексея Михайловича и мать Петра Великого, царица Наталья Кирилловна, происходила по женской линии также из рода Раевских.) Большинство мужчин этой фамилии из поколения в поколение посвящали себя ратной деятельности, и почти на всякой странице военной истории России встречаются имена Раевских. Известно, что некоторые из них пали на полях сражений; другие умерли от полученных в походах и при осадах Ран. Позднее, с учреждением «регулярства», представители рода чаще всего служили в престижных полках лейб-гвардии.

Множество достойных, «исторических» лиц было среди Раевских — и все же генерал от кавалерии и член Государственного совета Николай Николаевич Раевский стал самым замечательным, выдающимся военным деятелем, прославившим свою фамилию. Он «на многие поколения врезан в сердцах каждого русского»[10]. Недаром гимны в его честь слагали первые поэты эпохи. Так, В. А. Жуковский характеризовал генерала в следующих стихах «Бородинской годовщины» (1839):

Неподкупный, неизменный,
Хладный вождь в грозе военной,
Жаркий сам подчас боец,

В дни спокойные мудрец…

А Александр Пушкин признавался брату Льву в письме от 24 сентября 1820 года: «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества» *(XIII, 19)*[11].

Раевский родился 14 сентября 1771 года в Петербурге и еще в детстве был записан в лейб-гвардейский Семеновский полк. Боевое крещение он получил в 1788 году в Молдавии и Валахии, где воевал против турок в рядах Нижегородского драгунского полка, и, отличившись при взятии Аккермана и Бендер, в девятнадцать лет был произведен в подполковники. Тогда же юный офицер заслужил благосклонность самого всесильного Г. А. Потемкина (коему приходился внучатым племянником) и получил в командование казачий полк булавы Великого гетмана. По окончании турецкой кампании блестяще начавшаяся карьера сразу же продолжилась на западе — в Польше, где Раевский сражался под знаменами все того же Нижегородского драгунского полка и вновь выказал необычайную храбрость. За два года польских операций неустрашимый драгун был награжден орденами Святого Георгия и Святого Владимира 4-й степени, а также золотой шпагой «За храбрость». Даже по меркам того времени, столь воинственного и героического, ратные труды Раевского казались поразительными и вызывали восхищение современников.

В начале декабря 1794 года полковник Раевский испросил у высшего начальства полугодовой отпуск и отправился в Петербург «по законной нужде». Пришло время обзаводиться семейством, и избранницей героя раз и навсегда стала «брюнетка с большими черными глазами и лебединой шеей» — девица Софья Алексеевна Константинова (1769–1844), внучка великого Ломоносова и дочь коллежского советника А. А. Константинова, библиотекаря императрицы Екатерины II. В огромном семейном архиве Раевских не сохранилось никаких сведений о знакомстве Николая Николаевича со своей будущей супругой и о его сватовстве; нет среди старых бумаг и данных о точной дате бракосочетания офицера. Можно предположить, что это достопамятное событие произошло в самом начале 1795 года[12].

Более тридцати лет прожил Раевский со своей женой и, несмотря на определенные сложности взаимоотношений, всегда относился к Софье Алексеевне заботливо, с теплым и непреходящим чувством. Ярким тому свидетельством были его письма, в первую очередь те, что адресовались дядюшке — графу и екатерининскому генерал-прокурору А. Н. Самойлову. Так, 19 февраля 1804 года племянник простодушно признавался, что он «нетерпелив видеть жену и детей»[13]. В другом послании Раевский был еще откровеннее: «Опасная болезнь Софьи Алексеевны удерживает меня здесь, и с сердцем и с долгом моим сходно, чтобы бросить все мои дела другие и иметь о ней попечение»[14]. Таких красноречивых эпистолий, написанных в разные периоды жизни, накопилось немало.

Вышло так, что Софья Алексеевна Раевская, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины 2-го класса, надолго пережила своего прославленного мужа. Она скончалась 16 декабря 1844 года в Риме и была похоронена на местном кладбище Тэстачо. По сообщению внука, вернувшаяся из Сибири Мария Волконская, проводя зимы 1859 и 1860 годов в Европе, разыскала в Вечном городе могилу матери и поклонилась ее праху[15]…

Уже в июне 1795 года молодой супруг Раевский возвратился в полковую штаб-квартиру, расположенную тогда в Георгиевске. В последующие два года он командовал Нижегородским драгунским полком, который стал ему родным, и участвовал в военных действиях против Персии (в частности, был в первых колоннах войск, бравших Дербент).

В ту же пору в северной столице грянули события поистине чрезвычайные: скончалась Екатерина II и на престол вступил ее сын, император Павел I. Тотчас наступила памятная эпоха взбалмошного идеализма — эпоха импровизаций, непредсказуемых и труднообъяснимых распоряжений, взлетов и падений, зависевших единственно от колебаний августейшего настроения. Довелось стать жертвой гнева «романтического императора» и неискушенному в интригах Раевскому, который прежде неоднократно критически высказывался по адресу важных персон. А те не забыли сарказмов, вернули долг с большими процентами, и 10 мая 1797 года выскочка был исключен из службы (по некоторым сведениям, недоброжелатели, опасаясь дальнейшего возвышения талантливого и остроумного смельчака, умело оклеветали его перед царем). Почти четыре года униженный полковник вел тихую частную жизнь, пребывая преимущественно в своих сельских владениях. Однако чувствительное поражение не сломило его, не превратило в обыденного паркетного карьериста.

Семейство его тем временем множилось: стали исправно рождаться дети.

16 ноября 1795 года появился на свет Александр Николаевич Раевский (1795–1868), которому также суждено было оставить след в отечественных летописях. Был он человеком необычайных способностей, что отмечали многие, в их числе и Пушкин: «Старший сын его (Н. Н. Раевского. — *М. Ф.)* будет более нежели известен» *(XIII, 19)*.

Однако реализовать себя в полной мере Александр так и не сумел — вернее, не захотел. Воспитанник Благородного пансиона при Московском университете, он участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии, позднее стал полковником Ряжского пехотного полка, но в октябре 1824 года вышел в отставку. После декабрьского бунта он попал под подозрение, его арестовали, но вскоре выпустили с оправдательным аттестатом и сделали камергером. Затем Раевский состоял чиновником по особым поручениям при новороссийском генерал-губернаторе графе М. С. Воронцове и вел себя так, что по требованию последнего был выслан из Одессы в Полтаву без права будущего проживания в столицах. С некоторых пор жизнь Александра превратилась в вереницу экстравагантных, а то и скандальных происшествий, свидетелем которых подчас были даже члены императорской семьи.

29 июня 1832 года начальник III Отделения граф А. Х. Бенкендорф писал С. А. Раевской, которая ходатайствовала о набедокурившем сыне:

«Милостивая государыня Софья Алексеевна! На почтеннейшее письмо Вашего высокопревосходительства от 17 апреля сего года, коим Вы, милостивая государыня, изъявляете желание Ваше, дабы сыну Вашему Александру разрешен был приезд в столицы, имею честь Вашему высокопревосходительству ответствовать, что я, уважая знаменитые заслуги покойного супруга Вашего и отличную службу Вашего второго сына, всегда обязанностию моею почитаю содействовать, по возможности, в исполнении желаний Ваших и потому крайне сожалею, что в настоящем случае по обстоятельствам лишен удовольствия сделать Вам угодное.

Сын Ваш Александр, как известно Вашему высокопревосходительству, позволил себе дерзкий поступок в присутствии самой Государыни Императрицы и тем произвел даже Ее Величеству беспокойство. За таковым действием его, уже неприлично бы было, как Вы, милостивая государыня, конечно, сами изволите со мною согласиться, появление его в столицах, где легко бы могло ему случиться встретить Государыню

Императрицу и тем возобновить неприятное впечатление, произведенное им на Ее Величество. По сим уважениям и за последовавшим уже Вашему сыну всемилостивейшим разрешением проживать, где он желает, кроме столиц, я не считаю приличным и не осмеливаюсь ходатайствовать у Государя Императора о дозволении ему въезда в оные»[16].

Отец, некогда мечтавший о том, что Александр станет достойным его продолжателем, видел причину всех бед сына в его несносном характере и писал дочери: «С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. <…> Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить»[17].

Один из современников сообщал: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании»[18]. Благодаря этому качеству Александр Раевский сыграл заметную и, как выяснилось, не слишком приглядную роль в жизни Пушкина. Первоначально поэт был пленен дарованиями и речами приятеля, но довольно скоро убедился в его неискренности. В Одессе, где оба молодых человека не на шутку увлеклись супругой генерал-губернатора, Раевский повел себя по отношению к Пушкину двулично и в немалой степени способствовал высылке соперника в северную глушь. Недаром исследователи считают, что именно Александру Раевскому адресовано пушкинское стихотворение «Коварность» (1824):

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: «он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;

Вся жизнь его какой-то тяжкой сон»…
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором *(II, 298)*[19].

Черты Раевского обнаруживаются и в пушкинском «Демоне» (1823), проглядывают в черновиках «Евгения Онегина» и, предположительно, в «Ангеле» (1827). Позднее поэт окончательно разочаровался в «злобном гении», находил былого приятеля «поглупевшим», но причиненных ему в полуденном краю обид так и не смог забыть. Даже накануне роковой дуэли он помянул одесские «громкие подвиги Раевского»[20].

Гораздо более ровные и доброжелательные отношения сложились у Пушкина с дочерью Раевского-старшего Екатериной Николаевной (1797–1885). Поэт характеризовал ее как «женщину необыкновенную» *(XIII, 19)*. По отзывам современников, Пушкин одно время «вздыхал» по ней и «необыкновенно уважал» ее. Далеко не ясно, какие пушкинские произведения напрямую связаны с Екатериной, но не подлежит сомнению, что таковые были — и созданы они в начале 1820-х годов. Об интересе поэта к этой девушке и даме свидетельствует и другой факт: в пушкинских рукописях 1821–1829 годов профиль Екатерины появляется по меньшей мере одиннадцать раз[21]. Творя «Бориса Годунова», Пушкин поведал князю П. А. Вяземскому 13 сентября 1825 года: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори, однакож, этого никому» *(XIII, 226)*.

В те сроки Екатерина Николаевна уже давно (с 1821 года) была замужем за генерал-майором Михаилом Федоровичем Орловым (1788–1842), одним из видных деятелей эпохи 12-го

года. В семье она стала полновластной хозяйкой, и подчинившийся супруг шутливо величал свою волевую половину «Марфой Посадницей». Дальнейшая судьба Е. Н. Орловой являет собою как бы облегченный вариант судьбы Марии Волконской. После 14 декабря 1825 года М. Ф. Орлов, член ранних декабристских организаций, был привлечен к следствию, однако благодаря заступничеству влиятельной родни (и прежде всего брата, А. Ф. Орлова) избежал суровой кары. Все ограничилось кратковременной высылкой в Калужскую губернию, под надзор полиции, и уже в 1831 году Орловы получили разрешение вернуться в Первопрестольную. Там Екатерина Николаевна и скончалась в глубокой старости, пережив мужа более чем на сорок лет. Она была похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря.

Итак, родившиеся на исходе XVIII столетия Александр и Екатерина Раевские начали подрастать, а их отец, пострадавший от павловского произвола, вернулся на службу. Взошедший на престол Александр I вспомнил о заслуженном воине и возвратил его в армию. Высочайший приказ о зачислении Николая Николаевича Раевского в ряды российского воинства датирован 15 марта 1801 года, причем офицер одновременно получил повышение в чине: отныне он стал генерал-майором. Однако домашние его обстоятельства сложились так, что вскоре Раевский-старший подал прошение об отставке, которое и было удовлетворено 19 декабря того же года. Несколько лет генерал (сохранивший право ношения мундира) всецело посвятил семье и хозяйственным делам. В эти годы, предшествовавшие величайшим сражениям эпохи, появились на свет остальные дети Раевского. Словно предчувствуя, что вот-вот наступят времена, когда его жизни ежечасно будет угрожать опасность, Николай Николаевич торопился как можно более полно продолжить себя в потомстве.

«Дней Александровых прекрасное начало» совпало с рождением его второго сына — Николая Раевского (1801–1843). И если старший отпрыск в основном огорчал отца, то младший, напротив, стал утешением, всегдашней радостью и гордостью главы семейства. Рано скончавшийся генерал так и не узнал, каких высот достиг сын на избранном поприще, но он был свидетелем первых успехов Николая — и эти блестящие достижения согрели исстрадавшуюся отцовскую душу.

Еще будучи отроком, Николай Раевский понюхал порох Отечественной войны (далее будет рассказано, как это произошло), попал, по тогдашней терминологии, в полноценные военные «инвалиды». В тринадцать лет Николай значился

подпоручиком гвардейского Гусарского полка, а спустя еще пять лет стал ротмистром того же полка. В двадцать два года он уже был полковником Сумского гусарского полка. Мятеж декабристов практически не отразился на формулярном списке Николая Раевского: Следственная комиссия почти сразу же убедилась, что он непричастен к деятельности тайных обществ.

Чуть позже (в 1826–1829 годах) Раевский зарекомендовал себя образцовым командиром Нижегородского драгунского полка, дравшегося с турками на Кавказе (того самого полка, где служил когда-то его батюшка). Незадолго до смерти отец получил известие, что Николай возведен в генерал-майоры. В конце тридцатых — начале сороковых годов Раевский-младший был начальником 1-го отделения Черноморской береговой линии, где не прекращались кровопролитные столкновения с горцами, и дослужился до генерал-лейтенанта. Женившись и выйдя в отставку, он поселился в слободе Красной Новохоперского уезда Воронежской губернии. Там и окончились — увы, в расцвете сил — его дни, там его и похоронили.

Николай Раевский-младший знавал Пушкина с лицейских времен, и их знакомство не замедлило перерасти в крепкую многолетнюю дружбу. Поэт никогда не забывал о каких-то «важных», «вечно незабвенных услугах», оказанных ему офицером, ценил его эстетические воззрения. Ему Пушкин посвятил «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье», с ним советовался насчет «Бориса Годунова» и в итоге написал план предисловия к этому произведению в форме письма, адресованного другу. Имя Раевского встречается в пушкинских рукописях довольно часто; там же, в черновиках «Евгения Онегина» и некоторых стихотворений, ученые нашли около десяти графических изображений Николая Николаевича[22]. К сожалению, переписка Пушкина с Раевским, наверняка содержавшая массу интересного материала, почти полностью пропала.

В первые годы правления Александра Благословенного у генерала Раевского родились и три дочери. Одна из них — героиня данной книги, других же нарекли Еленой (1804–1852) и Софьей (1806–1881). В их биографиях немало общего. За несколько месяцев до ухода престарелый отец писал сыну Николаю: «Алиона по нездоровью своему уже положила остаться в девках, а Софья бесценная, как ожидать должно по обстоятельствам, будет иметь ту же участь»[23]. Это предсказание сбылось полностью: сестры так и не вышли замуж и не познали радостей материнства.

Елена Николаевна Раевская, «девушка очень стыдливая,

серьезная и скромная»[24], предпочитала затворничество, обожала глубокомысленные книги, прекрасно знала английский язык и переводила Байрона и Вальтера Скотта. Природа не наградила Елену крепким здоровьем: она страдала туберкулезом легких и оттого иногда казалась окружающим «мрачной». С ней обычно связывают пушкинские стихи «Увы, зачем она блистает» и «Зачем безвременную скуку», которые датируются 1820 годом. Елена Раевская завершила свой земной путь в Италии и была погребена во Фраскатти под Римом, в соборе Святого Петра[25].

Софья же оказалась при петербургском дворе и стала фрейлиной. Позднее, в 1852 году, она решилась на поездку в Сибирь, добралась до Иркутска и провела несколько недель с семейством Волконских, с дорогой сестрой[26]. После этого рискованного путешествия на край света Софья получила от жены декабриста шутливое прозвище «la Touriste» («Туристка»)[27]. Она прожила еще тридцать лет и скончалась в своем малороссийском имении Сунки.

Когда родилась Софья, Раевский-старший уже снова находился в армии: еще в 1805 году генерал-майор был зачислен в свиту императора и действовал в составе войск, направленных на помощь Австрии. Наполеоновские войны подтвердили его уникальную боевую репутацию. И хотя Россия не добилась в ходе тогдашних сражений выдающихся побед, принуждена была склониться перед гениальным корсиканцем и заключить в итоге невыгодный Тильзитский мир, Николай Николаевич едва ли мог в чем-то упрекнуть лично себя. Он, как и ранее, держался молодцом под пулями, ходил в смертельные атаки, оборонял вверенные ему бастионы до последней возможности (например, исключительная стойкость его егерей в битве под Фридландом описана во многих учебниках военной истории). За войну 1806–1807 годов Раевский получил орден Святого Владимира 3-й степени, а затем еще одну высокую награду — орден Святой Анны 1-й степени.

Потом была более удачная, но не менее тяжелая война со Швецией 1808–1809 годов, завершившаяся подписанием Фридрихсгамского мирного договора, по которому империя присоединила к себе, в частности, Финляндию и взяла под контроль Ботнический и Финский заливы. Во время северных баталий Раевский, начальствовавший над 21-й пехотной дивизией, был произведен в генерал-лейтенанты и отмечен орденом Святого Владимира 2-й степени.

Свое сорокалетие он встретил уже в совершенно других краях — на Дунае, где воевал в составе Молдавской армии против турок. Здесь Раевский особенно отличился при осаде и взятии

крепости Силистрии в 1810 голу, за что был удостоен шпаги с бриллиантами и надписью «За храбрость». С 31 марта 1811 года он командовал 26-й пехотной дивизией.

Между тем напряжение в Европе и внутри империи день ото дня нарастало, все с тревогой взирали на запад и готовились к решительной схватке с Бонапартом. Наконец неизбежное свершилось: 12 июня 1812 года Наполеон со своей победоносной армадой форсировал Неман и вступил в пределы России.

Настала самая важная и наиболее славная пора в жизни Николая Николаевича Раевского-старшего.

Уже в самом начале Отечественной войны имело место событие, до сих пор вызывающее жаркие споры историков. Генерал Раевский, чей корпус входил в состав 2-й армии князя П. И. Багратиона, прикрывавшей стратегически обусловленное отступление русских войск, получил приказ остановить продвижение неприятеля в районе Могилева. Ожесточенная битва с французами (которыми командовали маршалы Даву и Мортье) завязалась у деревни Салтановка. Враг имел заметное численное превосходство, но русские дрались насмерть, и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. В критическую минуту, когда, казалось, дело уже было проиграно, Раевский сошел с коня, призвал к себе сыновей — 16-летнего Александра и 10-летнего Николая, находившихся при корпусе, — и возглавил вместе с ними отчаянную контратаку Смоленского полка. Вслед за ними бросились вперед и основные силы изнемогавшего корпуса. Удар был настолько мощный и ошеломительный, что французы, готовые торжествовать, в спешке отступили.

Подвиг Раевских потряс русское общество. О нем не переставали восхищенно говорить в салонах, писали участники боев и военные историки, его запечатлели художники, воспели поэты. Так, у В. А. Жуковского в «Певце во стане русских воинов» (1812) есть следующие строки:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый, грудь против мечей,
С отважными сынами.

А Пушкин, откликаясь в «Литературной газете» (1830, № 1) на «Некрологию генерала от кавалерии Н. Н. Раевского»[28], не преминул упомянуть о «двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году» и добавил: «Отечество того не забыло» *(XI, 84)*.

Однако случилось неожиданное. Поэт К. Н. Батюшков,

бывший с августа 1813 года адъютантом героя, однажды поведал публике о своем разговоре с генералом, который якобы имел место в начале 1814 года в Эльзасе. Из этого сообщения следовало, что Н. Н. Раевский-старший опроверг повсеместно утвердившееся мнение об участии его сыновей в деле под Салтановкой и говорил собеседнику, что «весь анекдот сочинен в Петербурге», что тамошние «граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем»[29].

Теперь уже не установить, был ли Батюшков искренен или по одному ему известным мотивам мистифицировал россиян. Но факт остается фактом: многие соотечественники поверили в эту сенсацию. Анекдот о Салтановке стал почетным гостем в глубокомысленных культурологических построениях о «поэзии и правде», о неизбывном присутствии мифологии в русской историографии и т. п. И только совсем недавно сотрудникам Отдела письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ), похоже, удалось прояснить запутанную ситуацию с Александром и Николаем Раевскими. Разысканные и опубликованные архивистами письма генерала с театра военных действий и иные документы (например, формулярные списки братьев) достаточно убедительно доказывают, что «два отрока» и впрямь принимали самое непосредственное участие в указанном деле. По мнению публикаторов, «причины, побудившие Раевского отрицать факт участия в сражении под Салтановкой своих сыновей, коренились, скорее всего, в нем самом и были весьма и весьма субъективны»[30]. Например, вполне возможно, что чуждый искательства и лести и острый на язык генерал попросту устал от постоянных пересудов о том, как был «пожалован римлянином», и, находясь в раздраженном расположении духа, решил положить толкам конец.

К тому же все наперебой склоняли Салтановку — а ведь не одной Салтановкой прославился Раевский-старший в приснопамятном году. Не менее героически он вел себя 4 августа под стенами Смоленска, у Красного, где, имея в своем распоряжении лишь двадцать восемь батальонов, в течение целого дня отражал атаки армии Наполеона. А о действиях генерала в ходе Бородинского сражения вообще можно писать фундаментальные книги. Он и его бесстрашные воины находились на правом фланге левого крыла нашей армии — на том самом участке, против которого были направлены нескончаемые и наиболее рьяные атаки французов. Раевский оборонял сверхважный редут, и исполнил свой долг так, что и спустя два века при словах «батарея Раевского» людские сердца бьются учащенно. За этот неповторимый день генерал был

награжден орденом Святого Александра Невского.

Потом последовали новые битвы и подвиги на родной земле и в Европе и очередные награды — ордена Святого Георгия 3-й степени и Святого Владимира 1-й степени, а также австрийский орден Марии Терезии 3-й степени. В сражении под Лейпцигом, дислоцируясь у деревни Вахау, Раевский получил тяжелое ранение в грудь, но остался в строю и командовал корпусом вплоть до полного разгрома неприятеля.

8 октября 1813 года он был произведен в генералы от кавалерии. После непродолжительного лечения Раевский-старший вернулся в действующую армию и принял самое деятельное участие в штурме Парижа. Вскоре на его груди появился еще один Георгий — на сей раз 2-й степени. Стоит отметить, что за всю историю существования ордена лишь считаные воители удостоились трех георгиевских наград.

Можно сказать без преувеличения, что Николай Николаевич находился в седле до последних дней Наполеоновских войн. И позднее он, несмотря на подорванное здоровье, занимал видные командные должности на Юге России, не единожды удостаиваясь высочайшего благоволения. Так продолжалось до 25 ноября 1824 года, когда ветеран по прошению был уволен в отпуск «до излечения от болезни» (подать прошение генерала вынудили некоторые обстоятельства, связанные с деятельностью масонов; об этом будет рассказано далее).

Вступивший на престол император Николай I назначил генерала членом Государственного совета (соответствующий указ датирован 26 января 1826 года). Эта почетная и необременительная должность стала прощальным знаком внимания и уважения правительства к удивительному человеку.

16 сентября 1829 года генерал от кавалерии и кавалер многих орденов Николай Николаевич Раевский-старший скончался в своем имении, в селе Болтышке Чигиринского уезда Киевской губернии, на 59-м году от рождения. На надгробии выбили цитату из Жуковского, «которая ни к какому другому имени, кроме его, применена быть не может» (М. Ф. Орлов):

> Он был в Смоленске щит,
> В Париже меч России.

Позже место последнего упокоения героя украсилось также изображением Сикстинской мадонны Рафаэля — его вышила бисером в Сибири дочь усопшего[31].

В «Некрологии…», напечатанной в том же году, было, помимо прочего, сказано:

«Николай Николаевич Раевский соединял в себе способности государственного мужа, таланты полководца и все добродетели частного человека. Милости покойного Государя Александра I глубоко были впечатлены в его душе, и он не называл Его иначе, как своим благодетелем. Верный друг, нежный отец, истинный сын Отечества и Православной нашей церкви, он сохранил до последнего своего дыхания отличительную черту своего сердца, способность любить, и умирающею рукою успел еще благословить неутешное свое семейство. Он скончался на 59 году своей жизни, не оставив на сем свете ни одного человека, который бы имел право восстать против его памяти. Похвала великая для каждого, но еще большая для людей, облеченных силою и властью»[32].

Вдумчивый исследователь начала XX века дополнил эту замогильную характеристику такими словами: «Человек выдающийся не только по военному таланту, но и по высоким душевным качествам, прекрасный цельностью и прямотой натуры и полным отсутствием аффектации»[33].

Даже спустя много лет самое имя Раевского-старшего продолжало обладать чудодейственной силой. Оно не единожды помогло боевым товарищам Николая Николаевича, открывало двери в самые недоступные кабинеты, отвращало невзгоды от членов его семейства — и прежде всех незримо патронировало ту дочь генерала, которая зимней ночью помчалась «во глубину сибирских руд». Вот характерное письмо, вышедшее из-под пера генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта и адресованное графу А. Ф. Орлову:

«Отец Марии Волконской, генерал Раевский, был некогда моим начальником. Память о внимании и покровительстве, оказанных мне покойным, и настоящее положение дочери его, последовавшей добровольно за мужем своим в Сибирь, чтобы разделить постигшую его участь, давала Волконской право на постоянное, особенное снисхождение мое к ее просьбам, и все желания Волконской, если они не превышали возможности исполнения, я удовлетворял всегда с охотою, в чем, конечно, не откажет свидетельствовать сама Волконская»[34].

Эти слова написаны за многие тысячи верст от Болтышки и через шестнадцать лет после смерти Раевского, в 1845 году.

Вне всяких сомнений, Раевские были одним из самых замечательных русских семейств того времени. Как и любая древняя дворянская фамилия, они бережно хранили и передавали потомкам семейные предания. Таких старинных повестей об ушедших предках их дети и внуки сберегли немало. Поэтому немудрено, что дошел до нас и рассказ о последних минутах

жизни почтенного Николая Николаевича Раевского-старшего — рассказ, как представляется, не только романтический, но и правдивый.

Есть свидетельства, будто бы на смертном одре старый воин вдруг приободрился, указал на висевший на стене портрет и молвил: «Вот самая замечательная женщина, которую я знал»[35].

Это был портрет его дочери, Марии Раевской, в замужестве княгини Волконской.

Пусть знаменательными отцовскими словами и начнется наш долгий рассказ о ней.

Глава 2
ДЕТСТВО И РАННЯЯ ЮНОСТЬ

Та девочка…

А. С. Пушкин

В конце 1805 года в семействе Раевских царило напряженное и тревожное ожидание: Софья Алексеевна готовилась к очередным родам. Видимо трепетал и находившийся рядом супруг. 12 ноября он писал из Каменки (имения своей матери) графу А. Н. Самойлову: «Желаю, чтоб вы возвратились здоровы и нашли б Софью Алексеевну мою разрешившуюся, — вы не можете вообразить, сколько она меня беспокоит и связывает»[36].

Но все в конце концов окончилось благополучно, и 25 декабря 1805 года на свет появилась девочка. Ее нарекли Марией.

В биографии Марии Раевской-Волконской есть множество неясных моментов и недоразумений, которые возникли как от недостатка документальных данных, так и от ошибок современников и позднейших исследователей. Удивительно, но даже дата ее рождения стала камнем преткновения для биографов: до сих пор в авторитетных изданиях встречаются указания на два, а то и на три разных года и на различные месяцы и дни. Некогда видный историк П. Е. Щеголев, отчаявшись разобраться в этих календарных хитросплетениях, предпочел перестраховаться и ограничился ни к чему не обязывающим высказыванием: «Год рождения М. Н. не поддается точному определению»[37].

Думаем, однако, что такое «точное определение» все-таки существует.

Начнем с того, что хронологическую путаницу изначально создали сами родственники Марии Николаевны. Пионером, кажется, был ее зять генерал М. Ф. Орлов, супруг Екатерины Николаевны, который написал жене 1 апреля 1826 года: «Нынче день рождения бедной Маши»[38]. Спустя три четверти века сын княгини и издатель ее «Записок» М. С. Волконский установил вторую ложную веху: он объявил в предисловии к мемуарам матери, что та скончалась «10 августа 1863 года, 56 лет от роду»[39]. Из сведенных воедино сообщений родни выходило, будто Мария Раевская родилась 1 апреля 1806 года, а это крайне маловероятно по самой простой причине: нам доподлинно известно, что ее сестра Софья появилась на свет 17 ноября помянутого года.

Вскоре крупнейший знаток пушкинской эпохи Б. Л. Модзалевский усугубил возникшую неразбериху. Он голословно, без каких бы то ни было ссылок на документы, заявил, что Мария родилась 1 апреля 1807 года [40]. Но если сын декабристки, скорее всего, попросту описался (или слегка ошибся в арифметических расчетах), то предложенная датировка ученого вдвойне некорректна по основаниям более серьезным. Прежде всего, она вовсе не согласуется с днем рождения Софьи: как говорится, сама природа вопиет против указанной пушкинистом даты. К тому же Б. Л. Модзалевский, бывший в ту пору редактором и комментатором археографических сборников «Архив Раевских», не обратил должного внимания на документ, включенный им самим в первый том этого уникального издания.

Имеется в виду письмо Н. Н. Раевского-старшего к графу А. Н. Самойлову от 10 января 1807 года. В послании офицер поведал дядюшке о семейных делах и непростых бытовых проблемах, что называется, поплакался, и между прочим сказал, что у него «четыре дочери, два сына на руках»[41]. Таким образом, *к январю 1807 года* семейство Раевских уже приняло свой окончательный вид, и дальнейшие рассуждения о 1 апреля этого года как дне рождения Марии Николаевны теряют всякий смысл.

Утвердившись в этом, можно довольно правдоподобно объяснить и происхождение пресловутого числа — 1 апреля. Дело в том, что генерал М. Ф. Орлов, похоже, банально перепутал семейные праздники. На указанную дату приходился день памяти преподобной Марии Египетской (ревностной христианки, жившей в VI веке) — иными словами, не день рождения, а *день именин* нашей героини. Близкие люди никогда не забывали об этом и торопились поприветствовать княгиню. Например, 1 апреля 1842 года декабрист М. С. Лунин писал С. Г. Волконскому: «Дорогой друг, прошу вас засвидетельствовать мое глубокое почтение мадам и просить ее принять мои поздравления с днем ее ангела»[42].

Так, на наш взгляд, разрешается ситуация с сомнительными датами и числом.

Зато у тех ученых, кто ведет летопись жизни Марии Раевской от 25 декабря 1805 года, скопились убедительные и разнообразные аргументы. Их никто так и не сумел опровергнуть.

Главные доводы обнаруживаются в воспоминаниях самой княгини Волконской. Там, в частности, есть рассказ о том, как она, юная девушка, забавляясь, убегала от морских волн и как Пушкин, наблюдавший с берега эту поэтическую сцену, восхищался ею[43]. Известно, что данный эпизод произошел неподалеку от Таганрога в 1820 году[44]; мемуаристка же,

завершив его описание, вскользь заметила: «Мне было только 15 лет»[45]. Через несколько страниц Мария Николаевна обратилась к другим материям — она повела речь о своей стремительной поездке в Сибирь, к отправленному на каторгу мужу. Путь ее проходил через Казань, куда Волконская прибыла на исходе декабря 1826 года. «Был канун Нового года, — писала княгиня и тут же четко пояснила: — мне только что минул 21 год»[46]. В обоих случаях элементарное арифметическое действие дает одинаковый результат.

Его решительно подтвердил и внук княгини, С. М. Волконский, который заявил: «По неопровержимым данным нашего архива, она родилась в 1805 году». Далее он уточнил, что «день Рождества <…> был вместе с тем и днем ее рождения»[47].

В заключение скажем о поэтическом доказательстве сибирского происхождения. В 1829 году декабрист А. И. Одоевский, пребывая в Читинском остроге, написал стихи — «Княгине М. Н. Волконской (В день ее рождения)»:

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе том рожденный,
Не услаждал страдальческих очей;
……
Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены…

Под стихами хорошо осведомленного человека стояла все та же дата — «25-го декабря 1829 года»[48].

Надеемся, что приведенных фактов вполне достаточно для того, чтобы завершить возникшую по случайности, а затем ставшую почти бесконечной дискуссию и впредь считать несомненным: Мария Раевская появилась на свет *25 декабря 1805 года.*

Ошибется тот, кто сочтет написанное выше всего лишь скучной схоластикой, образчиком пресного «пушкинизма». Смеем заверить таковых скептиков, что дата рождения Марии Николаевны — именно эта, единственная, выверенная по документам дата — еще сыграет важную роль в нашем повествовании.

Находясь в Сибири, Мария Волконская часто и подолгу рассказывала собственным детям о своем далеком детстве. Она не

сочла нужным поместить эти рассказы в «Записки», ограничившись фразой о «счастливом времени, проведенном <… > под родительским кровом», о «путешествиях» и «доле радостей и удовольствий на этом свете»[49]. Поэтому в ученой среде повелось считать, что «мы можем восстановить историю юности Марии Николаевны в самых общих очертаниях. Подробностей мы не знаем»[50]. Однако это не совсем так, и в распоряжении биографа есть-таки немало материалов разного свойства.

Мы, к примеру, знаем, что в детстве и юности Мария частенько путешествовала с родными по империи, подолгу жительствовала то в Петербурге, то в Киеве или малороссийских имениях. Повсюду она «имела возможность видеть и слышать самых интересных и самых умных людей, каких только могла выставить тогдашняя Россия». Все это и кое-что иное наложило определенный отпечаток на ее интеллектуальное и нравственное развитие.

В семье Раевских царил культ отца и супруга. Николай Николаевич «пользовался беззаветной любовью жены и детей и бесконечным авторитетом». Но, обожая и лелея близких, глава семейства подчас прибегал и к жестким домостроевским мерам, не стеснялся демонстрировать «крутой нрав, упорство, граничившее с упрямством, и некоторый семейный деспотизм»[51]. Командирские навыки применялись Раевским по любому поводу, а его распоряжения исполнялись домашними так, как исполняются в полку или дивизии приказы вышестоящего начальства. В мемуарах Марии Николаевны обнаруживается красноречивое тому подтверждение. Когда княгине пришло время рожать, случилось следующее: «Отец требовал, чтобы я сидела в кресле; мать, как опытная мать семейства, хотела, чтобы я легла в постель во избежание простуды, и вот начинается спор, а я страдаю; наконец воля мужчины, как всегда (! — *М.* Ф.), взяла верх; меня поместили в большом кресле, в котором я жестоко промучилась без всякой медицинской помощи»[52]. Нетрудно догадаться, что подобные патриархальные эпизоды — конечно, на ином, более благоприятном событийном фоне — бывали в семействе и ранее.

Раевский всецело руководил образованием детей и по возможности наблюдал за ним лично. Он стремился дать сыновьям и дочерям всестороннее, энциклопедическое образование. По мысли отца, юноши должны были пойти по его стопам — и посему Александр и Николай с определенных пор стали уделять преобладающее внимание военным наукам. Дочери же в основном постигали предметы гуманитарные, хотя отнюдь не ограничивались ими.

Мария с ранних лет получила доступ к отцовской библиотеке, которая, по меркам той эпохи, была весьма обширной: в ней насчитывалось до четырех тысяч переплетов, причем «почти 3000 томов принадлежали французским авторам, а остальные — преимущественно русским и английским»[53]. Девушка быстро пристрастилась к чтению, и книги стали ее верными спутниками на всю жизнь. Надлежит отметить, что хотя в ее руки иногда попадали подобающие возрасту модные романы, предпочтение отдавалось все же изданиям серьезным, глубокомысленным. (С годами же легковесные поделки были отвергнуты вовсе, и сын княгини вспоминал: «Круг ее знаний выходил за пределы обычного уровня. Исторические науки и литература ее всего более привлекали; ни разу не видал я в ее руках, что называется, пустой книги»[54].)

Больших успехов добилась Мария и в изучении иностранных языков. С какого-то времени ей помогала в этом специально приглашенная англичанка — гувернантка мисс Мятен[55]. Даже есть мнение, что именно под руководством нашей героини и ее сестер Пушкин «начал учиться английскому языку» и, может быть, «впервые познакомился с Байроном»[56]. Вероятно, что как раз в части лингвистической отец Марии, русский до мозга костей человек, потерял чувство меры и допустил педагогический промах. Занятно: окружающие свидетельствовали, что Мария знала «французский и английский языки, как свой родной»[57], но парадокс заключался в том, что отечественного-то языка она не знала — точнее, владела им весьма посредственно и предпочитала писать по-французски. Позднейшие ее попытки ликвидировать этот пробел ни к чему не привели, и княгиня на всю жизнь так и осталась «франкоязычной». «Я всегда восхищаюсь вашим русским языком и, отчаявшись когда-либо приблизиться к нему, я от него отказалась», — признавалась она И. И. Пущину в письме от 25 января 1840 года[58].

Зато от музыки, к которой Мария Николаевна испытывала, по ее собственным словам, настоящую «страсть», она не отказалась никогда. Постигая музыкальные премудрости, девушка особенно полюбила итальянцев. Вдобавок у Марии были «замечательный голос»[59] и «вокальный талант»[60], и благодаря усилиям родителей и нанятых ими толковых учителей эти ее дарования получили всяческое развитие и умелую «обработку». В доме Раевских регулярно проходили фортепьянные концерты, не умолкал ее «звучный голос», и многие знающие толк в музыкальном искусстве современники (такие, как княгиня Зинаида Волконская) восхищались почти профессиональным пением Марии.

Потакая интеллектуальным увлечениям дочерей и их тяге к прекрасному и возвышенному, к величайшим достижениям европейской культуры, отец, однако, отвергал оголтелый космополитизм и бдительно следил за духовно-нравственной стороной воспитания девушек. «Начала веры и добродетели» — этот предмет преподавался под отцовским кровом неустанно и неформально, вследствие чего девицы Раевские счастливо избежали расхожих мистических и иных тогдашних поветрий и выросли в убежденных православных христианок.

Столь же требователен был Николай Николаевич и по части воспитания Марии и ее братьев и сестер в верноподданническом духе, в уважении к исконным русским ценностям. Отец крайне подозрительно смотрел на масонов и прочих «карбонариев», утверждая, что «из их совещаний не выйдет ничего путного». Да и о якобы нараставших свободолюбивых настроениях среди обывателей Раевский-старший отзывался с нескрываемым сарказмом. «Прочтите-ка им свои стихи! — говаривал он либеральничавшему Пушкину. — Что они в них поймут?» «Достойно замечания, — добавляет к этому П. И. Бартенев, — что он взял слово с обоих сыновей ни за что не вступать ни в какое тайное общество»[61].

Мария Николаевна хорошо усвоила преподанные ей родителем политические и идеологические уроки, что позднее наглядно продемонстрировала своим отношением к декабризму и конспиративной практике мужа.

Уроки уроками, но не менее важно и то, что Мария Раевская унаследовала и всячески развила в себе некоторые черты характера отца. Прежде всего надо говорить о ее несгибаемой воле, о «твердости и настойчивости» в принятии «главных решений»[62]. К этому, по точному замечанию П. В. Анненкова, следует присовокупить гордость и редкостную свободу ума, «право судить явления жизни по собственному кодексу и не признавать обязательности никакого мнения или порядка идей, которые выработались без <…> прямого участия и согласия» Марии Николаевны[63]. Сын княгини писал, что «она, в то же время, была характера мягкого и уживчивого, всегда веселая и никогда не падавшая духом»[64], — и здесь, по-видимому, также сказалась отцовская наследственность.

Не надо забывать и о ее матери, Софье Алексеевне. Биографы были явно несправедливы к ней и едва удостоили Раевскую вниманием. Так, С. М. Волконский (внук Марии Николаевны) утверждал, что «преданность мужу владеет всем ее существом; несмотря на многочисленное свое семейство, она до последних дней своих оставалась более супругой, нежели матерью»[65]. А

П. Е. Щеголев пошел еще дальше и вовсе счел мать Марии посредственностью: «О ней мы ничего не знаем, очевидно, по той причине, что она не играла в семье первой роли, совсем скрытая личностью мужа»[66].

Другие исследователи придерживались в целом схожего мнения. Допускаем, что их отчасти дезориентировала сама Мария Волконская, которая в своих «Записках» ничего не рассказала о Софье Алексеевне.

Между тем самая простая логика подсказывает, что Николай Николаевич, занятый службой, мог проводить в кругу семьи довольно немного времени. Когда же начались сражения с Наполеоном, он, почти не покидая театра военных действий, стал бывать дома и того реже, периодическими наездами. (Как мы помним, в те же сроки родилась и Мария.) Его влияние на воспитание детей если и не уменьшилось, то видоизменилось качественно: оно вынужденно преобразовалось в надзор за соблюдением выработанной *стратегической* педагогической линии. Естественно, надзор был строгим и добросовестным — но нерегулярным. Каждодневные же заботы о подрастающих детях легли на плечи Софьи Алексеевны, и в вопросах рутинной *тактики* воспитания жена Раевского вольно или невольно стала играть ту самую «первую роль», которую почему-то не заметили историографы. Младенчество и детство Марии — как известно, решающие годы для формирования человеческого характера — пришлись как раз на период, когда ее мать в значительной мере заправляла семейными делами. Это обстоятельство принуждает нас попристальнее вчитаться в документы, касающиеся Софьи Алексеевны Раевской.

Ученый, уверявший читателей, что «о ней мы ничего не знаем», оплошал и тут: документальные свидетельства о супруге ратного героя имеются, причем в изрядном количестве. И из фрагментов старых бумаг, словно из мозаичных пластинок, составляется любопытный эскиз психологического портрета Софьи Алексеевны.

Она была настоящей, преданной внучкой Ломоносова, всегда гордилась неповторимым дедом и деятельно участвовала в начинаниях, связанных с увековечиванием памяти «сего великова мужа»[67]. Да и в генах Софьи Алексеевны явственно присутствовало нечто ломоносовское. Михайло Васильевич, как известно, был человеком не только гениальным, но и необычайно сложным, не всегда корректным в словах и поступках, болезненно самолюбивым. До сих пор на слуху его крылатая фраза: «Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу; но ниже у самого Господа Бога, который мне дал

смысл, пока разве отнимет»[68]. Таковой же была и жена Раевского, ставшая — разумеется, только на бытовом уровне — «верным снимком» своего предка. Правда, родовые особенности характера она явила окружающим в своеобычной «женской редакции».

Показательно, что С. М. Волконский, мемуарист подчеркнуто деликатный, избегавший суровых приговоров, ведя речь о Софье Алексеевне, не сумел сдержаться и одарил прабабку критическими строками: «Женщина характера неуравновешенного, нервная, в которой темперамент брал верх над разумом. <…> Женщина характера сухого, мелочного»[69]. Наверное, у него были какие-то основания для подобных суждений, но все же главного в этой даме он не приметил.

То, о чем писал внук, было всего лишь производным от основного, а основным — тем, что принесло массу неприятностей и самой Раевской, и ее близким, — следует считать эгоцентризм, помноженный на непомерную мнительность, проще говоря — *гордыню*. Внучка гения и жена героя блюла честь фамилии и свою собственную так, что окружающим моментами становилось не по себе от ее высокомерия или кичливой обидчивости. Иногда выходки почтенной Софьи Алексеевны очень походили на поведение избалованного и капризного, привыкшего всеми верховодить ребенка — и супруг, защищая дорогую половину от упреков, непроизвольно подтверждал правомерность такого сравнения: «Не оставьте детей и жены и извиняйте их проступки», — просил Николай Николаевич свою мать, Е. Н. Давыдову, в письме, датированном 26 апреля 1807 года[70].

В другом письме, к графу А. Н. Самойлову от 4 декабря 1807 года, Раевский-старший пытался объяснить оскорбленному родственнику мотивы очередного демарша жены: «Ей показалось, что вы, как со мною, так и с ней переменили милостивое ваше обращение, почему и сочла, что ее посещения не будут вам столько приятны, как были прежде. Я никак ее в сем оправдать не могу, — примирительно продолжал Николай Николаевич, — ибо долг ее был удвоить старание приобрести вновь ваше родственное расположение, в чем и — надеюсь на ваше доброе сердце — она успеет»[71]. Однако его надежды не оправдались — и жалобы графа на поведение Софьи Алексеевны продолжились[72].

Надо отдать ей должное: в своих поступках и проступках Раевская была тверда и последовательна невзирая на лица. Так, породнившись со знатными Волконскими, она и с ними не церемонилась, держала себя столь же вызывающе заносчиво. В 1829 году, возмущаясь родней, которая, по мнению Софьи Алексеевны, была скупа, мать писала Марии в Сибирь:

«Твои письма, совершенная заброшенность В<олконскими>

и Реп<ниными>, ваш недостаток в деньгах — доставляли нам бесконечное огорчение. Если бы я имела несчастье иметь сына в Сибири и моя несчастная и неповинная belle-fille[73] последовала бы за ним — я продала бы последнее платье, чтобы послать ей денег. Ты делаешь очень хорошо, предлагая браслет своей племяннице Репниной, будь уверена, что никогда и никто из нашей семьи не пожелает иметь хотя бы одну нитку, принадлежащую твоему мужу»[74].

Мария Волконская, вынужденная к тому же лавировать между Раевскими и родственниками мужа, огорчалась подобными письмами матери и свела переписку с ней до минимума. Однажды княгиня в сердцах даже заметила, что Софья Алексеевна «как будто умерла» для нее[75]. Зато в письме к свекрови А. Н. Волконской от 11 июня 1827 года Мария Николаевна добавила к портрету матери несколько небезынтересных штрихов. При чтении этого письма возникает ощущение, что автор послания скорее солидаризируется с Софьей Алексеевной, нежели обвиняет ее в очередных прегрешениях:

«Я тотчас поняла, о ком идет речь, и удивляюсь сдержанности, которую вы проявили в этом деле, обожаемая матушка <…>. Вы, по-видимому, подозреваете, что упомянутая особа писала ко мне, милая матушка; это подозрение неосновательно; она, может быть, лишена такта, имеет странности или смешные слабости, но она никогда не станет так публично выносить на суд недостатки, которые она — справедливо или нет — видит в других, особенно в людях, так или иначе принадлежащих к вашему дому»[76].

Стоит вдуматься в это замечательное «справедливо или нет» — такие дипломатичные, вскользь брошенные слова, вдобавок адресованные не кому-нибудь, а уязвленной свекрови, могут означать только одно: Мария Волконская в какой-то мере была согласна со своей горделивой матерью.

А у матери, при всей неоднозначности ее натуры, билось в груди доброе сердце — и это прекрасно знала Мария. Спустя годы княгиня с теплотой вспоминала, как Софья Алексеевна в детстве «баловала» ее, и, вспоминая, подчеркивала, что мать «была права»[77]. Немало кошек пробежало между этими двумя неординарными женщинами — и все же Софья Алексеевна навсегда осталась для дочери «дорогой, обожаемой матушкой», «доброй матушкой»[78].

Представляется несомненным, что «ломоносовское» самолюбие и предрасположенность к резким, выходящим за общепринятые этикетные рамки поступкам унаследовали через Софью Алексеевну и ее дети, в особенности Александр и Мария.

Но если у сына родовые черты проявились чересчур явно, в гипертрофированной форме, то Мария Николаевна избежала крайностей самодурства, которым прославился Александр Раевский. Сказалось благотворное влияние властного отца — влияние, умерившее материнское воздействие. Именно так — умерившее, но не нейтрализовавшее его полностью. В биографии Раевской-Волконской будет немало эпизодов, когда ее «темперамент возьмет верх над разумом» или когда наша героиня докажет, что никто из «знатных господ» или «земных владетелей» ей не указ. А те, кто окажется рядом с княгиней в Сибири, еще обвинят ее в «надмении»[79] и «гордой самоуверенности»[80].

Однако все это — впереди, хотя и не за горами. Пока же Россия сражается с Наполеоном и побеждает его, строит военные поселения, марширует и пашет землю, втихомолку обзаводится разветвленным подпольем — а она, Мария Раевская, с охотой учится, иногда предается детским забавам, вникает в разговоры знаменитостей, путешествует, впитывает впечатления — и постепенно растет. Анна Керн, познакомившаяся с Раевскими в Киеве в 1817 году, едва заметила тихую девочку и запомнила только то, что Мария была «кроткая брюнетка»[81]. Примерно так же отозвался о нашей героине и другой наблюдатель: «Малоинтересный смуглый подросток»[82]. Подросток, обычно не по годам сдержанный, но подчас напоминающий большинство сверстников: по-детски непосредственный и с соответствующими возрасту интересами — например, приходящий в восторг от занятно покачивающего головой «белого медведя», увиденного в Киеве[83].

А сокровенные природные процессы идут динамично, они набирают силу — и готовят чудесное преображение…

Киевский медведь остается в прошлом. Вчерашняя девочка «из ребенка с неразвитыми формами стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах»[84]. Один офицер, столкнувшись с Марией на балу, был удивлен ее «поразительным сходством» с братом, Николаем Раевским[85]. Красавицею, правда, Марию считали не все: так, поэт Василий Туманский отметил, что она «дурна собой», однако поспешил добавить: девушка «очень привлекательна остротою разговоров и нежностью обращения»[86]. Сама же Мария находила у себя «живость характера» и «ртуть в венах»[87] (позднее, по ее признанию, утерянные). Кроме того, она самокритично отмечала, что «совсем не любезна от природы»[88].

Пришла дивная пора волнительных и смутных мечтаний, тревожных снов и первых выездов — и пора *других,*

заинтересованных, столь не похожих на былые, мужских взглядов.

Девичье таинство преображения наконец свершилось, а значит, нагрянуло и неотвратимое, *весеннее:*

Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала… кого-нибудь,

И дождалась… Открылись очи;
Она сказала: это он!.. (*VI, 54).*

Здесь, посулив читателю надвигающуюся интригу, нам следует на время опустить занавес — и завершить главу на полуслове. Чтобы лучше понять, что же произошло между *ними,* придется нарушить хронологию событий и исследовать из ряда вон выходящее происшествие, случившееся с Марией Раевской несколько позже.

Это происшествие как будто описано ее биографами, однако описано с существенным упущением.

Глава 3
ГРАФ ОЛИЗАР

[И наша дева молодая,]
Привлекши сердце поляка,
[Отвергнет,] [гордостью пылая,]
Любовь народного врага.

А. С. Пушкин

В предыдущей главе было помещено краткое мемуарное сообщение о том, как Мария Раевская из «малоинтересного смуглого подростка <…> стала превращаться в стройную красавицу» и т. д. Эти строки принадлежат перу польского графа Густава Филипповича Олизара (1798–1865), личности весьма своеобразной — и оставившей яркий след в биографии нашей героини.

Он родился в имении Коростышево (Коростешово), которое находилось в Радомском уезде Киевской губернии, в богатой и знатной семье (отец Густава был подчашим Великого княжества Литовского). Учился юноша в Житомирской гимназии, а затем в Кременецком лицее, однако курса наук так и не завершил, уехав с отцом в Италию. Там молодой граф женился на дочери сардинского министра графине Каролине де Молло, от которой впоследствии имел двух детей (сына и дочь), но с которой не обрел семейного счастья и в итоге развелся с нею.

Вернувшись из-за границы, Густав Олизар поселился в знакомом Кременце, где быстро сделал карьеру и выдвинулся в первый ряд влиятельных общественных деятелей. Вскоре его избрали в волынские губернские маршалы (предводители дворянства), но местный губернатор по каким-то причинам не пожелал утвердить графа в этой должности. Правда, почти сразу же сторонники Олизара из лагеря соотечественников помогли ему стать киевским губернским маршалом — и на данном посту Густав Филиппович находился до 1825 года.

На губернских делах расторопный граф отнюдь не замкнулся. Был он и членом польского Патриотического общества, Московского общества сельского хозяйства, не брезговал и масонством (входил в Союз тамплиеров Волыни, состоял в ложах «Совершенный Секрет» в Дубно и «Увенчанная Добродетель под Тремя Звездами» в Рафаловке[89]). Среди его знакомых, как

позднее выяснилось, числилось немало участников злоумышленных обществ. Немудрено, что после подавления бунта 1825 года имя Олизара быстро всплыло на следствии: показания против него дали П. И. Пестель, братья С. и М. Муравьевы-Апостолы, князь С. Г. Волконский и другие задержанные лица. И уже 4 января 1826 года прозвучал приказ об аресте подозрительного поляка.

Фельдъегерь с соответствующими бумагами помчался на Юг.

21 января граф Олизар был спешно доставлен из Киева в Петербург и помещен в Петропавловскую крепость с уведомлением коменданту: «Присылаемого г<рафа> Олизара содержать строго, но хорошо». Однако через три недели «по изысканию Комиссии оказалось, что Олизар не знал о существовании тайных обществ в России и Польше»[90]. Свидетельства декабристов попали в категорию «гадательных» (проще говоря, заговорщики возвели на графа напраслину), и по высочайшему повелению Густав Филиппович был освобожден 12 февраля с оправдательным аттестатом.

Впрочем, ликовать довелось недолго. Не успел Олизар вернуться в Киев — а там его уже поджидали новые неприятности. Вскоре он был арестован вторично и отправлен в Варшаву. Поляка подвело излишнее любопытство. В «Алфавите членам бывших тайных злоумышленных обществ…», составленном в 1827 году правителем дел Следственного комитета А. Д. Боровковым, есть такая запись: «После того в числе бумаг Олизара, найденных на дороге к Киеву, оказались два диплома какого-то тайного общества под названием Алкивиада, без означения места и времени написания оных. В одном Тайное Судилище объявляет, что Олизар принят под именем Вашингтона и с достоинством меченосца; в другом поручает ему специальную комиссию для учреждения Египетских гор, то есть на Волыни, Подолии и проч. и дает право назначать старейшин гор и принимать членов. По исследованию о сем в Варшавском Комитете открылось, что означенное общество никогда не существовало, а вымышлено графом Малаховским нарочно для Олизара, желавшего узнать все тайны высшего масонства». В итоге граф Олизар был вновь оправдан и освобожден из-под стражи, однако отныне за ним был учрежден крепкий секретный надзор, о чем не откладывая сообщили «киевскому гражданскому губернатору и управляющему Министерством внутренних дел»[91].

Так, по существу трагикомически, завершилась декабристская эпопея Густава Олизара. В написанных на склоне лет мемуарах граф тщился убедить потомков в том, что он был тесно связан со

многими заговорщиками, которые доверяли ему свои самые сокровенные планы; что он разделял их взгляды и, подвергаясь риску, оказывал им всемерную помощь, стремясь к тому же объединить русских революционеров с польскими националистами — борцами за независимость. Некоторые историки отнеслись к сочинению графа с полным доверием[92], однако, думается, без достаточных на то оснований. Не надо забывать, что следствие по делу 14 декабря велось правительством тщательно и неспешно, дознаватели выказали высокий профессионализм и знание человеческой психологии, да и большинство бунтовщиков были более чем откровенны в своих показаниях — но «несомненных связей Густава Олизара с движением декабристов» (А. В. Кушаков) так и не обнаружилось. А то, что известно нам доподлинно, в лучшем случае позволяет записать графа в весьма аморфный и разношерстный кружок недовольных и велеречивых фрондеров, получивших позднее титул «декабристов без декабря». На исходе александровского царствования таких лиц можно было встретить на всяком великосветском рауте, в любой провинциальной гостиной.

Губернский маршал Густав Олизар выдавал себя — причем не без успеха — и за писателя, в первую очередь лирического поэта, однако поэтом был, по мнению знатоков, довольно-таки заурядным, «обыденным подражателем, могущим лишь рабски следовать за другими», то есть эпигоном. В 1840 году в Вильно был напечатан (в двух тетрадях) сборник его стихотворных опытов «Воспоминания». Совместно со Станиславом Монюшко он написал оперу «Ванда»; заинтересовала невзыскательную публику и комедия графа «Чай у госпожи Наудальской», изданная в Вильно в 1859 году. Принадлежа к «цеху задорному», Густав Филиппович приятельствовал со многими литераторами, в том числе и с настоящими знаменитостями — в частности, с Юлиушем Словацким и Адамом Мицкевичем.

Однажды (по-видимому, в мае 1820-го или в январе-феврале 1821 года) случай свел поляка с полуопальным Александром Пушкиным — это произошло в доме киевского губернатора И. Я. Бухарина. Позже они встречались в Кишиневе и Одессе, а также, вероятно, в Каменке. Под впечатлением общения и бесед с русским поэтом граф Олизар в августе — октябре 1822 года[93] доверил бумаге монументальное послание «Do Puszkina» («Пушкину»):

Поэт могучего Севера!
Почему нежный звук твоей лиры,
Как век твой, полный силы,

Покровом траурным прикрыт?

Почему, нам красоту рисуя,
Ты покрываешь ее черной ночи тенью?
Малая искра (наверное, думаешь)
В темноте большим пламенем тлеет?

Но искра гения твоего
Помериться может с блеском солнца.
Используй ее творческий дух;
Будет она также светить без конца!

И если солнце топит льды,
Из оков шумные освобождает реки,
То искра гения твоего возрождает народы
И преображает давние столетия.

Далее следовали столь же высокопарные и малосодержательные строфы. Однако конец послания выгодно отличался от основного корпуса рифмованных строк, ибо был посвящен предмету серьезному и болезненному — и для автора, и для адресата. Как написал впоследствии историк, «Густав Олизар, восторженно сознавая могучие творческие силы пушкинского гения и призывая пушкинскую лиру к песне мужества, деликатно не рисковал указывать на предмет песнопений. Он лишь просил великодушия к своим соплеменникам, сторонникам польского патриотического движения, которые были „побеждены судьбой“ после подавления национально-освободительного восстания под руководством Костюшко и после краха польских трагических надежд и участия поляков под знаменами Наполеона в 1812 году»[94]:

Пушкин! Ты так еще молод!
А отчизна твоя так велика!..
Еще слава и награды, и надежда
У тебя впереди!

Возьми лиру и мужественным голосом
Пой… Но не я укажу на предметы твоих песен!..
Не издевайся лишь над побежденными судьбой[95],
Иначе потомки такой твой стих отвергнут!

А когда ты достигнешь вершины славы,
Когда она возрастет так же, как твоя страна,

Знай, что в лесах между скал
Скорбно поэт сарматский стонал[96].

(Перевод А. В. Кушакова)

Полемическая перчатка исподволь была брошена. И когда послание графа Олизара дошло до Пушкина, тот не уклонился, а принял вызов и набросал стихотворный отклик. Правда, задержался с ответом: современные ученые датируют пушкинские стихи 20–25 октября 1824 года[97].

Им, этим стихам, предшествовали события большой важности в семье Раевских.

Будучи киевским губернским маршалом, Густав Олизар свел знакомство едва ли не со всеми достопримечательными людьми края — польскими магнатами и русскими чиновниками, помещиками и аристократами. Почетное место среди них занимало семейство военного героя Раевского (который в ту пору командовал войсками 4-го армейского корпуса). Расположение генерала было весьма лестно для прагматичного поляка и немало способствовало укреплению общественного положения графа (в мемуарах он витиевато написал, что «приязненное сношение» с начальником корпуса ему было необходимо «для того, чтобы чрез высших быть в состоянии помогать низшим добрым и останавливать низших злых»[98]).

Полезное Олизар умело сочетал с приятным и, запросто посещая киевский дом Николая Николаевича, наслаждался там умными беседами девиц Раевских и их музыкальными экзерсисами. Незаметно он стал своим человеком в семье. Дошло до того, что когда в июне 1821 году Раевские отправились в Кишинев навестить Орловых, граф Олизар «по-родственному» присоединился к путешественникам.

Знал бы он, куда заведет его это сближение…

Видимо, в ходе кишиневского визита и появился в альбоме Екатерины Николаевны Орловой портрет Густава Олизара, нарисованный ее братом Николаем Раевским-младшим[99]. На этом наброске граф изображен в профиль. Мы видим элегантного молодого человека благообразной внешности, с аристократическими чертами лица, с красивым, в меру крупным носом и пышной, тщательно ухоженной куафюрой. На шее Густава Филипповича заметен изящно повязанный фуляр, придающий схваченному карандашом образу дополнительный шарм. Становится ясно, что граф заслуженно пользовался благосклонностью разборчивых дам.

Вместе с тем в талантливом и быстром рисунке присутствует и едва различимая шутливость, тень приглушенной усмешки. Недаром подпись под изображением гласит: «Caricature par Nicolas Raievsky» («Карикатура Николая Раевского»). Складывается впечатление, будто художник, зорко наблюдавший за поведением Олизара, что-то проведал, в чем-то убедился — и теперь, отточив карандаш, незлобиво потешается над персонажем.

Ему-то легко было подтрунивать, а вот поляку в какой-то момент, похоже, стало не до шуток: Густав Олизар вдруг осознал, что он страстно, как никогда ранее, влюбился.

И дамой его сердца оказалась расцветавшая не по дням, а по часам Мария Раевская.

Вот как представил дело сам граф на страницах воспоминаний:

«У Раевских я встретил всё, что соответствовало потребностям моего общественного положения и вместе с тем было нужно для удовлетворения душевных стремлений образованного человека. Нельзя было не ценить высоко благородства взглядов и прямоты старого генерала, о котором в заметках Наполеона сказано, что он выкроен из материала, „dont on fait les maréchaux“[100]. Мать и дочери привлекали к себе всех образованием, любезностью и изяществом. Поэтому трудно было не привязаться к этим людям, не чувствовать к ним симпатии и благодарности за оказываемую любезность.

Но в то время, когда другие искали в доме Раевских возможности приятно провести время, я понемногу почувствовал живой интерес к юной смуглянке с серьезным выражением лица. На первых порах это невинное расположение казалось неопасным. Но мало-помалу Мария Раевская из ребенка с неразвитыми формами стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах. Нужно ли удивляться, что подобная девушка, обладавшая при том живым умом и вокальным талантом, стала украшением вечеров и что я сильно ею увлекся»[101].

К сожалению, Густав Олизар не указывает даты пробуждения своего чувства, однако не вызывает сомнений, что речь идет о начале 1820-х годов. К этому времени Мария Раевская была — по меркам эпохи — уже вполне взрослой девушкой, которая пребывала, как говорится, «на выданье». (В образе ангелоподобной невесты, «чистейшего образца» невинности она и запечатлена на литографии 1821 года.)

Граф продолжает чувствительное повествование, но с его

рассказом, до поры гладким и романтичным, неожиданно происходит странная метаморфоза: он теряет жизненность и начинает походить на выдуманную задним числом и не слишком правдоподобную схему:

«Но я не мог не видеть с горечью, что этот распустившийся цветок, значение которого я едва ли не первый предугадал, мало обращает на меня внимания. Что могло быть этому причиной? не возраст мой, ибо я тогда был в цвете молодости, не состояние и общественное положение, ибо я был богат и занимал пост principis nobilitatis[102]».

Чем же было обусловлено демонстративное равнодушие Марии к элегантному польскому воздыхателю? Ответ мемуариста звучит несколько неожиданно и привносит в описываемую им любовную историю элементы злободневного журнализма и исторической драмы чуть ли не шекспировского масштаба одновременно:

«Совсем другое обстоятельство, а именно различие народности и религии препятствовало мне найти в ее сердце желаемый ответ на мою склонность. Благородная, великая душа ее чувствовала в себе влечение служить религии и любимой родине. Мария Раевская смотрела на призвание женщины с высшей точки зрения и не хотела играть фальшивой роли. Она ясно сознавала, что, при отношениях обеих народностей, русская женщина, желавшая остаться таковой вполне, не может соединить своей судьбы с судьбой прямодушного поляка, счастье которого желала бы составить. Одна из двух сторон должна бы была отречься от того, что ей всегда казалось возвышенным и благородным, а потому и необходимым для истинного счастья»[103].

Таким образом, Густав Филиппович видел корень всех амурных бед в многовековом «домашнем, старом споре славян между собою» *(III, 269)*. Полемизировать здесь с ним трудно, да и не стоит, ибо русско-польская проблема тогда была и впрямь крайне остра (а через несколько лет, в период мятежа 1830–1831 годов, и вовсе обострилась до предела). Можно, правда, возразить мимоходом, что после происшедших в XVIII столетии разделов Польши и Наполеоновских войн смешанные браки вовсе не считались в Российской империи диковиной и обвенчавшиеся супруги сплошь и рядом жили счастливо, душа в душу, при желании вовсе не отрекаясь от «любимой родины».

Дальнейшее поведение «прямодушного поляка» в контексте вышеприведенных его рассуждений выглядит и нелогичным, и, более того, нравственно сомнительным.

Казалось бы, он, рыцарственный аристократ, проникся

убеждением, что глубоко уважаемая им «русская женщина» Мария Раевская «не может соединить своей судьбы» с судьбой польского патриота, так как она не намеревалась жертвовать всем «возвышенным и благородным». В таких случаях истинно благородные люди обычно уходят в тень, перестают докучать возлюбленным, бегут на край света, подчас даже ведут себя по-вертеровски. А граф Олизар, противореча кодексу чести, литературной традиции и себе, выбрал иной путь: он предпринял попытку все-таки обуздать ее «благородную, великую душу».

В 1823 году он, загодя посовещавшись с «известными польскими патриотами» и «получив их разрешение», отправил решительное письмо генералу Н. Н. Раевскому[104]. В этом послании Густав Филиппович просил у отца Марии руки его дочери.

Ответ Н. Н. Раевского, написанный по-французски, граф Олизар привел в своих мемуарах:

> «На честь, оказанную вашим, любезный граф, предложением, я нахожу возможным ответить лишь отрицательно.
>
> Вам известно, что я люблю вас и никогда не упускал случая засвидетельствовать вам мое глубокое уважение. Вершиной моих желаний стала бы возможность любить вас, как сына, тем более, что мне ведомы ваши домашние невзгоды[105]. Я ни на мгновение не усомнюсь в том, что вы сумели бы осчастливить мою дочь. Однако по воле рока либо по приговору судьбы, которая выше и могущественнее человеческого понимания, существующие различия наших религий, наших взглядов на взаимные обязанности и наконец самая разность наших народностей — всё это, мнится, возводит непреодолимую преграду между нами.
>
> Смею тем не менее заверить, что мы надеемся и впредь видеть вас, любезный граф, в нашем доме на правах близкого друга. Убежден, что ваша душа тверже вашего сердца — и жажду лично доказать вам, сколь многого я лишаюсь и как искренни мои сожаления.
>
> *Николай Раевский»*[106].

Отказ отца Марии ошеломил Густава Олизара. «Я был поражен, как громом», — пишет он. Поляк спешно удалился в свое крымское поместье, претенциозно названное им по-гречески — «Карди Ятрикон» («Лекарство сердца»), жил некоторое время отшельником: «Здесь он тосковал и писал сонеты о своей

безнадежной любви»[107]. Горестное затворничество графа бурно обсуждалось в салонах Юга России, ползли фантастические слухи, а его приятель Адам Мицкевич упомянул о случившейся драме в одном из своих «Крымских сонетов» — в «Аюдаге», где были, в частности, и такие строки:

Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.

Не омрачив твой мир, гроза отбушевала,
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.

(Перевод В. Левика)

Граф Олизар признавался: «Если во мне пробудились высшие, благородные, оживленные сердечным чувством стремления, то ими во многом я был обязан любви, внушенной мне Марией Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой посвящено было поэтическое настроение, до которого я мог подняться, и, благодаря Марии и моему к ней влечению, я приобрел участие к себе первого русского поэта и приязнь нашего знаменитого Адама»[108].

Прошли десятилетия — и Густав Филиппович, проживший бурную и полную крутых поворотов жизнь[109], одряхлевший, но ничего не забывший, вновь увидел свою Беатриче (или Амиру — под этим именем Олизар воспевал Марию Николаевну в страдальческих стихах). Внук Волконской рассказал об этом так: «Через тридцать три года, когда, после возвращения из Сибири, Мария Николаевна поехала за границу, она встретилась с Олизаром. У нас осталось два письма, полученных княгинею от ее прежнего воздыхателя: обезвреженная старостью, в них дышит искренность восторженного преклонения»[110]. Заграничное рандеву имело российское продолжение. Спустя еще несколько лет супруги Волконские, находясь в Воронках Черниговской губернии (имении зятя), принимали там заглянувшего в гости поляка. Подробности их сентиментальных бесед нам неизвестны. «Множество воспоминаний прошлого всколыхнулись во мне после визита, нанесенного нам графом Олизаром. Когда-то оказавший немало услуг моему тестю и Мишелю Орлову, он и поныне предан семейству Раевских», — только и сообщил С. Г. Волконский А. М. Раевской в письме от 12 апреля 1863 года[111].

Это было последнее свидание графа с Марией Николаевной, к тому времени уже тяжелобольной. Через несколько месяцев ее не стало. Густав же Олизар почти сразу после Воронков покинул Россию — и совсем ненамного пережил Волконскую.

Так что получилось словно в элегии: они не виделись целую вечность, наконец встретились, но встретились уже на пороге инобытия — и их встреча обернулась прощанием навсегда.

Рискнем утверждать, что история сватовства графа Олизара к Марии Раевской изучена все ж таки недостаточно.

Выше сообщалось, что в октябре 1824 года Пушкин написал стихотворный ответ на послание к нему Густава Филипповича. Этот текст не публиковался при жизни поэта, хотя под заглавием «к Гр<афу> Ол<изару>» вошел в составленный им в 1827 году список стихотворений, предназначаемых для издания[112]. Сохранился черновик пушкинских стихов (в начале перебеленных с другой, неизвестной рукописи):

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена:
То [наша] стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою…

Далее Пушкин писал о глубине исторических противоречий, разъединивших два славянских народа. Раскол затронул даже сферы самые интимные, казалось бы, бесконечно далекие от политики и идеологии, — он вторгся и во владения Гименея:

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен…

А затем, в качестве подтверждения своей мысли, Пушкин — видимо, резко и не слишком тактично — напомнил графу о его недавнем неудачном сватовстве к Марии Раевской:

[И наша дева молодая,]
Привлекши сердце поляка,
[Отвергнет,] [гордостью пылая,]
Любовь народного врага (*II, 297)*.

В других набросках этой строфы многократно фигурирует та же тема: русская дева *самолично* отвергает притязания иноверца: «Не изберет себе супругом», «Не призовет из далека», «Не примет поляка», «Не примет любовь» *(II, 807)*. Подыскивая подходящий поэтический вариант, Пушкин упорно повторял: инициатором разрыва выступает не кто-либо, а распоряжающаяся собственным будущим гордая женщина.

Нам неведомо, узнал ли граф Олизар о содержании пушкинского послания: до появления стихов в печати он не дожил[113], а его мемуарная фраза об «участии к себе первого русского поэта» не позволяет сделать однозначных выводов. Даже если допустить, что стихи дошли до адресата, без ответа остается главный вопрос: как отнесся Густав Филиппович к безапелляционному утверждению Пушкина о том, что *именно дева,* то есть Мария Раевская, решила судьбу незадачливого любовника?

За графа Олизара ответили историографы и пушкинисты.

С давних пор в пушкиноведении принято мягко поправлять поэта: «Отказ Олизару был сделан не столько „русской девой“ М. Н. Раевской, сколько ее отцом. А в какой мере самое М. Н. характеризовали националистические — вплоть до враждебной к иноземцам окраски — чувства, положительно неизвестно»[114]. Подобная позиция, иногда с небольшими вариациями, господствует и в наши дни[115].

Рассуждая строго формально, критики Пушкина, конечно, правы: ведь письмо, лишившее поляка каких бы то ни было надежд, было написано Николаем Николаевичем Раевским, отцом Марии. Но указанная прямолинейная трактовка событий 1823 года привела к тому, что биографы игнорировали закулисную, самую захватывающую часть романтической истории.

В их распоряжении находился красноречивый документ — а они им толком и не воспользовались.

Из документа же выясняется, что Густав Олизар был человеком не только любвеобильным, но и упрямым. Неудача с Марией не сломила его, и граф по-прежнему мечтал породниться с Раевскими. Он надумал взять неприступное семейство измором. Попереживав по поводу фиаско с Беатриче и выдержав паузу, Густав Филиппович в 1828 году сделал предложение другой дочери генерала — Елене, которую, по его собственным словам, «можно бы было сравнить с цветком кактуса, так как она, подобно последнему, после пышного расцвета быстро увяла и, пораженная неизлечимой болезнью, влачила тяжелую, исполненную страданий, жизнь»[116]. Неужели граф хотел принести себя в жертву, посвятить набирающую ход жизнь подвижничеству, уходу

за угасающей супругой? Памятуя о его деловитости, женолюбии и дальнейшей биографии, право, трудно в это поверить. Скорее можно предположить, что он, заставший «пышный расцвет» девушки, тогда еще не ведал о ее прогрессирующем туберкулезе.

Характерно, что в своих воспоминаниях поляк ни словом не обмолвился о сватовстве к Елене Николаевне Раевской. Оно и понятно: ведь Олизара ждал очередной отказ.

Ирония судьбы: буквально все, что принято относить к вехам биографии, двоилось в его жизни: пара арестов по делу 14 декабря, два конфуза со сватовством, столько же бракосочетаний и детей…

По поводу второго сватовства графа генерал Н. Н. Раевский писал сыну Николаю 16 мая 1828 года из Болтышки:

«Алионушка не здорова, гр<аф> Ол<изар> влюблен, сватался, она не пошла за него, я б не отказал ему, но рад, что сие не исполнилось, ибо таковой союз утвердил бы еще более в несправедливом сомнении… которое ты угадать можешь»[117].

Комментируя данные строки, Б. Л. Модзалевский напомнил читателю об истории с Марией Раевской, когда Густав Филиппович «получил отказ, мотивированный разницею в религиях; теперь, при сватовстве на Елене Николаевне, неловко было Николаю Николаевичу забыть о прежних мотивах к отказу»[118]. Думается, что ученый проницательно расшифровал главную мысль Раевского-старшего.

Однако из отцовского письма можно сделать еще два равно важных вывода.

Прежде всего, становится ясно, что хотя генерал Раевский и был полновластным главой семьи, имел решающий голос, он культивировал в доме и определенный демократизм: например, прислушивался к мнениям дочерей и, сверх того, порою соглашался с ними, даже мог пойти против собственной воли («я б не отказал ему») и уступить дочерней непреклонности.

Второе обстоятельство не менее значимо. Эпизод 1828 года с Еленой Николаевной и Олизаром убедительно доказывает, что жгучая русско-польская проблема, «различие народности и религии» не были для Раевского-старшего теми «проклятыми вопросами», которые делали смешанные браки его дочерей невозможными по определению[119]. Пусть генерал, просвещенный патриот России, и недолюбливал поляков как нацию, пускай беспощадно разил антагонистов в ходе военных действий — он никак не принадлежал к тем зашоренным деятелям, которые, абсолютизировав принцип крови, презирали *всякого* шляхтича и обходили его за версту. Для Раевского, как говорится, были поляки — и поляки. Этот подход позднее

лапидарно выразил Пушкин в известной эпиграмме:

> Не то беда, что ты поляк:
> Костюшко лях, Мицкевич лях!.. *(Ill, 215)*.

Не подлежит сомнению, что и остальные члены семейства Раевских руководились в межнациональных сношениях схожими соображениями.

Выявленные факты, а также фрагменты мемуарного рассказа графа Олизара и пушкинские стихи, адресованные поляку, укладываются в единую непротиворечивую версию событий, связанных с сватовством Густава Филипповича к Марии Раевской. Эта версия отличается от традиционной.

На наш взгляд, есть все основания считать, что Мария *сама* — решительно и бесповоротно — отказалась стать женой Густава Олизара. Какие аргументы предъявила девушка на семейном совете, мы, видимо, уже не узнаем. Услыхав от дочери о ее категорическом решении, отец, быть может, и не сразу, однако смирился с ним. Тут перед генералом возникла щекотливая проблема:

> Но шопот, хохотня глупцов… *(VI, 122)*.

Нужен был удобный, устраивающий всех — и не в последнюю очередь «общественное мненье» — *повод* для отказа магнату. И он быстро нашелся: ведь существовало объективное «различие народности и религии». Такая причина была понятна и русскому, и польскому обществу, не вредила репутации Раевских и — что тоже существенно — не задевала мужской гордости несостоявшегося жениха[120]. Найденную формулировку и предал гласности генерал Раевский, который вынужденно, повинуясь требованиям этикета, сыграл роль официального лица, уполномоченного наложить вето на брак Марии.

В предельно учтивом, почти ласковом письме, направленном Раевским графу Олизару, чувствуется неловкость старика, нескрываемое его сожаление по поводу случившегося. Лицемерная роль господина, расстраивающего брак, была ему совсем не по душе, а вымученная формулировка отказа в какой-то степени не соответствовала воззрениям. Однако генерал ради любимой дочери преодолел себя.

Такая версия заодно объясняет и странное сватовство Олизара к Елене Раевской. Граф бил тогда генералу Раевскому челом — но вовсе не бился тупо об стену. Очевидно, он

догадывался (или знал наверняка), что мотивы отказа, указанные генералом в 1823 году, были надуманны. В данном случае поляк мог решиться вновь, как ни в чем не бывало, обратиться к тому, кто однажды, отвергая его притязания, прибег к аргументам, вроде бы не подвластным времени и настроению.

Так что Пушкин был все-таки прав, заявляя, что именно «дева молодая» отвергла любовь поляка. Вероятно, поэт получил сокровенные сведения из первых рук, от кого-либо из Раевских.

По-своему права была и Мария Раевская, каким-то образом уговорившая отца написать графу столь нужные ей слова: ведь она любила *другого* человека.

Глава 4
ПУШКИН

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет…

А. С. Пушкин

Пушкинисты так и не пришли к единому мнению относительно того, когда и где поэт впервые увидел Марию Раевскую. Например, П. И. Бартенев, беседовавший с нашей героиней в Москве в 1856 году, не догадался спросить ее об этом прямо и по прошествии лет писал предположительно: «Может быть, он познакомился с семьею генерала Раевского, с его дочерьми, еще раньше поездки на Кавказ, еще в Петербурге»[121]. Столь же осторожен был и П. Е. Щеголев: «Остается открытым вопрос, был ли вхож Пушкин в семью Раевских еще в Петербурге и не познакомился ли он с Марией Раевской еще до своей высылки»[122]. Другие исследователи, ссылаясь на «семейную переписку Раевских, в большей своей части еще не опубликованную», и учитывая, что поэт уже в лицейские годы стал закадычным приятелем Николая Раевского-младшего, проявили большую решительность и однозначно указали на Северную столицу, датировав интересующее нас знакомство 1817–1820 годами[123].

Допускаем и мы, что встреча «на брегах Невы» могла состояться. Несложно определить и ее возможное место: «по Гороховой улице, против дома Губернского правления, в доме г-на Бека, под № 105»[124] — там жительствовали Раевские. Только едва ли следует придавать ей, этой встрече, какое-то особенное значение: ведь Машенька была тогда еще сущим ребенком. И девичье свидание с известным молодым пиитом и повесой если и произошло, то скорее напоминало трогательный, но необязательный, едва связанный с сюжетом *пролог*.

Для развития же самого сюжета потребовались время, а также экстраординарные политические обстоятельства и сказочные, убыстряющие ход романтических событий, декорации полуденного края России.

Как известно, Пушкин по выходе из Лицея в 1817 году был определен на службу в Коллегию иностранных дел. Служил новоиспеченный коллежский секретарь не слишком усердно, предпочитал быть «гулякой праздным», отчего страдала не только

государственная служба, но и то, что поважнее — стихи. Старшие друзья волновались за непутевого Сверчка, заботились о его здоровье, сообща выдумывали, как заставить талантливого кутилу взяться за ум — но все было напрасно: Пушкина «по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он жадно, бешено предавался всем наслаждениям» (Л. С. Пушкин).

Большой беды в этом, конечно, не было: так, а то и похлеще, вели себя в младые годы многие. Однако за Пушкиным-повесой постепенно закрепилась и иная, довольно опасная слава: он прослыл отъявленным либералистом. По городу ходили его вольнодумные стихи и эпиграммы, в салонах обсуждали (и осуждали) неприличные выходки чиновника в театре, чрезмерно резкие фразы и тому подобное. С некоторых пор и тайная полиция пристально следила за поведением подозрительного субъекта.

А тот продолжал искушать судьбу — и на всех парах мчался к роковому финалу.

Долготерпение правительства лопнуло весною 1820 года. Император Александр I осердился не на шутку. Молодого проштрафившегося стихотворца со дня на день ожидала самая печальная участь: в одной из бесед царь утверждал, что «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает»[125]. Влиятельные друзья-опекуны кинулись выручать поэта, ходатайствовали перед сильными мира сего, обратились к августейшим персонам — и преуспели в заступничестве. Решающую роль сыграло, по-видимому, слово и имя Н. М. Карамзина.

19 апреля историк поведал о случившемся И. И. Дмитриеву: «…Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность[126], эпиграммы на властителей, и проч., и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются последствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому: иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие»[127].

«Громоносные» последствия оказались благоприятными для упавшего было духом Пушкина. По высочайшему повелению нашкодившего коллежского секретаря вместо ожидаемой им Сибири наказали переводом по службе: он был определен в

подчинение «главного попечителя колонистов Южного края России генерал-лейтенанта Инзова». Управляющий Коллегией иностранных дел граф К. В. Нессельроде писал новому начальнику поэта: «Его покровители полагают, что его раскаяние искренне и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины…»

4 мая 1820 года на письме (черновик которого подготовил граф И. А. Каподистрия) появилась резолюция Александра I: «Быть по сему»[128].

Спустя несколько дней Пушкин, получив подорожную и тысячу рублей ассигнациями на проезд, отправился «по казенной надобности» на Юг. Возможно, перед отъездом он, делая прощальные визиты, заглянул и на Гороховую, к Раевским (в Петербурге тогда находились Софья Алексеевна и ее дети Екатерина и Елена)[129].

14 или 15 мая поэт достиг Киева и тут же нанес визит другой половине семейства Раевских. Генерал и его сын Николай, а также дочери Мария и Софья собирали пожитки и готовились к путешествию на Кавказские Минеральные Воды.

В Киеве Пушкин не задержался. Пробыв там не более суток, он покинул древнюю столицу и взял курс на Екатеринослав, где должен был представиться генералу И. Н. Инзову. Раевские обещали двинуться следом и догнать странствующего чиновника. Так и произошло: они выехали 19 мая[130].

Тем временем Пушкин уже гулял по Екатеринославу и его окрестностям. Поэт познакомился с новым начальником и остался им, «добрым и почтенным», доволен. Теперь он с нетерпением поджидал приезда в город Раевского-старшего: ведь тот обещал (очевидно, поддавшись уговорам сына Николая) поговорить с И. Н. Инзовым на предмет предоставления *отпуска* еще не начавшему служить Пушкину. Как писал позднее П. И. Бартенев, «почтенный генерал и сам, без сомнения, рад был оказать услугу молодому поэту». Этот отпуск Пушкин намеревался использовать для путешествия на Кавказ вместе с Раевскими.

Наконец семейство генерала прибыло в Екатеринослав.

И тут неожиданное происшествие облегчило миссию Николая Николаевича Раевского-старшего. О случившемся нам известно из ряда источников.

Сам Пушкин писал брату Льву 24 сентября 1820 года: «Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью.

Генерал Раевской, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить…» *(XIII, 17)*.

Человеколюбивый доктор Е. П. Рудыковский, сопровождавший Раевских, описал возникшую ситуацию так:

> «Едва я, по приезде в Екатеринославль, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала.
>
> — Доктор! я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь; поспешите со мною!
>
> Нечего делать — пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек — небритый, бледный и худой.
>
> — Вы нездоровы? — спросил я незнакомца.
>
> — Да, доктор, немножко пошалил, купался: кажется, простудился.
>
> Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.
>
> — Чем вы тут занимаетесь!
>
> — Пишу стихи.
>
> „Нашел, — думал я, — и время и место“. Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня»[131].

Болезнь, к тому же удостоверенная доктором, была серьезным аргументом. Поэту настоятельно требовалось лечение. Уже на следующее утро генералу удалось побеседовать с Инзовым и получить разрешение на пушкинское путешествие вместе с Раевскими. Все сложилось как нельзя лучше.

А ведь в теории могло получиться и по-иному. Не будь у Ивана Никитича Инзова столь доброго сердца — глядишь, и поступил бы он строго формально: под благовидным предлогом отказал визитеру, взял да не откликнулся на просьбу прославленного инвалида, оставил поднадзорного Пушкина выздоравливать при себе, в Екатеринославе. Как государственный чиновник, блюдущий порядок, он был бы абсолютно чист перед уставами и петербургскими инструкциями — но безмерно провинился бы перед отечественной литературой.

Ведь скажи Инзов «нет» утром того достопамятного дня — и

не было бы, скорее всего, у нас каких-то пушкинских произведений, не было бы (трудно представить) и Татьяны Лариной.

Крайне хрупким и непредсказуемым порою кажется этот мир — но все *главное* в нем закономерно и незыблемо.

Недаром Пушкин придавал столь большое значение случаю, «странным сближениям»: они преследовали его всегда и повсеместно и, настигая, раз за разом убеждали в неслучайности самого бытия.

28 мая Раевские и Пушкин, позавтракав, выехали из Екатеринослава и двинулись по Мариупольской дороге. «Инзов благословил меня на счастливый путь, — сообщал поэт брату, — я лег в коляску больной» *(XIII, 17)*. У него был «озноб, жар и все признаки пароксизма»[132]. «Здоровье его было сильно расшатано», — вспоминала через много лет княгиня М. Н. Волконская[133].

В компанию путешественников, помимо Пушкина, входили: сам генерал Раевский, его дети Николай, Мария и Софья, гувернантка мисс Мятен, компаньонка Анна Ивановна Гирей («крестница генерала, родом татарка»), учитель француз В.-А. Фурнье де Бафлемон и доктор Е. П. Рудыковский. «Всё это общество помещалось в двух каретах и коляске, — скрупулезно писал П. И. Бартенев. — Пушкин сначала ехал с младшим Раевским в коляске, а потом генерал пересадил его к себе в карету, потому что его сильно трясла лихорадка»[134]. Любопытно, что в подробных письмах, которые глава семейства отсылал с дороги своей дочери Екатерине (Н. Н. Раевский-старший назвал их «родом журнала»), имя больного поэта почему-то не было названо ни разу.

Через неделю от пушкинской болезни не осталось и следа.

Так начались «счастливейшие минуты жизни» поэта.

(Позднее Пушкин утверждал, что «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы». И как тут поспоришь: ведь только в этой странной империи могли покарать неблагонадежного подданного ссылкой — в восхитительный край, к теплому морю, а по дороге виновного к месту отбывания ссылки еще и ужесточить ему наказание — долговременным отпуском.)

Пушкин рассеянно поглядывал в окно и слушал генерала, который неторопливо рассказывал анекдоты о своем родственнике и властелине данного края — царство ему небесное — светлейшем князе Потемкине.

В соседней карете ехала Мария Раевская. Встреча с известным

стихотворцем, к тому же гонимым бессердечными властями, хворым и несчастным, не могла оставить ее равнодушной. Дивные пейзажи, открывавшиеся вокруг, Машеньку мало интересовали. Ей было до слез жаль молодого человека, едущего с отцом.

И эту жалость можно считать началом *сюжета.*

Вовсе не случайно лексикографы утверждают, что на Руси слова «жалость» и «любовь» иногда становятся синонимами.

Едва заметная «искра нежности» заронилась в душе девушки.

А навстречу шагали полосатые версты-гренадеры. Кареты переваливались с боку на бок и поскрипывали, словно приветствуя стройных молодцев.

Марии шел тогда пятнадцатый год.

Утром 30 мая притомившиеся путешественники остановились неподалеку от Таганрога, покинули кибитки — и, оглядевшись, пришли в восторг от открывшегося вида Азовского моря. «Вся наша ватага, — писала Мария Николаевна в мемуарах, — выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость…»[135]

Надо пояснить, что стихи из первой главы «Евгения Онегина», о которых вела речь мемуаристка —

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами![136]
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей! *(VI, 19)* —

написаны спустя несколько лет, в 1823 году, и хотя в них как будто есть упоминания о чувствах 1820 года («Как я желал

тогда…» и т. п.), они всё же характеризуют состояние души более позднего, в чем-то изменившегося Пушкина, и — что не менее существенно — являются *поэтической интерпретацией* эпизода под Таганрогом, которая вовсе не тождественна самому эпизоду и его эмоциональному контексту. Однако сам факт появления романной версии данной «картины» (которая в «Евгении Онегине» лишена всяких признаков «детской шалости») глубоко знаменателен: он доказывает, что тогда, на утреннем берегу Азовского моря, поэт — похоже, впервые — *заметил и запомнил* Марию Раевскую.

Не было, разумеется, и в помине никакого пушкинского «порыва страстей» — но все же «искра» ее «нежности» не осталась без учтивого ответа.

Правда, галантность — всего лишь рифма к «жалости», причем не самая удачная…

6 июня дружная компания прибыла в Пятигорск, на Горячие воды, где путешественников встречал Александр Раевский. В течение двух последующих месяцев Раевские и Пушкин, переезжая с места на место и меняя целебные источники, «ходили, спали, пили, купались, играли в карты, словом, кое-как убивали время»[137]. Случалось, ездили осматривать «Бештову высокую гору», посещали Шотландку и прочие местные достопримечательности. Девушки, по словам генерала, брали ванны «по одному разу, а когда жарко — по два, в воде кисло-серной, теплотою как парное молоко, единственно для забавы»[138].

«Чрезвычайно помогли» воды Пушкину, «особенно серные горячие» *(XIII, 17)*. «Все эти целебные ключи, — сообщал он Левушке, — находятся не в дальном расстояньи друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты [не] со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии — любопытен во всех [своих] отношениях» *(XIII, 17–18)*.

За два кавказских месяца Пушкин урывками создал эпилог к «Руслану и Людмиле», несколько шуточных стихотворений и эпиграмм. Во время одной из прогулок в горы поэту повстречался старый инвалид, который рассказал ему о своем пребывании в плену у черкесов. Считается, что эта беседа «дала материал Пушкину для поэмы „Кавказский пленник“»[139].

В начале августа странники перебрались в Крым и в ночь на 19-е число прибыли в Гурзуф. Во время переезда морем Пушкин

на военном корабле, ночью, написал элегию:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной… Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан… (*II, 135)*.

Эта элегия (вскоре опубликованная) важна для прояснения

душевного состояния Пушкина на старте южного периода его жизни, в дни и месяцы тесного общения с Раевскими, которые стали для поэта единственным и вполне достаточным обществом, заменили привычный «свет». Думается, М. О. Гершензон заблуждался, утверждая в очерке «Северная любовь А. С. Пушкина» (1908): «На протяжении многих месяцев после приезда на юг его стихи и письма говорят об одном: о полной апатии, об омертвелости духа, о недоступности каким бы то ни было впечатлениям»[140]. Однако элегия «Погасло дневное светило…» являет нам гораздо более сложную гамму тогдашних пушкинских чувств. Ни о какой «апатии», «омертвелости духа» и тому подобном речи здесь не идет. Да, сердце поэта изранено и раны кровоточат, какая-то былая «безумная любовь»[141] и связанные с ней страдания и тоска не отпускают его, — но Пушкин, с упоением вспоминая прекрасное минувшее (и стараясь забыть никчемное: «минутной младости минутных друзей», «наперсниц порочных заблуждений» и т. д.), уже *движется вперед,* он «с волненьем» *плывет,* стремится в «волшебные края», где его ждут «новые впечатления».

Он открыт им — и душа поэта готова их вместить.

Жизнь продолжается, и в ней, черт побери, бывают-таки «счастливейшие минуты».

На том же бриге, «который нарочно отдан был в распоряжение Раевским», плывет и Мария. Скорее всего, она даже стоит на палубе рядом с Пушкиным, совсем-совсем близко, и, не нарушая торжественного молчания, смотрит в ту же, что и поэт, точку — на «берег отдаленный». Сумерки — слуги преданные, и благодаря им иногда можно незаметно взглянуть и на задумавшегося (верно, что-то сочиняющего) спутника.

Отец, братья и сестра, находящиеся тут же, и в самом деле ничего не замечают.

Машенька еще совсем юна и — так просится в стихи, не забыть бы! — недавно столь забавно, ну вылитый ребенок, бегала за морскими волнами. Чиста и восхитительна, не чета покинутым столичным «изменницам младым». Чего стоят хотя бы эти украдкой бросаемые взоры…

Потом, как рассказывала Мария Николаевна П. И. Бартеневу, «Пушкин ходил по палубе и бормотал стихи»[142]. Может быть, эти:

> Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
> По грозной прихоти обманчивых морей…

Постепенно туман, стелющийся над неспокойным морем, и мрак южной ночи поглощают и невысокие силуэты, и самый

удаляющийся бриг…

В Гурзуфе, на даче герцога Ришелье, семейство Раевских оказалось в полном сборе: чуть ранее там уже обосновались приехавшие из Петербурга Софья Алексеевна Раевская и ее дочери Екатерина и Елена.

«Гурзуф — лучшая тогда дача на южном берегу — принадлежала герцогу Ришелье, который предложил Раевскому поместиться в ней. Дом двухэтажный, с двумя балконами, один на море, другой в горы, — вспоминала княгиня Волконская. — Тут же вблизи татарская деревня. Там ждала путешественников остальная семья Раевского, жена Софья Алексеевна (Константинова) и еще две дочери, старшая всем Екатерина (теперь Орлова) и Елена лет 16-ти. Пушкин особенно любезничал с первой, спорил с ней о литературе и пр. Елена была девушка очень стыдливая, серьезная и скромная. Она отлично знала по-английски и переводила из Байрона и В. Скотта на французский язык; но втихомолку рвала свои переводы и бросала. Брат рассказал о том Пушкину, который под окном подбирал клочки бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они необыкновенно близки. В Гурзуфе Пушкин достал какую-то старинную библиотеку и перечитывал Вольтера. Все разговоры иначе не велись, как по-французски»[143].

Солнечные дни летели весело и незаметно отнюдь не из-за Вольтера. Плешивый «фернейский крикун» получил скорую отставку. «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда [есть] увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского», — признавался Пушкин брату той же осенью *(XIII, 19)*.

С некоторых пор ему стало очень не хватать этого общества и раскованных французских бесед.

Гурзуфский парадокс: восстающий к жизни Пушкин не двигался с места, а вот хмурый Петербург постепенно удалялся от него на все большее расстояние.

В обшей сложности более трех месяцев провел Пушкин среди Раевских. Наконец пришло время отъезда, и 5 сентября поэт (в сопровождении старого генерала и Николая Раевского-младшего) покинул гостеприимную дачу и ее обитателей. Ему нужно было поспешать в Кишинев, возвращаться к благодетельному Инзову.

Обыденный и нехитрый ритуал: сойдя с крыльца, мужчины сели на подведенных лошадей — и тронулись в долгий путь. Наверное, наездники не понукали коней и поначалу часто

оглядывались: с балкона им долго махали.

От «странных сближений» и тут никуда не уйти: пройдет ровно четыре года, и в тот же день 5 сентября Пушкин снова будет прощаться с Марией *Раевской* — теперь уже навеки.

Пока же она для уезжающего поэта — «прелесть». Но Марии не должно этим обольщаться — столь же прелестны для Пушкина и Елена с Софьей. Если кто-то из сестер и выделяется им, то старшая, Екатерина — ведь Екатерина «женщина необыкновенная» (*XIII, 19)*. И ей (кажется, ей) уже посвящаются пушкинские стихи — те, где есть и «слово девы милой», и «легкий шум ее шагов» (*II, 133)*. Об этом «любезничаньи» Мария Николаевна будет вспоминать (похоже, не совсем бесстрастно) и через тридцать с лишком лет. Да и петербургские друзья вскоре проведают, что Пушкин «вздыхал» по Екатерине Раевской[144].

Всадники выбрали узкую тропу, ведущую к Ай-Данильскому лесу. И вскоре дача Ришелье с крошечными фигурками на балконе исчезла из виду — канула в прошлое.

Балкон опустел…

Впереди Марию Раевскую ждала еще не одна встреча с Пушкиным, и вот что любопытно: всякое новое их свидание теперь происходило в новой обстановке, в ином географическом пункте империи. Такая смена декораций придавала сюжету дополнительную динамику и свежесть.

Встречи 1821 года, к сожалению, почти не отражены в документальных источниках того времени.

Не прошло и полугода после гурзуфского блаженства, как поэт, сызнова отпросившись у Инзова, покинул Кишинев и направился в Каменку, имение Давыдовых, «милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского», где бездельничал более двух месяцев, предаваясь «аристократическим обедам и демагогическим спорам». В Каменке было «женщин мало», зато «много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов» (*XIII, 20)*. На обратном пути, в конце января 1821 года, Пушкин заглянул в Киев и, по доброй традиции, остановился в доме Раевских. Как раз подоспело время ежегодных киевских «контрактов» — зимней («крещенской») ярмарки, которая славилась не только масштабами экономических сделок, но и своей увеселительной частью: к этому сроку в город со всего Юга собиралось изысканное светское общество, сюда съезжались на гастроли музыканты и театральные труппы. Древний град торговал, считал барыши и развлекался на все лады.

В течение почти двух недель Мария ежедневно общалась с гостившим поэтом, который оставил Киев лишь в начале десятых

чисел февраля[145].

А в июне того же года Раевские — старый генерал, его жена Софья Алексеевна и дочери Мария, Елена и Софья — нанесли ответный визит Пушкину. Точнее, они приехали в Кишинев («проклятый город Кишинев») проведать свою дочь и сестру Екатерину, недавно (15 мая) вышедшую замуж за генерала М. Ф. Орлова, — и конечно же были рады свиданию с поэтом. По всей видимости, Мария Раевская имела возможность регулярно беседовать с Пушкиным именно во владениях Орловых: молодожены «зажили на широкую ногу, заняв два смежных дома и держа свой стол открытым для всей военной молодежи»[146]. (Известно, что в этих покоях Пушкин был завсегдатаем.) Раевские жили в Кишиневе до конца месяца, когда Екатерина Орлова отправилась в Одессу[147].

После кишиневской встречи девушка не видела поэта более двух лет. Однако это не означало, что Мария Раевская и Пушкин позабыли друг друга. Теперь они были близкие друзья, множество нитей связывало молодых людей — и их диалог на расстоянии продолжился. Он принял своеобычные формы, но развил и углубил их отношения.

Не будем забывать, что Мария в эти годы резко повзрослела и что разлука, тем более относительная, подчас готовит или совершает то, что не под силу никакому совместному, приятному и долгому, времяпрепровождению.

Мария Раевская не имела возможности лицезреть Александра Пушкина воочию — но знала о нем многое (даже то, чего знать не хотелось). Сведения об интересующей ее персоне поступали к ней отовсюду, и прежде всего от братьев и сестры Екатерины (та не раз виделась с поэтом). По-видимому, изредка, с оказией, прибывали и приветы поэта. Наверняка доходили до девушки и ядовитые слухи, распространяемые доброжелателями, — например, о пушкинских дуэльных историях или нескончаемых «донжуанских» похождениях, которые, конечно, не могли оставить Машеньку равнодушной.

Однако разговоры и письма родных, пересуды знакомых были лишь дополнением к главному — к произведениям Пушкина, напечатанным в эти годы.

По новым пушкинским стихам Мария усердно пыталась понять душевный мир поэта, проследить его метаморфозы после знакомства и серии встреч Пушкина с ней, Машенькой Раевской, и определить, появилось ли место *для нее* в том загадочном душевном мире (а коли и в самом деле появилось, то каково оно, это вожделенное место). Если ранее, в общениях 1820–1821

годов, девушка только *начала узнавать* Пушкина, то годы разлуки принесли с собою нечто совсем иное, причем нараставшее, — нашедшее, в частности, отражение в ее качественно изменившемся рецептивном поведении. Теперь литературные образы и чувства литературных героев, явившихся по воле любимого автора Марии, стали для нее тем важнейшим и убедительнейшим материалом, из которого дочь генерала постепенно *создавала своего Пушкина* и *свое чувство* к поэту.

«Искра нежности» не угасала — возгоралась.

В 1821–1823 годах было опубликовано немало пушкинских новинок; кроме того, переиздавались и уже известные сочинения. По всей видимости, Мария Раевская не пропустила ни одной значимой публикации — но кое-что все же отметила для себя особо и выделенное читала и перечитывала с повышенным вниманием и волнением.

В августе 1821 года в Петербурге появилась книга «Новое собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, вышедших в свет от 1816 по 1821 год», куда вошли и некоторые пушкинские произведения (впрочем, публиковавшиеся и раньше). Среди них была и элегия «Погасло дневное светило…», возвращавшая посвященного читателя к памятному морскому ночному путешествию в Гурзуф.

В те же августовские дни вышел в свет очередной номер журнала «Сын Отечества» (ч. 72, № XXXV), где впервые было напечатано пушкинское послание «К Ч-ву», то есть к П. Я. Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…»). Из него Мария Раевская могла, в частности, узнать, что поэт уже «забыл тревоги прежних лет» и, «вздохнув», оставил былые «заблужденья». Другие строки стихотворения были еще более обнадеживающими:

> Богини мира, вновь явились Музы мне
> И независимым досугам улыбнулись;
> Цевницы брошенной уста мои коснулись;
> Старинный звук меня обрадовал — и вновь
> Пою мои мечты, природу и любовь,
> И дружбу верную, и милые предметы,
> Пленявшие меня в младенческие леты… (*II, 168)*.

Под стихами стояла помета: «*Кишенев*. 20 апреля 1821» (*II, 612*; выделено в журнальной публикации). Если вспомнить хронику встреч Марии Раевской с Пушкиным, то получается, что стихи, декларирующие внутреннее обновление поэта (и, в числе прочего, воскрешение его веры в любовь!), написаны как раз

между их киевским и кишиневским свиданиями. При желании такое обстоятельство можно было рассматривать как многозначительное — а какая «мечтательница нежная» сторонится в сердечных делах многозначительности и не находит тайные знаки даже там, где их нет? Ведь недаром же сказано:

Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий… *(VI, 58)*.

На исходе 1822 года к публике пришел альманах «Полярная Звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности на 1823 г.», изданный А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым. Там было напечатано несколько новых пушкинских произведений — в том числе и «Элегия»:

Увы! за чем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой…
Увянет! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей;
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,
Беспечной, милой остротою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать…
Спешу в волненьи дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее;
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей —
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей *(II, 132)*.

Спустя несколько недель, в январе 1823 года, элегия была перепечатана в петербургском журнале «Новости литературы» (книга III, № I)[148]. Эти стихи писались в памятном 1820 году, в Гурзуфе и Кишиневе (а беловая рукопись была завершена 8 февраля 1821 года в Киеве). Принято считать, что они адресованы или болезненной Елене Раевской, или (что более вероятно) ее сестре Екатерине, вскоре ставшей Орловой. Возможно, Машенька

знала адресата пушкинского стихотворения доподлинно и даже испытывала, невзирая на родство, некоторую извинительную зависть к удачливой сопернице. Однако ее не могла не воодушевить промелькнувшая фраза про «счастливый круг семьи», то есть про всех Раевских — а значит, и про нее, Марию. Это была пусть и скромная, но все-таки компенсация за муки девичьей ревности: ее таки не забыли. Восьмой стих элегии заставлял предрасположенное к самообману сердце биться учащенно, внушал сдержанный оптимизм.

Центральным же и наиболее впечатляющим пушкинским произведением, попавшим в руки Марии Раевской в годы ее разлуки с поэтом, стал, безусловно, «Кавказский пленник».

Повесть вышла в свет в середине августа 1822 года[149] и была украшена портретом молодого поэта, гравированным Е. Гейтманом. Книга имела огромный успех у публики. В течение этого и следующего годов фрагменты романтической новинки многократно воспроизводились в столичных журналах и альманахах, а «Дамский журнал» князя П. И. Шаликова даже напечатал «Черкесскую песню» из поэмы с приложением нот для пения и фортепиано[150]. Мы не знаем, воспользовалась ли Мария указанным приложением и звучало ли в доме Раевских мелодичное «В реке бежит гремучий вал…» в ее исполнении. Конечно, модная музыкальная пьеса могла привлечь внимание девушки — вот только предполагаем, что если это и произошло, то за фортепиано юная певица меньше всего думала о музыке.

Мало заботили ее и отклики тогдашней критики, полемические поединки задорных журналистов и бесконечные малопонятные теоретические разговоры о «романтизме», «байронизме» и прочих премудростях. У Марии Раевской не было никакой нужды вникать в них: она имела собственные, может быть, наивные и «ненаучные», однако более для нее важные и убедительные критерии анализа пушкинского произведения.

Пока существует изящная словесность — будут существовать и эти читательские критерии. Суть их, пожалуй, можно выразить одной фразой из лексикона легендарного немца: отождествление «поэзии» с «правдой». Или (в более поздней русской редакции) — «стихов» с жизненным «сором».

Попробуем же взглянуть на «Кавказского пленника» именно с таких позиций — заинтересованными глазами девушки, которая, раскрыв книгу знакомого автора, лихорадочно ищет в ней *свое,* проецируемое на *ее* судьбу, *ей* и *только ей одной* адресованное.

Первые же страницы захватили Марию: ведь на них разместилось посвящение повести, адресованное не кому-нибудь, а брату Николаю Раевскому. Поэт писал:

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье…

Далее Пушкин возвращался к «счастливейшим минутам жизни» своей, к путешествию 1820 года вместе с Раевскими:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья…

Постойте, но неужели только с Николаем Николаевичем Раевским делил «души младые впечатленья» поэт? Разве никого другого — или, на худой конец, других — не было там, где

…дикой гений вдохновенья
Таится в тишине глухой… *(IV, 91).*

Уже первая часть поэмы развеяла скороспелые тревоги Машеньки. Читая романтическую повесть, она постоянно ловила себя на мысли, что многое — даже очень многое — в «Кавказском пленнике» применимо к ней, к ее жизни в последние два года. Иногда становилось жутко: поэт как будто проник в ее душу и обнаружил там то самое сокровенное, что девушка всячески таила ото всех.

Ото всех — и даже от самой себя.

А для того, чтобы обожающие посудачить люди не поняли, о ком и о чем эта поэма, всеведущий благородный Пушкин элегантно и тактично перенес место ее действия в отдаленный кавказский аул.

Молодой русский однажды попадает в плен к горцам. Страждущий раненый юноша, «хладный и немой», предается воспоминаниям — и эти воспоминания закованного в кандалы Пленника безрадостны. Жизнь на родине так и не принесла ему счастья:

Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы *(IV, 95)*.

Даже для неискушенной в литературных тонкостях Марии была очевидна перекличка этих строк со стихами запомнившейся элегии «Погасло дневное светило…». Судьба Пленника как две капли воды походила на судьбу автора элегии. Отсюда напрашивалось, что в образе русского юноши, очутившегося в неволе, Пушкин, прибегнув к художественной тайнописи, изобразил, по крайней мере в общих чертах, самого себя.

Героя, томящегося в плену и грезящего о «священной свободе», увидела «черкешенка младая». Для нее, повстречавшей обессиленного, жалкого узника (сразу вспоминается екатеринославская горячка Пушкина), миг первого свидания с чужаком стал началом новой, удивительной жизни:

Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье… *(IV, 97)*.

И вскоре Черкешенка изведала «восторги сердца, жизни сладость…». Теперь ради сохранения этой «первоначальной любви» девушка готова на всё. Она — неслыханный для горских традиций проступок! — даже не собирается подчиняться родительской воле:

«…Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжал иль яд» *(IV, 104–105)*.

И чудится читательнице, зовущейся Марией, что в этих стихах (в особенности в строке о «чужом ауле») сокрыт намек на другого, всамделишного жениха — примелькавшегося, настырного польского графа Густава Олизара.

А сама «дева молодая», ее яркая, запоминающаяся внешность и прочие достоинства — разве нет в них схожести с чертами той, кто сейчас, облокотясь, читает поэму?

Конечно, есть. Не могли же появиться случайно такие, к примеру, стихи:

> И черной падают волной
> Ее власы на грудь и плечи… *(IV, 110)*.

Столь же закономерны авторские повторы: «приятная речь», «голос нежный», «нежность пламенных речей»… Нежные речи дополняются «песнями гор», которые поет Черкешенка. Но особенное внимание Пушкин сосредоточил на ее чудесных глазах, и едва ли не на каждой странице, не боясь обвинений в скудости изобразительных средств, упоминает: «взоры», «взор умильный», «очи», «нежный взор», «милый взгляд», «огненный, невинный взор»…

Достаточно вспомнить о «нежности обращения» Марии Раевской, отмеченной современниками; о ее вокальных дарованиях; о темных, изысканно уложенных волосах (кое-кто даже считал ее жгучей брюнеткой); наконец о выразительных, «пронизывающих, полных огня» глазах дочери генерала — чтобы удостовериться в том, что Черкешенка являет собой, что называется, «верный снимок» Марии.

Надо ли говорить, сколь волнительно и радостно такое открытие. С еще большим трепетом Машенька погружалась в поэтическое повествование, следила за развитием захватывающей истории.

Она узнала, что Пленник бежал на Кавказ, спасаясь от мук несчастной любви:

> «…Нет, я не знал любви взаимной,
> Любил один, страдал один…» *(IV, 108)*.

Такое ни чуточки не страшило: в элегии, написанной на ночном корабле, Пушкин уже исповедался в этом. Но далее Марию ожидали заставляющие глубоко задуматься фабульные каверзы.

Они вели к трагической развязке поэмы.

Выяснилось, что Пленник не сумел, не нашел в себе довольно сил ответить на «непостижимую, чудную» любовь «девы гор» — его «бесчувственная душа» не откликнулась на «нежные чувства» Черкешенки:

Но русской жизни молодой
Давно утратил сладострастье.
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой —
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать *(IV, 98)*.

На последних страницах повести Пленник обращается к «юной деве»:

«Забудь меня; твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад…» *(IV, 105)*.

Они расстаются. И Пленник, кажется, не опечален чрезмерно: все мысли его почему-то сосредоточены не на Черкешенке — на ином предмете:

Вотще свободы жаждет он… *(IV, 108)*.

О нет, вовсе не понапрасну этот несносный русский алкал «священной свободы»: однажды его мечтам о дерзком побеге суждено было сбыться.

Ночью к Пленнику пробирается *она* — и помогает освободиться от оков.

На пленника возведши взор,
«Беги, — сказала дева гор: —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит» *(IV, 111)*.

После короткого душераздирающего прощания, заключенного

«долгим поцелуем разлуки», русский бросается в воды горной реки.

Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них…
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон…
На дикой брег выходит он,
Глядит назад… брега яснели
И опененные белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой…
Всё мертво… на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкой звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.
Всё понял он… *(IV, 112)*.

Поняла и читательница: поставленный перед дилеммой — *любовь или свобода* — Пленник выбрал последнюю и своим выбором погубил Черкешенку.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал *(IV, 95)*.

Можно себе представить, какими чувствами была обуреваема наша героиня по прочтении повести. Казалось: не от Черкешенки — от нее, Марии Раевской, удалялся Пленник, плыл и пенил волны, потом шел «тропой далекой». Скоро, через миг он скроется в туманах…

Нечто похожее уже имело место — тогда, в Гурзуфе.

Надо было что-то делать, чтобы вернуть или хотя бы задержать его.

Закрывая книгу, Мария еще раз взглянула на гейтмановский портрет Пушкина. Юное лицо его, прежде столь милое и притягательное, теперь казалось холодным и почти чужим.

Она не знала, как ей быть, на что решиться.

Распрощавшись с Марией Раевской в июне 1821 года в Кишиневе, Пушкин сохранил в душе самые теплые воспоминания об отроковице. Подтверждением тому были и его графические наброски на полях рукописей. Исследователи рисунков поэта предположили, что в 1821–1822 годах Пушкин раз пять рисовал Машеньку в черновиках своих произведений[151]. Некоторые атрибуции пушкинистов довольно спорны, зато две представляются несомненными. Показательно, что оба указанных изображения дочери генерала (ее портрет и характерная линия профиля) возникли в рукописи «Кавказского пленника», а рядом с ними, на том же листе, приютился и погрудный автопортрет Пушкина[152].

Заслуживают внимания и другие признания поэта, касающиеся данной поэмы. Одно из них сделано в письме к кишиневскому приятелю подпоручику В. П. Горчакову и датируется октябрем-ноябрем 1822 года. Отвечая на его критические замечания, Пушкин обмолвился: «Характер Пленника не удачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» *(XIII, 52)*.

Не менее любопытно сообщение поэта В. И. Туманского, одесского знакомого Пушкина. Он пользовался доверием поэта, ему, «доброму малому», Пушкин читал отрывки еще не опубликованных произведений, вел с ним весьма откровенные беседы. В письме 1823 года к своей двоюродной сестре Василий Туманский поведал об одном таком разговоре и привел его фрагмент: «Мария <Раевская> — идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта)…»[153]

Таким образом, имя девушки, ставшей прототипом («идеалом») «девы гор», не держалось Пушкиным в глубокой тайне. Не отрицал он и того, что в его поэме наличествуют мысли «о себе самом» (да и разве могло быть иначе?). Например, 29 апреля 1822 года поэт признавался в письме к Н. И. Гнедичу, что в «Кавказском пленнике» «есть стихи моего сердца», и далее писал: «Черкешенка моя мне мила, любовь ее [меня трогает] трогает душу» *(XIII, 372)*.

Все это, однако, еще не позволяет делать смелых выводов.

Воссоздавая историю сближения Марии Раевской и Александра Пушкина и анализируя, в частности, период их разлуки (1821–1823), надо учитывать одно немаловажное обстоятельство, без которого мы не сможем верно понять самую суть случившегося позднее. Дело в том, что молодые люди, проектируя в эти годы умозрительные (и непохожие) модели

отношений между собой, придавая этим параллельным проектам определенную динамику, парадоксальным образом обретались в *различных хронотопах.*

Машенька, как уже было сказано, ориентировалась в основном на пушкинские *опубликованные* тексты, то есть, выражаясь образно, жила в ирреальном мире, к тому же в *прошедшем времени* поэта, и на таком фундаменте мечтательно конструировала свое (и их совместное) настоящее и грядущее.

Пушкин же на Юге необычайно быстро творчески развивался, претворяя реалии бурной собственной жизни (где фигурировала и Мария) в мобильные лирические формы, — причем процесс претворения шел настолько быстро, иногда почти молниеносно, что типографический снаряд (да и неповоротливая въедливая цензура) никак не успевал за его, Пушкина, ростом. Существенно для нас и то, что некоторые стихи, готовые и отделанные, поэт, напротив, сознательно «придерживал» в своем портфеле, по каким-то соображениям не спешил отдавать в печать.

Иными словами, отвлеченная версия отношений с поэтом, взлелеянная и изобретательно совершенствуемая девушкой, с течением времени все больше и больше контрастировала с пушкинским *фактическим* взглядом на Марию Раевскую.

Следы подобного взгляда исследователи обнаруживают в ряде произведений поэта, тогда еще (то есть в годы разлуки с Марией) не увидевших света.

До сих пор ученые не пришли к единому мнению, кого изобразил (или чье имя зашифровал) Пушкин в элегии «Редеет облаков летучая гряда…» (1820). Некоторые пушкинисты склонны считать, что речь идет о Елене или Екатерине Раевских; изредка называются и иные имена (в их числе, как это ни странно, и сорокалетней Екатерины Андреевны Карамзиной, жены историка). Другие же (таких едва ли не большинство) убеждены, что поэт имел в виду нашу героиню.

Камнем преткновения стали три последних стиха «Таврической звезды» (так называлась элегия в беловом автографе; *II, 582):*

> Когда на хижины сходила ночи тень —
> И дева юная во мгле тебя искала
> И именем своим подругам называла *(II, 144)*.

Как установил еще Б. В. Томашевский в работе «„Таврида“ Пушкина» (1949), Екатерина Орлова (Раевская) считала «своею» какую-то звезду, которую она наблюдала на южном небе. Однако этот весомый довод, добытый ученым в семейной переписке

Орловых, все-таки трудно признать решающим, ибо в действиях Екатерины Николаевны не было ничего оригинального, ей одной свойственного.

Люди испокон веков (и особенно после восхода звезды Вифлеемской) предавались подобному занятию, по-хозяйски распоряжаясь небесными светилами (отсюда возникли устойчивые фразеологизмы типа: «родиться под счастливой звездой», «искать свою звезду», «взошла ее звезда» и т. п.). Резонно к тому же предположить, что если у одной из дружных Раевских таковая — *анонимная* — звезда однажды появилась, то младшие сестры («подруги»), подыгрывая Екатерине и соперничая с нею, не отстали от придумщицы и обзавелись собственными. В таком случае как раз у звезды Марии Раевской могло существовать — в отличие от екатерининской — имеющее давнюю историческую традицию *имя.*

Аргументация сторонников этой версии восходит к началу XX столетия. Она примерно такова: «Через И. Н. Розанова мы узнали, что Вячеслав Ив. Иванов, толкуя в руководимом им пушкинском семинарии это стихотворение, обратил внимание на его последние заключительные строчки, столь неясные по своему смыслу <…>. В. И. Иванов объяснил, что в католическом мире Венера (Таврическая звезда) носит, между прочим, название „Звезды Марии“. А если, действительно, Пушкин имел в виду как раз это название, то мы находим тогда полное подтверждение тому, что под юной девой надо разуметь юную Марию Раевскую»[154].

Это объяснение довольно остроумно, однако, к сожалению, тоже уязвимо, в том числе и с позиций астрономических[155]. Уязвимо — не значит отброшено за никчемностью. Наверное, можно закрыть глаза на слабые, не подкрепленные дополнительными доводами, стороны данной версии и — вслед за П. Е. Щеголевым и прочими авторитетными учеными — принять ее в целом. Но даже если элегия и в самом деле посвящена Марии Раевской, никуда не деться от факта, зорко отмеченного еще М. О. Гершензоном в 1908 году: «В этих трех стихах нет намека на любовь; напротив, весь характер воспоминания исключает мысль о каком-либо *остром* чувстве: „Над морем я влачил задумчивую лень“, говорит Пушкин о себе»[156]. Хотя П. Е. Щеголев, полемист пылкий и не всегда корректный, и пытался впоследствии оспорить приведенное суждение, думается, ему так и не удалось опровергнуть своего оппонента. «Нет ничего, что говорило бы о любовном волнении поэта по отношению к „деве“, его отношение к ней совершенно бесстрастно», — настаивает и современный исследователь[157].

Замечание М. О. Гершензона можно подкрепить небольшим текстологическим наблюдением. Дорабатывая текст «Таврической звезды», Пушкин внес в него изменения, которые, как представляется, были призваны исключить потенциально возможные двусмысленные, чрезмерно «альковные» толкования отдельных стихов. Так, «сердечная нега» *(II, 583)* автора превратилась в более абстрактную «сердечную думу», а фигурировавшая в беловике «дева милая» *(II, 583)* стала в итоге просто «юной». Особенно интересна смысловая коррекция последнего стиха элегии. Если в беловом автографе было:

И именем своим с улыбкой называла (*II, 583),*

то в окончательном тексте находим следующий целомудренный вариант:

И именем своим подругам называла.

«Дева» уже не находится «во мгле» наедине (как могло показаться) с автором: отныне тот наблюдает «печальную, вечернюю звезду» в окружении целого женского общества. Картина, безусловно, романтическая, приятная во всех отношениях и просящаяся в элегию, — но вполне благопристойная, без малейшего интимного и — тем паче — эротического оттенка.

Исправляя строки об «элегической красавице», Пушкин вовсе не стремился максимально завуалировать свое к ней чувство — он, наоборот, декларировал это небезразличие, но только правдиво *уточнял его тогдашние границы.*

И поныне остается открытым вопрос о том, связаны ли с Марией Раевской некоторые другие стихи и наброски Пушкина, созданные в 1821–1823 годах. Зато в «Бахчисарайском фонтане», «самой интимной из пушкинских поэм»[158], похоже, явственно различимы следы раздумий поэта о нашей героине.

Есть основания предполагать, что легенду о фонтане Пушкин знал давно — еще с петербургских времен. В одной из редакций вступления к поэме, адресованного Н. Н. Раевскому-младшему («Н. Н. Р.») читаем такие стихи:

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ
Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз *(IV, 401).*

Правда, в других редакциях и вариантах имя рассказчика было скрыто: «Любви поведали преданье», «Поведали сие преданье», «Поведали мне в первый раз» *(IV, 400–401)*.

Не исключено, что данную тему поэт обсуждал в беседах с сестрами Раевскими во время совместного путешествия 1820 года. Те, как и Пушкин, могли услышать легенду от брата Николая:

> Младые девы в той стране
> Преданье старины узнали
> И мрачный памятник оне
> Фонтаном слез именовали… *(IV, 169)*.

Позже Пушкин уточнил, что «суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» *(XIII, 88);* что некая К** (или К***) «поэтически описывала мне его (фонтан. — *М. Ф.),* называя la *fontaine des larmes*[159]» *(IV, 176; VIII, 438; XIII, 252)*. Возможно, здесь имелась в виду Мария Раевская.

Первые наброски поэмы датируются мартом — июнем 1821 года[160]. В следующем году создавался основной текст, который и был переписан и переработан Пушкиным в январе-феврале 1823 года в Кишиневе. Летом, уже в Одессе, поэт читал фрагменты «Бахчисарайского фонтана» В. И. Туманскому (может быть, не только ему), о чем с усмешкой сообщил брату Льву в письме от 25 августа 1823 года: «…Я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!» *(XIII, 67)*. По всей вероятности, поэт слегка разыграл доверчивого собеседника, который, приняв пушкинские рассказы за чистую монету, поспешил написать в Петербург, что «Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille[161]» *(XIII, 67)*.

Нет никаких оснований отождествлять «женщину», о которой наговорил Пушкин Туманскому, ни с К** (К***), ни — тем более — с реальной Марией Раевской. Отметим еще, что поэт не видел ничего предосудительного в том, чтобы выставлять на всеобщее обозрение сокровенные (неважно — подлинные или присочиненные) эпизоды собственной биографии, связанные с «Бахчисарайским фонтаном», непринужденно, шутливо обсуждать их с малознакомым человеком, а потом и с братом, известным на

весь град Петров своей вопиющей нескромностью. Сильное, бережно утаиваемое и *неостывшее* чувство едва ли совместимо с подобным поведением любовника; к тому же оно вряд ли может быть предметом для его небрежной и легкомысленной мистификации.

Данное обстоятельство надлежит учитывать при разборе «Бахчисарайского фонтана».

Граф Густав Олизар впоследствии заявлял, что «Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской»[162]. Такая расплывчатая фраза допускает различные толкования и мало что проясняет. Другое дело — собственное свидетельство Марии Николаевны: в воспоминаниях княгиня сообщила, что к ней относятся следующие строки «Бахчисарайского фонтана»:

…Ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи[163].

Очи — намек, жест указующий. Иными словами, мемуаристка находила, что имеет (имела) сходство с темноглазой (и яснооокой) грузинкой Заремой, одним из центральных персонажей поэмы, «звездой любви, красой гарема».

Признание княгини надо считать ариадниной нитью для пушкинистов.

Гарем принадлежит крымскому хану Керим-Гирею, и было время, когда Зарема, выделенная повелителем, безраздельно царила в нем:

…Он светлый взор
Остановил на мне в молчаньи,
Позвал меня… и с этих пор
Мы в беспрерывном упоеньи
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущала нас *(IV, 166)*.

Не только «очами» Зарема похожа на Марию Раевскую. Как грузинка, она самой своей «национальной» внешностью напоминает нашу героиню, смуглую брюнетку. Усиливая и без того заметное сходство, поэт сызнова касается музыкальной (вернее, вокальной) темы и подчеркивает красоту и силу голоса Заремы:

Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний? *(IV, 159)*.

Кстати, эти «порывы пламенных желаний» и прочие проявления страсти, всепоглощенности одним чувством («язвительные лобзания», «сердца стон» и т. д.) смутили многих исследователей, которые и в мыслях не могли допустить, чтобы жена декабриста хоть как-то соответствовала подобным характеристикам. Отвечая таким ученым, П. Е. Щеголев однажды заметил, что «образ Волконской в нашем воображении создан не непосредственным знакомством и изучением объективных данных, а в известной мере мелодраматическим изображением в поэме Некрасова»[164]. Сама Мария Раевская откровенно говорила, что у нее «ртуть в венах», то есть причисляла себя к особам очень темпераментным, так называемого холерического типа. Да и вся дальнейшая ее жизнь была, если вдуматься, не чем иным, как цепью тех самых «порывов пламенных желаний», разнонаправленных, но всегда исключительно пылких, мощных и не ведающих преград.

Итак, было время, когда Гирей любил Зарему и давал ей «клятвы страшные». Было — и ушло безвозвратно. Успешный набег возлюбленного на иноверцев разрушил счастье красавицы. Теперь, после возвращения из похода, сердце хана принадлежит другой:

И ночи хладные часы
Проводит мрачный, одинокой
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена *(IV, 159–160)*.

Юную голубоглазую княжну, захваченную в плен во время татарского наскока на польские земли, зовут Марией. Она еще почти дитя, едва расцветшее невинное созданье — не чета чувственной, рожденной для страсти Зареме.

Удивительно, но и антагонистка Заремы имеет черты сходства с Марией Раевской. Это сходство отнюдь не ограничивается совпадением имен и возрастов, что давно обсуждено в пушкинистике[165].

Мария из поэмы — представительница (как и Раевские) древнего польского рода. Ее «седой отец», не смеющий повелевать дочерью, чем-то похож на старого генерала Раевского:

Для старика была закон

Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он:
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали… *(IV, 160)*.

Такой отец (как и Раевский-старший в истории с графом Олизаром) не мог (да и не стремился) принудить княжну выйти замуж без любви:

Толпы вельмож и богачей
Руки Марииной искали[166],
И много юношей по ней
В страданьи тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала
И независимый досуг
В отцовском замке меж подруг[167]
Одним забавам посвящала *(IV, 160)*.

Конечно, к таковым «забавам» относилась и неизменная музыка (своего рода пароль Марии Раевской):

Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла…[168] *(IV, 160)*.

Мария, очаровавшая Гирея, томится в особом, «дальнем отделенье» дворца. Ради нее хан смягчает «гарема строгие законы» и даже — неслыханное дело! — допускает в своих владениях почитание идолов гяуров. В келии пленницы

…день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает… *(IV, 162)*.

Для Марии все кончено: изнемогающий от неразделенной

любви хан Гирей как будто не существует, она «плачет и грустит», скучает «о близкой, лучшей стороне», зримо увядает.

С какою б радостью Мария
Оставила печальный свет! *(IV, 167)*.

Ночью к княжне тайно проникает ее соперница — Зарема. Грузинка умоляет Марию каким-нибудь образом «отдать ей прежнего Гирея»:

Не возражай мне ничего;
Он мой! он ослеплен тобою.
Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его;
Клянись… *(IV, 166–167)*.

Ошеломленная, ни на кого и ни на что не претендующая княжна не успела вымолвить и слова в ответ на граничащую с безумием мольбу — как Зарема «исчезла вдруг»…

«Промчались дни» — и несчастная Мария умерла. Беда не приходит одна: в те же сроки, буквально в ту же скорбную ночь завершила свои дни и Зарема:

…она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена *(IV, 168)*.

Такая малоправдоподобная синхронность смертей — не просто «недостаток плана» «Бахчисарайского фонтана», о котором говорил Пушкин в письме к приятелю *(XIII, 88),* а намеренный художественный ход, попутно порождающий указанную погрешность архитектоники. В этом суть замысла: персонажам, восходящим к *одному* прототипу, логично было и уйти из жизни *одновременно*.

Не случайно и другое: автор, посетивший спустя много лет Тавриду, ханский дворец и мраморный фонтан, воздвигнутый Гиреем «в память горестной Марии», так и не смог понять, чья «летучая тень» мелькала перед ним в «безмолвных переходах» унылых чертогов. Тень была *двулика*:

Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня

Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема? *(IV, 170)*.

Реальный, встреченный на жизненном перепутье «образ нежный» изначально был преобразован Пушкиным в два амбивалентных литературных образа, жестко противопоставленных друг другу, — и тем самым стихотворцу удалось, по его признанию, достичь «драматического достоинства» поэмы *(XI, 145)*. (Небезынтересно, что Зарема — анаграмматическая аллюзия Марии.) Теперь же, с явлением в последних стихах «Бахчисарайского фонтана» призрака «девы», охраняющего «в забвенье дремлющий дворец», происходит обратное преобразование — ликвидация созданной по воле автора оппозиции «Зарема — Мария». Финал поэмы ознаменован как бы *мистической реконструкцией реальности:* в бестелесном духе, неотступно следующем за поэтом, синтезируются и обретают органическую цельность полифонические черты Марии Раевской.

Этот слиянный дух, призрак архетипической «девы» далеко не безразличен Пушкину: недаром он «нежный» и пробуждает в душе «неизъяснимое волненье». Но он не ангелоподобен, лишен подавляющего превосходства над другими «девами» из грез и минувшего и, более того, вызывает не абсолютное преклонение, заставляющее *забыть* все и вся, — но, напротив, порождает *воспоминания,* ассоциации с иными «мятежными снами любви» (возможно, с той самой «северной любовью»):

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую… *(IV, 170)*.

Однако там, где рассудочная память берет верх над чувством, где допускается сама возможность сравнения и *уравнения* («столь же милый») былого и настоящего, — там нет большой любви.

«Образ нежный» — *лишь фрагмент* тогдашней пушкинской картины мира, но не сама заслоняющая все остальное картина.

Позднее Пушкин весьма трезво и холодно анализировал и «Кавказского пленника», и «Бахчисарайский фонтан». Для него поэмы были прежде всего экспериментами в области

романтической поэзии, ученическим подражанием лорду Байрону (и в то же время преодолением его влияния), то есть очередным этапом творческой биографии. По поводу «Пленника» он деловито писал, что это — «первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам» *(XI, 145)*.

В переписке Пушкин был еще откровеннее: «Вообще я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана…» *(XIII, 52);* брату же Льву он прямо заявил, что «Кавказский пленник» попросту «дрянь» по сравнению со «стихами к Овидию» *(XIII, 56)*. Показательно и другое признание поэта: *«Бахч<исарайский> фонт<ан>* слабее *Пленника* и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил» *(XI, 145)*. Вспоминал Пушкин и о том, как братья Александр и Николай Раевские хохотали над ужимками героев и отдельными стихами поэм — и он сам с удовольствием присоединялся к даровитым насмешникам.

Со стороны это выглядело примерно так: его «девы» из поэм стремились к любви, огромной и взаимной, простирали руки к возлюбленным и умирали, так и не достигнув полноты желанного счастья — поэт же подтрунивал над своими творениями.

Князь Вяземский однажды даже упрекнул Пушкина: мол, напрасно его персонаж не горюет о погибшей героине, — и получил от того обстоятельный ответ — полушутливый, полудосадливый, но и вполне серьезный. Пушкин писал приятелю 6 февраля 1823 года из Кишинева: «Мой пленник умный человек, рассудительный, он не влюблен в Черкешенку — он прав, что не утопился» *(XIII, 58)*.

«Он не влюблен в Черкешенку…» — вот и вся недолга.

Стоит вспомнить и пушкинский «Отрывок из письма к Д.», где поэт признался, что в 1820 году он оставил Бахчисарай и «полуденный берег» (а значит, и Раевских) «с равнодушием» *(IV, 404)*.

«Он не влюблен…» — *пока.*

Мария Раевская *в те годы* была для Пушкина в первую очередь весьма ценным *объектом,* необъявленной союзницей в противоборстве с прославленным англичанином, а ее «образ нежный» — пищей для «ума холодных наблюдений», источником поэтического подсобного материала, при помощи которого поэт решал — надо сказать, более чем успешно — насущные творческие задачи.

Нельзя упускать из виду и обстоятельства совершенно иного рода. В указанную пору Пушкин вполне искренно восхищался

«образами нежными» и «девами юными», милыми и трогательными, по возможности общался с ними, не наблюдая часов, однако в своей «дон-жуанской» практике отдавал несомненное предпочтение женщинам более зрелым и опытным, уже искушенным в любовной науке, к тому же имеющим довольно широкие взгляды на нравственность. Замужние дамы, львицы света и полусвета как нельзя лучше отвечали такой установке — и они-то и доминировали во внушительном перечне пушкинских южных побед.

Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
С начала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый…
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой… (*II, 201)*.

В общем, смолоду он был на редкость молод. Соответственным было и тогдашнее пушкинское отношение к браку и супружеской верности — отношение воистину циническое. Временами поэт откровенно издевался над обманутыми мужьями, хохотал («так, что кишки были видны») над «супружеским счастием» *(XIII, 59),* слагал стихи в честь упоительной измены:

Лишь сон на смертных налетает,
Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь… (*II, 20)*.

Бракосочетание, то есть добровольное приобщение к «уснувшим супругам», почиталось Пушкиным за поступок пошлый и безусловно глупый, и не раз он отзывался о шедших под венец приятелях и знакомцах именно в этом, оскорбительном смысле. Например, о женитьбе генерала М. Ф. Орлова он высказался в письме к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года столь сочно, что даже в Большом академическом собрании сочинений редакторы сделали деликатную купюру *(XIII, 29)*.

Можно сказать, пожалуй, и так: женитьба была для поэта синонимом обузы, несвободы — не таинством, свершающимся

где-то высоко, а вполне рациональным, житейским поступком, несовместимым с подлинной любовью. Если любовь есть поэзия, то брак — сделка разнополых негоциантов — непоэтичен по определению. Недаром для любви создано божественное ложе, а для брака — всего-навсего банальная постель. А коли Гименеевы узы таковы — то прочь самая мысль о ярме супружеских обязательств и да здравствуют поэзия и свобода, сиречь сговорчивые, необременительные прелестницы и раскованные чужие жены!

Должно было пройти еще несколько лет, чтобы такая «свобода» была кардинально переосознана Пушкиным в «постылую» *(VI, 180)*. Но тогда, в начале двадцатых, до этого было еще далеко.

> Как можно не любить любезных?
> Как райских благ не пожелать? *(II, 207)*.

Остается только вздохнуть: решающие встречи Машеньки Раевской с поэтом пришлись как раз на начало двадцатых…

Ныне, спустя почти два столетия, мы понимаем, что шансов у нашей героини тогда практически не было. Сама же Мария, ориентируясь на *своего* Пушкина, возможно, думала по-иному. Да если бы девушка и понимала, сколь наивны, призрачны ее надежды — разве можно допустить, что она повела бы себя иначе? Вся биография Марии Раевской-Волконской позволяет ответить на этот вопрос вполне однозначно. Она *всегда* была склонна устранять из жизни какую бы то ни было неясность, идти до конца в критические моменты, действовать наперекор мнению большинства, руководствоваться в любой ситуации (кроме, как увидим, одной-единственной) только собственными соображениями.

В моде, особенно у мужчин, было искушать судьбу — Мария же свою вершила.

Отказывая (через отца) графу Олизару, она сжигала мосты и уже твердо знала, как будет разговаривать с Пушкиным.

Теперь нашей героине, столько передумавшей и перечувствовавшей, оставалось только ждать и торопить встречу — форсировать развязку после затянувшейся неопределенности.

> Не говорит она: отложим —
> Любви мы цену тем умножим,
> Вернее в сети заведем… *(VI, 62)*.

Не в ее правилах было откладывать что-то важное на потом или жеманничать.

В Царском Селе, во Всероссийском музее А. С. Пушкина, издавна хранится, быть может, самый удачный и выразительный живописный портрет Марии Раевской. Он был написан неизвестным художником в начале 1820-х годов.

На полотне девушка изображена «в белом платье с высокой талией, с накинутой на плечи кружевной косынкой»[169]. Прекрасный романтический образ словно озарен мягким рассеянным светом неведомого источника — уж не звезды ли, той самой — «печальной, вечерней»? За Марией — темнеющие просторы и темное небо, надвигающаяся южная ночь. Есть что-то грустное в девичьем лице — и явственна решимость во взоре. Над черными глазами — чуть приподнятые, как будто вопрошающие, брови. По воле талантливого, сумевшего многое понять и додумать художника дочь генерала замерла на портрете вполоборота к зрителю — и создается впечатление, что она ждет от *кого-то,* перед ней и под той же звездой находящегося, какого-то одного, всё на свои места ставящего, слова; что Мария внутренне уже готова, получив *ответ,* развернуться анфас — или же довершить начатый поворот через левое плечо и уйти в сумеречные дали, в обступающую ее ночь — уйти «гордою, но плавною походкою» (А. Е. Розен) из-под звезды в *другую жизнь.*

Такой была Мария Раевская перед намеченной встречей с Пушкиным.

Что предвещало ее белое платье?

Устроилось так, что *ответ* прозвучал в Одессе.

Глава 5
ОДЕССА

Итак я жил тогда в Одессе…

А. С. Пушкин

С Одессы, прославленной «пыльной Одессы», и начинается тот период *утаенных* отношений Марии Раевской и Александра Пушкина, детали которых никак не предназначались ими «в пользу будущего Вальтер-Скотта» *(XII, 333)*.

Общаясь, они всеми способами таились от пытливых взоров, от длинных языков, временами шифровали или бросали в огонь какие-то документы, где-то многосмысленно темнили, иногда недоговаривали, даже блефовали и направляли доверчивого соглядатая или потенциального биографа по заведомо ложному следу.

Современники так и не сумели всласть посплетничать по поводу данного сюжета и ограничились только робкими и редкими догадками (вроде расплывчатого сообщения графа П. И. Капниста[170]).

То, что позднейшие исследователи наперебой создавали взаимоисключающие, подчас откровенно фантастические гипотезы и посмертно присвоили титул «утаённой любви» поэта доброму десятку женщин (возглавляемому августейшей особой), — стало доказательством победы конспираторов над любопытствующими.

Победы убедительной и долговременной — но, как теперь выясняется, не окончательной.

Дело в том, что защитные ресурсы хранителей амурной тайны были очень велики, однако всё же не безграничны. А пушкинистика бурно развивалась, постоянно искала и находила, накапливала и классифицировала материалы, прямые и косвенные, — и наконец собрала их в таком избыточном объеме, что получила шанс преодолеть некогда блестяще выстроенную оборону и проникнуть-таки в тайну. Обнаружилось непредвиденное: можно скрыть напрочь множество компрометирующих *частных фактов* — но их отсутствие будет с лихвой компенсировано одним-единственным глобальным *Фактом,* не поддающимся сокрытию вследствие причин, как говорится, объективных.

Мария и Пушкин упустили: под спудом бесконечно долго хранится едва ли не все — за исключением разве что *бытия.*

Пока научные данные о романтическом сюжете были фрагментарными, пока они не сложились в целостную *систему,* — двойная линия обороны стойко держалась (и обилие субъективных домыслов — тому одно из подтверждений). Однако обретенное пушкинистикой системное междисциплинарное знание обнажило стройную и — подчеркнем особо — *безальтернативную* логику минувшего: удивительные совпадения дат; тесную взаимосвязь происшествий и поступков героев с их произведениями, рисунками и письмами; знаковые синхронные реакции дуэта на поведение маргинальных персонажей, на изменения контекста и т. п.

Совокупность перечисленного и образует *бытие,* которое даже гениям не под силу похерить, перестроить на иной манер или загримировать до неузнаваемости. Этот строго расчисленный по хронологии, органично скованный в цепь суммарный «порядок вещей», касающийся Марии Раевской и Александра Пушкина, и был тем самым *Фактом* — аксиоматическим доказательством существования их «утаённой любви».

Ведь безальтернативность сюжета — шиболет, пароль его *действительности.*

Вышесказанное можно пояснить метафорически: когда кем-то комбинируемые мелкие клочки разорванной бумаги, содержание которой ранее никак не поддавалось восстановлению, вдруг (или не вдруг) располагаются так, что полностью совпадают своими рваными краями, когда из хаоса букв и слогов чудесным образом возникают слова, потом из слов — предложения, а в итоге рождается связный текст на прямоугольном листке — значит, это и есть искомый, преждевременно записанный в навсегда утраченные, *Текст,* и иного текста с другим смыслом на данном листке быть попросту не может.

Именно такой, по методике, операцией — регенерацией листка с текстом посредством совмещения имеющих все предпосылки совместиться бумажных обрывков — нам и предстоит заниматься в ближайших главах.

Прогнозируем и заодно страхуемся: полная и безупречная реконструкция «утаённой любви», вероятно, неосуществима в принципе, так как в этой истории, благодаря умелой тактике ее участников, всё-таки останутся лакуны, куда и впредь не проникнет свет системных исследований. Частичное утешение видится в том, что, уяснив «порядок вещей» в целом, мы всё же можем предметно размышлять и о неведомом, темном. К примеру, располагая авторитетными свидетельствами о двух несмежных эпизодах сюжета, допустимо, как представляется, осторожно моделировать приблизительное содержание и

замолчанных промежуточных (исходя — повторимся — из того, что промежуточные эпизоды являются векторами единой сюжетной линии и вполне согласуются с общелинейной логикой).

Важнейшее значение в процессе реконструкции подлинных происшествий 1820-х годов приобретает «медленное чтение» художественных произведений Пушкина. Как уже говорилось, их ни в коем случае нельзя считать фотографическими воспроизведениями реальности. «Поэзия Пушкина, конечно, не есть безукоризненно точный и достаточный источник для *внешней* биографии поэта, которою доселе более всего интересовались пушкиноведы, — напоминал философ С. Л. Франк в этюде „Религиозность Пушкина“ (1933), — в противном случае пришлось бы отрицать не более и не менее, как наличие поэтического творчества у Пушкина»[171]. Другими словами, не надо абсолютизировать популярный у исследователей «автобиографический» метод (чем временами грешил, допустим, увлекавшийся В. Ф. Ходасевич) — надо иметь чувство меры и применять метод взвешенно и оправданно. Тогда он, не претендуя на «безукоризненную точность и достаточность», отчасти может быть продуктивен: ведь еще П. В. Анненков заметил, что в пушкинских стихах и поэмах «беспрестанно слышится живой голос события и, сквозь поэтическую призму их, беспрестанно мелькает настоящее происшествие».

Беря на вооружение эти теоретические афоризмы и обращаясь к «настоящим происшествиям», мы постараемся также помнить другое — преподанный «первым пушкинистом» еще в XIX веке впечатляющий урок деликатного отношения к чужим сердечным переживаниям.

О встрече Марии Раевской с поэтом в Одессе осенью 1823 года почти невозможно судить по сохранившимся эпистолярным источникам. Опубликовано ее тогдашнее письмо к брату Николаю — однако в нем нет ничего о Пушкине. Известны послания лиц, жительствовавших в те месяцы в приморском городе, но и они, мельком касаясь нашей героини, мало что добавляют к рассматриваемой теме[172]. Немотствуют и мемуарные свидетельства современников, которые не приметили ничего замечательного. Посему все надежды биографа связаны с пушкинскими рукописями — благо те довольно умело разобраны и описаны текстологами.

Правда, при сосредоточении нашем на бумагах Пушкина Мария Раевская неизбежно отойдет — конечно, только на время — на второй план.

Итак, он жил тогда в Одессе…

Переезд Пушкина туда из Кишинева был следствием важных

административных решений, принятых в Петербурге. В мае 1823 года император Александр I подписал рескрипт, согласно которому генерал-губернатором Новороссийского края и наместником Бессарабской области стал видный военный деятель граф М. С. Воронцов. Резиденцией графа была избрана Одесса. Друзья поэта приложили в Северной столице немало усилий, чтобы новоиспеченный хозяин края «взял его к себе»: в сравнении с кишиневским захолустьем Одесса казалась (да в какой-то степени и была) модным европейским курортом, обладала всеми прелестями цивилизации.

Так Пушкин поневоле расстался с добродушным «дядькой» И. Н. Инзовым и обрел другого начальника (с которым в конце концов рассорился). 25 августа поэт поведал о случившемся брату: «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу — ресторация и италианская опера напомнили мне старину и ей богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишенев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсегда, о Кишеневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и всё еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни…» *(XIII, 66–67)*.

Пушкин окончательно поселился в Одессе в начале августа 1823 года. Здесь он не только энергично пустился «привыкать к европейскому образу жизни», что выражалось в различных светских и иных, подчас необязательных, формах и поступках, но и продолжил работу над первой главой романа в стихах — романа «Евгений Онегин».

К этому произведению поэт приступил еще в мае, находясь в Кишиневе.

Однако «колыбелью» «Онегина» он позднее назвал другое место.

Пушкинский роман — огромный, многоплановый и вызывающий восхищение художественный мир, одна из величайших книг русской литературы. Фундаментальным проблемам изучения «Евгения Онегина» посвящен ряд блистательных, глубоких штудий, по праву вошедших в «золотой фонд» отечественной мысли, и тем не менее у исследователей самых разных профессий и школ впереди еще непочатый край

работы на этом направлении. Разумеется, в задачу данной книги такая «первопроходческая» работа никоим образом не входит. Мы ограничимся только краткими суждениями по тем вопросам поэтики «энциклопедии русской жизни», которые имеют непосредственное отношение к нашему повествованию.

Для того чтобы приблизиться к разрешению загадок «утаённой любви» Марии Раевской и Александра Пушкина, надобно хотя бы в самых общих контурах уяснить важнейшие, от начала и до конца соблюдаемые и последовательно реализуемые, принципы авторского замысла.

«Евгений Онегин» задумывался как героическая попытка художественного прочтения самого *длящегося бытия* — как (о чем во всеуслышание было сказано в восьмой главе) «роман Жизни» *(VI, 190)*. Автор изначально отводил себе роль поэтического летописца и мыслителя — и, находясь будто бы в арьергарде наступающего, развивающегося века, описывал («прочитывал») и современный момент этого развития, и уже свершившиеся стадии процесса (прежде всего собственной биографии — «свитка жизни»; *III, 102)*.

При таком подходе (то есть при «смирении» летописца-поэта перед непостижимым величием и могуществом Жизни) роман «Евгений Онегин» был, согласно знаменитой пушкинской формуле, «свободным» («даль свободного романа»; *VI, 190):* он как бы не зависел, или мало зависел, от импровизаций и капризов авторской фантазии, а подчинялся почти исключительно внешнему, надлитературному диктату бытия. (Так пловец, доверившись *воле* сильных, влекущих его куда-то, волн, *освобождает* себя от бремени выбора своей судьбы.)

Но еще не заалевшая на горизонте Жизнь непредсказуема:

> Что день грядущий мне готовит?
> Его мой взор напрасно ловит,
> В глубокой мгле таится он… *(VI, 125)* —

и одним из следствий этой непредсказуемости было то, что всеобъемлющий жесткий «план свободного романа» (*VI, 636)* не мог быть составлен или хотя бы более или менее «ясно различен» *(VI, 190)* ни в начале работы над произведением, ни в дальнейшем, на каком-либо промежуточном творческом биваке. Жизнь постоянно преподносила нечаянности, кардинально менялась, имела семь пятниц на неделе — и вынуждала автора чутко и четко реагировать на все ее каверзы, «вписываться» в меняющиеся контексты, «блуждать вкось и вкрив» (*VI, 163)*.

В любой миг «бумагомарательства» Пушкин имел

возможность обозревать, анализировать и художественно преображать лишь прошедшее и короткий отрезок настоящего, простирающийся до очередного жизненного поворота. Это означало, что «большое стихотворение, которое, вероятно, не будет окончено»[173] *(VI, 638),* именуемое «Евгением Онегиным», было объективно доступно только краткосрочному планированию — на ту песнь, что находилась в сию минуту в работе, максимум — еще и на последующую. Общий же план такого произведения (его «даль») слагался постепенно, прирастая по главам, и оформился на бумаге (как прозрение, внезапно нашедшее на автора и автором же задокументированное) в монументальное целое только по завершении труда (*VI, 532)*.

Конечно, задорная и поверхностная журналистика того времени не могла дать адекватную оценку подобным поэтическим диковинам, и Пушкин, печатая в 1825 году первую главу романа, не преминул едко высказаться на сей счет: «Дальновидные критики заметят конечно недостаток плана. Всякой волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного» *(VI, 638)*.

Методика долговременной работы над «большим стихотворением» была, по Пушкину, нехитра: надо было неуклонно и терпеливо «набирать строфы в Онегина» *(XIV, 35)*. Говоря еще проще, надлежало жить, «мыслить и страдать», копить факты и наблюдения («ума холодные наблюдения»; *VI, 3),* достойные страниц романа, — и затем (или параллельно) превращать накопленную «правду» в «поэзию». В первой главе «Евгения Онегина» творческая лаборатория автора представлена, в частности, таким образом:

> Бывало, милые предметы
> Мне снились, и душа моя
> Их образ тайный сохранила;
> Их после Муза оживила… *(VI, 29)*.

«Набирание строф» там и сям делало их, как признавался автор в письме 1824 года, «пестрыми» *(XIII, 92),* а возникавший из таковых строф, к которым добавлялись в изрядном количестве стихи собственно лирические («сердца горестные заметы»; *VI, 3),* рассказ — «несвязным» *(VI, 466)*. Сам же разраставшийся роман трактовался Пушкиным как «собранье пестрых глав» *(VI, 3)*. Разумеется, эти автохарактеристики не лишены иронии и напускного самоуничижения, однако по сути своей очень точны: «роман Жизни» мог быть только таким — гетерогенным, «пестрым», как сама пушкинская жизнь, как Жизнь вообще, где многоликие «правда» и «поэзия» сосуществовали и сосуществуют

вперемежку и вперемешку.

Предвидим серьезные возражения серьезных литературоведов и заранее, догадываясь о характере таковых протестов, согласимся с некоторыми из них — но все-таки назовем «Евгения Онегина» *поэтическими мемуарами* Пушкина,

> В которых отразился век,
> И современный человек
> Изображен довольно верно… *(VI, 148).*

Этот «современный человек» — и сам автор, и не только он.

Роман густо заселен реальными «историческими лицами» из пушкинского окружения: здесь упоминаются (или даже принимают участие в действии) Истомина, Вяземский, Каверин, Державин, Чаадаев, Боратынский, Дельвиг, Шаховской и многие другие. Некоторые романные персонажи имеют (что бы ни проповедовали модные культурологи) жизненных прототипов. Например, в одном из писем поэт признался, что «оригиналом няни Татьяны» была его собственная няня (*XIII, 129).* (Мимоходом и ненастойчиво заметим, что Арине Родионовне Яковлевой героиня произведения, возможно, обязана своей фамилией: ведь она Ларина, то есть Л-*Арина.)*

Об «оригинале» заглавного героя — разговор отдельный и непростой, причем с неожиданным зачином.

Дело было так. Посылая в начале ноября 1824 года очередное письмо Льву Пушкину, поэт приложил к нему собственный графический эскиз «картинки для Онегина» и просил непутевого братца «найти искусный и быстрый карандаш» для профессионального выполнения иллюстрации к первой песни. При этом автор романа был категоричен: «Если и будет другая, так чтоб всё в том же *местоположении.* Та же сцена, слышишь ли?» И еще раз настоятельно подчеркивал: «Это мне нужно непременно» *(XIII, 119,* выделено Пушкиным).

На пушкинском рисунке изображен автор, беседующий с Евгением Онегиным на берегу Невы, против Петропавловской крепости; друзья стоят, «опершися на гранит» *(VI, 25; XIII, 119).* Важно, среди прочего, то, что создатель романа повернут к публике спиной, и посему зритель видит *только одно лицо,* онегинское. Охочий до чужих секретов зритель не может *«сличить черты»* молодых людей — и ему остается только гадать: каков он из себя, этот человек в цилиндре, посматривающий на каземат? есть ли хоть малейшее сходство между ним и Онегиным? Однако художник А. Нотбек, делавший порученную иллюстрацию, ослушался Пушкина (или Пушкиных), не выполнил «всё»

требуемое — и в результате в «Невском альманахе» появился не бог весть какой «искусный» рисунок, причем с *двумя* открытыми взорам и, естественно, *очень разными* лицами — онегинским и пушкинским. На такое самоуправство, разрушающее задуманную поэтом тонкую игру в дуализм, крайне раздраженный заказчик, желавший *полного* сходства с эскизом, отозвался резкой и малоприличной эпиграммой *(III, 165),* где сконцентрировался не на скудных талантах рисовальщика (что вроде бы напрашивалось), а как раз на несанкционированном развороте своей фигуры на 180 градусов («Он к крепости стал гордо задом» и т. д.).

Думается, что этот эпизод напрямую связан с проблемой «лирического слияния автора и героя»[174], более чем актуальной для нашей книги.

С одной стороны, Пушкин сразу же, еще в первой главе романа, как будто решительно дистанцировался от «доброго приятеля»:

> Всегда я рад заметить разность
> Между Онегиным и мной,
> Чтобы насмешливый читатель
> Или какой-нибудь издатель
> Замысловатой клеветы,
> Сличая здесь мои черты,
> Не повторял потом безбожно,
> Что намарал я свой портрет,
> Как Байрон, гордости поэт,
> Как будто нам уж невозможно
> Писать поэмы о другом,
> Как только о себе самом (*VI, 28–29)*.

Однако «медленное чтение» этих стихов заставляет усомниться в расхожей их категорической оценке. Да, «разность» между автором и его героем очевидна и не требует долгих доказательств (приведем хотя бы грубоватый довод: Пушкин, в отличие от Евгения, никого не убивал на дуэли). Вместе с тем «разность» не должно путать с непримиримым антагонизмом, охватывающим *всё и вся;* «разность» — это, так сказать, вовсе не «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень» (*VI, 37)*. «Разность» подразумевает или допускает (при наличии бросающихся в глаза несоответствий) и определенное (причем подчас тоже явное) сходство между сопоставляемыми предметами или явлениями. В данном случае она, скорее, понятие категориальное, регламентирующее сложные взаимоотношения

«правды» и «поэзии» и *меру их идентичности.*

Показательна в этой связи ссылка поэта на лорда Байрона, которому как раз и не дано было соблюсти указанную меру. Позднее, в 1827 году, Пушкин писал о былом английском кумире и его методологической «ошибке»: «Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, то странствующим посреди <…> В конце <концов> он постиг, создал и описал единый характер (именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его твор<ениях>, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному» *(XI, 51).*

Если, допустим, в «Кавказском пленнике» Пушкин еще пытался (по собственному признанию, неудачно) вывести *себя* «в герои романтического стихотворения» *(XIII, 52),* то к началу работы над «Евгением Онегиным» он был уже далек от крайностей эгоистической поэтики Байрона — и потому отказался от намерений представлять «призрак себя самого» *в чистом виде.* Но преодоление байроновской прямолинейности не было, как кому-то впоследствии показалось, прощанием навсегда со столь высокопродуктивными творческими методами, как поэтический автопортрет и поэтическая автобиография. В пользу сказанного свидетельствуют не только проговорки Пушкина (вроде такой: «В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь…» — из письма к П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 года; *XIII, 280),* но прежде всего оригинальное имя героя, демонстративно вынесенное автором в заглавие произведения.

Пушкинисты давно изучили семантику фамилии «Онегин» и пришли к выводу, что она в ту пору была в России искусственной, «невозможной вне художественного текста», имела «отчетливо-литературный, а не бытовой характер»[175]. Иными словами, Пушкин выдумал, сконструировал эту условную фамилию. Ономастический ход поэта породил множество исследовательских версий, самых изощренных и временами забавных. Среди них, однако, не было (кажется, не было) версии напрашивающейся, практически не завуалированной — и базирующейся на сочетании русского личного местоимения с общеизвестным латинским. Мы имеем в виду следующую дешифровку гидронима:

Онегин = Он + Ego, то есть *Он + Я.*

Такая формула афористично, но поразительно точно и емко описывает самое таинство созидания, рождения пушкинского образа: в некую умозрительную и безжизненную схему (задуманный тип, «Он») привносится «Я» художника — и в

процессе творческого акта, поэтического соития (+) возникает «созданье гения» *(II, 101)*.

Трудно представить себе, чтобы Пушкин, с Лицея, как явствует из официальных бумаг, знавший «довольно по-латыне» *(VI, 7),* уже переболевший Байроном (для которого, напомним, «Он» = «Я») и к тому же питавший слабость к «тайным письменам» (анаграммам, криптонимам, цифронимам и т. д.), руководствовался при выборе фамилии героя какими-либо иными соображениями или, по крайней мере, не учитывал, в числе прочих, и приведенные.

«Писать *только* (выделено мною. — *М. Ф.)* о себе самом» в романе Пушкин принципиально не собирался, однако «он *сам*» в Онегине — и это тоже принципиально — *был.*

В. Ф. Ходасевич однажды заметил: «То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, измененных соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять ее в виде лукавых намеков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики. Если найти такой кончик и потянуть за него — связь вымысла и действительности приоткроется»[176].

В пушкинском Онегине, несмотря на его «разность» с автором, подобных «кончиков» предостаточно. Временами Пушкин, казалось, даже забывал о «разности» и фактически возвращался к Байрону («Он» = «Я»), «сливался» с героем.

Есть еще одна фундаментальная проблема романа, важная для нашего повествования, — это проблема пресловутой внутренней хронологии «Евгения Онегина». Вокруг нее также накопилось более чем достаточно путаниц и недоразумений, которые происходят главным образом из-за недопонимания пишущими пушкинского замысла «свободного романа», составленного из «пестрых глав» и «пестрых строф», — замысла «романа Жизни».

Пушкинистов, в том числе весьма авторитетных, дезориентировали два высказывания поэта.

В предисловии к отдельному изданию первой песни «Евгения Онегина» (1825) Пушкин сообщил читателям одну «опорную» дату (нотабене: в последующих прижизненных публикациях она исчезла): «Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» (*VI, 638)*.

А в примечании к полному изданию «Онегина» (1833) автор дополнительно признался в следующем: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю» (*VI, 193)*.

Получив в качестве щедрых прогонов две вышеприведенные пушкинские фразы, исследователи пустились восстанавливать стройную внутреннюю хронологию произведения. Они скрупулезно, с привлечением уместных и не имеющих к роману никакого отношения источников, высчитывали даты рождения и смерти персонажей, годы и месяцы их дуэлей и замужеств, путешествий, гаданий и снов, время действия различных глав и т. п. Энтузиазм конструкторов таковых хронологических таблиц расширил комментарий к «Евгению Онегину», породил обширную полемическую литературу и занятные наукообразные анекдоты, однако предпринятые изыскания так и не увенчались успехом. Несмотря на всевозможные ухищрения, допуски и натяжки[177], непротиворечивая летопись романных событий у пушкинистов никак не выстраивалась — и не создана она до сих пор.

Она и не могла, и не сможет выстроиться, ибо у Пушкина, похоже, и в мыслях не было создавать единую внутреннюю хронологию «Евгения Онегина» — в том ее сомнительном понимании, которое возникло и утвердилось в пушкинистике.

Поэт не обманул публику: да, в его произведении и впрямь «время расчислено по календарю». Только календарь в «романе Жизни» был не романный — а *жизненный,* то есть реальный, юлианский календарь Российской империи — или, если угодно, это был *календарь трудов и дней самого Пушкина.* В «пестрых» главах и строфах романа (рискованно названного нами поэтическими мемуарами) то и дело встречаются опоэтизированные элементы и частицы пушкинской «биографической правды» — и таковые фрагменты нередко сопровождаются указаниями на *точные даты подлинных происшествий.* Например, знакомое с детства:

> В тот год осенняя погода
> Стояла долго на дворе,
> Зимы ждала, ждала природа.
> Снег выпал только в январе
> На третье в ночь… *(VI, 97)* —

недвусмысленно намекает на зиму с 1825 на 1826 год, когда в северо-западной России и Петербурге стояла *именно такая,* редкостная для данного региона, погода и снежный покров установился точь-в-точь в указанные сроки[178].

Чтобы определить некоторые реальные календарные даты,

надо иметь в виду, что Евгений появился на свет в один год с автором, что они — ровесники (здесь снова: «Он» = «Я»). Допустим, строки о дуэлянте Онегине:

> Убив на поединке друга,
> Дожив без цели, без трудов
> До двадцати шести годов… *(VI, 170)* —

отсылают читателя опять же к многозначительному 1825 году[179].

А стих из описания «уединенного кабинета» Евгения в первой главе:

> Философа в осьмнадцать лет (*VI, 14)* —

ненавязчиво сигнализирует, что здесь речь идет о 1817 годе, — то есть времени, когда Пушкин, окончив Лицей, оказался «на свободе» (*VI, 6)*. (Уверяя публику, что описывает «светскую жизнь петербургского молодого человека в конце 1819 года», поэт, скорее всего, незатейливым способом отвлекал внимание от собственной персоны. Однако вряд ли тогдашние проницательные читатели, особенно принадлежавшие к столичной элите, не заметили, что «двойной лорнет», партер в театральной зале, «боливар» на голове героя и многое другое — очевидные, кричащие анахронизмы («противоречия») для 1819 года, зато характерные подробности для *года 1817-го.* Да и в воспоминаниях современников о житье-бытье Пушкина в 1817 году есть эпизоды, явно перекликающиеся с его рассказом о занятиях и привычках «молодого повесы» Онегина[180].)

Исследователю, выискивающему в произведении подобные *подлинные* даты, надо, однако, не терять при этом голову и учитывать, что в «Онегине» в избытке присутствуют и сугубо романные, «служебные», не связанные с реалиями пушкинской биографии, календарные вехи и вешки, которые главным образом обеспечивают внутрисюжетные связи и стройность композиции (например, смена времен года или именины Татьяны). Поэтому календарь «Евгения Онегина» тоже выглядит «пестрым» — под стать «пестрым главам» произведения.

Из всего вышесказанного следует, что Пушкин, приступая к созданию «Евгения Онегина», уже четко представлял себе, *что* он пишет и *как* он будет сочинять роман в дальнейшем.

Он писал: «Мой дядя самых честных правил…», набрасывал первые строфы, загодя знал план начальной песни — и, сочиняя,

одновременно ждал от Жизни «дня грядущего», таящихся до поры «в глубокой мгле» *событий* — то есть сюжетных предложений, подсказок для строф и глав последующих.

Ждал у моря — волеизъявления волн.

Шли недели и месяцы его «европейского образа жизни» в Одессе — но подсказок, необходимых для мощного творческого рывка вперед, все не было…

Осень — это прекрасно, однако осень на осень не приходится…

«Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется — да сам не свой», — жаловался Пушкин князю Вяземскому 19 августа 1823 года *(XIII, 66)*. Спустя неделю он сообщил о том же брату Льву и поставил себе диагноз: «У меня хандра» *(XIII, 68)*. Тем не менее поэт продолжал трудиться над первой главой «Евгения Онегина» и осенью, в октябре, завершил ее. В черновике под последней строфой он зафиксировал дату окончания работы: «22 Octobre 1823 Odessa» *(VI, 258)*.

Позднее Пушкин писал А. А. Бестужеву: «1-ая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается)» *(XIII, 155)*.

Тут же, на следующей странице тетради (ПД № 834), фактически не переводя дыхания, поэт приступил ко второй главе романа.

Здесь его протеже Онегин вынырнул из клубов дорожной пыли и добрался-таки на почтовых до унаследованной деревни, где обустроился в «почтенном замке», мигом, толком и не познакомившись, рассорился с окрестными помещиками, но зато коротко сошелся с Владимиром Ленским.

Однако работа по «набиранию строф» в данную главу явно не спорилась. Заряд энергии, обретенный на старте, неумолимо таял. «Пишу спустя рукава», — признавался Пушкин приятелю *(XIII, 73)*. О чем писать в этой песни — он по большому счету еще не знал, и поневоле поэту приходилось «забалтываться донельзя» *(XIII, 75)*. «Развитие рассказа во второй главе, — размышляет один из наиболее глубоких отечественных пушкинистов, — наводит на странную мысль о том, что это повествование, имея композицию, не имеет структуры; автор, словно не утруждая себя строительством, раскладывает звенья повествования на плоскости; есть последовательность, но не просматривается система, не видно центра; нет события, организующего все вокруг себя. Действие и в самом деле как будто „еще не началось“, и повествование ограничивается представлением героев»[181].

Создается впечатление, что каждая строфа давалась Пушкину

в том злосчастном октябре с превеликим трудом, прямо-таки через силу. Он пишет без плана, без вдохновения, «захлебывается желчью» *(XIII, 80)* — и развлекает себя за письменным столом разве что тем, что регулярно подсчитывает стихи в вымученных строфах. Наконец таковых строф наскреблось аж пятнадцать, затем автор прибавляет к ним («в столбик») стихи еще двух строф. В другой записи на полях вялого черновика романа он вычисляет количество стихов уже в восемнадцати строфах *(XVII, 312)*.

Позднее пушкинисты определили, что такой «алгебре» поэт предавался в промежутке между 23 октября и 3 ноября 1823 года.

Мнится, что эта декада была самым серьезным испытанием для «Евгения Онегина» и его создателя: едва начавшийся роман того и гляди мог быть заброшен насовсем или отложен в долгий ящик. Поэт натурально выдыхался, нервничал — и, захлопывая опостылевшую черновую тетрадь с «большим стихотворением», бежал из дому, предпочитая быть удачливым «президентом попойки», посещать холостяцкие заведения, просто «пить, как Лот содомский» *(XIII, 73)*.

Он словно обиделся, и крепко, на праздную, так немилосердно умолкшую Жизнь — и по мелочам мстил ей, изменял на стороне.

А Жизнь на самом деле *уже не дремала* — в те дни она незаметно трудилась над сюжетом, потихоньку сводила и расставляла по местам действующих лиц и, кроме того, посылала Пушкину обнадеживающие весточки: мол, терпи, надо ждать и надеяться, оглядись и смекни — вожделенные *события* приближаются и вот-вот с тобой, поэт-летописец, произойдет что-то необыкновенное…

Самое любопытное, что он фиксировал такие знаки — только вот не мог до поры расшифровать их.

Прошло немало десятилетий — и на пушкинском листе с многократными подсчетами натужных строф и стихов «Евгения Онегина» исследователи обнаружили автопортрет поэта, а также ряд женских портретов, и среди них — изображение Марии Раевской. На соседних страницах той же тетради были найдены и атрибутированы еще несколько ее графических портретов[182].

Так было установлено приблизительное время появления в Одессе нашей героини, которую сопровождали в поездке мать Софья Алексеевна и младшая сестра Софья. Принято считать, что Раевские приехали из Киева в город у моря на исходе октября или, в крайнем случае, 1–3 ноября. (Ноябрьская датировка представляется нам маловероятной.)

Ясно, что сразу после приезда девушка поспешила

встретиться с поэтом и виделась с ним, быть может, не единожды. Нетрудно догадаться, что творилось тогда в душе Марии (которая, еще раз напомним читателю, недавно отвергла графа Густава Олизара). Искренне радовался свиданию с приятельницей и Пушкин. Как повзрослела и похорошела «та девочка» за истекшие годы и как неслыханно повезет ее избраннику!

Его рисунки стали следствием этой встречи (или встреч).

А затем произошли события, которые навсегда определили судьбу Марии Раевской, Пушкина — и оказавшегося в угрожающем положении романа в стихах «Евгений Онегин».

В пушкинской тетради с черновиками второй главы романа, на полях той самой страницы, где располагалась XVII строфа, внезапно появилась такая шифрованная запись:

> «3 nov. 1823
> ub.d. M. R.» *(XVII, 236)*.

Некоторые ученые развертывают ее следующим образом:

> «3 nov<embre> 1823
> u<n> b<illet> d<e> M<arie> R<ayevscky>»,

то есть:

> «3 ноября 1823
> письмо от Марии Раевской»[183].

Рядом с этой заметкой, с виду вполне будничной, — пушкинские рисунки женских профилей, и среди них два изображения нашей героини (одно из них, по наблюдению М. Д. Беляева, зачеркнуто «как неудавшееся»)[184].

А через четыре тетрадных листа, спустя всего несколько строф после записи 3 ноября (конкретнее — в строфе XXIV), появляется Татьяна Ларина (в одном из вариантов она была сначала названа Наташей).

> Ее сестра звалась… Татьяна
> (Впервые именем таким
> Страницы нежные романа
> Мы своевольно освятим)… *(VI, 289)*.

«Явление Татьяны иррационально, — пишет В. С. Непомнящий. — Оно не подготовлено ничем — ни общими законами романного повествования (Ленский), ни сюжетной мотивировкой (Ольга), ни необходимостью в среде или фоне

(Ларины). Другие персонажи *должны* были появиться, чтобы повествование состоялось, — Татьяна могла бы не появиться. Более того, по всей логике второй главы она не могла появиться. Ее возникновение не вызвано никакой повествовательной необходимостью — оно вызвано свободой, обрушившейся на автора *вдруг*. <…> Всеми доступными в рамках жанра средствами автор дает понять, что Татьяна свободно *явлена* ему. Явление это окружено тайной…»[185]

Это — тайна очередного пушкинского «странного сближения».

Связь между каким-то письмом Марии Раевской, которое оказалось в руках у Пушкина 3 ноября 1823 года, и тотчас же воспоследовавшим (можно сказать — эхообразным) «иррациональным явлением» Татьяны Лариной во второй главе «Евгения Онегина» представляется нам несомненной. Доказательствами тому будут, как увидим, вся дальнейшая история «утаённой любви» и история пушкинского романа в стихах.

Итак, в знаменательный ноябрьский день Пушкин получил от Жизни долгожданную подсказку, таинственный девичий «билет» — и его «Евгений Онегин» сразу ожил, вновь обрел некую внутреннюю энергию и двинулся, набирая ход, вперед. Спустя месяц многострадальная глава была завершена, и 1 декабря поэт писал о романе А. И. Тургеневу: «Две песни уже готовы» *(XIII, 80)*. А ночью 8 декабря Пушкин ставит дату под XXXIX строфой — первоначально считавшейся в этой песни заключительной (*VI, 299)*.

Как выяснилось впоследствии, вторая глава «Евгения Онегина» оказалась самой короткой главой романа. Поэту явно хотелось побыстрее «отделаться» от песни, принесшей ему столько душевных хлопот, — что он и совершил, выведя почти что скопом всех необходимых для задуманного действия персонажей на сцену, поочередно представив их и предуготовив читателя к грядущей интриге. Персонажи в темпе продефилировали по стихам и строфам, практически не замечая друг друга и не вступая в общение, — и тут перед публикой вместо ожидаемых ею увлекательных коллизий явилась и расшаркалась авторская точка.

После 3 ноября Пушкину открылась некая заманчивая романная «даль» — и посему, завершая песнь елико возможно скорее, он торопился окунуться в работу над следующей главой.

Коллизии уже были им вчерне намечены — но отложены на третью песнь.

Представление Татьяны Лариной во второй главе занимает

всего-навсего шесть строф — причем опять-таки вполне «пестрых», «неконцентрированных», с экскурсом в ее «колыбельные дни» и раннее детство, вдобавок с отвлечениями на отца, сестру и няню, да еще и с присовокуплением философических размышлений автора о посторонних материях. На исходе шестой такой строфы (XXIX по общему счету) внезапно начавшийся рассказ о Татьяне столь же внезапно, скоропостижно оборвался — и взамен него зашел непринужденный разговор о ее матери, о семейной истории стариков Лариных и всякой прочей всячине (в том числе и о будущем «прославленном портрете» автора романа). О Татьяне же Пушкин, единожды вспомнив, как будто снова забыл, и в этой главе девушка — чем не «мимолетное виденье»? — больше не появилась.

Правда, в указанных шести строфах ей — очевидно, с неафишируемым прицелом на третью песнь — все-таки были выданы скромные пушкинские авансы.

Отдельными неброскими штрихами поэт слегка наметил здесь некоторые контуры образа Татьяны, и мы узнаем, к примеру, о том, что она всегда была самодостаточна, не «как все», что мелькнувшая на балконе деревенского дома девушка с милым простонародным именем склонна к «задумчивости» и мечтательному одиночеству, чурается свойственных помещичьему кругу пустопорожних разговоров и сызмальства предпочитает им чтение романов (которые до поры «ей заменяли всё»). Ее внешний облик еще не ясен, не прорисован в деталях, лицо Татьяны словно упрятано под *темную* вуаль, но кое-какое смутное, подсознательное представление о нем у читателя уже возникает. Если Ольга, младшая сестра, характеризуется следующими стихами:

> Всегда как утро весела,
> Как жизнь поэта простодушна,
> Как поцалуй любви мила,
> Глаза как небо голубые,
> Улыбка, локоны льняные,
> Движенья, голос, легкой стан… *(VI, 41),*

то Татьяна, по всем косвенным признакам, совсем не похожа на сестру, вылитую деву «а-ля рюс» с лубочной картинки (или из «любого романа»). Представленная автором «апофатически», Татьяна Ларина выглядит иначе — *как-то по-другому*.

> Ни красотой сестры своей,
> Ни свежестью ее румяной

Не привлекла б она очей (*VI, 42)*.

Отсюда выходит, что Татьяна — отнюдь не светловолосая розовощекая красотка с голубыми глазами, и для первого знакомства с ней эти вскользь брошенные намеки на *непривлекательность и приглушенность красок* портрета уже кое-что говорят. Дальнейшей детализации девичьего портрета Пушкин пока избегает. Впрочем, в его черновике второй главы есть многозначительные, весьма конкретные стихи:

Вы можете друзья мои
Себе ее [Ее лицо] представить сами
Но только с черными очами… *(VI, 290)*.

Ход авторской мысли тут, если не ошибаемся, примерно таков. Читателю вольно самому, на свой вкус, домыслить облик девушки, однако с условием: в любых читательских фантазиях у Татьяны непременно должны быть *черные глаза.* Но строки, вызывающие ассоциации с незабываемыми глазами Марии Раевской, которые, как мы помним, «темнее ночи» (и уже не раз воспеты ранее), поэтом в ноябре 1823 года отвергнуты.

Зато не отвергнуто, принято и запущено в поэтическую работу главное — ноябрьская подсказка Жизни…

Здесь мы принуждены забежать на несколько месяцев вперед.

В феврале 1824 года в Одессе Пушкин принимается за третью песнь «Евгения Онегина». Рукопись ее сохранилась не в полном объеме, что затрудняет текстологическую реконструкцию творческого процесса, однако самые главные для нас выводы сделать, видимо, все-таки можно.

В так называемой «второй масонской тетради» поэта (ПД № 835), где сосредоточено большинство черновиков главы, обнаруживаются в высшей степени примечательные факты[186].

Прежде всего выясняется, что пушкинская работа над этой главой началась тут со строф «Неправильный, небрежный лепет…» (будущая XXIX строфа) и «Я помню море пред грозою…» (позже эти стихи были перенесены в первую песнь и стали там строфой XXXIII). Как уже сказано выше, сама Мария Раевская-Волконская признавалась, что стихи о «волнах», бегущих к «милым ногам», адресованы ей (да и граф П. И. Капнист сообщил то же самое).

А на соседнем, пятом, листе тетради Пушкин приступил к созданию письма Татьяны — центрального эпизода главы и поворотного пункта всего романа. Текстологами установлено, что

оно было написано в марте, ориентировочно в промежутке между 14-м и 28-м числами.

Выяснено и другое: письмо девушки «обогнало фабульное повествование»[187], оно написано *ранее* предшествующих ему романных событий. Как будто автору, однажды что-то наметившему, но долго крепившемуся, не хватило-таки терпения — и он в конце концов уступил жгучему желанию, нарушил последовательный ход работы над строфами и «вне очереди» реализовал давно взлелеянный замысел.

Но *прежде* самого письма Татьяны во «второй масонской тетради» появился такой текст:

«[У меня нет никого. Я знаю вас уже] Я знаю что вы презираете и пр. Я долго хотела молчать — я думала что вас увижу. [Вы] Я ничего не хочу, я хочу вас видеть — у меня нет никого. Придите, вы должны быть то и то. Если нет, меня Бог обманул [и я] — Но перечитывая письмо я силы не имею подп<исаться> отгадайте я же…» (*VI, 314)*.

Этот небольшой фрагмент, не подвергавшийся, кажется, специальному изучению, имеет для нас первостепенную ценность.

В пушкинистике принято считать, что это «программа» или «план» будущего письма Татьяны. Черновой текст и в самом деле очень похож на романную эпистолию, и реминисценции более чем очевидны и многочисленны. Однако укоренившееся в науке суждение все же представляется автору данной книги ошибочным.

Скорее всего, перед нами некий краткий *конспект,* или экстракт, составленный из отдельных, явно ключевых для Пушкина, фраз. Ведь в планах (кстати, обращенных в *будущее)* не пишется: «Я знаю что вы презираете и пр.» или «Придите, вы должны быть то и то», ибо в подобных обрывочных, лишенных логики, записях отсутствует главная цель всякого пункта классического плана — та или иная завершенная мысль, организующая и структурирующая грядущую авторскую работу. (В только что указанных случаях, например, никак не сформулировано, кого или что презирает адресат письма, а также кем или чем он обязан быть.)

Зато именно так, для стороннего ума «неряшливо», создается конспект чего-то, куда автор в удобной для себя (и совсем не обязательно логичной) форме заносит *кем-то ранее высказанные мысли* — и где волен сокращать заметки до любых размеров, вплоть — нотабене — до частичного, а то и полного отказа от воспроизведения самих чужих мыслей. Свои задачи конспект (кстати, взгляд *назад)* может выполнить и опосредованно, без «аккуратного» повторения заимствованных мыслей на бумаге, —

единственно с помощью достаточного для авторской памяти набора слов-паролей (допустим, усеченных *цитат),* вызывающих у пишущего понятные только ему ассоциации. И если выхолощенные фразы типа «Придите, вы должны быть то и то» малопригодны для творческого плана, то в качестве конспективной заметки они, наделенные потенциальной энергией сокрытой мысли, эффективны вполне.

Обращает на себя внимание и характер пушкинской правки фрагмента. Она не содержит никаких смысловых коррекций, в ней нет содержательных вставок, исключений и т. п. — то есть всего того, что обычно сопутствует раздумчивой работе над рождающимся планом какого-либо произведения. Авторская редактура экстракта однотипна и преследует здесь сугубо стилистические цели, ее вполне можно назвать литературной. Схема процесса несложна: Пушкин начинает ту или иную фразу, и она не всегда устраивает поэта, он тут же что-то начатое зачеркивает, мысленно уточняет фразу целиком, как бы проговаривая беловик «про себя», — и затем доверяет уточненное бумаге. Такая попутная обработка возникающего материала постоянно происходит, в частности, при переводе «с листа» *иноязычного текста* (когда — отметим и это особо — переводчик имеет возможность заглядывать вперед, сопоставляя, связывая переводимое или только что переведенное с последующими фразами находящегося под рукой оригинала).

Все эти витиеватые теоретические рассуждения укрепляют нас во мнении, что Пушкин, приступая к созданию письма Татьяны Лариной к Онегину, имел перед собою *реальное женское письмо,* написанное на иностранном языке — естественно, на французском. Перечитав (знать бы: в который раз?) данную эпистолию, поэт сделал из нее некоторые извлечения — причем уже в «синхронном» переводе на родной язык. Полученный сжатый конспект стал подсобным сводом тем и цитат, которые автор романа намеревался подвергнуть — и, не откладывая, подверг — поэтической огранке.

Иначе говоря, пушкинские черновые строки наподобие написанных сразу же вслед за конспектом:

> Письмо Татьяны предо мною —
> (Его я свято берегу)… *(VI, 313)*

или, допустим, конспекту предшествовавших:

> Но ожидает пере<во>да
> Письмо [Татьяны] <молодой>… *(VI, 310)*

надо считать не только поэтическими фигурами *автора*, использованными в рамках романного повествования, но и чистосердечными полупризнаниями молодого *человека,* его прикосновением к жизненной *правде.*

А суть этой правды заключается, на наш взгляд, в том, что письмом, лежавшим перед поэтом в марте 1824 года и ожидавшим «неполного, слабого перевода» *(VI, 313),* было *написанное по-французски письмо Марии Раевской, которое Пушкин получил в Одессе 3 ноября 1823 года.*

Косвенно подтверждают сказанное его собственные слова: однажды, защищаясь от упреков в «противумыслии» некоторых строк романной эпистолии, Пушкин разъяснил П. А. Вяземскому: «…Если <…> смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17 летней, к тому же влюбленной!» *(XIII, 125;* письмо от 29 ноября 1824 года).

Напомним, что в драматическую одесскую пору Машеньке было как раз *семнадцать* лет. (Вот почему столь важна точная дата ее появления на свет!)

Из рассмотренного конспекта-перевода этого письма нашей героини вырос один из самых замечательных шедевров любовной лирики в истории отечественной литературы:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня… *(VI, 65)*[188].

Письмо Татьяны стало вторым и подлинным рождением *романа* «Евгений Онегин». Две экспозиционные главы (целых сто строф, более тысячи стихов!) миновали, морока их сочинительства канула в прошлое — и теперь, благодаря Жизни, у запнувшегося было произведения наконец появился сюжет, стартовало завораживающее действие.

Много позже, 10 ноября 1836 года, Пушкин, имея в виду минувшие южные времена, писал Н. Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего „Онегина“: и вы, конечно, узнали некоторых лиц» *(XVI, 184, 395).*

Он намекнул на узнаваемость «лиц», но не дописал самого сокровенного: у колыбели «Онегина» рядом с ним, Пушкиным, незримо находилось одно из таких лиц — находилась Мария Раевская, автор все решившего письма, *прототип Татьяны Лариной.*

Сразу же следует пояснить слова, выделенные курсивом. Безоговорочно величать Татьяну Ларину двойником или «верным снимком» Марии Раевской — значит сызнова расписываться в верхоглядстве, в том, что замысел пушкинского «романа Жизни» так и остался непонятым. Конечно, в годы работы над «Евгением Онегиным» этот образ динамично развивался, углублялся, и поэт шаг за шагом «додумывал» свою Татьяну, жертвовал ей частицы самого себя (по уверениям В. К. Кюхельбекера) или одаривал ее фактами биографии и чертами, арендованными у других встреченных женщин (недаром сразу несколько современниц поэта считали себя, иногда, видимо, имея на то основания, Татьянами). В беловике последней строфы восьмой главы романа есть следующий, как будто подтверждающий сказанное, вариант:

А те с которых образован
Татьяны милый Идеал… *(VI, 636).*

Так что далеко не все в Татьяне от нашей героини, и Татьяна — не мастерский дагеротип Марии Раевской.

Но Мария Раевская все же прототип Татьяны Лариной — прототип *изначальный,* «Идеал» для Пушкина *главный* и *всегдашний,* с прописной буквы *(VI, 189, 190),* к тому же регламентирующий характер и меру заимствования автором достоинств прочих (строчных) «идеалов».

Если во второй главе «Евгения Онегина» Татьяна явлена нам словно «в смутном сне» (*VI, 190)* автора и ее сходство с Машенькой лишь допускается, но впрямую не декларируется, то третья песнь (куда и вошло письмо девушки) содержит уже более ясные строки, дающие понять, что именно Марию Раевскую имел в виду Пушкин, разрабатывая в 1823–1824 годах романный образ «девы милой».

Таких строк много. Вот только некоторые из них.

Выше шла речь о возрасте Татьяны Лариной, совпадающем с возрастом Раевской. Но ее письмо к Онегину было написано по-французски также не случайно, и пушкинские слова:

Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом

На языке своем родном… *(VI, 63)*

вполне подходят к Марии Раевской, которая свободно говорила по-русски, но (напоминаем) так никогда и не освоила премудрости отечественной «почтовой прозы». (Впрочем, тут Мария не слишком оригинальна: с письменным «гордым нашим языком» не в ладах тогда были многие представители дворянства.)

У искусствоведов есть термин «кракелюр» — им принято обозначать трещинки красочного слоя в произведениях живописи на холсте, а также на фарфоре и эмали. Паутинка таких трещинок иногда способна повлиять на общее впечатление от произведения. На портрете Татьяны тоже обнаруживаются отдельные, как будто необязательные, «кракелюры». Своим происхождением они, видимо, обязаны Идеалу.

Выясняется, к примеру, что Таня, скромная, трепетная и мечтательная любительница одиночества и книг, «которая грустна и молчалива как Светлана» *(VI, 53)* и «бледна как тень» *(VI, 69),* в то же время была, что выглядит несколько странно, «страстной девой» (*VI, 65)*. Казалось бы, к образу ненароком добавлена «краска чуждая», из посторонней типологической палитры — но сомнения в правомерности пушкинского решения исчезнут, если вспомнить «порывы пламенных желаний» другой девы, Заремы из «Бахчисарайского фонтана», имевшей (см. главу 4) немало общего с Марией Раевской.

Еще Пушкин отмечает, что Татьяна

…От небес одарена
Умом и волею живой,
И своенравной головой… *(VI, 62)*.

Здесь складывается аналогичная ситуация: перечисленные «мужские» доблести (ум, воля, гордое самостоянье) были бы органичны и вполне традиционны для романтического героя, к примеру, для какого-нибудь «модного тирана» (*VI, 57),* однако они трудносовместимы с образом боязливой, «как лань лесная» (*VI, 42),* и простодушной «милой девы». Но зато Идеал — Мария Раевская, в замужестве Волконская — редкостная, способная дать фору многим мужчинам как раз по части ума и воли, и, наконец, более чем своенравная женщина, приведенным характеристикам отвечает полностью.

В добавление к перечисленному приведем еще два красноречивых эпизода третьей главы, которые опять-таки

относятся к письму Татьяны — и, по нашему убеждению, связаны с Марией Раевской.

Напрасно исследователи не задумываются над тем, *как* девушка пишет ночное послание Онегину. А пишет письмо она за столом, который верная няня придвинула к ее постели. Причем делает это не совсем обычно, а именно так:

> Облокотясь, Татьяна пишет… *(VI, 60)*.

В черновых вариантах, шлифуя стих, Пушкин упорно оберегает его смысл и повторяет: «Окаменев облокотилась», «Главу склонив облокотившись», «В слезах на стол облокотилась», «Т<атьяна> об<локотилась>», «Облокотилась» *(VI, 321–322)*.

Поза пишущей девушки столь явственна и обязательна для автора, что он тут же, на полях черновика дважды рисует Татьяну, и оба раза — со склоненной «к плечу головушкой» (*VI, 68),* которую подпирает девичья рука. Эти пушкинские автоиллюстрации Т. Г. Цявловская описала такими словами: «В горестной позе, с опущенной головой сидит в постели под пологом Татьяна. Спутанные волосы скрывают ее лицо. Рожденное в горячке творчества изображение ее исполнено необыкновенного лиризма». И далее: «Пробует он (Пушкин. — *М. Ф.)* и иначе представить ее смятенное состояние. Он рисует ее стоящей, но так же склонилась голова, так же поддерживает ее рука, так же затуманено лицо»[189]. (Отметим заодно и «скрытое», «затуманенное» лицо Лариной. Поэту, примерно тогда же рисовавшему Онегина, уже давшему в стихах некоторые портретные характеристики Татьяны, наверное, не составило бы труда довершить их — хотя бы для себя — с помощью средств изобразительных. Однако Пушкин даже в интимной тетради избегает детальной прорисовки девичьего лица.)

Задержимся ненадолго и на внешнем виде Татьяниного письма, которое перед отсылкой, надо понимать, было девушкой *запечатано.* В строфе XXXIII по этому поводу сказано:

> Она зари не замечает,
> Сидит с поникшею главой
> И на письмо не напирает
> Своей печати вырезной *(VI, 68)*.

Последний стих вызывает у педанта резонное недоумение: откуда у Лариной, дочери заурядных помещиков, живущей «в глуши забытого селенья», равнодушной к модным безделушкам и

«ничем не блестящей», вдруг взялась изысканная «печать вырезная»? Такие перстни, мол, пристойны совсем другим особам — столичным, принадлежащим к светскому обществу; на Татьяниной же руке «печать вырезная» — предмет неуместный, который смотрится, выражаясь по-пушкински, vulgar. Это несоответствие было отмечено и учеными[190], однако так и не изучено досконально. Упущено ими также и то, что в черновике строфы есть другой вариант стиха, очень важный для посвященных:

> И на письмо не напирает
> Сердоликовую печ<ать>… *(VI, 323)*.

Тут перед нами — решающее уточнение, свидетельство того, что Пушкин в эпизоде с необыкновенной печатью, как и со «страстной девой», не оплошал, а действовал вполне целенаправленно. Пусть торжествует въедливый педант, пускай он разглагольствует об авторской безвкусице — но у Татьяны Лариной должен быть *именно такой* перстень.

Ибо единственная в своем роде вырезная сердоликовая печать, равно как и поза пишущей девушки, есть *указание на Маршо Раевскую.*

Читатель вправе требовать доказательств — что ж, клятвенно обещаем: они скоро будут предъявлены.

В последующих главах «Евгения Онегина», вплоть до последней строфы последней песни романа, были новые события, эпизоды и строки, так или иначе связанные с нашей героиней, — и о них речь тоже впереди.

Присутствовало в образе Татьяны, как сказано выше, и кое-что навеянное встречами Пушкина с другими женщинами. Роль таковых «идеалов» в дальнейшем развитии центрального образа романа нельзя недооценивать, но еще важнее постичь, что она *всегда* имела строго означенные границы. Поэт, как рачительный хозяин, охотно прибегал к услугам окружавших его «идеалов» — но при этом действовал с постоянной оглядкой на Идеал, сверялся с ним по всякому поводу и отбирал в поэзию от бескорыстных прелестниц только то, что никак не противоречило основополагающим характеристикам изначального и главного прототипа. По нашим наблюдениям (которые следовало бы продолжить, обобщить и тщательно прокомментировать в особой работе), в черновиках поэта есть строки, не отвечающие указанным требованиям, — и данные строки остались невостребованными (то есть как бы несуществующими) как раз вследствие своей несовместимости с каноном.

Отсюда вытекает, что Мария Раевская была для Пушкина не только Идеалом Татьяны Лариной, но и его заочной преданной *ларницей*[191], оберегательницей определенных внешних и внутренних параметров этого образа.

Поэт сразу — и пылко, нежно — полюбил свою *Татьяну*.

Но вот что этому сопутствовало и что удручает: даже в черновиках, где допускаются самые смелые заигрывания с фабулой, Пушкин не пытался искать следов другой любви — онегинской. Потому что невозможно, да и попросту бесчестно, было в *таком* романе навязывать *такому* персонажу (Он + ego) через силу то, чем был, к несчастью, обойден тогда сам автор.

Но получив посланье Тани
Был поневоле тронут он
Язык девственных [мечтаний]
В нем думы роем в < оз > мутил
……
Быть может чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел…

К этим стихам из четвертой главы есть почти не меняющие их сути наброски: «В нем сердца оживился сон», «Смутили в нем кровь», «Страстей быть может пыл старинный» и т. п. *(VI, 345–346)*. (Заметим в скобках: рифмы к слову «кровь» — не найдено.) В целом строфа, как водится у Пушкина, донельзя измарана вписанными и зачеркнутыми вариантами, однако стих «Им на минуту овладел» на удивление чист, безальтернативен — слова выговорены набело сразу и навсегда, без каких бы то ни было колебаний.

В аналогичном виде остывающий ежесекундно стих перекочевал и в окончательный текст.

Получается, что *только минуту* тронутый письмом девушки Евгений вслушивался в себя, на всякий случай поскреб по сусекам, пребывая в каких-то сомнениях, а затем поборол колебания — и vale![192] Да и бороться-то ему, по всем признакам, особо не пришлось…

Онегин не был виноват — так распорядилась Жизнь.

Муза явилась Пушкину прежде любви.

Как мы старались показать в этой главе, Мария Раевская, находясь осенью 1823 года в Одессе, отправила Пушкину тайное письмо, которое «дышало любовью невинной девы». Ее послание было анонимно и написано по-французски. Вероятно, на нем красовалась наивная «облатка розовая» (*VI, 68, 320)* — маленькая

уступка моде, «кружок из клейкой массы или проклеенной бумаги, которым запечатывали конверты»[193]. Настаиваем, что девушка приложила к сложенной (*VI, 61)* эпистолии и вырезную сердоликовую печать.

Точного содержания ноябрьского письма Марии мы уже никогда не узнаем: *письмо было уничтожено.* Однако сохранившийся его краткий конспект на русском языке, сделанный рукой Пушкина, и романное письмо Татьяны Лариной, восходящее к реальному одесскому документу, похоже, позволяют крайне приблизительно реконструировать некоторые фрагменты послания Раевской — ее *«письма любви».* Вот какая получилась у нас контаминация текстов:

> *ПИСЬМО М. Н. РАЕВСКОЙ к А. С. ПУШКИНУ (Перевод с французского)*[194]
>
> *<… >*[195] *Мой стыд, моя вина теперь известны вам. Я знаю вас уже, [и] я знаю, что вы презираете [меня]. Я долго хотела молчать. Я думала, что вас увижу, [что смогу] <вас видеть иногда>, <слушать вас>, <подать вам руку>. Вы [же не приходите], <говорят — вы нелюдим, в гостях [вам] скучно>. Зачем я вас увидела — но теперь поздно [сокрушаться]. Я ничего не хочу, я [только] хочу вас видеть. Я <здесь одна>, у меня нет никого. Придите, вы должны быть <моим Ангелом верным>, [разрешить мои сомненья, оживить надежды сердца или — увы! — прервать спасительным укором мой тяжелый сон]. <Я жду>. Если нет, [значит] меня Бог обманул.*
>
> *[На этом] <кончаю>. <Жар волнует во мне и мысль, [и] кровь>. Но перечитывая письмо, я силы не имею подписаться. Отгадайте [мое имя сами]. Я же [надеюсь на вашу честь и] <смело ей себя вручаю>.*

Исповедальное письмо нашей героини, «где всё наруже, всё на воле» (*VI, 174),* безусловно, не могло остаться без пушкинского ответа. Спустя некоторое время после 3 ноября произошло свидание и решительное объяснение поэта с Марией. В каком месте Одессы и когда состоялась эта встреча — в точности, к сожалению, неизвестно. Зато совершенно ясно другое: Пушкин в ходе разговора «прервал тяжелый сон» девушки и лишил ее всех надежд.

Позднее, в восьмой главе «Онегина», Евгений, ошеломленный изменившейся Татьяной, вспомнил былое:

> Ужель та самая Татьяна,

Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
……
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле… *(VI, 174)*.

Для комментирования последнего стиха не надо обкладываться лингвистическими словарями и справочниками: и без лексиконов очевидно, что добровольное и по большей части приятственное пребывание Евгения в деревне (кстати, «прелестном уголке») никак нельзя назвать «смиренной долей» героя. (В противном случае жизнь Ленского или, допустим, Петушкова с Пустяковыми и Фляновым, в своих основах мало чем отличавшуюся от онегинской, придется величать так же, что, мягко говоря, куриозно.) Все это сказано поэтом не про Онегина — сказано (в очередной раз) про себя, некогда принудительно переведенного по службе на Юг.

И «пренебрег» там, в Одессе, семнадцатилетней «девочкой» тоже он — Пушкин.

Поэт все еще довольствовался обществом и дарами совсем других женщин — таким мирком, где не нашлось, и не могло найтись, места для Марии Раевской.

Не сомневаемся, что Пушкин во время свидания был предельно тактичен, тщательно подбирал слова, рассыпал комплименты и всячески старался утешить бедную девушку. Скорее всего, его речи, адресованные Марии, походили на тираду Онегина (которая, в свою очередь, имела немало общего с обращенными к Черкешенке излияниями заглавного героя «Кавказского пленника»: «Забудь меня…» и т. д.).

Возможно, для кульминации была избрана какая-то липовая аллея[196]. Мария Раевская, едва дышавшая и не решавшаяся возражать, с трудом понимала смысл негромкого пушкинского монолога — примерно следующего:

«Когда б я думал о браке, когда бы мирная семейственная жизнь нравилась моему воображению, то я бы вас выбрал, никого другого — я бы в вас нашел… Но я не создан *для блаж<енства>* etc. (не достоин). Мне ли соединить мою судьбу с вами. Вы меня избрали, вероятно я первый ваш passion[197] — но уверены ли — позвольте вам совет дать» *(VI, 346;* выделено Пушкиным*)*[198].

С этого момента до ее сознания доходили только отдельные

фразы — кажется, среди них были такие: «Неопытность ко злу ведет… Не всякой вас поймет как я… Учитесь вы владеть душою… Полюбите вы снова…» *(VI, 350)*.

Нечто подобное она где-то читала и потом перечитывала, но где именно — никак не могла сейчас вспомнить.

Машенька стояла вся в слезах и по-прежнему молчала.

Уж не наваждение ли это? Ведь она столько лет ждала своего «Ангела верного» — и что же? Явился невесть откуда взявшийся суровый, бездушный ментор с холодным взглядом и «наставленьями»…

Спустя годы Татьяна молвила коленопреклоненному Онегину:

> Я не виню: в тот страшный час
> Вы поступили благородно… *(VI, 187)*.

Наверное, то же самое могла сказать о Пушкине, который не пожелал воспользоваться доверчивостью без ума влюбленной девушки, и Мария Раевская. Но разве от этого ей стало бы хоть чуточку легче?

Для нее все рухнуло в одночасье, и впереди простиралась одна пустота…

Через несколько дней после рокового свидания с Пушкиным, где-то в середине декабря, Мария вместе с родными оставила Одессу. Приехав домой, в Киев, она 21 декабря 1823 года вкратце описала Николаю Раевскому (пребывавшему в Петербурге) свое житье-бытье в «европейском» городе, тамошние светские новости и сплетни и даже уверила брата в том, что «покинула Одессу с большим сожалением»[199].

Письмо, которое было написано перед самым днем ее рождения, как будто вышло чуть ироничным, в меру деловитым и спокойным — словно ничего и не случилось намедни там, на берегу самого романтического в России моря, откуда вернулась девушка. О человеке, отвергшем ее любовь, — ни строчки, ни полслова. Сухо, однако ровно, без всяких ноток порицания или ревности, говорит в послании Мария и о графине Елизавете Ксаверьевне Воронцовой — генерал-губернаторше, одной из тех ярких женщин, которых Пушкин предпочел тогда Раевской. Нет, что бы ни утверждал совсем недавно поэт, а Мария Николаевна умела-таки «властвовать собою» *(VI, 79)*.

Но давно замечено, что спокойствие бывает разное, и иное, кажущееся, наигранное, вернее называть по-другому — или апатией, или безразличием, или отрешенностью…

После Одессы, мерзкой «пыльной Одессы», для опустошенной Машеньки Раевской «все были жребии равны» (*VI, 188)*.

Ей исполнялось восемнадцать лет, и она — первый и единственный в жизни раз — не возражала, чтобы ее судьбу теперь, и побыстрее, разрешили другие.

Глава 6
ПОДВЕНЕЧНЫЙ ВУАЛЬ

… Неосторожно,
Быть может, поступила я…

А. С. Пушкин

Безутешная Мария отбыла в Киев — а Пушкин остался в Одессе. Ему было суждено прожить в городе еще более полугода. Много событий, для него и радостных и печальных, вместили эти месяцы. В частности, поэту довелось встретиться здесь с еще одним важным для нашего повествования лицом.

Странная вещь: рано или поздно все дороги участников этой истории чудесным образом проходили через Одессу.

В начале июня 1824 года проездом тут оказался генерал-майор князь Сергей Волконский, который, по официальной версии, направлялся для лечения на Кавказские Минеральные Воды. Возможно, Пушкин был знаком с ним и прежде, но не более чем формально, близко же сошелся с видным офицером, участником Отечественной войны, он только теперь. Около десяти дней князь провел в Одессе, регулярно общаясь с поэтом, который, по словам генерала, «писал Онегина и занимал собою и стихами всех своих приятелей»[200]. После столь отрадного времяпрепровождения в дружеской компании путешественник двинулся дальше. Это произошло около 15 июня.

Больше они, Пушкин и Волконский, никогда в жизни так и не свиделись.

Возвращаясь с целебных вод, Волконский уже не застал Пушкина в Одессе: 1 августа 1824 года поэта, изрядно досадившего своим дерзостным поведением генерал-губернатору, по распоряжению из столицы отправили в «северную ссылку», в Михайловское. Князь же, заглянув мимоходом в Одессу, не имел нужды или желания там теперь особенно задерживаться. Он, помолодевший и отдохнувший, спешил в Киев — *по очень серьезному делу.*

Находясь у источников, он наконец получил от друга ожидаемое и крайне важное известие…

Минуло с той поры четыре года — и в пушкинской тетради с черновиками седьмой главы «Евгения Онегина» (ПД № 838) появился мужской портрет, в котором современный

исследователь обоснованно угадывает Волконского[201]. Тут же, на полях рукописи, примостилась приписка поэта — смазанная, в заключительной строке трудночитаемая:

Когда бъ
ты прежде
зналъ <?> *(XVII, 143)*.

Первый публикатор этой записи М. А. Цявловский рассматривал ее отдельно от рисунка (тогда еще не атрибутированного) и посему не смог объяснить смысла пушкинских слов. Однако если исходить из того, что между портретом и текстом существует определенная связь, то у исследователя появляются призрачные шансы разгадать сокровенную мысль поэта. Два варианта дешифровки записи кажутся автору данной книги наиболее правдоподобными.

Возможно, что перед нами обращение Пушкина к Волконскому, уже не князю и генералу, а к государственному преступнику, находившемуся в 1828 году на каторге в Сибири. К примеру, приблизительно такое: когда бы ты, приятель, вдруг да узнал заранее, какая тебе — и не только тебе одному! — уготована на избранном поприще ужасная участь, скажи мне по совести — повел ли бы ты себя *тогда* так, как повел, или все-таки действовал по-иному?

Но поэт, глядя на возникший рисунок, точно так же мог вопрошать и самого себя: а ну-ка признавайся, брат Пушкин, что бы ты, задира, дуэлянт и сукин сын, сделал, как поступил с этим Волконским, если бы тогда, в июне 1824 года, случайно проведал наперед, *с кем* ты встретился на берегу моря?

Конечно, пушкинская запись вполне допускает и множество других, столь же спорных, недоказуемых толкований. Однако неоспорим сам факт: в 1828 году Пушкин, сочиняя роман в стихах, думал о человеке, с которым судьба некогда свела его в Одессе — всего лишь на несколько дней.

Вспоминал Пушкин о нем и позже — вплоть до самой гробовой доски.

Да и Волконский — даже будучи дряхлым стариком — тоже никак не мог забыть давно почившего поэта.

Вся Россия знала и почитала Волконских — Рюриковичей, представителей одного из древнейших и богатейших княжеских родов империи. Большим авторитетом в начале XIX века пользовался, в частности, глава одной из ветвей семейства — князь Григорий Семенович (1742–1824), генерал от кавалерии, сподвижник легендарных Румянцева и Суворова, затем

оренбургский генерал-губернатор и член Государственного совета. Трое его сыновей тоже сделали завидную военную карьеру и не затерялись в отечественных исторических хрониках.

Князь Сергей Григорьевич Волконский, родившийся 8 декабря 1788 года, был самым младшим из них.

До четырнадцати лет юноша воспитывался дома, а затем поступил в петербургский пансион аббата Шарля Доминика Николя, где обучались отпрыски самых аристократических фамилий. Позднее Волконский утверждал, что «заведение славилось тогда как лучшее», однако «преподаваемая нам учебная система была весьма поверхностна и вовсе не энциклопедическая»[202]. (Сам же аббат откровенно признавался, что, «воспитывая молодых русских, он работал для Франции»[203].) Кстати, в том же пансионе «чему-нибудь и как-нибудь» учились и некоторые будущие декабристы (например, М. Ф. Орлов).

По выходе из пансиона князь Сергей (еще в детстве, согласно традиции, записанный родителями в службу сержантом) стал поручиком лейб-гвардейского Кавалергардского полка — едва ли не самого блестящего полка империи. «Моральности никакой не было в нас; весьма ложные понятия о чести, весьма мало дельной образованности и, почти во всех, преобладание глупого молодечества», — вспоминал о тех временах Волконский и называл себя «большим повесой», любителем «и пошалить, и покутить»[204].

Между тем в Европе шли бесконечные кровопролитные войны — так что российской гвардейской молодежи поневоле приходилось умерять свои шалости и заниматься делами серьезными. Князь Сергей Волконский участвовал в кампаниях 1806–1807 годов, не отсиживался в штабах и был ранен пулею в бок в деле при Прейсиш-Эйлау. Его наградили золотым знаком, установленным за эту битву, а также орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Далее была турецкая кампания, в ходе которой штаб-ротмистра князя Волконского контузили в сражении на Дунае. По окончании военных действий он был пожалован во флигель-адъютанты и ротмистры.

Впоследствии было подсчитано, что в общей сложности князь Сергей Григорьевич принял участие в 58 сражениях[205]. В основном это были баталии времен Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Подводя итоги данного периода жизни, Волконский писал: «15-го сентября 1813 г<ода> я был произведен в генерал-майоры, а теперь во Франкфурте был пожалован в кавалеры ордена Св. Анны 1-го

класса; итак, начав Отечественную войну ротмистром гвардии, хотя уже тогда флигель-адъютантом, я получил с того времени чин полковника, Анну 2-ой степ<ени>, а потом с бриллиантами, третьего Владимира, Георгиевский крест и в Франкфурте Анну первой степени; конечно, всё это выше моих заслуг»[206]. К этому можно добавить, что князь, получив генеральский чин, был оставлен в императорской свите и награжден, сверх перечисленных, еще и несколькими иностранными орденами.

Дорога из Европы домой была упоительной.

«Время незабвенное!» Тогда ему, герою, едущему по шумящим градским улицам под дождем из дамских чепчиков, мечталось в седле: еще одно, самое последнее усилие, еще два, ну от силы три удачных смотра в высочайшем присутствии плюс изощренная придворная комбинация благодетелей и продуманная до мелочей женитьба — и он на вершине славы.

Все его козыри были налицо, все карты легли как надо — однако стремительного восхождения генералу осуществить так и не удалось.

После окончания Наполеоновских войн князь Волконский занимал ряд начальственных должностей, но потом, в 1818 году, занемог (или сказался больным) и был уволен в отпуск до излечения от недуга. 14 января 1821 года он вернулся на военную службу (во 2-ю армию, расквартированную на Юге России) и приступил к исправлению обязанностей бригадного командира 1-й бригады 19-й пехотной дивизии.

Император Александр I хоть и не возводил князя Сергея в столпы Отечества, но все же весьма отличал его и в узком кругу царедворцев и свитских офицеров даже величал по-приятельски — «M-r Serge»[207]. А в 1822 году знаменитый английский рисовальщик Джордж Доу, мастер парадной живописи (изображавший, по словам Фаддея Булгарина, «головы в совершенстве»[208]), выполнил погрудный портрет князя для Военной галереи Зимнего дворца. Тем самым Волконский по августейшей воле причислялся к когорте выдающихся ратных героев завершившейся эпохи.

Другой бы, верно, поблагодарил судьбу, счел жизнь состоявшейся, непостыдной — но не таков был князь Сергей.

Вершина ему не покорялась, его, сиятельного князя Волконского, обошли — и, следственно, смертельно обидели.

Стоит ли говорить, что генерал, чрезмерно задержавшийся в холостяках, был тогда одним из выгоднейших женихов империи. Мечтавшие заполучить такого зятя и супруга, разумеется, отдавали должное родовитости, послужному списку и связям Волконского, однако не забывали и о состоянии князя. А за ним

числилось немало: более полутора тысяч душ в Ярославской и Нижегородской губерниях; кроме того, он владел 10 тысячами десятин благодатной земли в Таврической губернии и хутором под Одессой. Были, правда, и долги — но разве дворянину, солидному помещику приличествует жить без них?

Князь был темнорус, высок ростом (позднее нерчинская полиция указала точные данные — «2 аршина 8 ¼ вершков»[209], то есть около 179 см) и в меру статен («корпуса среднего»). Годы и походы сделали свое дело: Волконский временами «страдал невыносимо грудью», а «зубы носил накладные, при одном натуральном переднем зубе»[210]. Большие серые глаза навыкат и отвислая нижняя губа[211], а также крупный «продолговатый нос»[212] не позволяли считать его лицо (опять же слегка «продолговатое») привлекательным — но для настоящего, богатого и знатного, мужчины в этой непривлекательности, как и в долгах, не было ровно никакой беды.

Беда Волконского была в другом — и ничто накладное или напускное не могло скрыть ее от окружающих.

Лица, коротко знавшие князя (иногда даже дружившие с ним), не сговариваясь, отмечали, что тот, увы, наделен весьма скромными умственными способностями. Так, М. П. Бестужев-Рюмин назвал его «добрым, но глупым»[213]. А пензенский помещик и профессиональный картежник С. М. Мартынов писал другу о встрече с Волконским еще резче: «Я почти что заснул во время нашего свиданья; клянусь тебе, если бы я говорил с обезьяной или попугаем, мне невозможно было бы испытывать большую скуку»[214]. О «глупости» князя упоминали и Александр Раевский[215], и (позднее) император Николай Павлович (кстати, царь, в сердцах аттестовав Волконского «набитым дураком», прибавил, что тот известен «таким нам всем давно»[216]). Есть и другие свидетельства того же рода. Показательно, что и люди следующего поколения, в том числе преклонявшиеся перед «первенцами свободы», столкнувшись с Сергеем Григорьевичем, вынужденно высказывали схожие мнения. Например, Е. И. Якушкин (сын декабриста) сообщал жене, что лицо Волконского «без особого выражения ума, и даже вообще выражения в лице не много. И в этом отношении лицо говорит совершенную правду — особенного ума у него действительно нет…»[217].

В многочисленных тогдашних Волконских немудрено было запутаться, и поэтому некоторые из них получили от современников неофициальные добавления к родовому имени. Удостоился прозвища, причем какого-то нескладного, и князь Сергей Григорьевич. Его именовали «Buhna» — Бюхна или Бухна,

Бюкна тож[218]. Даже если острословы, забывшие про ранения и награды генерала, и не намекали на крепкое французское слово «bouquin» или обидное русское «бухоня», едкий подтекст их изобретения представляется несомненным.

Вроде бы князь, царедворец, герой и кавалер, глядящий чуть ли не в наполеоны, а на самом-то деле, если прищуриться и не замечать старинного герба, мундирного золота и десятин — всего-навсего какой-то Бюхна…

Ни дать ни взять «пашпорт на вечную носку», по слову Гоголя из «Мертвых душ». Процитируем заодно и продолжение: «И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, <…> ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во всё свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица».

Откуда вылетела — и куда устремилась…

Исстари такие люди, от рождения вроде бы предназначенные *княжить,* но кем-то обойденные или чем-то обделенные и посему вынужденные *бухнуть* на вторых ролях, рьяно искали компенсации и добывали себе подобие лидерства на путях окольных, которые зачастую были путями крайне сомнительными. По неписаному и потому крайне редко нарушаемому закону в России почти все окольные дороги вели гордецов прямиком в оппозицию, фронду, а то и много дальше — к «шалостям потаенным», к «мятежной науке» (*VI, 525).*

Стал однажды постигать эту науку и князь Сергей Волконский — и увлекся ею не на шутку.

Начиналось все, можно сказать, почти безобидно — с масонства, которому отдали дань многие представители тогдашней российской элиты. Волконский еще в 1812 году вступил в ложу Соединенные Друзья[219]. Потом, после возвращения с войны, он организовал (на паях с П. П. Лопухиным) ложу Три Добродетели (1815), где стал «1-м надзирателем». В 1818 году, будучи в Одессе, князь, уже имевший высокую степень посвященности, захаживал в местную ложу Евксинский Понт, а позднее, кажется, даже попытался составить из одесских вольных каменщиков тайное общество. Состоял он также и в киевской ложе Соединенные Славяне[220]. Надлежит отметить, что в перечисленных ложах вместе с Волконским работали будущие члены декабристских организаций — такие, как П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, И. А. Долгоруков и другие.

Вскоре циркули и фартуки, забрызганные водкой и Лафитом, были ими отложены ради более важных дел: как написал впоследствии Пушкин, «толпа дворян» стала готовить (правда, весьма неспешно и бестолково) государственный переворот, создавать «сеть тайную», в недрах которой разрабатывались

планы действий в «минуты [вспышки]» (*VI, 525–526)*.

В 1819 году князь Волконский был принят в Союз благоденствия. После ликвидации этой организации он стал в 1821 году видным деятелем Южного общества, где возглавил (вместе с В. Л. Давыдовым) Каменскую управу. Возглавил — и повел нескончаемые разговоры и переговоры (с этеристами, поляками, масонами и проч.). Регулярно наведывался в Северную столицу «для совещаний, соображений и свода успехов по каждому отделу»[221]. О его конспиративной деятельности до 1824 года в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ…», составленном правителем дел Следственного комитета А. Д. Боровковым, говорится следующее: «Участвовал в совещаниях в Киеве в 1822 и в 1823 и в деревне Каменке, где согласился как на введение республиканского правления, так и на истребление всех особ императорской фамилии. Будучи приглашаем к участию в злоумышлении при Бобруйске (1823), он отказался[222]. В 1823 и в 1824 годах, троекратно бывши в С.-Петербурге, он имел поручение открыть сношения с Северным обществом, старался соединить оное с Южным и направить к одной цели; причем некоторым членам открыл о преступных намерениях своего общества»[223].

Строки, начертанные бесстрастным и честным чиновником, очень красноречивы. Из них явствует, что князь Волконский в описываемое время был одним из наиболее крупных деятелей тайного общества, причем позиционировал себя в качестве убежденного республиканца и стоял за самые «решительные меры» вплоть до цареубийства. Но бросается в глаза и другое. На сходках Бюхна пылко ратовал за «истребление всех особ императорской фамилии», однако стоило разговору воодушевленных юных сообщников стать более предметным — он тотчас умывал руки. Князь был за республику — что вовсе не мешало ему тогда же жадно ловить всякое царское слово в ходе аудиенций и позировать модному придворному живописцу.

Далее Боровков сообщает еще более удивительные вещи. Оказывается, бригадный командир и глава управы Волконский за разговорами забыл о главном и практически никак «не действовал ни на привлечение к обществу, ни на приготовление подчиненных своих к цели оного». За это князь, по-видимому, получил какое-то нарекание от главных заговорщиков (от «Директории»), И тогда удрученный Бюхна, привыкший «сводить успехи», решил одним махом поправить свою пошатнувшуюся революционную репутацию.

В начале данной главы мы рассказали о том, как князь Сергей Григорьевич отправился летом 1824 года подлечиться на

Кавказские Минеральные Воды и как по дороге, в Одессе, встретился с Пушкиным. Итог же поездки Волконского к источникам был, по словам А. Д. Боровкова, таков: «Возвратясь в 1824 году с Кавказа, он представил Директории о мнимом существовании тайного общества в Кавказском корпусе»[224]. Иными словами, Волконский между серными и кислыми ваннами *придумал* тайную политическую организацию, возникшую под боком у самого А. П. Ермолова, и даже наладил контакты с мифическим братством.

Не секрет, что декабристы были людьми увлекающимися и многократно записывали в «свои» всякого встречного сердитого говоруна (а тот, откланявшись, порою и не подозревал, что стал заговорщиком). Хватало среди них и откровенных вралей, прагматичных и простодушных, что показали допросы в Следственной комиссии. Так что в нашем случае удивляет не сама мистификация князя Волконского[225] — удивляют ее масштабы. Сплоченное, вооруженное до зубов и ждущее сигнала общество в самом закаленном, не выходившем из боев, корпусе, который способен в несколько переходов достичь столицы империи — такой размах блефа был доступен только немногим, самым что ни на есть исключительным персонам. Quod licet Jovi, non licet bovi, как утверждали древние.

К таковым олимпийцам без тени сомнения относил себя и князь Сергей Григорьевич Волконский.

А почему бы и нет? Ведь он был генералом, в его подчинении была целая бригада, и было ему тогда без малого тридцать шесть лет.

Конечно, годы немалые — особенно если вспомнить, что *корсиканец* стал бригадным генералом уже в двадцать четыре, а в тридцать шесть лет торжествовал при Аустерлице. Но тут ничего не попишешь: мы долго запрягаем… К тому же Россия — особая страна, и, значит, у нее будут свои, ни на кого не похожие, консулы…

Впрочем, отдаленное сходство между олимпийцами не повредит, пожалуй, даже пригодится — так что, допустим, *его* походку и что-нибудь еще можно и перенять.

И постепенно, поначалу то и дело забываясь и чертыхаясь, Бюхна приучил-таки себя ходить сложив руки за спиной[226] — по-наполеоновски.

Теперь ему подобало обзавестись своей Жозефиной.

Итак, на дворе стояла осень 1824 года. Приближалась и жизненная осень — и князь Сергей Волконский торопился с Кавказа по очень важному делу. В последние годы большинство

его разъездов по России было так или иначе связано с делами тайного общества, однако эта поездка носила преимущественно приватный характер.

Летом, во время пребывания генерала на водах, скончался его престарелый родитель, но мысли о каком-либо подобающем случаю сыновьем трауре Сергей Григорьевич не допускал. Князю было не до этикетных условностей. Кажется, он тогда даже отложил посещение свежей отцовской могилы.

Волконский устраивал свою собственную судьбу и посему ехал в Киев — к Раевским.

Ехал с твердым намерением: официально просить руки их дочери, Марии Николаевны…

Князь давно и хорошо знал это добропорядочное семейство, частенько, бывая «на контрактах», заглядывал в дом Раевских и даже участвовал в случавшихся там иногда (на женской половине) «магнетических сеансах». (Кстати, такие сеансы заговорщики приспособили для проведения собственных оперативных совещаний. Когда власти получили в 1824 году донос о якобы имевших место в доме Н. Н. Раевского-старшего «заседаниях киевских масонов» и назначили расследование, чересчур радушный генерал был вынужден подать в отставку[227]. Так что старик понимал, что представляют из себя Волконский и его товарищи.)

В воспоминаниях С. Г. Волконского события, предшествовавшие его сватовству, изложены так:

«…Упомяну об обстоятельстве, лично до меня относящемся, — о моей свадьбе с девицею Мариею Николаевной Раевской. Давно влюбленный в нее, я, наконец, в 1824 году решился просить ее руки. Это дело начал я вести через Михаила Орлова; но для очищения себя от упрека в том, что я виною всех тех испытаний, которым подверглась она впоследствии от последовавшего опального моего гражданского быта, — я должен сказать, что, препоручив Орлову ходатайствовать в мою пользу у ней, у ее родителей и братьев, я положительно высказал Орлову, что если известные ему мои сношения и участие в тайном обществе будут помехою в получении руки той, у которой я просил согласия на это, то, хотя скрепя сердце, я лучше откажусь от этого счастья, нежели решусь изменить своим политическим убеждениям и своему долгу.

Не будучи уверенным, что получу согласие, и чтоб вывести себя и ее семью из затруднительного положения, я выставил причиной вымышленное расстройство моего здоровья и поехал на Кавказские воды, с намерением, буде получу отказ, искать

поступления на службу в кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в жизни частной»[228].

Все обстояло, конечно, иначе. Князь Волконский был прекрасно осведомлен о том, что Н. Н. Раевский-старший хотя и держит двери своего жилища широко открытыми, однако косо смотрит на всяческих доморощенных карбонариев и не даст женихам из их числа, перешагивающим порог дома, погубить счастье своих дочерей. Он продемонстрировал это всем сомневающимся в истории с упомянутым М. Ф. Орловым. Когда тот, член Союза спасения и Союза благоденствия, вдобавок и руководитель Кишиневской управы тайного общества, в 1821 году посватался к Екатерине Раевской, старый генерал дал свое согласие на брак, но взамен потребовал, чтобы потенциальный зять незамедлительно прекратил злоумышленную деятельность — и Орлов, влюбленный без памяти, подчинился[229]. К тому же недавно, всего несколько месяцев назад, генерал Раевский пострадал от крутившихся подле него «фармазонов» и, естественно, был вдвойне зол на них. Поэтому обращаться к нему так, как описывает Волконский, то есть в форме не подобострастной, а жесткой, почти ультимативной, мог только безумец или оригинал, желавший побыстрее получить решительный отказ.

Мы думаем, что щекотливое дело разворачивалось по-другому. Князь Сергей Григорьевич попросил своего давнего приятеля при удобном случае побеседовать с Николаем Николаевичем Раевским-старшим и в разговоре крайне осторожно прозондировать почву: мол, есть ли у него, знаменитого на всю Россию Волконского, какие-либо надежды на успех в затеваемом матримониальном предприятии. А если паче чаяния Орлов вдруг поймет или услышит, что шансы действительно есть, то ему надлежит, не мешкая, развивать наступление на тестя и деликатно выяснять самое существенное — как, на каких конкретных условиях и когда можно устроить этот брак.

При разработке оптимистического сценария Волконский здраво рассудил, что условия генерала будут, скорее всего, аналогичны предложенным три года назад Орлову. Что и говорить, такой вариант (то есть разрыв жениха Марии с тайным обществом) не выглядел идеальным, уязвлял самолюбие князя, но все же его устраивал (почему — выяснилось позднее). Однако он, все загодя разузнав и взвесив, не исключал, что Н. Н. Раевский-старший теперь, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, может стать посговорчивее, нежели в 1821 году, и пойдет на некоторые уступки Волконскому.

Причиной тому было тяжелое материальное положение, в

котором тогда находилось семейство Раевских. Генерал не роскошествовал, всегда жил скромно, по средствам — и тем не менее еле-еле сводил концы с концами. К 1824 году его финансовые дела, издавна непростые, стали совсем отчаянными: частные долги были огромными, заложить уже нечего — и Раевским грозило полное разорение. Старик, хорошо умевший биться с неприятелями, но пасовавший перед кредиторами, лишенный практической жилки, страдал от бессилия. Вся родня нервничала, а старший сын, Александр, намеревался бросить службу и посвятить себя хозяйственным хлопотам.

Летом Мария Раевская за тайну писала брату Николаю, что «дела принимают <…> неблагоприятный оборот», что «Александр печален, одинок, болен; он решился взять отпуск и хочет заняться всецело папиными делами». Далее она сообщала, что и «тетка[230] накануне утраты своего заложенного имения; когда наступил срок платежа, она не смогла выплатить требуемую сумму — я не знаю, что из этого выйдет». В конце письма девушка откровенно признавалась: «Дорогой Николай, ты очень счастлив, что не слышишь постоянно о разорении, банкротстве; уверяю тебя, что это портит крови больше, чем…»[231][232]

Характерно, что в этом грустном послании Мария *дважды* просила брата, чтобы тот по прочтении письма сразу же его сжег. Она сохраняла достоинство и не желала, чтобы посторонние люди случайно узнали об унижении Раевских.

Но скрыть такое бедствие от «общественного мненья» было невозможно.

Дипломатическая миссия Михаила Орлова, инициированная Волконским, проходила в самый разгар тягостных раздумий генерала Раевского о будущем их рода. Поэтому вкрадчивое сообщение зятя о появлении на горизонте богатого и знатного жениха для дочери не могло не взволновать главу семейства.

Конечно, Николай Николаевич не собирался превращать замужество дочери в «контракт», выгодную торговую махинацию, он не из породы меркантильных сводников, но, скажите на милость, что плохого в том, если брак, который генерал возьмет да одобрит, сделает Марию счастливой, вызволит ее из нужды, а заодно и поможет Раевским выпутаться из безнадежного положения? Сойдись всё так, именно в такой последовательности и с непременным акцентом на дочернее счастье — и старческим горячим молитвам не будет конца. Да и сидящий напротив зять Михаила вроде бы не юлит, не прячет глаза и аттестует князя подобающе — в противном случае не замолвил бы за него словечко. И то сказать: сражался, изувечен, в больших чинах… А

всякие «шалости» Волконского — что ж, они Раевскому ведомы, этим пробавляются сейчас многие горячие головы, но он, Раевский, знает (вот и Орлов подтвердит, что знает), как их мигом остудить.

Так или почти так рассуждал про себя Николай Николаевич Раевский-старший, выслушивая ходатая, предлагая тому прямые вопросы и изредка кивая головой.

Будь его воля, он бы, видимо, дал положительный ответ этому Волконскому.

Однако вслух ничего подобного сказано не было.

Через несколько лет сын генерала, Николай Раевский-младший, находясь (по словам М. В. Юзефовича) в дурном расположении духа, «разразился целой диатрибой против отца (якобы пожертвовавшего для связей судьбою своей дочери) и против условных обязанностей детей к родителям»[233]. Да и большинство биографов трактовали брачные переговоры Раевского-старшего слишком прямолинейно и утверждали, что «предложение <Волконского> было принято по настоянию отца Марьи Николаевны Раевской»[234].

Ближе к истине, пожалуй, сообщение декабриста А. Е. Розена, который писал, что Мария «не по своей воле вышла замуж, но только из любви и послушания к отцу»[235]. Здесь понято главное содержание происходившего — *любовь,* а там, где царит любовь, и эта любовь взаимна, какие бы то ни было приказы излишни и нелепы. А о «связях» и говорить не приходится: многих ли покровителей заполучил неимущий генерал за всю предыдущую жизнь?

Ошеломляющая новость и предварительное мнение отца (которого полностью поддержала жена, Софья Алексеевна) были сообщены явившейся по вызову Марии.

Ее попросили подумать — хорошенько, как никогда.

Вскоре прошел семейный совет, где, среди прочего, велись разговоры об «обеспечении блестящей, по светским воззрениям, будущности»[236] дочери. Возможно, в какой-то из комнат киевского дома перед советом случилась сцена, похожая на эпизод из жизни Татьяны Лариной:

> «…Меня с слезами заклинаний Молила мать…» (*VI, 188)* [237].

В общем, родители высказали свои соображения и подкрепили их весомыми (на их взгляд) аргументами в пользу этого брака. Однако последнее слово все же было оставлено за Марией.

Марии, сказать по совести, было все едино: замужество или прежнее прозябание «в девках», генерал или безусый прапорщик, Грандисон или Ловлас. Явись тогда за ней в Киев какой-нибудь авантюрист-американец, позови в неизвестную землю за морями — и, право, она бы взошла на его шхуну, согласилась даже на чудную «mispress», на Америку, где, быть может, смогла со временем забыть то, что с ней произошло.

Когда-то, уже целую вечность назад, она смела перечить отцу и убедила любимого батюшку, что нудный граф Олизар ей не нравится. Смогла бы, наверное, Мария проявить упорство и сейчас: ведь князь Волконский, давний знакомец, был ничем не лучше поляка. Но девушка знала, какого слова от нее сейчас ждут близкие, желающие ей только добра. Кроме того, она видела их выразительные, почти просящие глаза и, трепеща от нахлынувшей жути, все отчетливей понимала, что *лишь это,* одно-единственное, слово может спасти семью Раевских от унижения.

Вероятно, родительские глаза всё и решили.

Мария наконец вздохнула.

После страшного одесского разговора ей казалось, что жизнь обессмыслилась. Но минуло сколько-то месяцев — и вот выясняется, что теперь, буквально сию минуту утерянный смысл мог в ее жизнь вернуться. Для этого нужна была только жертва — во имя этих глаз, ради *другой* любви. О, это будет возвышенная, достойная жертва! Недаром сказано: «Любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв» (Мк., 12, 33). И если так — то да будет так, она готова к самопожертвованию!

В полной тишине Мария наконец вымолвила ожидаемое от нее слово.

Да, отец хотел услышать именно такое слово — однако выбор был сделан *ею,* и только ею[238].

Случилось это, по-видимому, в середине августа 1824 года. В Киеве стояли пригожие, по-настоящему летние дни, и Раевские сочли их за хорошее предзнаменование.

О результатах семейного совещания не откладывая оповестили Михаила Орлова — а тот с ближайшей почтой отослал экстренное послание князю Волконскому, на Кавказ. В мемуарах последнего сказано следующее:

«Получив отпуск, отправился я в путь, просив, чтобы положительное решение по этому вопросу было мне доставлено туда (на Кавказские Минеральные Воды. — *М. Ф.),* и там я получил от Орлова извещение, что могу формально приступить к исполнению своего намерения относительно женитьбы, с надеждой на успех»[239].

Вот тогда-то князь, затосковавший было на водах в компании жертв почечуя и паралича, придумавший от тоски «секретнейший союз», воспрял духом, внезапно почувствовал себя молодым и здоровым кавалергардом и стал собираться в Киев.

Однако как он ни торопился, но попал туда лишь в начале октября. Зато — виват Мишелю Орлову! — смотрины и переговоры с Раевскими шли быстро и, можно сказать, приятно, без сучка и задоринки. Разве что настырный старик временами, поймав гостя в укромном уголке, твердил о тайном обществе, и пришлось заверить будущего тестя, что с игрой в заговорщики князь непременно покончит.

А желанная юная Мария не избегала его общества, даже была с ним в меру приветлива.

К 5 октября все формальности были улажены, и в волнительный день помолвки князь Сергей Григорьевич писал брату своей невесты, Николаю Раевскому:

> «Решение моей судьбы, произнесшей *да*, и благословение родителей меня ввергло в неописанную радость и удостоверяют меня в вечном счастьи. В первых минутах оного весьма рад, что могу тебя, любезный друг, назвать будущим братом, и будь уверен, что в полной силе всегда буду исполнять обязанности новой моей степени родства с тобой. Извини, брат Николай, что пишу так лаконично и мало связно, но голова от счастия и хлопот идет кругом, и вскоре с тобой увижусь.
>
> *5-го, Киев. Сергей»*[240].

Сразу условились с родителями, что венчаться молодые будут здесь, в Киеве, ориентировочно в первых числах ноября. До этого срока князю Волконскому надо было успеть съездить в Петербург, перво-наперво к матушке, испросить ее благословение, а заодно и по казенной надобности. (Да и с северянами не мешало переговорить.)

На том и расстались ненадолго.

Оказавшись в столице, князь Волконский поведал всем невским знакомым о знаменательном событии в своей жизни. Решил ликующий жених сообщить новость и ссыльному Пушкину — и 18 октября написал и отправил в Михайловское прелюбопытнейшее письмо (вскоре и мы прочитаем его).

Волконский не подозревал, что его «новизна» давно и безнадежно устарела: еще полтора месяца назад поэт получил тайное послание от Марии.

Дав на семейном совете согласие стать женой князя Сергея Волконского, Мария Раевская в те же сроки, то есть во второй половине августа 1824 года, написала Пушкину…

В Михайловском тогда жило все пушкинское семейство: родители и брат с сестрой. Именно Ольга Сергеевна Пушкина (в замужестве Павлищева) и рассказала впоследствии биографу крайне важную вещь: «Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, — пишет П. В. Анненков, — что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, — последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Памятником его благоговейного настроения при таких случаях осталось в его произведениях стихотворение „Сожженное письмо“, от 1825 г<ода>. Вот где была настоящая мысль Пушкина»[241].

Из этих мемуарных строк позднее выросла едва ли не самая невероятная и волнительная пушкиноведческая легенда, в плену у которой оказались даже весьма маститые ученые. Это легенда о страстной любви поэта к Е. К. Воронцовой и о так называемых «парных перстнях», «талисманах» (с надписью на древнееврейском языке: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память»), один из которых графиня якобы оставила себе, а другой подарила Пушкину при расставании.

Согласно этой легенде, и письма из Одессы шли в Михайловское от Е. К. Воронцовой, и «лучшие любовные стихотворения» Пушкина адресованы супруге генерал-губернатора. Более того, некоторые пушкинисты даже уверяли (и уверили) публику, что связь поэта с графиней привела к рождению ребенка, девочки Софьи.

«Роман Пушкина с Воронцовой стал вершиной мифологической биографии поэта», — констатировал непримкнувший к фантазерам исследователь. Далее он сокрушенно добавил: «В последнее время все пишущие о романе Пушкина с Воронцовой уже не считают себя обязанными что-либо доказывать — роман стал аксиомой»[242]. «Общепринятое мнение», опирающееся на ряд домыслов и натяжек, встречается и в новейших исследованиях авторитетных пушкинистов[243].

Тут стоит вспомнить, что еще в начале XX столетия М. О. Гершензон бурно протестовал против версии о «парных перстнях» Е. К. Воронцовой. «Нужна весьма малая острота ума, чтобы понять нелепость этой басни, — писал мыслитель. — Есть ли малейшая вероятность, что гр<афиня> Воронцова имела два одинаковых перстня с древнееврейской надписью <…> или что

прежде чем подарить перстень Пушкину, она заказала себе дубликат?»[244] В другой раз тот же М. О. Гершензон обмолвился, что приписывать графине авторство одесской корреспонденции позволяет сугубо «тайна веры»[245]. Схожую мысль развивал позднее и Г. П. Макогоненко: «Сам факт получения письма из Одессы с сургучной печатью вовсе не свидетельствует, что письмо было получено именно от Воронцовой»[246]. Скептическое отношение к легенде высказали в ушедшем веке и несколько других исследователей, однако их не услышало большинство.

И на то у большинства, надо признать, были довольно веские причины.

Ведь «общепринятое мнение» выглядело вполне аргументированным, логичным. Неоспоримо, что графиня Е. К. Воронцова вручила Пушкину в Одессе перстень с древним текстом. А письмо, взволновавшее поэта, пришло к нему в глухую деревню как раз из недавно покинутой Одессы. Более того, это послание было запечатано перстнем, который, если верить Ольге Сергеевне, ничем не отличался от пушкинского. Отсюда следовало, что автором письма надо считать графиню, а перстни — ее и пушкинский — были одинаковые, парные «талисманы». Все здесь как будто сходилось и правдоподобно объяснялось. Для того чтобы доказать несостоятельность подобной логики, которой руководствовалось большинство, противники «басни» обязаны были предложить *другое объяснение* сообщения О. С. Павлищевой. Но они так и не сумели этого сделать.

Однако иное, «не-воронцовское», объяснение фактов, изложенных сестрой поэта, все-таки имеется. И оно лишний раз демонстрирует, как удивительны сюжеты реальной пушкинской жизни, насколько «странные сближения» Пушкина могут быть изощреннее и драматичнее любых вымышленных ситуаций.

Все дело в том, что Мария Раевская, написав в августе Пушкину, отослала письмо *в Одессу,* по хорошо знакомому ей адресу. Девушка тогда еще не знала, что поэт только что, недели две назад, был переведен из приморского города в «северную ссылку». Таким образом, ее секретная эпистолия, прежде чем попасть в назначенные руки, сделала по империи основательный крюк в многие сотни верст и посему порядком задержалась в пути[247]. Обитателям же Михайловского, не имевшим понятия о почтовых перипетиях, было ведомо только одно: письмо к их сыну и брату Александру доставлено *из Одессы.*

Разрешается, причем просто и по-своему изящно, и загадка экзотических «парных перстней». Сестра поэта приготовила ее для пушкинистов невольно: наблюдая за возбужденным в почтовый день братом, она обманулась сама.

Ольга Сергеевна помнила, что в молодости, до отъезда на юг, Александр частенько носил золотое кольцо с сердоликом, на котором были вырезаны три амура в ладье. Затем она надолго рассталась с попавшим в немилость братом и увидела его лишь через несколько лет, уже в Михайловском (где находилась до начала ноября 1824 года). Здесь ей на глаза и попалось пришедшее вроде бы из Одессы «письмо с печатью» — хорошо знакомой по Петербургу, с амурами, точно такой же, как у брата. Разумеется, столь необычное совпадение, равно как и «благоговейное настроение» Александра, получившего послание, запечатлелись в ее памяти — и спустя много лет О. С. Павлищева рассказала о них П. В. Анненкову.

Однако она не сообщила «первому пушкинисту» самого главного факта, проясняющего всю запутанную донельзя картину: *у Пушкина в 1824 году уже не было кольца с амурами.* Ольга Сергеевна просто не знала об этом.

Легенда о «парных перстнях» выросла из тезиса, что некий перстень был пожалован дамой поэту. Но творцы легенды (а за ними и их оппоненты) рассуждали тривиально и почему-то упустили из виду, что и Пушкин вполне мог кому-либо презентовать свое кольцо. При определенном, уникальном стечении обстоятельств и тут возникал оптический обман — иллюзия существования двух одинаковых перстней. Эпизод, попавший в поле зрения О. С. Павлищевой, был именно таким.

Однажды на Юге, находясь в компании друзей, Пушкин принял участие в веселой лотерее, для которой пожертвовал свое кольцо с сердоликом[248]. Когда же пришло время подводить итоги розыгрыша, то выяснилось, что обладательницей драгоценного приза стала… *Мария Раевская!* Ее внук писал спустя десятилетия: «Однажды у Раевских разыгрывалась лотерея, — Пушкин положил свое кольцо, моя бабушка его выиграла»[249].

Так пушкинский перстень навсегда перекочевал к Марии — и обрел прямо-таки чудодейственную силу. Отныне любое ее письмо, запечатанное сердоликовым перстнем, грозило обернуться миражом и могло ввести в заблуждение тех, кто раньше видел необычный перстень у поэта и не подозревал о новой владелице печатки.

Конечно, никаких «парных перстней» графини Воронцовой не существовало — это фантом. Зато существовал (и существует до сих пор) сердоликовый перстень Марии Раевской, который с 1824 года, вследствие фатальной (но извинительной) ошибки родственницы поэта, стал «двоиться» в сознании пушкинских современников и потомков.

Уезжая в Сибирь, Мария Николаевна взяла кольцо с собой.

Она хранила его всю жизнь и завещала своим детям столь же бережно оберегать «вещественную память о Пушкине»[250]. В 1915 году С. М. Волконский передал перстень с тремя амурами, садящимися в ладью, в Пушкинский Дом. В сопроводительном письме на имя Б. Л. Модзалевского он писал: «Прошу Вас принять и передать в дар Пушкинскому Дому при Императорской Академии Наук прилагаемое кольцо, принадлежавшее Александру Сергеевичу Пушкину. Оно было положено поэтом в лотерею, разыгранную в доме Н. Н. Раевского, и выиграно бабушкой моей — Марией Николаевной, впоследствии княгиней Волконской, женой декабриста, и подарено мне моим отцом, кн<язем> Мих<аилом> Серг<еевичем> Волконским, когда я кончил гимназию <…> в 1880 году»[251].

Вот почему в предыдущей главе книги мы утверждали, что «вырезная» (или «сердоликовая») печать Татьяны Лариной указывала на Марию Раевскую.

Именно ею наша героиня запечатала оба письма к Пушкину — сперва «письмо любви», написанное в ноябре 1823 года, а затем и прощальное, посланное в августе 1824-го в Одессу и только в сентябре попавшее в Михайловское.

5 сентября 1824 года исполнилось ровно четыре года с тех пор, как Пушкин распрощался в Гурзуфе с Марией и отправился в Кишинев. В этот памятный день в его рабочей тетради, иногда называемой «второй масонской», среди черновиков третьей главы «Евгения Онегина» появилась такая запись:

5 сентебр<я> 1824
u.<ne> l.<ettre> de… *(XVII, 240),*
то есть:
5 сентебр<я> 1824 письмо от…

Далее в записи следует трудночитаемая буквенная комбинация, которая походит на монограмму, состоящую из двух инициалов. Они написаны по-французски и наложены друг на друга так, что создается впечатление, будто верхний инициал отменяет (или уточняет) значение нижнего.

Большинство ученых, занимавшихся дешифровкой пушкинской записи (П. Е. Щеголев, М. А. Цявловский, Г. П. Макогоненко и проч.), дружно пришли к выводу, что сверху «отчетливо выписана буква V»[252]. Однако мнение пушкинистов по поводу второго, нижнего, инициала было не столь единодушным.

Например, М. А. Цявловский (возможно, под влиянием жены, поклонницы «воронцовской» версии Т. Г. Зенгер-Цявловской) читал его как «L», а всю комбинацию трактовал как «Lise

Voronzoff», что неверно, ибо Пушкин всегда писал фамилию Воронцовых через «W» *(XII, 204; XIII, 95–96, 394–395; XVII, 252)* [253]. М. О. Гершензон был убежден, что мы имеем дело с буквой «R»[254], а П. Е. Щеголев, Г. П. Макогоненко и другие исследователи вели речь о «Pr» и французском слове «pr<incesse>» (княгиня)[255]. Теперь у нас есть основания утверждать, что сторонники «княгини» были всего в полушаге от истины и только случайность помешала им примкнуть к точному наблюдению М. О. Гершензона.

Латинская буква «R» имеет довольно сложное начертание, она как бы двусоставна, и графологам хорошо известно, что иной тип почерка (к примеру, «летящий», как у Пушкина, или торопливая скоропись) способен разделить ее на части, выбив из-под литерной основы расположенную справа «подпорку». В этом случае буква «R» внезапно превращается в *две* буквы: основа ее читается как «P», а выбитая «подпорка» («костыль») своим начертанием очень напоминает строчную латинскую «г». Даже очень опытный текстолог, столкнувшись с подобным эффектом, может ошибиться, тем более что выстраданное текстологом «Pr» намекает на «княгиню» и отдаленно подходит по смыслу. Такую мотивированную ошибку и совершили вышеназванные ученые — но заслуга их видится в том, что своей ошибкой они тоже, хотя и косвенно, указали на правильный нижний инициал в пушкинской шифрованной записи.

Итак, поэт, фиксируя имя автора письма, которое он получил 5 сентября 1824 года в Михайловском, сперва написал *«R»,* а затем, словно спохватившись, переправил прежде начертанный инициал на *«V»*.

Изменить машинально написанную букву Пушкина заставило содержание послания: в письме Мария Раевская сообщала ему, что дала согласие стать супругой князя Сергея Волконского.

Отныне Marie Rayevsky (или Raievsky) превращалась для поэта в Volkonsky[256].

Рядом с записью Пушкина, чуть ниже нее — уже не раз упоминавшиеся стихи из третьей главы «Евгения Онегина»: про «печать вырезную», «сердоликовую печ<ать>» (*VI, 323)*. На том же тетрадном развороте имеется оплечный портрет Марии Раевской[257].

Одним из творческих откликов на послание Марии стало пушкинское стихотворение «Сожженное письмо», которое было занесено опять же во «вторую масонскую» тетрадь (ПД № 835). Его перебеленный автограф предположительно датируется последними днями 1824 года[258], а черновой вариант (который не сохранился) был написан несколько раньше. Стихи

свидетельствуют о душевном состоянии Пушкина в то время и содержат дополнительную информацию касательно полученного поэтом письма девушки:

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!., вспыхнули! пылают — легкой дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит… О Провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты Белеют…
Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди… *(II, 331)*.

В беловике есть красноречивые приписанные стихи:

Близ сердца моего останься; не забудь
Слова заветные, слова души прекрасной… *(II, 868)*.

Там же, чуть ниже текста «Сожженного письма», находится набросок, который (по наблюдению Т. Г. Цявловской[259]) также связан со стихотворением:

Так *<нрзб>* слезами
Пылая капает сургуч *(II, 421, 941)*.

Теперь мы знаем, что в августовском письме, которое было запечатано «перстнем верным» из сердолика, Мария Раевская не только оповестила поэта о скорой перемене в своей судьбе, но и велела Пушкину уничтожить ее послание, написанное в ноябре 1823 года в Одессе, — уничтожить «письмо любви». Знаем и о том, что Пушкин с болью в сердце, откладывая и сомневаясь, выполнил-таки волю девушки и предал огню дотоле бережно

хранимое письмо с сургучной печатью. Датировать данное аутодафе можно, по-видимому, лишь приблизительно — сентябрем — декабрем 1824 года.

Найдется ли когда-нибудь «искусный карандаш», который дерзнет изобразить *ту* минуту и *то* лицо поэта, освещаемое языками «пламени жадного»?

Уничтожение Пушкиным послания Марии Раевской и его «Сожженное письмо» объясняют странное на первый взгляд «противоречие» в «Евгении Онегине». Переход девичьего письма из рук автора (в главе третьей: «Письмо Татьяны предо мною…») к Онегину (в главе осьмой: «…он хранит письмо…») мотивирован самой Жизнью.

Послание *Марии* было у Пушкина, «перед ним», но в конце 1824 года он, следуя августовскому предписанию, сжег это письмо. Письмо же *Татьяны* не попало в огонь вовсе не потому, что героиня произведения не просила Евгения об этом, а потому, что ликвидировать *романную* эпистолию, сделать из нее тайну не мог никто: к моменту создания осьмой главы «Онегина» письмо уже было *опубликовано.* Вся читающая Россия знала его содержание, сожжение бумаги (как трафаретный фабульный ход) теряло всякий смысл — и, значит, Онегину выпадало *хранить вечно* листок, оригинал которого, находившийся у автора, однажды превратился в «пепел милый».

В тетрадях Пушкина, заполнявшихся в Михайловском, есть и другие сочинения и фрагменты, которые так или иначе связаны с известием о замужестве Марии Раевской. Среди них строфы «Евгения Онегина», уже упоминавшееся послание «Графу Олизару», а также «Таврида», «Фонтану Бахчисарайского дворца», баллада «Жених»… Выявление и анализ таковых стихотворных и прозаических текстов в свете вышеизложенных обстоятельств — предмет отдельного исследования, и его еще предстоит провести. Стоит поглубже осмыслить и тот факт, что тема женитьбы (в разных ее вариациях и аспектах) усиленно разрабатывалась поэтом как раз осенью 1824 года. Кроме того, мы полагаем, что пушкинистам надлежит вернуться к тем произведениям, которые по давней традиции считаются «воронцовским циклом». Не исключено, что ученые, проанализировав их заново и преодолев накопившуюся инерцию, смогут внести некоторые коррективы в устоявшиеся суждения.

В двадцатых числах октября в Михайловское было доставлено еще одно нерядовое письмо. Из Петербурга к Пушкину адресовался князь Сергей Волконский. Это послание, датированное 18 октября, подействовало на поэта почти столь же сильно, как и письмо Марии. Вот строки, которые он наверняка

выделил особо:

> «Любезный Александр Сергеевич, при отъезде моем из Одесс, я не думал, что не буду более иметь удовольствие, по возвращении моем с Кавказа, с вами видиться, и что баловник Муз, преследуемый судьбой в гражданском своем бытии будет предметом новых гонений.
>
> Соседство и вспоминании о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий — а соо<те>чествиникам вашим труд ваш памятником славы предков — и современника. <…> Имев опыты вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие — будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Марию Николаевною Раевского — не буду вам говорить о моем счастии, будущая моя жена была вам известна. <…>
>
> Я сего числа еду в Киев, надеюсь прежде половины ноября пред олтарем совершить свою свадьбу. Пробуду несколько времени в Киеве — буду в поместьях новых моих родственников и там, как и здесь, буду часто о вас говорить и общее воспоминание о вас — будет в вашу пользу. Поручаю себя вашей дружеской и благосклонной памяти.
>
> *На всегда не изменно вам преданный Сергей Волконский…» (XIII, 112).*

Конечно, Пушкин имел ясное представление об уме князя — но даже учитывая данный фактор, он, вероятно, возмутился, прочитав не слишком грамотное письмо Волконского. Все говорит за то, что вряд ли генерал намеревался оскорбить поэта, однако добился именно этого: объективно послание жениха вышло издевательским.

«Непристойное неуважение» сановного «полу-милорда» по отношению к какому-то никудышному «коллежскому секретарю», «поэту из передней» — все это Пушкин, недавно конфликтовавший в Одессе с графом М. С. Воронцовым, изведал сполна. Очутившись в деревне, поэт, казалось, ускользнул из-под власти чопорного аристократа, «его сиятельства», однако не тут-то было: и здесь, в глуши, ему продолжил портить кровь представитель той же, «воронцовской», породы — снова генерал, правда, теперь уже князь и полный невежда. Разумеется, Воронцов — «вандал, придворный хам и мелкий эгоист» *(XIII,*

103), но и он не додумался бы до того, что позволил себе этот болван Бюхна!

А Бюхна, видимо, что-то краем уха услышавший (в Одессе, Киеве или Петербурге) про Марию и Пушкина, умудрился выразить переполнявшие его чувства, действительно, крайне неуклюже и высокомерно. Князь не просто сообщил поэту о своей помолвке, но и сразу же беспардонно добавил, что его невеста *была* известна Пушкину. Получалось, что Волконский подводил черту под прошлым и загодя отказывал корреспонденту в праве на какое-либо, даже сугубо светское, общение с княгиней Марией Николаевной. Заодно он «успокоил» поэта, что «общее воспоминание» о нем Раевских (да и прочих лиц), благодаря Волконскому, сложится все-таки в его, Пушкина, «пользу». Тут же генеральская длань указала стихотворцу, этакому «баловнику Муз», на наиболее подходящие предметы для «пиитических занятий». В таком контексте даже откровенный вздор князя («всякое доброе о мне известие — будет вам приятным» и т. п.) выглядел едкой насмешкой, сарказмом.

Эта осень, особенно сентябрь и октябрь, была для поэта тягостной. Пришла беда — открывай ворота: тогда, в Михайловском, Пушкин в пух и прах разругался с мелочным отцом, который выполнял обязанности официального наблюдателя за ссыльным («имел полное смотрение»), — и ссора с такой персоной, «представителем власти», грозила новыми, еще более строгими, карами. Порою поэт впадал в отчаяние, мелькали мысли о бегстве за границу, о «палаче и каторге», а то и более дурные. (Спасибо Ольге, дочери управляющего, а то стало бы совсем невмоготу.) Он с тоской вспоминал Юг и жаловался В. Ф. Вяземской в конце октября: «Всё, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства <…>. Прощайте, уважаемая княгиня, в тоске припадаю к вашим стопам, показывайте это письмо только тем, кого я люблю и кто интересуется мною дружески, а не из любопытства. Ради Бога, хоть одно слово об Одессе…» *(XIII, 114, 532).*

С Одессой поэта связывало многое, но с некоторых пор Одесса все чаще ассоциировалась у него с городом Марии Раевской. Теперь Пушкин еще крепче прежнего верил, что одной мыслью ее он «дорожит более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» *(XIII, 101).* Бог ты мой, кому досталась такая красавица!

Ему было горько, очень горько. Он словно одеревенел. Болело и жгло в груди. «Душа прекрасная» разминулась с его душой — и

теперь ушедшую уже не окликнуть, не воротить, не приголубить…

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал…

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал? (*II, 305)*.

Где-то далеко Мария выходила замуж, причем (он знал это доподлинно) за нелюбимого человека. Значит, она становилась одной из тех дам, на кого раньше Пушкин обращал особо пристальное, подчас хищное, внимание. Но то было раньше…

Хотя впереди его еще ждали «вавилонские блудницы», он делался другим.

В ссылке «духовные силы» его наконец «достигли полного развития» *(XIII, 198, 542),* и *такой* (зрелый, «могущий творить») Пушкин неизбежно должен был приступить к пересмотру своего прежнего жизнестроительства.

Накануне зимы в Михайловском царило уныние. Однако вместе с письмом, «радостью» и «отрадой бедной», в огонь как будто ушло, обратилось в дым и зряшное — пока не всё, но значительная его часть.

И теперь, принеся искупительную жертву, поэт стал гораздо ближе к большой любви. Теперь уже *он* мечтал о встрече с Марией.

Венчание князя Сергея Волконского и Марии Раевской по каким-то причинам было отложено и состоялось в Киеве лишь 11 января 1825 года. Утром этого дня старый генерал Н. Н. Раевский заставил-таки князя подписать некую бумагу — очевидно, с обещанием отречься от антигосударственной деятельности. (Как было отмечено О. И. Поповой, тем самым Николай Николаевич фактически создал улику против себя: выходило, что он «знал о существовании общества, но молчал о нем»[260].) Торопившийся в

храм жених подмахнул ее не читая и «больше об этом не думал»[261]. Да и зачем было думать о пустяках, когда он, еще только затевая многоходовую интригу с браком, знал, что не станет выполнять своих обещаний?

Через несколько дней на квартире у князя состоялись переговоры депутатов русского и польского тайных обществ. «Хотя именно в это время была моя свадьба, — писал Волконский в мемуарах, — но я не отклонился от участия в оных, и это новый знак моей преданности к делу тайного общества»[262].

Вслед за этим последовали и другие «знаки преданности» Волконского — знаки его бесчестности.

Он походя обманул всех доверившихся ему: и Н. Н. Раевского-старшего, и прочих Раевских, и поручившегося за него М. Ф. Орлова, и свою молодую, такую «неосторожную», жену.

Даже такой апологет дворянских революционеров, как П. Е. Щеголев, вынужден был признать в начале XX века: «Сам Сергей Григорьевич Волконский бесконечно ниже своей жены и по уму, и по характеру, и по духовной организации. Среди декабристов он был даже и не крупный человек, а просто мелкий, и уж ни в каком случае не соответствует тому высокому представлению, которое имеет о нем наша читающая публика. Во время следствия и суда в 1826 году его мелкая психика сказалась очень ярко. Когда знакомишься с его следственным делом, хранившимся в Государственном Архиве, и с некоторыми подробностями, заключающимися в других делах, выносишь тяжелое впечатление: охватывает сильно и глубоко чувство грусти от созерцания раскрывающегося противоречия между ранее существовавшим представлением и действительно бывшим. Вот уж, поистине, именно Волконский не тот человек, который может сам себя или которого могут другие представлять героем!»[263]

Едва ли Мария, идя под венец, знала что-либо конкретное о конспиративной деятельности князя Сергея. Но она, умевшая наблюдать, слушать и сопоставлять, безусловно, уже тогда о чем-то могла догадаться. Вот почему после венчания, за шампанским[264], молодая княгиня, принимая поздравления, улыбаясь и болтая с гостями, иногда с щемящим сердцем поглядывала на суетившегося, переходившего от кружка к кружку отца, на остальных, таких же родных и милых, Раевских.

В воспоминаниях Мария Николаевна поведала: «Мне было грустно с ними расставаться: словно, сквозь подвенечный вуаль, мне смутно виднелась ожидавшая нас судьба»[265].

Глава 7
ПЕРВЫЙ ГОД СУПРУЖЕСТВА

Постылой жизни мишура…

А. С. Пушкин

Свадебный пир в Киеве завершился. Сытые и веселые, всласть посудачившие гости разъехались по домам. Подвенечный вуаль и платье упокоились в сундуке…

Не успела новоявленная княгиня Мария Николаевна Волконская и оглянуться, как наступили супружеские будни. Однако лишь три месяца (если не меньше) она провела вместе с мужем, а потом, во время Великого поста, надолго разлучилась с ним.

«Вскоре после свадьбы я заболела, и меня отправили, вместе с матерью, с сестрой Софьей и моей англичанкой в Одессу, на морские купания, — читаем в мемуарах княгини. — Сергей не мог нас сопровождать, так как должен был, по служебным обязанностям, остаться при своей дивизии»[266]. К этому надо добавить, что князя удерживали в Умани и Тульчине и дела тайного общества, которых с каждым днем все прибавлялось: близилась развязка.

Когда подступает 18 брюмера и легионы становятся в ружье, Жозефина обязана смириться и ждать.

«До свадьбы я его почти не знала»[267], — рассказывала о Волконском впоследствии Мария Николаевна. Трех месяцев совместной жизни ей оказалось более чем достаточно, чтобы уяснить раз и навсегда, с кем она, идя навстречу родителям, связала свою судьбу. Князь сразу же, с первых недель повел себя с молодой женой «неровно», порою даже обходился с ней «резко» или «избегал» ее[268]. Видимо, уже тогда Мария по секрету признавалась брату Александру и сестрам, что «муж бывает ей несносен»[269].

В народе исстари говорили: «Жена без мужа — вдовы хуже». Вот в таком незавидном положении и очутилась вскоре после медового месяца молодая княгиня. К тому моменту она уже была брюхатой.

Опубликовано ее выразительное письмо, адресованное старшей сестре, Екатерине Орловой. Оно было написано в Одессе и датируется 13 июня 1825 года:

«Дорогая Катенька. Ты пишешь мне о своих занятиях

по хозяйству; что сказала бы ты, видя, как я хожу каждый день на кухню, чтобы наблюдать за порядком, заглядываю даже в конюшни, пробую еду прислуги, считаю, вычисляю; я только этим и занята с утра до вечера и нахожу, что нет ничего более невыносимого в мире.

Если папа в Киеве, — умоляй его приехать к нам; я все приготовила к его приезду: велела повесить занавески и меблировать комнаты, так же, как в помещении Орловых и братьев. Приезд их для меня был бы праздник, особенно Александра; как я была огорчена тем, что он отказался от этого путешествия. M-me Башмакова[270] все время восхваляет его и тебя. Она как нельзя более предупредительна и должна считать меня очень угрюмой, так как я вообще совсем не любезна от природы, а теперь меньше, чем когда-либо.

Прощай, дорогая Катенька, убеди папа отложить его путешествие в Воронеж; мы с таким нетерпением ждем его.

Твоя сестра Мария Волконская…»[271]

Не прошло и полугода после киевского венчания — а Мария сызнова печальна, даже угрюмее, «чем когда-либо». Она беременна, нездорова и по-прежнему одинока. Мать и сестра, несмотря на все старания и ухищрения, не могут развлечь бедняжку. Еще бы: ранее девичью жизнь наполняли музыка и поэзия, ее разнообразила какая-никакая, а любовь — теперь же все свелось к кухне, конюшне, бухгалтерии…

Вот ее теперешние музы…

И ради них она принесла себя в жертву! Она, княгиня Волконская, пребывает в Одессе, таком романтическом и навеки памятном для нее городе, — и занята здесь тем, что в промежутках между морскими ваннами входит в невыносимую роль экономки, неловко даже сказать — «пробует еду прислуги». Если так пойдет и дальше (а скорее всего, именно так, увы, и пойдет) — скоро ей и солить грибы на зиму придется, и лбы брить… Видел бы ее сейчас тот, по чьей милости она взошла на этот пахнущий соломой и щами эшафот!

(А тот, о ком княгиня ненароком вспомнила, тоже думал о ней в Михайловском — и в те же сроки на полях черновика «Евгения Онегина» вновь нарисовал Марию[272].)

О муже и отце ее будущего ребенка в приведенном письме не говорилось ничего — и вовсе не Волконского Мария жаждала тогда увидеть подле себя, а своего старого батюшку и братьев. Не

тая своих чувств, она умоляла близких поскорее приехать к морю: только они, несравненные Раевские, были способны подарить ей, ее изнуренной душе маломальский «праздник».

Княгине Марии Николаевне — то ли генеральше на содержании, то ли титулованной ключнице, то ли новоиспеченной соломенной вдове — так недоставало этих живительных праздников, этих краткосрочных возвратов в былое…

Все лето она мало с кем общалась, выезжала редко и ненадолго, охладела к чтению, игнорировала даже обожаемую итальянскую оперу — и ждала, ждала дорогих гостей, то и дело заглядывая в приготовленные для них уютные комнаты и уточняя там мелочи обстановки. Но близкие так и не объявились, не оценили подобранных Марией занавесок и канапе…

Князь Волконский приехал за женой в Одессу только «к концу осени». Он отвез ее (вместе с сестрой Софьей) в Умань, «где стояла его дивизия»[273], и, не задерживаясь, вновь уехал — на сей раз в Тульчин, где располагалась главная квартира 2-й армии (и действовал штаб Южного общества заговорщиков).

Для генерала и его соратников наступил последний, решительный час: в это время в Таганроге неожиданно скончался император Александр Благословенный, по каким-то причинам оставивший в тайне имя наследника престола. Российский трон пустовал, с присягой новому царю — Константину? Николаю? — возникли нешуточные проволочки и колебания, правительство и гвардия пребывали в растерянности. Курьеры, сновавшие между тремя столицами, с трудом разъезжались на разбитых трактах. Вся империя погрузилась в кому междуцарствия (или двоецарствия). «Случай удобен. Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов»[274], — зазвучало тогда на секретных сходках…

Из Умани, где пока все было тихо, княгиня уныло писала брату, Николаю Раевскому, в Харьковский драгунский полк: «Дорогой Николай, приезжай к нам, как только сможешь; мы здесь очень одиноки, погода отвратительная: нет возможности выходить, и мы заперты в трех маленьких комнатках, так как дом еще не готов»[275].

Вновь Мария жаловалась на одиночество и просила близкого человека навестить ее…

Между тем *события* разворачивались. Властям, наконец-то опомнившимся, из доносов стало известно о существовании разветвленного заговора. Завязалась переписка, повсюду начались спешные разыскания и аресты, и 13 декабря в Тульчине был взят под караул полковник П. И. Пестель, командир Вятского

пехотного полка и глава Южного общества. (Пестель видел в генерале Волконском командующего революционной армией.)

А уже на следующий день в Петербурге произошел бунт северян и обильно пролилась кровь…

Под грохот пушек, разметавших мятежников, на престол взошел император Николай I Павлович.

…Князь Волконский в спешном порядке, в непроглядной темени прибыл в Умань. В воспоминаниях Марии Николаевны приезд мужа описан в духе романов г-жи Радклиф: «Через неделю он вернулся среди ночи; он меня будит, зовет: „Вставай скорей“; я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чем дело? „Пестель арестован“. — „За что?“ — Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила. Я видела, что он был грустен, озабочен. Наконец, он мне объявил, что обещал моему отцу отвезти меня к нему в деревню на время родов…»[276].

О, если бы князь честно выполнил *все* обещания, данные им тестю…

Наутро Волконские собрали самое необходимое и, соблюдая всяческую предосторожность, двинулись в путь. По дороге они заночевали в Матусове, у дальних родственников, и спустя сутки добрались до Болтышки — имения Раевских в Киевской губернии. Наскоро отобедав и поговорив с Николаем Николаевичем о «происшедшем 14 декабря в Петербурге»[277], князь счел за благо откланяться и в сумерках помчался обратно в Умань. «Он меня сдал на попечение моей матери и немедленно уехал»[278], — вспоминала Мария Николаевна.

Если память не подвела мемуариста, то получается, что Мария Волконская оказалась в Болтышке «в последних числах декабря 25 года»[279].

Могла ли она когда-нибудь предположить, что ей выпадет пережить такие умопомрачительные святки?

Кругом топили воск, ворожили, под вечер из деревни доносились веселые песни — Мария же предалась грустным раздумьям. Она сумела-таки взять себя в руки, кое-как сосредоточиться, многое подвергла пристальному анализу — и в ходе размышлений, по возможности холодных и откровенных, ей постепенно «открылся мир иной» *(VI, 148)*.

Она ждала ребенка — и больших несчастий. Приметила, что подчас отец как-то странно поглядывал на нее и, забываясь, тяжело вздыхал. Софья же Алексеевна запиралась у себя, выходила к обеду с красными глазами и старалась не оставаться с

дочерью наедине. За столом, прежде шумным и веселым, теперь подолгу молчали, причем во время смены блюд тишина становилась прямо-таки неприличной.

Мария понимала, что где-то произошло нечто очень важное; в этом важном, по всей вероятности, как-то замешан князь Волконский, и вот-вот с ним может случиться — или уже случилось? — что-то ужасное. А она, княгиня Волконская, — перед Богом и людьми жена этого человека, и пусть не было покуда в ее семье счастья и согласия, пусть (к чему напрасно обманываться?) не будет их и в дальнейшем, жена не имеет никакого права оставаться в стороне или «отлепиться», бросить своего супруга в беде.

«Жена связана законом, доколе жив муж ее» (1 Кор., 7, 39)…

Так Марию учили с детства. Так воспиталась она сама, глядя в течение многих лет на благоденствующих, почти не разлучающихся отца и мать.

На фоне происходящего (уже происшедшего?) обиды и слезы минувших месяцев вдруг стали казаться княгине смехотворными пустяками, детским капризом. Эти неурядицы, такие мелкие, были давным-давно, задолго до *событий* — и быльем поросли.

Однажды она, поговорив с матерью и вспомнив о родовой ломоносовской неуживчивости, даже попыталась уверить себя в том, что в «неровных» отношениях с мужем есть доля ее собственной вины. Дальше — больше: если прежде Мария, изнывая от одиночества, мечтала увидеть рядом кого-либо из Раевских, то теперь, оказавшись наконец среди них, в родном доме, она все чаще ловила себя на мысли, что с нетерпением ждет приезда Волконского. Княгиня даже была готова сама отправиться к несчастному Сергею. Заслышав звук подъезжающего к усадьбе экипажа, она, с трудом передвигаясь по комнате, всякий раз приближалась к заиндевевшему окну: не он ли взбегает по ступенькам?

Однако генерал все не ехал. Волконский в те дни фактически махнул рукой на свою бригаду и коротал время в главной квартире армии, поеживаясь от косых взглядов сослуживцев и ожидая приказа из Петербурга об аресте. В самом конце декабря князь, воспользовавшись оказией, прислал в Болтышку короткое и сухое письмо, где туманно сообщил жене, что срочные дела задержат его в Умани и Тульчине, видимо, еще недели на две. В числе «срочных дел», надо полагать, был и начавшийся бунт Черниговского пехотного полка, который имел все признаки вакханалии, учиненной пьяной «разбойничьей шайкой» (О. И. Киянская).

Прочитав это, Мария Николаевна заволновалась еще сильнее

— и 31 декабря, за несколько часов до наступления нового года, отправила мужу следующее послание:

> «Я получила твое письмо чрез Петрушу[280], дорогой и горячо обожаемый Сергей. Я не могу тебе сказать, насколько мысль не видеть тебя делает меня печальной и несчастной, потому что, несмотря на надежду, которую ты мне даешь — приехать к 11-му числу[281] — я слишком хорошо вижу, что ты говоришь это для того, чтобы немного успокоить меня, так как тебе не позволят отлучиться.
>
> Дорогой мой, обожаемый, мой кумир Сергей, я умоляю тебя во имя всего, что тебе дорого, выписать меня к тебе, если решено, что ты должен остаться на своем посту. Я не настаиваю на том, чтобы ты приехал сюда к годовщине нашей свадьбы, но по крайней мере к 15 января. Дорогой друг, не только мысль родить вдали от тебя меня огорчает, наоборот, я избавила бы тебя, благодаря этому, от многих волнений, но мысль остаться в Болтышке два долгих месяца без тебя. Я тебе обещаю, дорогой друг, не испустить ни единого крика во время моих страданий, если я буду в Умани»[282].

В Умань ей попасть так и не удалось — и княгиня рожала в Болтышке. Случилось это 2 января 1826 года. Появившийся на свет младенец был окрещен Николаем — в честь Марииного отца.

«Роды были очень тяжелы, без повивальной бабки (она приехала только на другой день)», — вспоминала Мария Николаевна. Глава семейства, Н. Н. Раевский-старший, взял на себя руководство акушерским делом и заставил дочь, несмотря на протесты Софьи Алексеевны, сесть в неудобное, причинявшее роженице дополнительные мучения, кресло.

А далее в доме происходило вот что: «Наш доктор был в отсутствии, находясь при больном в пятнадцати верстах от нас; пришла какая-то крестьянка из нашей деревни, выдававшая себя за бабку, но не смела ко мне подойти и, став на колени в углу комнаты, молилась за меня. Наконец к утру приехал доктор, и я родила своего маленького Николая, с которым впоследствии мне было суждено расстаться навсегда. У меня хватило сил дойти босиком до постели, которая не была согрета и показалась мне холодной, как лед; меня сейчас же бросило в сильный жар, и сделалось воспаление мозга, которое продержало меня в постели в продолжение двух месяцев»[283]. Тяжелые нервные переживания, выпавшие на долю княгини в течение и особенно на исходе 1825 года, усугубили ее болезнь.

Успел ли князь Сергей Волконский, запутавшийся в революционных предприятиях, взглянуть на первенца?

В мемуарах Мария Николаевна утверждала, что муж, доставив ее в декабре в Болтышку, вернулся в Умань, где «тотчас по возвращении он был арестован»[284]. Разумеется, княгиня ошиблась в дате ареста супруга. Но для нас важнее иное: из слов мемуаристки явствует, что *Волконский так никогда и не увидел своего сына.* Косвенно это подтверждается и письмом Н. Н. Раевского-старшего к П. Л. Давыдову от 5 января 1826 года, в котором старый генерал между прочим говорит, что зять его «при своем месте, отлучиться ему нельзя»[285].

Однако декабрист спустя много лет выдвинул другую, прямо противоположную версию. Волконский рассказал, что «добрая весть» о ребенке, родившемся «2-го или (! — *М. Ф.)* 3-го января», была им получена «4-го января за полдень». Он тотчас же переговорил с начальством, получил разрешение на отлучку и «ночью отправился в путь», к «жене, лежавшей на родильном одре». «Прибыв в Болтушку 5-го рано утром, — продолжает Волконский, — я обрадовал жену и ее семейство, взглянул на новорожденного первенца…»[286]

Получается, что не только Мария Николаевна обо всем запамятовала (а может ли забыть *такое* мать?), но и ее отец, сев в тот январский день за письмо к брату, зачем-то солгал. К тому же в некоторых источниках значится, что именно 5 января генерал Волконский был наконец арестован в Умани[287], то есть он никак не мог находиться тогда в Болтышке. (Сам же декабрист настаивал, что узнал о прибытии петербургского фельдъегеря в ночь с 6-го на 7-е число, по возвращении из имения Раевских, и был взят под стражу только утром 7 января[288].)

В рассмотренном щекотливом эпизоде нет полной ясности, но все же мы склонны больше доверять сообщению княгини Марии Волконской.

14 января 1826 года генерала Сергея Григорьевича Волконского, подозреваемого в злоумышленных действиях, под конвоем доставили в Петербург. Император Николай I тот час распорядился: «Присылаемого кн<язя> Сергея Волконского посадить или в Алексеевском равелине, или где удобно, но так, чтобы и о приводе его было неизвестно. С<анкт->П<етербург>, 14 января 1826 г<ода>»[289].

Арестованный заговорщик был помещен в № 4 Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Через день, 16-го числа, он начал давать показания и отвечал в каземате на вопросы генерал-адъютанта В. В. Левашова.

Княгиня Волконская ничего об этом не знала. Она «была опасно больна», и не отходившие от постели Марии родные всерьез «отчаивались в ее жизни»[290]. «Ее нервы раздражены до последней степени, <…> ее охватывает тоска», — писала находившаяся тогда в Болтышке сестра Софья[291], в горячечном состоянии Мария порою забывала даже о сыне, чья кроватка стояла рядом. Временами, в жару, она теряла сознание. «Когда я приходила в себя, я спрашивала о муже; мне отвечали, что он в Молдавии»[292], — вспоминала Мария Николаевна.

Только в начале марта Марии чуть полегчало — и она сразу же «стала настоятельно требовать, чтобы ей сказали правду»[293]. Деваться Раевским было некуда — и Николай Николаевич, не вдаваясь в подробности, то и дело запинаясь, открылся перед дочерью и рассказал о петербургском мятеже, о Черниговском полке и круглосуточной работе Следственной комиссии. Он также сообщил, что пострадали многие; что братья Александр и Николай Раевские, арестованные по подозрению в принадлежности к злокозненным обществам, уже давно (еще в январе) освобождены с оправдательными аттестатами, но дела ее мужа плохи, совсем никудышны, ибо (как ему стало известно) «нет такого ужаса, в котором не был бы замешан Волконский»[294], и о его оправдании даже думать не приходится.

Машеньке надо крепиться и молиться за своего «рыцаря».

«Она приняла эту весть с облегчением, так как уже начинала думать, что мужа нет в живых»[295].

В то же время рассказы отца (вознамерившегося ехать в Петербург хлопотать за родственников) глубоко возмутили княгиню. Спустя несколько дней, 8 марта, Мария писала Александру Раевскому: «Я недавно узнала об аресте Сергея; это разбило мое сердце; состояние моего здоровья этому много способствовало; в другой момент я перенесла бы его с большей философией. Не его арест меня огорчает, не наказание, которое нас ожидает, но то, что он дал себя увлечь и кому же? Низким из людей, презираемым его beau-père[296], его братьями и его женой, потому что я не скрыла от него моего мнения о…[297]»[298]

Она не только не «сочувствовала идеям своего мужа»[299], но категорически отвергала их, а проводников таковых порочных идей, погубивших ее мужа (ну какой из него «идеолог»!), считала крайне безнравственными людьми. (Княгиня не подозревала, что некоторые из них скоро окажутся рядом с ней, из года в год будут влиять на ее бытие и язвить ее душу.)

Однако ныне эти идеи развенчаны и уничтожены — а ее муж, слабый и недалекий тюфяк, прельщенный ими, чудом остался жив.

А коли он жив — то она будет верна «закону».

Мария понимала, что с 1826 года наступил новый этап ее (точнее, их) биографии. Совсем недавно она вышла замуж за нелюбимого человека. Затем у нее появился чудный, обожаемый Николино. Тут же его многогрешный отец угодил в узилище, откуда если и выйдет когда-нибудь, то наверняка без эполетов и в кандалах. Стало быть, теперь, на двадцать первом году жизни, она невиданная богачка — мать маленького спеленатого князя и жена государственного преступника.

Так, с горькой усмешкой, можно было подытожить события первого года супружества Марии Волконской.

Ее вдруг осенило: вот что, оказывается, предрекало когда-то в ночи юной мечтательнице таврическое светило.

Под этой «звездой печальной» Марии предстояло обретаться и дальше.

Будь что будет. Тут, пожалуй, уместна и стоическая «философия»: кухня так кухня, кандалы так кандалы… Они, кстати, чем-то напоминают обручальные кольца…

Княгиня, еще «очень больная и чрезвычайно слабая»[300], медленно гуляя по парку и поглядывая на небо над Болтышкой, однажды остановилась как вкопанная. В тот момент что-то подсказало Марии, что душевные ее силы потихоньку возвращаются, а мысли, до того рассеянные, обретают былую стройность. Она поняла, что, несмотря на болезнь, готова действовать.

Вернувшись с прогулки в дом раньше обычного, княгиня Волконская решительно объявила матери, что уезжает в Петербург.

Глава 8
БОРЬБА ЗА СИБИРЬ

…Верная супруга
И добродетельная мать.

А. С. Пушкин

С отъездом к мужу княгиня Волконская решила не временить, ночь посвятила сборам, и уже на следующее утро все было готово. Однако столь спешно налаженное путешествие едва не сорвалось. «Я вдруг почувствовала сильную боль в ноге, — пишет Мария Николаевна. — Посылаю за женщиной, которая тогда так усердно молилась за меня Богу; она объявляет, что это рожа, обвертывает мне ногу в красное сукно с мелом, и я пускаюсь в путь с своей доброй сестрой и ребенком, которого, по дороге, оставляю у графини Браницкой, тетки моего отца: у нее были хорошие врачи; она жила богатой и влиятельной помещицей»[301].

Из Александрии, обширного имения А. В. Браницкой, Мария пуще прежнего заторопилась на Неву.

Несмотря на весеннюю распутицу, княгиня ехала очень быстро, «день и ночь» понукала ямщиков, не задерживалась на станциях и уже 5 апреля 1826 года достигла Петербурга. Она остановилась у свекрови, княгини Александры Николаевны Волконской, обер-гофмейстерины и «в полном смысле слова придворной дамы» (о ее доме во 2-й Адмиралтейской части города нам еще не раз придется говорить). Сразу же по приезде Мария увиделась с отцом и братом Александром, которые тогда прилагали значительные усилия, чтобы разузнать о ходе расследования и как-то помочь арестованным родственникам (прежде всего Сергею Волконскому и Михаилу Орлову). Княгиня с порога, едва поздоровавшись, заявила им, что главная цель ее появления в Петербурге — «навестить мужа в крепости»[302].

Услышав такое, Раевские были крайне раздосадованы. По их мнению, свидание полубольной Марии с Волконским могло вмиг ухудшить состояние ее и без того никудышного здоровья. Да и узнику (которого отец с сыном, мягко говоря, не слишком жаловали) эта встреча, не лишенная театральности, ничем не поможет, разве что добавит ему душевных страданий. Для всех будет лучше, если Мария откажется от своей безумной затеи, поскорее вернется домой, к ребенку, — и предоставит им, рассудительным мужчинам, возможность действовать.

«И вот началась та изумительная борьба, где слабой женщине-полуребенку был противопоставлен целый заговор мужской хитрости и настойчивости и где, в конце концов, воля сердца всё же одержала верх» (М. О. Гершензон).

Мария, однако, была непреклонна. И Раевские, исчерпав аргументы, поневоле уступили ее напору и даже согласились содействовать организации похода княгини Волконской в каземат. Они помогли княгине правильно составить соответствующее прошение на имя царя и дали этому прошению ход. Втайне отец с сыном тогда рассчитывали, что встреча Марии с мужем если и произойдет, то станет первой и единственной.

Через несколько дней Н. Н. Раевский-старший покинул Петербург. (Заехав по дороге оттуда в Москву, к дочери Екатерине Орловой, и успокоив ее, он вернулся в Болтышку.) Заслуженный генерал, обойдя многие кабинеты и переговорив вполголоса с влиятельными персонами, сумел-таки замолвить словечко за Орлова (давно отставшего от злоумышленных «союзов»), но в то же время в верхах ему прозрачно намекнули, что хлопотать о другом зяте бессмысленно: для того (здесь персоны сокрушенно разводили руками) «нет никакой надежды».

С Марией Волконской за «надсмотрщика» остался ее брат Александр, который взял за правило опекать любимую сестру довольно строго и старался устроить все так, чтобы поступки Марии были лишены какой-либо, даже минимальной, самостоятельности. Человек большого ума, Александр Раевский и в данном случае выказал редкостные (хотя и небесспорные) таланты. Долгое время княгиня не имела никакого понятия о подлинных намерениях брата.

Точно так же, лицемерно и «охранительно», повели себя и мать Марии, Софья Алексеевна Раевская, и ее сестра Софья Николаевна, не усидевшие в Болтышке после скоропалительного отъезда дочери и приехавшие в город на Неве спустя несколько часов после Волконской. Они полностью одобрили линию поведения Александра и, не задумываясь, присоединились к изощренному семейному заговору. 6 апреля 1826 года Александр Николаевич сообщил Екатерине Орловой: «Мама приехала сегодня утром, Маша здесь со вчерашнего вечера. Ее здоровье лучше, чем я смел надеяться, но она страшно исхудала, и ее нервы сильно расстроены. Бедная, она еще надеется. Я буду отнимать у нее надежды только с величайшей постепенностью: в ее положении необходима крайняя осторожность»[303].

Не будем корить, а постараемся понять Раевских, людей благородных, пошедших тогда против совести. Видит Бог: они ничего не искали для себя, но только всеми мыслимыми

способами спасали дочь и сестру, которую на их глазах властно влекло к бесчестному человеку и бунтовщику, а значит, и к неминуемой собственной гибели. Князь Волконский нагло обманул их всех, обманул прежде всех свою жену — это обстоятельство в какой-то степени служило для Раевских самооправданием. Однако не приходится сомневаться, что двуличие в общении с Марией давалось им ох как нелегко.

Княгиня Волконская крупно заблуждалась, думая, что, водворившись в Петербурге, она заполучила инициативу в свои руки. На самом деле хитроумный план, связанный с Волконским, всецело разрабатывался Раевскими, которые, на словах всячески поддерживая Марию, за ее спиной умело интриговали в петербургских коридорах власти, заручались поддержкой авторитетных лиц и в конце концов «окончательно обошли» княгиню, вынудив Волконскую зачарованно действовать в русле их тонкой политики.

Прежде всего Раевские, руководимые Александром Николаевичем, сделали все для того, чтобы Мария не встречалась с женами и близкими других декабристов, которых в ту пору находилось в Петербурге немало (кто-то всегда жил там, кто-то, подобно самой княгине, приехал в критическую минуту издалека). «Александр действовал так ловко, — констатировала Волконская, — что я всё поняла лишь гораздо позже, уже в Сибири, где узнала от своих подруг, что они постоянно находили мою дверь запертою, когда ко мне приезжали. Он боялся их влияния на меня…»[304]

Свидание Марии Николаевны с арестованным мужем готовилось не один день: процедура получения высочайшего разрешения была многоступенчата. Александр Раевский, в январе ставший камергером, не только добивался (и добился) этой милости, но и параллельно старался, чтобы намеченная тюремная встреча прошла по сценарию, приемлемому исключительно для Раевских. В частности, в середине апреля он писал А. Х. Бенкендорфу:

«…Чтобы не иметь на совести тяжести упреков, которые может нам сделать моя сестра, когда поймет весь ужас своего несчастия, она может узнать, что мы были против утешений, которые она могла бы принести своему мужу, — мы согласились бы на это свиданье, если бы его величество дозволил бы графу Алексею Орлову видеть сначала князя Волконского. Он предупредил бы его о состоянии моей сестры, получил бы от него торжественное обещание утаить от нее степень виновности, которая тяготеет над ним, и употребить всё свое влияние, чтобы заставить ее тотчас уехать к своему сыну и там ждать решения его

судьбы; это единственное условие, при котором мы можем согласиться на свиданье, столь желаемое моей бедной сестрой»[305].

Содержание письма говорит само за себя: Раевский от имени всего своего семейства выдвинул ультиматум арестованному и, не стесняясь, предложил правительству озвучить эти требования.

Итак, княгиня страстно «желала» встретиться с мужем — и Раевские ежечасно уверяли ее, что надо набраться терпения, что они делают все возможное и невозможное, чтобы такое свидание состоялось. Отчасти родственники говорили правду, но только недоговаривали, что в ходе закулисных маневров Александр продиктовал князю Волконскому (через высших должностных лиц империи) конспект его речей, обращенных к Марии, — и тем самым предопределил итоги rendez-vous в Петропавловской крепости.

У заключенного князя не было никакого выбора: отказаться от встречи с женой Волконский не мог, а любое своеволие при свидании только усугубило бы его и без того беспросветное положение.

В дни тягостного ожидания княгиня получила письмо из Болтышки, от отца. Волнующийся старик писал: «Неизвестность, в которой о тебе, милый друг мой Машенька, я нахожусь, мне весьма тягостна. Я знал всё, что ожидает тебя в Петербурге. Трудно, и при крепком здоровье, переносить таковые огорчения. Отдай себя на волю Божию! Он один может устроить судьбу твою. Не забывай, мой друг, в твоем огорчении милого сына твоего, не забывай отца и мать, братьев, сестер, кои все тебя так любят. Повинуйся судьбе: советов и утешений я никаких более тебе сообщить не могу»[306]. Она и повиновалась, но дни-то шли и шли…

В какой-то момент потерявшая им счет Мария вконец отчаялась увидеть Волконского и была готова уехать из Петербурга: ведь ее заждался и сын. 17 апреля она писала отцу, жаловалась на отсутствие сил и переходила к главному: «Я не могу сообщить вам ничего нового; государь еще не ответил на мое письмо, или прошение; я отправляюсь отсюда с сокрушенным сердцем; всё, что я могла узнать о положении Сергея, это то, что он здоров. Говорят, что он один из наиболее сильно скомпрометированных…»[307]

Завершив это послание, княгиня передала его сестре Софье, которая хотела приписать батюшке несколько своих приветных строк. Удалившись к себе и набросав их, Софья уже не возвратила письмо обратно Марии, а побыстрее запечатала его и отправила на почту. Таким образом, содержание ее приписки Волконская так

и не узнала. Остается только гадать, как повела бы себя Мария, до какой степени возмутилась, если бы ознакомилась с сестриным приложением к письму. Ведь там было вот что:

> «Дорогой папа. Разрешение видеть Сергея для Марии получено, но это ей еще пока неизвестно, потому что Александр хочет, чтобы Алексей Орлов сначала увидел его, чтобы убедиться в том, возможно ли Марии с ним свидеться. Все необходимые предосторожности Александром будут приняты, и около 25-го или немного позднее он отправит ее в Москву. <…> Александр пригласит доктора, когда Мария пойдет на свидание с Сергеем. До свидания, дорогой папа, тысячу раз целую ваши руки. *София*»[308].

Не ведала Мария и о том, что в тот же день, 17 апреля интрига Раевских получила продолжение. Мать княгини, Софья Алексеевна, сочла необходимым подстраховаться, оказать дополнительное давление на князя Сергея. Она отправила Волконскому письмо следующего содержания:

> «Дорогой Сергей, ваша жена приехала сюда единственно для того, чтобы увидеть вас, и это утешение ей даровано. До сих пор она не знает всего ужаса вашего положения. Помните, что она была опасно больна, — мы отчаявались в ее жизни. Ее голова так ослаблена страданиями и беспокойством, что, если вы не будете сдержанным и будете говорить ей о вашем положении, — она может потерять рассудок. Будьте мужчиной и христианином, потребуйте от вашей жены, чтобы она скорее уехала к вашему ребенку, который требует присутствия матери. Расстаньтесь возможно спокойнее»[309].

Итак, мы выяснили, что император Николай I дал согласие на свидание княгини Волконской с мужем 16 или 17 апреля 1826 года, однако родственники еще два-три дня держали Марию в неведении относительно этого. Вероятно, именно в данный промежуток времени граф Алексей Орлов, один из ближайших сподвижников царя и активный участник подавления декабрьского бунта, посетил арестанта и провел с ним нравоучительную беседу в духе тех требований, которые были сформулированы Раевскими. Только после такой беседы Александр Раевский сообщил Марии о высочайшей воле. Это произошло 20 апреля.

Обрадованная княгиня тотчас бросилась писать отцу в Болтышку. Из ее письма видно, что уже в те дни Мария Волконская составила (пока, разумеется, в самых общих чертах) план своих дальнейших действий:

> «Дорогой папа́, наконец я получила разрешение видеться с Сергеем, что я и рассчитываю сделать завтра же; это будет тяжелая минута для меня: мысль покинуть моего бедного мужа в несчастий огорчает меня до последней степени: я надеюсь, что Бог поможет мне вернуться как можно скорее с моим дорогим малюткой. Я буду тогда терпеливо ожидать приговора Сергея и разделю его судьбу, какова бы она ни была.
>
> Милый папа́, я остановлюсь в Москве всего на несколько дней и уже не надеюсь увидеться с вами; может быть, я еще застану вас в Белой Церкви — я была бы этим очень счастлива.
>
> Я получаю очень аккуратно известия о сыне; тысячу раз благодарю за это милого Николая; что же касается вас, дорогой папа, мне хочется верить, что ваши письма теряются, потому что я не получила ни одного из Болтышки. Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо, дорогой папа́.
>
> *Целую ваши руки и остаюсь ваша дочь Мария»*[310].

К этому письму Софья Раевская сделала очередную приписку: «Мария чувствует себя хорошо, дорогой папа; завтра утром она идет в крепость; в конце этой недели или в начале следующей мы уезжаем в Москву…» и т. д. После Софьи послание было отдано Александру Раевскому, и тот завершил коллективную эпистолию такими словами: «Я пишу вам подробно в письме к Николаю (Н. Н. Раевскому-младшему. — *М. Ф),* которое вы получите одновременно. Только вечером Мария увидит Волконского; я принимаю всяческие предосторожности: доктор будет под рукой и, если Волконский выкажет слабость, — комендант прервет свидание»[311].

Теперь пьеса была готова до мельчайших деталей, роли розданы и отрепетированы, лицедеи перед выходом на подмостки получили жесткие наставления, суфлеры заняли положенные места. Мария вводилась в спектакль с заранее известным финалом — и вводилась на правах разве что фигурантки.

Вечером 21 апреля княгиня отправилась в Петропавловскую крепость. «Государь, который пользовался всяким случаем, чтобы

выказать свое великодушие (в вопросах второстепенных), и которому было известно слабое состояние моего здоровья, приказал, чтобы меня сопровождал врач, *боясь для меня всякого потрясения*, — вспоминала Волконская. — Граф Алексей Орлов сам повез меня в крепость»[312].

В мемуарах Марии Николаевны описанию встречи с мужем на квартире крепостного коменданта отведено всего девять строк:

«Мы вошли к коменданту; сейчас же привели под стражей моего мужа. Это свидание при посторонних было очень тягостно. Мы старались обнадежить друг друга, но делали это без убеждения. Я не смела его расспрашивать: все взоры были обращены на нас; мы обменялись платками. Вернувшись домой, я поспешила узнать, что он мне передал, но нашла лишь несколько слов утешения, написанных на одном углу платка, и которые едва можно было разобрать»[313].

К радости Раевских, все прошло более чем благополучно, и Волконский, находившийся во время свидания под постоянным наблюдением, не позволил себе никаких чувствительных импровизаций, отклонений от предписанного ему сценария. Князь, втайне «мечтавший иметь жену возле себя»[314], сейчас старался успокоить ее, не распространялся насчет своих прегрешений и настоятельно рекомендовал княгине покинуть Петербург — уехать к сыну, где и дожидаться окончания следствия. Напоследок Волконский сказал, что их — его и Марии — судьба в руках Всевышнего и им надо уповать на Его милосердие.

В общем, услуги доктора Марии не потребовались, а коменданту не пришлось употреблять власть и досрочно прекращать свидание. Княгиня же, вернувшись из крепости, была, кажется, в добром здравии и приподнятом расположении духа.

Александр Раевский, подробно расспросив сестру и (на всякий случай) перепроверив сообщенные ею факты, 23 апреля препроводил Волконскому пространное письмо. Ободренный своим успехом, он постарался, не откладывая, закрепить его. Заодно прагматичный Александр хотел и упрочить в глазах Марии собственную репутацию.

В начале письма шли обыденные светские любезности — правда, излившиеся у автора вполне искренно: «Позвольте мне, князь, засвидетельствовать вам мою живую благодарность за такт и твердость, проявленные вами во время тяжелого свиданья с вашей несчастной женой; от этого зависела ее жизнь. Вы должны быть уверены, я надеюсь, что ваша жена и ваш ребенок никогда не будут иметь друга более преданного, более усердного, чем я…»

Однако далее, через несколько строк, Александр Николаевич

перешел к делу — и по-мужски безжалостно сформулировал для Волконского, только что доказавшего свою сговорчивость, новые тактические задачи. Они сводились к следующему:

> «Теперь я обращаюсь к вам как к человеку, которого несчастие не заставило забыть священные обязанности отца и супруга. Отец поручил мне заботу о вашей несчастной жене, и я прошу на мою ответственность скрыть от нее тяжесть обвинений, которые тяготеют над вами; подорванное состояние ее здоровья безусловно этого требует. Этой мерой вы, быть может, сохраните мать вашего единственного ребенка. Вы сами своим поведением, таким мужественным, молчаливо признали необходимость этого. Теперь нужно, чтобы вы письменно оправдали меня в глазах вашей жены; воспользуйтесь для этого первым случаем, который позволит вам ей написать. Эта мера необходима, чтобы впоследствии моя сестра не сделала бы мне один из жестоких упреков, что от нее была скрыта правда. Я умоляю вас об этом, не откажите мне в моей настоятельной просьбе; не заблуждайтесь, я заклинаю вас, относительно мотивов, которые руководят мною в эти жестокие минуты; подумайте, что благодаря дружбе, которую питает ко мне ваша жена, я для нее — большая поддержка»[315].

Таким образом, Раевский потребовал от Волконского выполнения сразу двух очень серьезных условий. Во-первых, князь *и впредь* не должен был подробно информировать жену о своем положении и грозящих ему мытарствах и карах. Во-вторых же — и это, пожалуй, самое важное — брат Марии настаивал (выражаясь, впрочем, весьма благовоспитанно, обтекаемо), чтобы декабрист предоставил ему, Александру Раевскому, исключительное право быть *в будущем* посредником между *разделенными* супругами Волконскими и подтвердил это право (заодно оградив Александра от предполагаемых сестриных упреков) письменно.

В переводе на более откровенный язык все это значило: ты, Волконский, как ни крути, обречен, тебе уготована одна, скорбная, дорога, по канату, так что смирись-ка, братец, и иди по ней — а ни в чем не повинные Мария с *ее* ребенком, опекаемые (и ограждаемые от дурных влияний) Раевскими, обязаны избрать — и изберут, он, Александр Раевский, постарается — *другую*.

Разумеется, это письмо также не было показано княгине.

А та, следуя пожеланиям мужа, готовилась к отъезду. 23 апреля Мария писала Волконскому: «Завтра я отправляюсь,

потому что ты этого хочешь; я еду к нашему дорогому ребенку и привезу его как можно скорее; твоя покорность, спокойствие твоего ума — дают мне мужество»[316].

Бывший рядом Александр Раевский помогал Марии собираться, подбадривал, поддакивал и не уставал при том повторять ей, что «следствие продлится долго», поэтому матери «должно бы лично удостовериться в уходе за <…> дорогим ребенком»[317].

На следующий день княгиня покинула Петербург и направилась в Москву. Позже Волконский сокрушался, что, подчинившись «родительской власти», она навлекла на себя «осуждение светское», «ибо когда все жены мужей, находившихся в заточении, ехали в Петербург, — одна Машенька принуждена была меня оставить, и верно никто более ее не был готов принесть мне всякого рода пожертвований»[318].

В Первопрестольной Мария свиделась с сестрой, Екатериной Орловой, муж которой пока также пребывал в заключении (он был полупрощен, выпущен из крепости и отправлен на жительство в деревню, под надзор, через два месяца). В Москве же княгиню постигло еще одно разочарование. Находившаяся там вдовствующая императрица Мария Федоровна пожелала видеть «входившую в моду» Волконскую. Меж светскими кумушками ходили слухи, что императрица «принимает большое участие» в судьбе Марии Николаевны, — и наша героиня отправилась на аудиенцию с немалыми надеждами. «Я думала, что Императрица хочет со мной говорить о моем муже, — вспоминала Волконская, — ибо в столь важных обстоятельствах я понимала участие к себе лишь поскольку оно касалось моего мужа; вместо того со мной беседуют о моем здоровье, о здоровье отца, о погоде…»[319]

Ее позвали из простого любопытства.

После беседы с императрицей Мария Волконская уже не задерживалась в городе. Наскоро попрощавшись с Екатериной, она «немедленно выехала» оттуда через южную заставу и направилась в Александрию — к Николино…

Первый этап борьбы княгини за право разделить участь своего мужа на этом окончился. Раевские, сумевшие хитроумно удалить Марию из Петербурга и поставить под свой контроль поведение Волконского, как будто добились своего. Но их огорчало, что переубедить Марию, заставить ее отказаться от мысли жить по супружескому «закону» им так и не удалось. Случилось, увы, обратное: побывав в Петербурге и увидев бедного, «покорного» супруга, княгиня только укрепилась в своем решении, о чем и заявила родным.

«В том психологическом процессе, который закончился отъездом в Сибирь, свидание, кажется, единственное, сыграло большую роль. В этих тюремных свиданиях, мимолетных и поневоле (при посторонних) холодных, особая острота переживаний, — писал П. Е. Щеголев (кстати, знавший о тюремных свиданиях не понаслышке). — Исчезают перегородки, и близкий, остающийся на воле, как-то особенно чутко и остро-любовно старается пережить то, что происходит в душе находящегося за решетками. Мысли приковываются к тесной тюремной камере, к одному лицу. Когда видятся между собой люди, доселе не близкие, то нередко между мужчиной и женщиной возникает процесс интимного сближения, даже влюбленности, надломленной и больной… И Волконская переживала аналогичный процесс»[320].

Александр Раевский не обольщался отъездом сестры. Он хорошо понимал, что, хотя до поры до времени ему удавалось держать нити интриги в своих руках, полной победы в Петербурге Раевские не одержали. Более того, к концу месяца ситуация для них даже усложнилась. Теперь им предстояло не только противодействовать оформлявшимся планам Марии, но и нейтрализовывать ходы активизировавшегося семейства Волконского, которое имело собственные интересы и. разумеется, по-иному, нежели Раевские, смотрело на будущее жены князя Сергея. Особую опасность для Раевских представляла конечно же мать Волконского, княгиня Александра Николаевна, влиятельная и на все готовая конфидентка вдовствующей императрицы.

Завершался апрель, весна была в полном разгаре, и все — Мария, Раевские, Волконские — так иди иначе готовились к решающей схватке…

Близилось той весной к завершению и следствие по делу декабристов.

Князь Волконский, «арестант № 4», неоднократно вызывался на допросы и очные ставки и к концу апреля уже дал основные показания. Находившиеся на воле родственники не знали в точности, что он говорил и писал в своих «рапортах», и вынуждены были довольствоваться обрывочными сведениями и слухами, доходившими из крепости. Так, Раевским стало известно, что генерал действует в Следственной комиссии непоследовательно, «то высокомерно, то приниженнее, чем следует. Его все презирают, каждую минуту в нем открывают ложь и глупость, в которых он принужден сознаться»[321].

В другой раз кто-то сообщил им за верное, что Волконский «ведет себя <…> как фанатик идеи»[322]. Не исключено, что в

петербургских придворных и светских кругах распространилось и мнение императора Николая I, который в одной из своих тогдашних записок охарактеризовал поведение подследственного следующими словами: «Сергей Волконский набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоя, как одурелый, он собою представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека»[323]. Встретив в начале 1826 года Александра Раевского, царь сказал тому, что Волконский «даже не достоин того участия», которое Раевские ему оказывали[324].

В мемуарах самого декабриста ход следствия не описан: «Записки» Волконского обрываются как раз на сцене его первого допроса в Петербурге. Князь М. С. Волконский, издатель воспоминаний отца, утверждал, что «смерть не дала ему довести их до конца»[325]. Но своей жене Сергей Григорьевич кое-что все же рассказал, причем не скромничал, и с его слов Мария Волконская зафиксировала такие подробности о работе Следственной комиссии: «Сначала его привели, как приводили и всех остальных, к Императору Николаю, который накинулся на него, грозя пальцем и браня его за то, что он не хотел выдать ни одного из своих товарищей Позже, когда он продолжал упорствовать в этом молчаний перед следователями, Чернышев, военный министр, сказал ему: „Стыдитесь, князь, прапорщики больше вас показывают“. Впрочем, все заговорщики были уже известны…»[326]

Что до «прапорщиков», то они (в большинстве своем) и впрямь не скупились на показания. Только можно ли назвать генерала Волконского их антиподом?

Следственное дело генерал-майора князя Сергея Волконского («№ 399») было опубликовано лишь в 1953 году[327]. В преданных гласности бумагах есть немало любопытных фактов по истории декабризма и дополнительных «штрихов к портрету» мужа Марии Николаевны. Эти факты явно не согласуются с тем, что написала, доверившись Волконскому, княгиня. Поэтому, видимо, отечественная историография не уделяла и до сих пор не уделяет материалам следствия, связанным с князем Сергеем, должного внимания.

В «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ…», который составил А. Д. Боровков, нет ни слова об «упорстве» или «молчании» декабриста — там лишь сказано, что Волконский «в ответах был чистосердечен»[328]. Листая судопроизводственные документы и вчитываясь в показания арестанта, можно только подивиться сдержанности правителя дел Следственного комитета.

Вспоминается Д. И. Завалишин, личность яркая, противоречивая и неуживчиво-скандальная, «белая ворона» среди декабристов и автор вызывающе прямых, столь «неудобных» для дворянских (да и прочих) революционеров, мемуаров (которые не переиздавались в России целое столетие). В воспоминаниях он поведал, в частности, о «системах» поведения заговорщиков во время следствия 1826 года. По словам Дмитрия Завалишина, тогда «одни думали, что необходимо запутать как можно более людей» — и тем самым завести расследование в тупик. Другие считали, «что необходимо даже жертвовать своим самолюбием, чтобы спасти других». Третьи же попросту смалодушничали: «Они, желая доказать свою откровенность и содействовать государю узнать всё будто бы для „пользы государства“, наболтали разные небылицы не только на себя <…>, но и на других, и запутали их»[329].

Изучение следственного дела князя Сергея Волконского приводит к выводу, что он умудрился употребить все три декабристские «системы» — как чохом, так и поочередно.

Уже в ходе *самого первого* допроса, учиненного 16 января 1826 года в Петропавловской крепости генерал-адъютантом В В. Левашовым, Волконский признался, что «в 1820 году взошел в тайное общество в Тульчине». Мало того: он, еще не имея никакого представления о том, что доподлинно известно правительству, без какого-либо принуждения и очных ставок, в тот же день назвал имена *двадцати одного* (!) заговорщика (среди них фигурировал и товарищ князя по пансиону аббата Николя, родственник Раевских В. Л. Давыдов). Вслед за тем (опять же 16 января) Волконский довольно пространно рассказал о деятельности южан и их планах «извести государя», о Кавказском корпусе и о польском тайном обществе (тут были сообщены четыре фамилии). Подписываясь под этими показаниями, князь всячески заверил следствие в том, что «по собрании мыслей» он-де изложит все «в подробности» и обещает не скрывать, «что знает и упомнит».

«Упомнил» Волконский за несколько тюремных месяцев столько и зачастую в такой нелепой форме, что видавшие и читавшие тогда всякое высокопоставленные следователи вполне могли пристыдить его. А про себя при этом жалостливо (как-никак «свой» и давний знакомец) подумать: лучше бы он смолоду сторонился политики и целиком отдался чему-то другому, хоть «садоводству <…>, известному предмету его досуг». Там, на грядках с капустой (культурой исторической, прославленной в античных анналах), генерал, право, выглядел бы гораздо солиднее.

Князь Сергей то и дело божился, что он все «объясняет чистосердечно», «по чистой справедливости», не иначе как «по точному убеждению совести» и «без малейшей утайки». И тут же — изворачивался, говорил допрашивающим его полуправду, местами откровенно и бестолково врал. Например, Волконский утверждал, что до 1822 года у заговорщиков не было и «мысли посягнуть на жизнь Государя Императора»; что южане не имели «с Петербургом никаких сношений» и не ведали о «способах» действий северян; что о программном сочинении декабристов, именуемом «Русской Правдой», он отродясь ничего не слыхал; что подробности какого-нибудь разговора или письма «не может припомнить» и т. д. «Клеветы же чистой без всякого правдоподобия от меня, я уверен, и не требует Комитет», — присовокуплял к небылицам Волконский.

А Комитет, уже о многом осведомленный благодаря говорливости прочих заключенных, в ответ на такие восклицания формулировал и адресовал князю дополнительные вопросные пункты: «По собранным ныне достоверным сведениям оказывается, что вы позволили себе сокрыть некоторые довольно важные обстоятельства, о коих имели прямую известность…» И далее следовали, страница за страницей, конкретные, подчас убийственные вопросы, возникавшие у правительственных чиновников в связи с *более правдивыми* показаниями других злоумышленников.

Деваться было некуда — и Волконскому приходилось на эти вопросы отвечать, сдавать одну за другой свои позиции и через силу договаривать ранее утаенное, признавать свои «преступные понятия действий и цели». Временами он пытался закрепиться на каком-нибудь рубеже и обороняться, упрямо замолкал на очных ставках (вызывая тем самым гнев императора) или судорожно, на ходу, сочинял свежие версии, отдаленно смахивающие, как ему представлялось, на истину. Однако передышка всякий раз была недолгой: вскорости князь получал от Комитета новые, еще более каверзные вопросные пункты, сопровождаемые корректной преамбулой наподобие следующей: «В данных до сего времени ответах Вы недостаточно объяснили некоторые известные Вам обстоятельства, о коих получены теперь положительные сведения…»

От этих «положительных сведений» у него бессильно опускались руки, небо казалось с овчинку, и даже видеть жену ему не очень-то и хотелось. Что он, жалкий, припертый к стенке, мог сказать молодой прекрасной княгине?

Стараясь хоть как-то парировать множившиеся обвинения, подкрепленные фактами, Волконский путался в «потоке

сознания» все больше и больше. При этом иногда князь ставил себя в ситуации прямо-таки анекдотические («срамился», как выразился Н. Н. Раевский-старший). Так, однажды он сообщил следствию о «намерении подполковника Сергея Муравьева начать возмущение и преступное покушение, при ожидаемом смотре 3-го Корпуса в 1825 году». Однако спустя некоторое время, 24 апреля (то есть через три дня после описанного выше свидания с Марией), в Волконском «возродились чувства сомнения», вследствие чего он уже «не имел в памяти подтвердительных доказательств» по данному вопросу — и фактически отрекся (естественно, «по совершенному чистосердечию») от прежних заявлений. Но в следующем абзаце своего рапорта в Комитет князь поспешил успокоить его членов: если другие арестанты дадут о Муравьеве «какое-либо показание подтвердительное» и ему, Волконскому, будет об этом объявлено, то он, «боясь затмить истину», «может быть, и припомнит» некие забытые «обстоятельства» указанного дела.

В какие-то моменты Волконский, приходя в себя, похоже, пытался выказать благородство — и тогда на бумагу ложились фразы типа: «Я никому не могу приписывать вину — как собственно себе, и ничьими внушениями не руководствовался». Увы, такие фразы недорого стоили: ведь они перемежались и обесценивались высказываниями прямо противоположного свойства. Многажды князь старался преуменьшить свои грехи («Во Второй армии большое число сочленов уверены были, что я в оной имею наибольшие способы, я собственно был убежден, что оные почти ничтожны») или разделить с кем-нибудь ответственность за содеянное («Не оправдывая себя, щитаю, что Якубович мне в сем соучастник»); а то и вовсе свалить вину на товарищей («Вот, сколько могу припомнить, смысл предложений Пестеля; называя его, а не себя, я не делаю сие в виде оправдания себя — но для соблюдения истины»).

К этому надо добавить, что вследствие откровенностей Волконского под подозрением оказалось по меньшей мере десять человек, никак не причастных к деятельности тайных обществ (называя их имена, генерал сокрушался, что «неосновательными словами <…> вводит людей под ответственность», и клялся, что «себе во вред лучше о всем сознается — нежели невинно навлечет на других подозрений и взысканий»).

Следствие, несмотря на непредвиденные трудности, велось энергично и продуктивно. Однако случались и такие дни, когда Волконскому удавалось опередить въедливых дознавателей, избавить их от лишних хлопотливых розысков. В следственном деле подшито несколько «упреждающих» рапортов князя. Один из

них (от 1 марта 1826 года) начинался так: «Поставив себе в обязанность, как скоро о чем припомню, доставлять о том сведение, честь имею представить на благоусмотрение два дополнительные объяснения к сделанным мною показаниям о польских тайных обществах». В другом рапорте Волконский — и снова без чьей-либо подсказки — «припомнил некоторые дополнительные подробности», касающиеся секретной переписки между декабристами. «Ежели взошел в слишко<м> подробные объяснения по иным предметам, полагал их полезными для соображения обстоятельств», — читаем в третьем рапорте, который датирован 9 марта.

Любопытно: при этом князь вполне отдавал себе отчет в том, что «из неосновательных слов вводит людей под ответственность»; что «многие подробные объяснения <…> должны были навлечь на него общее негодование его соучастников», и т. п.

Короче говоря, Бюхна и в Петропавловской крепости оставался Бюхной.

Правитель дел Следственного комитета А. Д. Боровков подготовил к концу весны 1826 года особую записку — «О Генерал Майоре Князе Сергее Волконском», приложенную к делу декабриста. В данной записке на тринадцати листах вкратце были пересказаны показания князя и различные его злодеяния — те, в которых заговорщик сразу или после непродолжительного сопротивления сознался. По пунктам тут перечислены действительно масштабные преступления, вплоть до согласия Волконского на «введение в Государстве республиканского правления» и «покушение на жизнь всех особ Императорской фамилии». Но фигурирует в экстракте чиновника и сущий пустяк — «фальшивая печать», изготовленная князем в 1824 году «для раскрытия пакета, который прислан был на имя генерала Киселева».

Масонские ритуальные клятвы, наполеоновские мечты — и мелкое шельмовство наяву…

Оно характеризует аристократа Волконского почти столь же выразительно, как и его поведение в Алексеевском равелине[330].

В приговоре Верховного уголовного суда Волконский был отнесен к категории наиболее важных государственных преступников — и посему причислен к «первому разряду», осужден на смертную казнь. 10 июля доклад суда был препровожден императору Николаю I, и тот смягчил наказание: по конфирмации «генерал-майора князя Волконского, по уважению совершенного раскаяния», велено было «по лишении чинов и дворянства, сослать в каторжную работу на двадцать лет

и потом на поселение»[331].

На рассвете 13 июля 1826 года (перед казнью пятерых самых главных заговорщиков, объявленных «вне разрядов») в Петропавловской крепости прошла процедура разжалования осужденных. «Было разложено и зажжено несколько костров для уничтожения мундиров и орденов приговоренных; затем им всем приказали стать на колени, при чем жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования; делалось это неловко: нескольким из них поранили голову. По возвращении в тюрьму они стали получать не обыденную свою пищу, а положение каторжников; также получили и их одежду — куртку и штаны из грубого серого сукна»[332].

Через десять дней, 23 июля, закованный в кандалы Волконский, в составе первой партии приговоренных, был отправлен под усиленной охраной по Ярославскому тракту в Сибирь.

Обо всем этом его жена, княгиня Волконская, узнала только в сентябре, находясь в Александрии…

Прибыв в Александрию, Мария Волконская «нашла своего ребенка бледным и хилым; ему привили оспу, он заболел»[333]. На какое-то время мать сосредоточилась исключительно на хлопотах о Николино, но вскоре сын стал понемногу поправляться, и Мария вернулась к размышлениям о грядущем. Теперь, присев около кроватки, она могла думать о завтрашнем дне ее семьи более предметно. Больше всего княгиню беспокоила судьба младенца. «К несчастью для себя, — писала она мужу в середине июня, — я вижу хорошо, что буду всегда разлучена с одним из вас двоих; я не смогу рисковать жизнью моего ребенка, возя его повсюду с собой»[334].

Судя по этому письму, тогда Марии казалось, что в недалеком будущем начнется ее долговременное (а то и нескончаемое) странствие по просторам Евразии: от осужденного мужа к сыну и обратно. Никакого иного варианта она, очевидно, в Александрии не рассматривала.

Более или менее определенных планов выстроить пока не удавалось: сведений из Петербурга, где должен был свершиться суд над заговорщиками, к ней не поступало. Александр Раевский, прибывший в Александрию специально для того, чтобы оберегать сестру от посторонних влияний и «зажигательных писем», хранил молчание, в ответ на вопрошающие взгляды княгини пожимал плечами и делал все возможное для того, чтобы Мария знала о происходящем в империи как можно меньше. Здесь, в замкнутом миру усадьбы, он был еще более жёсток и бессердечен, чем в

Петербурге, — и даже Екатерина Орлова, родная сестра, понимая благие намерения Александра, упрекнула-таки его в чрезмерной суровости контроля над Марией, которая «сможет еще найти счастье в своей преданности к мужу, в выполнении своих обязанностей по отношению к нему» (впрочем, при этом Екатерина Николаевна добавила, что говорит «скорее как женщина, чем как сестра»[335]).

А княгиня Волконская, привыкшая действовать быстро и решительно, не находила себе места, томилась от александрийской неопределенности. «Боже мой, — сокрушалась Мария Николаевна в другом письме к супругу, — когда же кончится время испытаний для меня! Если бы я знала, по крайней мере, какая будет твоя судьба! <…> Какая бы ни была твоя судьба, но однажды решенная — я была бы более спокойна, потому что никакая мука не может сравниться с неизвестностью. Минуты, проведенные в этом ужасном душевном состоянии, самые тяжелые в моей жизни»[336].

Бывало, что меры по изоляции Марии, придуманные братом, не помогали. Так, в Александрии до нее стали доходить сообщения, что некоторые жены злоумышленников, кажется, готовы (в случае сурового приговора суда) разделить участь мужей. Княгиню сразу же живо заинтересовало, как они, подруги по несчастью, собираются в этом случае поступить со своими детьми. В письме к сестре мужа, Софье Волконской, Мария справлялась об Александре Муравьевой: «Что рассчитывает она сделать для своих детей? Будет ли врач для них? Я не могу рисковать жизнью моего единственного ребенка — мне нужны точные сведения. Возьмите на себя труд, обожаемая сестра, узнать об этом»[337].

Без этих «точных сведений» она чувствовала себя словно парализованной.

Отсылая упомянутое письмо, княгиня еще не знала, что Софья Григорьевна и другие Волконские уже составили свой — в пику Раевским — семейный комплот и начали его исподволь реализовывать. Так, в июле С. Г. Волконская писала брату: «Мария не охладеет ни к тебе, ни в своем желании отправиться за тобой, и вскоре же»[338]. А 27 августа она же сообщила осужденному: «Мужайся, мой друг, это последнее недолгое испытание; Мария решилась последовать за тобой, взяв с собой своего ребенка. Ты сохранишь их около себя»[339].

Подчеркнем: в те летние дни не было никаких оснований говорить о каком-либо окончательном решении Марии, и прежде всего касательно Николино. Княгиня, как сказано выше, «мучалась неизвестностью». Однако Волконские не сомневались,

что все в итоге устроится так, как хотелось бы им, а не Раевским (которые пусть себе пыжатся — все равно ничего «не добьются»[340]). Уведомляя декабриста о якобы утвердившихся планах его жены, «обожаемая сестра» не просто хотела любым способом приободрить брата: Софья смотрела дальше и исходила из того, что Сергей Григорьевич, получив радостное известие, сразу же отпишет Марии и в послании выразит ей признательность за намеченный жертвенный поступок. Княгиня Мария Волконская однажды узнала бы о принятом *ею* решении от находившегося на каторге мужа и неизбежно трактовала бы благодарность Сергея как едва скрытое выражение его воли — воли, которой она, верная и покорная супруга, обязана подчиниться[341].

Волконскими были предусмотрены и другие, не менее затейливые ходы. Например, неугомонная Софья Волконская попыталась вовлечь в интригу императрицу Александру Федоровну. Кроме того, еще до оглашения приговора Верховного уголовного суда Волконские распространили в петербургском обществе слух, будто мать заговорщика, семидесятилетняя княгиня Александра Николаевна, непременно отправится вслед за сыном в Сибирь и загодя собирает свой нехитрый скарб. Бдительный Александр Раевский сумел перехватить в Александрии адресованное сестре письмо С. Г. Волконской (от 7 июля), в котором говорилось об отъезде статс-дамы (а заодно и Марии) как о деле давно решенном: «Она хочет там разделить с вами ваше уединение и облегчить ваши печали. Такое решение достойно моей матери, которую вы сами обожаете. Оно кажется несоразмерным с ее физическими силами, но нравственная энергия может поддержать нас больше, чем это можно было бы ожидать по внешнему виду»[342]. Проведя перлюстрацию, Раевские тотчас предположили, что эта «поездка» была придумана с одной-единственной целью: Волконские намеревались лишний раз укорить Марию Николаевну, которая, в отличие от старухи, будто бы «обнаруживает слишком мало рвения, чтобы ехать к своему мужу»[343].

Взаимные упреки, подозрения, ложь и прочие неблаговидные жесты и поступки, парируемые столь же сомнительными контрударами, — вот из чего по большей части складывались тогдашние отношения Раевских и Волконских. Почтенные семейства, борясь за будущее близких, словно задались целью сызнова разыграть сцены из жизни средневековой Вероны. При этом, как выяснилось впоследствии, кое-кто из Волконских думал летом и осенью 1826 года не столько о счастье декабриста и его семьи, сколько о меркантильных выгодах остающихся.

Старик Раевский в конце июля отправился из Болтышки в Москву и перед отъездом строго-настрого распорядился, чтобы до его возвращения оттуда никто не смел рассказывать Машеньке о том, «что она еще вполне не знает». Было положено готовить ее к печальному разговору о судьбе мужа постепенно. Поэтому только в первых числах августа, с большими предосторожностями, объявили княгине, что, по поступившим «верным сведениям», Волконскому «сохранится жизнь». Особой радости или облегчения Мария в ту минуту не испытала: она и раньше верила в справедливость молодого государя и не сомневалась, что ее Сергей, по наивности ставший жертвой проходимцев, избежит самой страшной кары. Услышав новость, Волконская ограничилась кратким комментарием. «Она мне решительно сказала, — писал Н. Г. Репнин[344] С. Г. Волконскому, — что она будет делить жизнь свою между тобою и сыном вашим»[345].

Таким образом, и в августе Мария — что бы ни утверждали повсюду Волконские — только вновь подтвердила свою общую, принципиальную позицию. Ничего более определенного относительно своего ребенка и поездки к мужу она, ожидавшая не расплывчатых, а конкретных официальных известий (прежде всего юридического характера), сказать тогда не захотела да и не могла.

(Здесь уместно напомнить читателю о том, что существовавший в то время Особый комитет, учрежденный для составления правил о содержании государственных преступников в Сибири, столкнулся с серьезными трудностями в определении юридического положения женщин, которые пожелали бы последовать за сосланными в каторгу мужьями. В статьях «Устава о ссыльных» 1822 года были упоминания о женах ссыльнокаторжных, однако данные статьи не могли исчерпывающе точно регламентировать статус *таких необычных лиц* — жен политических преступников, к тому же благородного происхождения. Дабы не противоречить действующему законодательству и не перекраивать его, было признано целесообразным поступить с «дамами из общества» следующим образом. Особый комитет поручил своему члену, генерал-губернатору Восточной Сибири тайному советнику А. С. Лавинскому, спешно разработать и «дать от себя предписание, на законном основании составленное, иркутскому гражданскому губернатору». Этим предписанием, своего рода подзаконным актом, и должно было, по мысли властей, впредь определяться правовое положение прибывающих в край добровольных изгнанниц. Проект документа, вполне легитимного, но имевшего непривычно суровые для дворянского

сознания той эпохи пункты, был представлен на благоусмотрение императора Николая Павловича и после высочайшего исправления и утверждения отправлен 1 сентября 1826 года из Москвы в Сибирь. В течение нескольких месяцев данные о создании генерал-губернаторского предписания хранились в строжайшей тайне, и, как мы увидим, те жены декабристов, которые уехали в «каторжные норы» первыми, узнали его содержание только в Иркутске[346].)

Лишь в конце сентября Александр Раевский, посовещавшись с отцом, наконец-то сообщил Марии о вынесенном Волконскому приговоре. Дабы избежать лишних эмоциональных объяснений, Александр Николаевич предъявил ей и петербургские газеты, уже порядком потрепанные. Тем самым он продемонстрировал, что теперь ничего не скрыто от княгини и она имеет исчерпывающую (в том числе и правительственную) информацию. Конечно, Мария Волконская не смогла удержаться от упреков — и между братом и сестрой произошел долгий и трудный разговор. «Я ему объявила, что последую за мужем; брат, который должен был ехать в Одессу, сказал мне, чтоб я не трогалась с места до его возвращения», — вспоминала о том конфликте княгиня[347].

Запреты брата не сумели удержать Марию в Александрии: раз ситуация прояснилась, жена могла, обязана была действовать без какого бы то ни было промедления. Не успел Александр скрыться из виду, как она, воспользовавшись снятием надзора, стала собираться в дорогу. В мемуарах княгини написано: «На другой день после его отъезда я взяла паспорт и уехала в Петербург»[348]. Возможно, что именно так и было: Мария Николаевна и Николино выехали из Александрии тотчас вслед за Раевским, то есть буквально на следующий день. Однако мемуаристка забыла упомянуть о том, что, торопясь в столицу, она попала в Петербург далеко не сразу: по дороге Мария решила заглянуть в Яготин, имение Н. Г. Репнина в Полтавской губернии, — и там, среди родственников мужа, надолго задержалась.

Случилось вот что: Николай Григорьевич Репнин, старший брат декабриста, полагал двинуться в Петербург вместе с Марией — однако накануне отправления внезапно заболел и слег. Обещавшая взять его в попутчики княгиня была вынуждена ждать выздоровления деверя, и это очередное ожидание — что за наваждения преследовали ее по пятам! — растянулось почти на месяц.

Разумеется, Репнины тут же воспользовались представившимся удобным случаем и постарались в неспешных семейных беседах поддержать усилия Волконских. Они напомнили Марии Николаевне о желательности ее скорейшего

воссоединения со страждущим мужем. Только одного не учли Репнины: Мария Волконская и без этих вкрадчивых яготинских разговоров и околичностей была настроена самым решительным образом — иначе зачем бы она вырвалась из-под опеки и устремилась в столицу империи? Так что напрасно Варвара Алексеевна Репнина при уютных свечах заводила, многозначительно поглядывая на Марию, речи, к примеру, о том, что героическая «старая княгиня Волконская едет к сыну». Мария слушала ее учтиво, но вполуха, рассеянно, поглядывала при этом на мирно сопящего Николино и думала о своем, заветном.

Такие думы подчас уносили ее далеко-далеко…

Порою, когда Варвара Алексеевна увлекалась сверх всякой меры и комната начинала походить на провинциальную театральную залу, Марии страсть как хотелось встать и выйти вон: она не выносила ложного пафоса и, раздражаясь, сдерживалась с трудом.

Ведали бы наивные Волконские и Репнины, как быстро княгиня проникла в суть их козней и что она тогда, осенью 1826 года, не подавая виду, о них думала!

В ее письмах того времени, адресованных Раевским, а также в мемуарах есть немало строк, показывающих, что Мария не питала никаких иллюзий относительно искренности и добропорядочности родственников своего мужа. «Они проявляют ко мне дружбу, — писала она С. Н. Раевской, — но все это относится к Сергею, но не ко мне»[349].

Тактика поведения Волконских была предельно ясна Марии, которая в переписке иронизировала: «Моя belle-mère[350] продолжает проявлять себя прекрасной матерью по отношению к Сергею и очень рассудительной в отношении моего долга к нему; она говорит мне: „Сергей виноват — у вас по отношению к нему нет долга, и я обращаюсь только к вашему сердцу“»[351]. Схоже, по наблюдениям Марии Николаевны, действовала и Софья Волконская: «Моя belle-sœur[352] выказывает себя очень рассудительной; она нисколько не думает мною жертвовать <… >; она говорит, что я должна заботиться о воспитании своего сына, подготовить его к выходу в свет, но в то же самое время она нисколько не забывает о моем долге по отношению к Сергею…»[353]

А склонная к патетике В. А. Репнина, читавшая Марии в Яготине лекции по супружеской верности, характеризовалась княгиней так: «Эта женщина — с надменным, вспыльчивым характером, с безумной восторженностью ко всему, что является долгом для других, и очень плохо прислушивающаяся к своему»[354].

В другом письме Мария Николаевна была еще более откровенна. «Я вижу повсюду ангелов? — отвечала она брату, который упрекнул Марию в идеализации Волконских. — Находила ли я их в моей belle-mère, Никите[355], Репниных? Верь мне, Александр, что у меня открыты на них глаза, но я об этом ничего не говорила, чтобы не внушать к ним неприязни в моем отце; поведение их мало деликатное заслуживало этого, но Сергей от этого пострадал бы»[356].

Уже тогда Мария убедилась, что belle-mère необычайно скупа, попросту жадна: за все месяцы, прошедшие с момента ареста Сергея Григорьевича, она не проронила «о деньгах ни слова»[357] (хотя прекрасно знала, что оказавшаяся в одиночестве невестка осталась без средств к существованию и вскоре даже заложила свои бриллианты, чтобы «заплатить некоторые долги» мужа[358]). Наверняка Мария Волконская была осведомлена и о том, как вела себя ее свекровь в сентябрьские дни в Москве, где проходили торжества по случаю коронации Николая I. Императрица, «снисходя к ее горю», разрешила своей статс-даме не участвовать в нескончаемых праздничных церемониях и «оставаться в своих комнатах». А далее случился жуткий конфуз: А. Н. Волконская, вроде бы вознамерившаяся ехать в Сибирь (что многими воспринималось как открытый протест против сурового приговора, утвержденного царем) и «слишком опасавшаяся своей нежности к Сергею»[359], вдруг оказалась на балу в Грановитой палате и непринужденно, даже весело, забыв про годы, «танцовала там с императором, к большому скандалу императорской фамилии и всей Москвы»[360].

Эти и многие другие факты решительно опровергают мнение Н. Н. Раевского-старшего, который почему-то упрямо думал, будто Волконские и Репнины «воспользовались добротою Машеньки» и «обманом» привезли ее в Петербург[361]. Нет, его дочь не была, как однажды выразился Николай Николаевич, «дурочкой», не действовала по наущению «Волконских баб» — она жила *только своим умом,* трезво оценивала слова и деяния окружающих и никому не позволила в 1826 году себя провести.

Уже тогда Мария фактически стала *главой* своего несчастного семейства — а ее все-то держали за несмышленую дочь или безропотную жену и на все лады пытались помыкать ею…

Дни пребывания Марии Волконской у Репниных между тем подходили к концу. Незапланированная пауза не прошла для нее совсем даром: перед визитом в столицу княгиня, словно полководец перед решающим сражением, смогла все заново продумать и взвесить. Она уже знала, что *бездетная* княгиня Трубецкая, опередив ее, отправилась в Сибирь — и отъезд Каташи

слегка задел женское самолюбие. Мария задавала себе самые прямые вопросы — и ликовала, не обнаруживая в душе никаких колебаний. «Дорогой Сергей, — писала она мужу 17 октября из Яготина, — я совсем другая с тех пор, как у меня есть надежда видеть тебя через несколько месяцев»[362].

(А Волконский в это время находился на этапе: он вместе с другими осужденными был направлен из Иркутска в Благодатский рудник, куда декабристы прибыли 25 октября.)

Тогда же, в Яготине, Мария, услышав кое-какие московские новости, кажется, впервые открыто призналась себе, что у нее имелась, помимо супружеского долга, и *другая причина* для максимально быстрого удаления в Сибирь. Там, в Москве, в ходе коронации произошло событие, последствия которого для княгини Волконской могли стать поистине ужасными.

Ах, как некстати, оказывается, бывает монаршья милость!

И теперь, во избежание невиданных осложнений, Марии надо было торопиться с отъездом еще сильнее — торопиться, чтобы защитить не только немощного мужа, но и — *себя.*

Чем дальше она уедет — тем будет лучше, спокойнее. *Здесь* поручиться за себя полностью Мария была не в силах.

На исходе октября Мария Волконская и Николино, сопровождаемые Репниными, отбыли из Яготина. 4 ноября княгиня и ее общительные спутники достигли Петербурга.

Там, в доме на Гороховой, Марию уже поджидал отец — в мундире, по-походному суровый, настроенный воинственно — и растерянный одновременно. Еще 23 октября он поведал Е. Н. Орловой: «Я жду Машеньку с сыном вместе с княгиней Репниной всякую минуту. Буду ее удерживать от влияния эгоизма Волконских»[363].

За последние месяцы старый генерал еще заметнее осунулся: он глубоко переживал драму любимой дочери. Однако Раевский, пересилив хворость, все же прибыл в столицу. Генерал был полон решимости спасти Машеньку от опрометчивых поступков — и не знал наверно, во всем ли он прав.

Сомнения одолевали его и, конечно, пагубно сказывались на самочувствии.

Относительно сиятельного семейства Волконских Николай Николаевич не испытывал никаких колебаний: те, действуя исподтишка, мечтая всеми правдами и неправдами «отправить в Сибирь» Марию, вели себя куда как недостойно, совсем не по-родственному, прямо-таки мерзко. От этого мнения он (найдя поддержку у супруги Софьи Алексеевны) не отказался и впоследствии.

По-иному смотрел Раевский-старший на своего зятя. Тут взгляды старика претерпели определенную эволюцию. Если на первых порах, после открытия заговора и ареста князя, он был вне себя от возмущения и характеризовал Сергея Волконского самыми нелестными словами, то позднее позиция Николая Николаевича (в отличие, скажем, от позиции его сыновей, Александра и Николая) в какой-то мере смягчилась и стала более гибкой. Он по-прежнему считал Волконского опасным преступником, лгуном и виновником всех семейных бед, что, однако, не мешало Раевскому жалеть неудачливого заговорщика и по-христиански «скорбеть о нем в душе своей». Показательно в этом отношении его письмо (на русском языке) к Марии от 2 сентября 1826 года. «Муж твой заслужил свою участь, муж твой виноват пред тобой, пред нами, пред своими родными, — писал Н. Н. Раевский-старший, — но он тебе муж, отец твоего сына и чувства полного раскаяния, и чувства его к тебе, — всио сие заставляет меня душевно сожалеть о нем и не сохранять в моем сердце никакого негодования: я прощаю ему и писал это прощение на сих днях»[364].

Чуть раньше, в начале августа, генерал в письме к Александру Раевскому сформулировал свое отношение к зятю следующим образом: «Естли б Сергей не показывал добрых чувств своих, я б не остановился б истребить в ней (в Марии. — *М. Ф.)* к нему уважение, следственно и привязанность; она б видела в нем отца своего сына, но не менее недостойного любви, но теперь щитаю, что хотя ей тяжело будет любить своего мужа и быть с ним в вечной разлуке и знать его в толико нещастном состоянии, но щитаю, что мы обязаны любить его»[365]. Николай Николаевич даже был готов «в сердце своем заменить» Волконскому «родных его, которые скоро его оставят»[366].

В приведенном августовском письме к сыну затронута и наиболее важная тогда для родителя тема, предмет его наиболее мучительных раздумий и сомнений. Это — вопрос о *любви* дочери к Волконскому. Для себя Раевский никак не мог разрешить его.

Иногда он, вспоминая историю недавнего замужества Марии, далекую от романтизма, им самим инициированную, был почти уверен, что та не должна, просто не может питать никаких возвышенных чувств к супругу, что она жестоко обманывается в своем поэтическом «энтузиазме» (который, по словам генерала, «переступая черту, обращается в сумасшествие»). Он считал, что дочь «не совсем уверена в доброте» своих поступков — и потому так упорно «оправдывает» их. «Дай Бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в своем заблуждении, — сообщал Николай

Николаевич Е. Н. Орловой, — ибо опомниться было бы для нее большим несчастием»[367].

Но в иные минуты старик ужасался: а вдруг его Машенька и в самом деле обнаружила в себе «дар Божий» и — любит, *успела,* несмотря ни на что, «стерпеться», привязаться, а потом и *полюбить* этого никудышного человека? Тогда он, мнящий себя таким заботливым отцом, пекущимся о счастье дочери, попросту деспот, каких свет не видывал: ведь «ехать по любви к мужу в несчастий — почтенно». И Раевский, пораженный таким открытием, начинал склоняться к тому, что если «сердце жены влечет ее к мужу <…>, тогда никто не должен препятствовать ей в исполнении ее желаний»[368].

Потом в голову опять лезли мысли о «заблуждении» Марии и гнусных Волконских, расточавших «похвалы ее геройству»[369]. Запутавшийся в антиномиях Николай Николаевич гнал их прочь, задыхался и расстегивал ворот мундира, в который раз старался думать о хорошем или постороннем — и так шло до бесконечности, до умопомрачения…

Потуги Раевского были тщетны: увы, он не смог прийти к какому-либо окончательному выводу. Спустя полтора года он признавался Екатерине Орловой, что «если б знал в Петербурге, что Машенька едет <…> от любви к мужу», то понял бы все[370]. Не уяснив же мотивов поведения дочери — то ли по-женски взбалмошного, то ли и впрямь высокого, — старик был лишен основополагающей *нравственной идеи* для сопротивления Марии и противодействовал ей не из каких-либо принципов, а по инерции, слепо и упрямо, полагаясь только на довольно смутные интуиции и авторитет родительской власти. (Сия *бездушная* тактика, с горечью постигал генерал, делала его весьма похожим на Волконских.) При его добром и смятенном сердце это означало, что рано или поздно Николаю Николаевичу придется, видимо, уступить в споре с дочерью.

И он таки уступил.

Еще летом старик сообщал сыну Александру: «Я не храню в душе моей ничего против Сергея Волк<онского>, скорблю о нем в душе моей, но не согласен жертвовать ему моею дочерью»[371]. Самому же декабристу Раевский писал о поездке Марии в Сибирь так: «Властию моею я могу остановить ее, но сие должно происходить от тебя. Подумай, друг мой, перенесет ли она несколько месяцев путешествия, — подумай, можно ли нескольких месяцев младенца подвергнуть верной смерти, — какую может дочь моя доставить ему и тебе помощь! Подумай, что она сим лишится своего звания, а дети, могущие от вас произойти, не будут иметь никакого. Сердце твое само скажет

тебе, мой друг, что ты сам должен писать к ней, чтоб она к тебе не ездила»[372]. Старик, категорически возражавший против отъезда дочери, требовал, чтобы Волконский поддержал его.

Но стоило Марии Волконской появиться в начале ноября в Петербурге и встретиться с отцом, стоило ей страстно, по душам поговорить с ним, — как Николай Николаевич заметно скорректировал свои суждения. Уже 9 ноября он в письме к брату П. Л. Давыдову пишет о том, что «остановил» интригу семейства Волконских, которые хотели («и ее заставили, так сказать, хотеть»), чтобы княгиня ехала к мужу «теперь <…> и с ребенком». И тут же генерал приписал то, о чем раньше и слышать не хотел: «Я не говорю, что ест-ли нужно будет для спокойствия Машеньки съездить к мужу, я б на сие не согласился».

Далее Раевский изложил свое новое видение проблемы. Прежде всего, с отъездом княгини надобно повременить: «Итак, мое намерение, буде непременно Машенька поедет к мужу, то это должно сделаться, когда уже судьба нещастных будет нам известна, ибо известно только то, что они близ Иркутска содержатся временно…» Когда же местоположение каторжников определится и оттягивать отъезд дочери уже будет, к сожалению, нельзя, то Мария обязана — и это главнейшее для старика условие — ехать *одна,* без Николино: «Когда сын ее у меня, тогда она непременно воротится, <…> нужно сохранить ей притчину ее возвращения, ибо может и состояние, положение мужа и характер его в одном сделаться несносным»[373].

Словом, едва приехав в невскую столицу, княгиня Волконская за несколько вечеров сумела убедить отца в необходимости ее сибирского вояжа. Казалось бы, тот мог и намеревался «властию своею остановить» любимую дочь, однако в итоге так и не остановил, не решился на крайние меры и почти сразу же сдался на уговоры (правда, отвоевав внука — аманата). Мария, готовившаяся к длительной изнурительной «осаде» родителя, с радостью удостоверилась, что годы и горести не изменили батюшку: тот может поворчать, горячо, размахивая руками, поспорить, в чем-то даже проявить характер, неподатливость, но Николай Николаевич — о, таких отцов больше не сыскать! — не станет навязывать ей свою волю. А то, что Николино пока останется с дедом — пожалуй, наилучший выход: так и милый старик, выкинувший белый флаг, будет рад, и она будет отчасти спокойна за малютку.

Теперь, когда благополучно разрешился вопрос о ребенке, княгине Волконской надлежало побыстрее уладить остальные петербургские дела — и отправляться в снежную страну.

19 ноября 1826 года Мария Николаевна, «не имея ни одной строчки» от мужа, писала ему: «Ты должен понять теперь нетерпение, тоску, мучение, которые я испытываю. Дорогой Сергей, во имя неба, старайся добиться позволения писать моему отцу; скажи ему о твоем душевном состоянии, о твоих религиозных чувствах, о твоем здоровье. Я говорю, чтобы ты обратился к моему отцу, потому что твое письмо не найдет уже меня здесь — я решительно отправляюсь этой зимой. Я еду, чтобы снова найти счастье около тебя. Папа советует мне подождать до февраля; он хотел бы получить от тебя вести и ни за что не хочет отпустить меня ехать наудачу. Дорогой друг, я чувствую слишком хорошо, что не смогу перенести эти промедления»[374].

Спустя неделю, 26-го числа, княгиня отослала в Сибирь еще одно письмо, где, среди прочего, говорилось: «Дорогой и обожаемый Сергей, все решено этим утром; я отправляюсь, как только установится санный путь».

К этой эпистолии Н. Н. Раевский-старший сделал такую приписку (на русском языке): «Ты видишь, мой друг Волконский, что друзья твои сохранили к тебе чувства оных, — я уступил желанию жены твоей; уверен, что ты не сделаешься эгоистом, каковым ты не бывал, и удерживать ее не будешь более чем должно. Сына твоего весной возьму к себе. Прощай, мой друг, будь великодушен. Твой друг Н. Раевский»[375]. Таким образом, Николай Николаевич согласился с дочерью и относительно времени ее отъезда (в тогдашней записке к Екатерине Орловой он упомянул, что «Машенькино путешествие» будет, по его расчетам, «в январе»[376]). Не особенно возражал генерал и против того, чтобы Николино какое-то время, допустим, до наступления теплых дней, погостил по соседству, в семействе Волконских: хоть они и пройдохи, однако деться некуда, ведь негоже хрупкому здоровьем младенцу разъезжать по российским городам и весям зимой, в такие морозы и метели.

Как раз в эти драматические дни ноября 1826 года известный художник П. Ф. Соколов сделал два акварельных портрета — генерала Н. Н. Раевского-старшего и княгини Марии Николаевны с сыном. Живописец сумел искусно передать на портретах неизбывную печаль отца и дочери, готовившихся к прощанию и не знавших, суждено ли им когда-либо встретиться вновь. Акварель, на которой изображены княгиня Волконская и младенец Николино, невольно ассоциировалась с творениями великих итальянцев[377].

Вскоре после завершения художественных сеансов Николай Николаевич покинул Петербург («Государь утвердил духовную Волконского, итак, ничто меня более не задержит», — сообщал он

Е. Н. Орловой[378]) и отправился через Москву в Милятино. Момент его расставания с Машенькой был поистине душераздирающим[379]. «Теперь я должна вам рассказать сцену, которую я буду помнить до последнего своего издыхания, — вспоминала через много лет княгиня Волконская. — Мой отец был всё это время мрачен и недоступен. <…> Мой бедный отец, не владея собой, поднял кулаки над моей головой и вскричал: „Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься“. Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку». Однако позже Мария пришла в себя, заставила себя встать и вышла на крыльцо проводить Николая Николаевича: «С отцом мы расстались молча; он меня благословил и отвернулся, не будучи в силах выговорить ни слова. Я смотрела на него и говорила себе: „Всё кончено, больше я его не увижу, я умерла для семьи“»[380].

Из окон Губернского правления, расположенного напротив, эту картину наблюдало множество отвратительных физиономий.

Оставшись в доме № 105 по Гороховой одна, Мария сделала последний требуемый для отъезда формальный шаг. 15 декабря она, воспользовавшись придворными связями свекрови, передала письмо на высочайшее имя с просьбой о дозволении ей, княгине Волконской, выехать в Сибирь, к находящемуся там на каторге мужу. Отцу она сообщила: «Я взяла смелость написать ему (императору Николаю I. — *М. Ф.),* чтобы выразить ему мою благодарность за то внимание, которое он удостоил мне оказать, и сказать ему, что никто больше моего не может желать увидеться с мужем: возможно ли, чтобы я покинула его в несчастьи? Я написала свое письмо единым духом, — я писала то, что чувствовала, — мне не у кого было спросить совета»[381].

В следующем письме к Николаю Николаевичу, отосланном спустя три дня, княгиня не без удовлетворения констатировала: «Дорогой папа́, вы должны удивляться моей смелости писать коронованным особам и министрам; что хотите вы, — необходимость, несчастие обнаружило во мне энергию решительности и особенно терпения. Во мне заговорило самолюбие обойтись без помощи другого, я стою на собственных ногах и от этого чувствую себя хорошо».

«Я стою на собственных ногах и от этого чувствую себя хорошо» — разве можно было выразиться яснее и тверже?

В том же письме к Н. Н. Раевскому-старшему княгиня в который раз умоляла его «простить сердцем и душой» бедного Сергея Волконского, «самого несчастного из людей». Обращают на себя внимание и завершающие эпистолию слова: «Дорогой папа, мой муж заслуживает все жертвы, исключая долга матери — и я их ему принесу»[382]. Тем самым Мария как бы подтверждала,

что верна слову, которое дала родителю: она не собирается уезжать навсегда и еще вернется сюда — к своему Николино, к Раевским.

Относительно сына княгиня Волконская тогда же писала мужу несколько иначе, нежели отцу: «Я расстаюсь с ним без грусти; он окружен попечением и не будет чувствовать отсутствия своей матери; душа моя покойна на щет нашего ангела <…>. Твой дорогой ребенок меня прервал; его здоровый вид, казалось, говорит мне: „Отправляйся, отправляйся и возвращайся меня взять — я достаточно силен, чтобы вынести путешествие“»[383]. Этот фантастический вариант воссоединения всей семьи за Уралом Мария придумала, по всей видимости, для того, чтобы хоть как-то поддержать и обнадежить упавшего духом (она это чувствовала) Волконского[384].

Через пару дней после отправки послания к царю княгине дали знать, что «е<го> в<еличество> видел это письмо»[385]. А 21 декабря Мария Волконская получила учтивый ответ государя.

На листе плотной бумаги с водяными знаками и красной сургучной печатью она увидела написанный по-французски текст, скрепленный подписью самодержца:

> «Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас принимаю[386]; но во имя этого участия к вам, я и считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные, относительно того, что вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению.
>
> *1826, 21 декабря. Благорасположенный к вам Николай»*[387].

Вот, похоже, и всё, finis coronat opus. Никакие юридические тонкости, кроме этого милостивого, поднимающего любые шлагбаумы, царского слова, Марию более не волновали. (Между тем в Петербурге «в это время уже ходили слухи, что отъезжающие лишены права взять с собой своих детей и возвратиться в Россию до смерти своих мужей»[388].) Отныне дорога на восток ждала княгиню, наконец-то преодолевшую все преграды. А раз путь открыт, всесильная подорожная на руках — значит, ей нельзя терять ни минуты…

Забыв переодеться, прижимая к груди драгоценную бумагу, она не мешкая отправилась попрощаться со свекровью и сыном (его Мария заранее перевезла к княгине А. Н. Волконской).

В этот дом «на Мойке близ Конюшенного мосту» *(XVI, 173),* куда она торопилась, спустя каких-нибудь десять лет придут тысячи людей…

Хозяйка приняла Марию в креслах, сухо, разговаривала с ней без былой приторной любезности. На принесенную царскую грамоту Александра Николаевна едва взглянула. Ларчик открывался просто: теперь, когда цель Волконских была достигнута, метать бисер перед этой своенравной особой им уже не было никакого резону. Сорить деньгами обер-гофмейстерина и подавно не собиралась: она (прикинув накануне) распорядилась вручить невестке «как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска»[389], — и чуть заметным кивком дала понять гостье, что на этом церемония окончена.

Из апартаментов статс-дамы Мария поспешила в комнату, где находился ее сын. Там, встав на колени у люльки Николино, она долго молилась. Потом до самого вечера сидела с ребенком, смотрела на него, вспоминала строки из недавнего письма к Сергею — и радовалась: младенцу и в самом деле было здесь хорошо. Николино тем временем забавно играл с печатью показанного ему царского письма. Наконец Мария встала, «с трудом оторвавшись» от сына, и, поцеловав его, стремительно, не оглядываясь, вышла. (Впоследствии кто-то сообщил Н. Н. Раевскому-старшему, что «она единородного своего сына оставила без слезинки»[390].)

Вернувшись домой, на Гороховую, княгиня Волконская черкнула прощальные письма отцу и матери. Уже в сумерках, при свечах, она «уложилась в одну минуту, взяла с собой немного белья и три платья, да ватошный капот, который надела»[391]. (В одно из платьев княгиня днем раньше предусмотрительно зашила деньги, которые скопила для Сибири.) Наперед купленная кибитка ждала Марию у ворот…

Ближе к полуночи Мария Николаевна, в сопровождении лакея и горничной («которая „всё по паспорту ходила“ и оказалась очень ненадежной»[392]), покинула град Петров и двинулась по направлению к Москве. Отъехав несколько верст, она вдруг, неожиданно для себя самой, велела ямщику остановиться на пригорке, в заснеженном поле. Вышла и бросила взгляд на покоренную ею столицу, потом вспомнила минувшее и украдкой глянула ввысь. Но в ту ночь не вызвездило: вплоть до самого горизонта все небо было затянуто тучами. Княгиня вздохнула и вернулась в кибитку.

Далее ехали уже почти не останавливаясь. Капот не спасал ее от пронизывающего ветра, сырой холод пробирал до костей. На станциях, пока перепрягали лошадей, окоченевшая путешественница едва успевала отогреться у самовара.

Небо по-прежнему было низким и хмурым. Тучи, цвета петербургских бастионов, медленно, с достоинством плыли на восток.

От верстовых столбов давно рябило в глазах — Мария летела навстречу своему самому трудному испытанию.

Глава 9
МОСКВА

…Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней
Теперь опять воскресла в ней…

А. С. Пушкин

Утром 26 декабря 1826 года Мария Волконская оказалась на подступах к Белокаменной. Миновав Петровский замок и заставу, кибитка княгини понеслась на многолюдной, особенно в Святки, Тверской. Вскоре она подъехала к красивому трехэтажному дворцу с шестиколонным портиком — тут круто, громко скрипнув полозьями, повернула и, замедляя ход, по арочному проезду въехала в обширный двор, где (напротив стеклянных сеней) и стала.

Этот дом (построенный в конце XVIII века знаменитым архитектором М. Ф. Казаковым), состоявший в «Тверской части 1 квартала под № прежде 41, а ныне 39», официально принадлежал «госпоже действительной статской советнице, обер-шенкше и кавалерственной даме княгине Анне Григорьевне Белосельской-Белозерской»[393]. С 1824 года, после возвращения из-за границы, здесь поселилась ее падчерица — княгиня Зинаида Александровна Волконская. Со своим мужем, князем Н. Г. Волконским, княгиня Зинаида жила, как тогда говорили, «в разъезде».

Она-то, сойдя по лестнице, и встретила выбравшуюся из кибитки путешественницу в прихожей.

«В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки, — читаем в мемуарах нашей героини, — она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда; окружила меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне»[394].

Добрую обитательницу дворца, тридцатисемилетнюю златокудрую красавицу с голубыми глазами (которой некогда, что не считалось секретом, покровительствовал сам император Александр I), современники величали «Северной Коринной», и на то у них имелись все основания. «Княгиня Зенеида» принадлежала к образованнейшим людям эпохи, была

талантливой писательницей, поэтессой, художницей, автором серьезных трудов по истории и археологии… Главной же ее страстью являлось музыкальное искусство: она пробовала свои силы в сочинительстве романсов и кантат, прекрасно («как ангел») пела. В переписке того времени встречаются, например, следующие строки: «Дом ее был, как волшебный замок музыкальной феи: ногою ступишь на порог, раздаются созвучия; до чего не дотронешься, тысяча слов гармонических откликнется. Там стены пели; там мысли, чувства, разговор, движения, всё было пение»[395]. Другой знакомый З. А. Волконской отметил: «Страстная любительница музыки, она устрояла у себя не только концерты, но и итальянскую оперу <…>. Княгиню постоянно окружали италианцы, которые завлекли ее и в Рим»[396][397].

Литературно-художественный салон, возникший в доме на Тверской вскоре после водворения там этой особы, пользовался у просвещенных москвичей и приезжих заслуженной популярностью, хотя, как водится, находился под подозрением у полиции и считался тогда одним из самых «оппозиционных». Так, 9 августа 1826 года управляющий III Отделением М. Я. фон Фок доносил А. Х. Бенкендорфу: «Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг»[398].

«В Москве дом кн<ягини> Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества, — вспоминал П. А. Вяземский. — Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Всё в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли»[399]. Душой изысканного кружка была сама хозяйка. Кому-то, с непривычки, она казалась излишне меланхоличной, кто-то находил в ней «склонность к задумчивости, которая не оставляла ее даже среди светских развлечений»[400], но, похоже, никто из наблюдателей не видел в этой своеобразной «ипохондрии» какой-либо манерной ужимки, маски. Завсегдатаи салона, постигая Зинаиду Александровну глубже, замечали над ее «задумчивым челом» *(III, 54)* иное. «Княгиню поймешь только у нее в гостиной, и то, когда станешь к ней ходить чаще, — писал С. П. Шевырев. — Да, я к ней пригляделся, что это, как сравнить ее с другими! Как она выше их!»[401]

Княгиня Зинаида облюбовала для приемов второй этаж казаковского дворца. Видавшие виды гости, поднимаясь туда, неизменно приходили в восторг от апартаментов «царицы муз и красоты»: «Ее столовая зелено-горчичного цвета с акварельными пейзажами и кавказским диваном, подобным таганрогским[402]. Ее салон — цвета мальвы (mauve) с густо-желтыми картинами, мебель <обита> густо-зеленым бархатом. Биллиардная обита старинным дама́[403]. Ее кабинет увешан готическими картинами, с маленькими бюстиками наших царей на консолях, прикрепленных к стенам, и <обставлен> аналогичной мебелью. Пол ее салона цвета мальвы покрашен в белый и черный цвета и превосходно имитирует мозаику»[404]. Сюда можно добавить, что на фронтоне домашнего театра, устроенного княгиней в «большой зале», красовался Горациев девиз: «Ridendo dicere verum»[405].

Все это великолепие, совершенная гармония изящества и вкуса не могли оставить равнодушной и уставшую с дороги, полубольную Марию Волконскую.

Бегло показав свои владения, княгиня Зинаида проводила гостью в отведенные для нее покои. Здесь, удобно расположившись на диванах, понравившиеся друг другу и не желавшие расставаться Волконские долго и откровенно беседовали. Мария Николаевна, поведав о своих петербургских похождениях, о сыне и тягостном положении мужа, сообщила, что намеревается пробыть в городе дней десять: ей надо было подлечиться перед труднейшим путешествием («в дороге я простудилась и совершенно потеряла голос»), повидать «родственников наших сосланных», вдоволь наговориться с сестрой, Екатериной Орловой (та специально «приехала в Москву проститься со мной»[406]). Она не исключала, что дождется Александрину Муравьеву, свою будущую сибирскую подругу, которая, судя по всему, едет из Петербурга следом за ней и вот-вот должна объявиться в Первопрестольном граде.

Зинаида Александровна слушала ее внимательно и участливо, почти не перебивая и только изредка задавая уточняющие вопросы. А потом, когда поняла, что Мария выговорилась, облегчила душу, — тогда взяла слово и рассказала вкратце (но весьма занимательно) о себе и о последних московских событиях.

Совсем недавно, осенью, тут проходили помпезные коронационные торжества, столица гудела как улей, голова шла кругом от официальных приемов, раутов, иллюминаций и балов, и многие видные персоны, принимавшие участие в празднествах, еще не успели покинуть город. Так что княгиня Мария перед

отбытием на край света, в эту ужасную, заиндевевшую Сибирь, сможет пообщаться (конечно же здесь, в доме на Тверской) с весьма любопытной, почтенной публикой. (В голове у хозяйки уже возник план на ближайший вечер.)

Стараясь развлечь жену декабриста, Зинаида Волконская мимоходом посоветовала ей иметь в виду, что сейчас в большой моде малиновый цвет и береты (вот и забавный князь Шаликов пишет в последнем нумере «Дамского журнала», что в Москве «видели двух или трех дам в беретах»). Далее Зинаида Александровна, уже зная о музыкальных пристрастиях Марии, рассказала, что 15 декабря в ее домашнем театре с большим успехом был исполнен финал оперы Фердинандо Паэра «Камилла, или Подземелье»[407], и сразу же пообещала, что «друг» (так назвала она сидящую vis-à-vis женщину) обязательно услышит чарующие мелодии этого итальянца.

Так, элегантно перескакивая с «разумного толка» на «легкий вздор» (ridendo dicere verum!), и разворачивался завораживающий монолог княгини Зинаиды.

Да, есть еще одна новость: в городе уже несколько дней находится прощенный царем Александр Пушкин. Мария Николаевна, кажется, с ним знакома? Он, как всегда, нарасхват, но в салоне Волконской все-таки бывает «наиболее часто»[408], хоть здесь и объявлена непримиримая война зеленому сукну[409]. Поэтому княгиня Мария Николаевна может порадоваться: она наверняка увидит и нашего знаменитого поэта.

Нашего… Мария не подала виду, но «кровь ее застыла» (*VI, 70*). То, чего она опасалась еще в Яготине и чего счастливо избежала в Петербурге, в самый последний момент все-таки настигло ее…

> К черкешенке простер он руки,
> Воскресшим сердцем к ней летел… *(IV, 111)*.

Движением руки прервав хозяйку на полуслове, извинившись и еще раз поблагодарив княгиню Зинаиду за радушие, Мария Волконская поднялась: ей предстояло делать бесчисленные визиты. (И попутно — крепиться…)

Давно перевалило за полдень.

Дамы, расцеловавшись, расстались до вечера.

Четырьмя месяцами раньше, в сентябре, истомившийся в Михайловском Пушкин был внезапно и срочно вытребован императором Николаем Павловичем в Москву и мигом («небритый, в пуху, измятый») доставлен туда в сопровождении

фельдъегеря. В ходе аудиенции, проходившей в Кремле в обстановке взаимного доверия и откровенности, поэт получил высочайшее прощение и свободу. Вдобавок царь объявил, что отныне он сам будет пушкинским цензором. А вечером того же памятного дня (8 сентября) император, беседуя с одним из приближенных, назвал Пушкина «умнейшим человеком в России».

С осени 1826 года начался новый этап в жизни поэта. Радушная Москва, искренне радуясь за Пушкина, приняла его с распростертыми объятиями, и, как писал очевидец, «во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, <…> в мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта беспрерывно». «Он стоял тогда на высшей степени своей популярности», — констатировал другой свидетель пушкинского московского триумфа (Н. В. Путята).

В Первопрестольную из ссылки прибыл уже *другой* Пушкин, не похожий на «послелицейского» или «южного», более или менее «остепенившийся», скорректировавший былые взгляды на женщин и «любовь». Одним из подтверждений тому стало его кратковременное увлечение двадцатилетней Софьей Пушкиной, дальней родственницей. Познакомясь с ней, поэт — кажется, впервые в своей «донжуанской» практике — начал подумывать о женитьбе (ранее им жестоко осмеянной), о Доме, прозаическом и уютном, натурально тревожился за будущность *Sophie*, «существа такого нежного, такого прекрасного» *(XIII, 311, 562),* и даже скоропалительно к ней посватался (однако в итоге получил отказ).

В ночь на 2 ноября Пушкин уехал из Москвы в Михайловское. Вернулся он в родной город только 19 декабря — ровно за неделю до приезда сюда из Петербурга княгини Марии Волконской.

С Марией поэт не виделся целых три года. Общаясь с Раевскими, сочиняя «Евгения Онегина», работая над другими произведениями, он временами думал о молодой княгине, рисовал ее портреты на полях рукописей. Надо учитывать, что после окончания ссылки Пушкин получил доступ ко всевозможным источникам информации. Поэтому, живо интересуясь судьбой некоторых декабристов («друзей, братьев, товарищей»), он старательно собирал сведения и о том, как жены бунтовщиков готовились отправиться в Сибирь.

Восхищаясь этими бесстрашными женщинами, поэт все же втайне выделял одну из них особо…

Три долгих — и каких! — года минуло после Одессы, после сурового объяснения с ней… За этот период Пушкин опубликовал «Бахчисарайский фонтан», издал вторично «Кавказского

пленника», кропотливо трудился над «Евгением Онегиным» (добрался в своей «ладье» уже до шестой песни), а также потихоньку, фрагментами и главами, печатал «роман Жизни». Позднее поэт туманно поведал читателям, что «эта медленность произошла от посторонних обстоятельств» (*VI, 639)*.

К описываемому времени Пушкин выпустил несколько «пестрых» отрывков «Онегина» и две главы — отдельными изданиями. Таким образом, публика уже успела познакомиться с милой Татьяной Лариной — точнее, с первоначальным, весьма приблизительным, наброском ее портрета. Заметим, что еще в 1825 году поэт пожертвовал в альманах А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Звездочка» пятьдесят шесть стихов из третьей песни (описывавших ночной разговор девушки с няней), и пушкинские строфы даже были набраны — да только декабрьские события и арест издателей помешали выходу «Звездочки» в свет.

Однако *само письмо* Татьяны к Онегину — фрагмент интригующий, редкий по экспрессии и вполне завершенный, настойчиво просящийся в журнал или альманах, к тому же выгоднейший для сочинителя и любого издателя «рекламный продукт» — Пушкин так никуда и не отдал.

Мы помним, *что* было положено автором в основу данного поэтического текста. И этому таимому тексту было уже более двух с половиной лет…

Подлинное, на французском языке составленное, «письмо любви», выполняя волю Марии, Пушкин уничтожил, предал огню. Законы мужской чести требовали, чтобы это ноябрьское письмо 1823 года считалось как бы никогда не существовавшим. И теперь только воистину *посторонние* — непонятно какие, но явно чрезвычайные — обстоятельства могли позволить ему обнародовать *узнаваемую* поэтическую версию сожженного послания юной Машеньки Раевской…

Земля слухами полнится — и к сумеркам 26 декабря вся Москва уже знала, что в городе находится *та самая* княгиня Мария Николаевна Волконская. Молва передавала: остановилась она на Тверской, в «замке музыкальной феи». Один из старожилов тут же вспомнил про давнишний визит в столицу знаменитой француженки мадам де Сталь. Кто-то из москвичей успел даже столкнуться и перемолвиться с женой декабриста, которая разъезжала по домам с визитами. А кому-то были доставлены от княгини Зинаиды крохотные записочки с учтивым приглашением на вечер, устраиваемый в ее салоне нынче же — ради все той же несчастной женщины.

Дошла новость и до Пушкина. Он, хотя и знал, что женам бунтовщиков никак не миновать Москвы, поверил не сразу:

Та девочка… иль это сон?.. *(VI, 174).*

Поэт, не раздумывая, отложил все намеченные дела, что-то буркнул надувшемуся Соболевскому и спешно отправился по знакомому адресу.

В пути с Собачьей площадки на Тверскую он разволновался так, словно шел в ночи на свое первое свидание.

О вечере в салоне княгини Зинаиды наша героиня вспоминала следующее: «Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве, и нескольких талантливых девиц московского общества. Я была в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, что я слышу его в последний раз, еще усиливала мой восторг. В дороге я простудилась и совершенно потеряла голос, а пели именно те вещи, которые я лучше всего знала; меня мучила невозможность принять участие в пении. Я говорила им: „Еще, еще, подумайте, ведь я никогда больше не услышу музыки“[410]. Тут был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала…»[411]

Далее мемуаристка в немногих словах рассказала о своих отношениях с Пушкиным — и к этим страницам ее воспоминаний мы еще вернемся. О вечере же, состоявшемся 26 декабря, Мария Николаевна больше ничего не сообщила.

Однако в распоряжении исследователей есть ценный документ — подробное описание «вечера у княгини Зинаиды Волконской», которое было сделано 27-го числа (то есть на следующий день) очевидцем происходившего, А. В. Веневитиновым, чиновником Московского архива Министерства иностранных дел (и братом известного поэта). Этот рассказ двадцатилетнего «архивного юноши» (вероятно, отрывок из его дневника), помещенный в «Русской старине»[412], и будет предметом нашего внимания и комментария.

Если «архивны юноши» отличались, по мнению многих, заносчивостью и предвзятостью суждений (они, допустим, смотрели на Татьяну Ларину «чопорно», отзывались о ней «неблагосклонно»; *VI, 160),* то Алексей Веневитинов, похоже, не был заражен подобным корпоративным снобистским любомудрием.

«Вчера провел я вечер, незабвенный для меня, — начинает он повествование. — Я видел во второй раз и еще более узнал несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая 6-го января сама отправляется в путь вслед за ним, вместе с Муравьевой».

Из этих слов не совсем ясно, где и когда автор дневника впервые повстречал княгиню: то ли задолго до вечера на Тверской (к примеру, в Петербурге), то ли днем 26 декабря, в одном из хлебосольных московских особняков, куда заглянула единовременно с Веневитиновым и колесившая по столице Мария Николаевна. Впрочем, это для нас не столь существенно. Гораздо важнее подчеркнуть тут иное: уже через несколько часов после прибытия Волконской в Москву и ее близкие друзья, и даже случайные знакомые (вроде того же Веневитинова) твердо знали, что целеустремленная путешественница намерена оставить их 6 января 1827 года. Конечно, такую точную, заранее определенную дату отъезда им сообщила сама княгиня.

Далее нам предстоит выяснить, почему спустя всего два дня она внезапно передумала и *сократила более чем втрое* сроки своего пребывания в городе. А пока вернемся к документу.

Прежде всего Веневитинов попытался понять «эту интересную и вместе могучую женщину», которая «нехороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают».

Автор дневника (а ему нельзя отказать в психологических талантах) был убежден, что княгиня Волконская, «так рано обреченная жертва кручины», явно «больше своего несчастия». Он обосновывает свою точку зрения так: «Она его преодолела, выплакала; источник слез уже иссох в ней. Она уже уверилась в своей судьбе и, решившись всегда носить ужасное бремя горести на сердце, по-видимому, успокоилась. В ней угадываешь, чувствуешь ее несчастие, ибо она даже перестала и бороться с ним. Она хранит его в себе, как залог грядущего. <…> Прискорбно на нее смотреть и вместе завидно. Есть блаженство и в самом несчастий! Она видит в себе божество, ангела-хранителя и утешителя двух существ[413], для которых она теперь уже одна осталась, и всё в мире! Для них она, как Христос для людей, обрекла себя на жертву — славная жертва! <…> Она теперь будет жить в мире, созданном ею собою. В вдохновении своем она сама избрала свою судьбу и без страха глядит в будущее».

В следующем дневниковом абзаце говорилось о неиссякаемой любви Марии Волконской к музыке («Музыка одна только и может согласовываться с ее чувствами в теперешнем ее положении» и т. д.). Эти полные философичности строки подводили к центральной части мемуара Веневитинова — к описанию самого вечера в салоне княгини Зинаиды.

«Она в продолжении целого вечера всё слушала, как пели, и когда один отрывок был отпет, то она просила другого, — сообщает Веневитинов. — До двенадцати часов ночи она не входила в гостиную, потому что у к<нягини> З<инаиды>

много было <гостей>, но сидела в другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из „Agness“ del maestro Paër был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастия Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей отняло голос и силу у к<нягини> З<инаиды>, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это приметили в другой комнате: ибо в таком случае все бы ее окружили, а она страшится, чуждается света, и это понятно».

Итальянский композитор Фердинандо Паэр (1771–1839) пользовался в те годы в России большой популярностью. Столичная пресса отмечала, что «сей заслуженный музыкант написал несколько опер, отличающихся приятным изложением и всегда благородным, чистым стилем». «Агнесса» же впервые была представлена на Большом театре в Петербурге в 1822 году, и успех оперы превзошел все ожидания. Немудрено, что и в салоне Зинаиды Волконской (которая, кстати, состояла с Ф. Паэром в дружеской переписке) нередко листались его модные клавиры.

«Агнесса» — это грустный рассказ о странствиях заглавной героини, пустившейся на поиски возлюбленного. Безутешен ее обиженный отец, обречено на страдания и дитя Агнессы — в общем, ситуация поразительно схожа с жизненной драмой жены декабриста. Но любопытно, что прерванный музыкальный отрывок предварял *счастливый финал* всей оперы, хорошо знакомой княгине. Разбросанное по свету семейство вскоре воссоединилось под одной крышей. Очевидно, на это и намекала певшая Зинаида Волконская, которая была уверена, что подруга поймет ее.

«Остаток вечера был печален, — продолжает Веневитинов. — Легкомысленным, без сомнения, показался он скучным, как ни старались прерывать глубокое, мрачное молчание некоторыми шутливыми дуэтами».

Потом началась иная, более интимная часть вечера. «Архивный юноша» по-прежнему зорко следил за Марией Волконской, запоминал всякое слово княгини, фиксировал каждый ее шаг. К примеру, он отметил, что «в этой женщине изредка и невольно вырываются слова, означающие досаду». А еще Веневитинов написал следующее:

«Когда все разъехались и осталось только очень мало самых близких и вхожих к к<нягине> З<инаиде>, она вошла сперва в гостиную, села в угол, всё слушала музыку, которая для нее не

переставала <играть>, восхищалась ею, потом робко приблизилась к клавикордам, смела уже глядеть на тех, которые возле них стояли, села на диван, говорила тихим голосом очень мало, изредка улыбалась; иногда облако воспоминаний и ожиданий затмевало ее глаза, но она обеими руками закрывала тогда свое лицо и старалась победить свое чувство. Она всех просила ей спеть что-нибудь простодушно, уверяя, что память этого участия, которое принимают в ее положении, облегчит ей трудный путь в Сибирь.

И до меня очередь дошла. Я петь не умею, но отказать ей не смел и кой-как проворчал ей дуэт из „Дон-Жуана“. Одному петь у меня тогда бы голоса недостало. Она меня благодарила, как и всех; видно, что это не из приличия, потому что она не тратила много слов, но каждое слово было похоже на нее самое, согласовывалось с выражением ее лица».

Между тем часы возвестили о наступлении нового дня. Приближалось окончание этого удивительного вечера. Для Марии Волконской «велела к<нягиня> З<инаида> изготовить ужин: ибо становилось уже очень поздно и приметно было, что она устала, хотя она сама в этом не сознавалась. Во время ужина она не плакала, не рыдала, но старалась нас всех развлечь от себя, говоря вообще очень мало, но говоря о предметах посторонних. Когда встали из-за стола, она тотчас пошла в свою комнату. И мы уехали уже после 2-х часов. Я возвратился домой с душою полною и никогда, мне кажется, не забуду этого вечера», — писал потрясенный мемуарист.

Скорее всего, Пушкин, принадлежавший к кружку «самых близких и вхожих» к княгине Зинаиде, как и Веневитинов, присутствовал на вечере до конца, «занят был одной» только Марией и покинул дом на Тверской вместе с последними засидевшимися посетителями салона.

Княгиня Мария Волконская, упомянув в воспоминаниях о бывшем на вечере 26 декабря поэте, далее рассказала о совместной поездке с ним на Кавказские Минеральные Воды в 1820 году; о том, как она неподалеку от Таганрога бегала за морскими волнами и спасалась от них, а Пушкин, находившийся рядом, любовался ее трогательной шалостью (и позже воспел увиденную картину в «Онегине»). Поведала княгиня и о стихах «Бахчисарайского фонтана», ей посвященных[414]. Попутно она обронила довольно загадочную фразу: «В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал»[415][416]. После этого Мария Николаевна уделила несколько строк описанию своего общения с Пушкиным в Москве. Принято думать, что она

изложила их беседу на вечере 26 декабря:

«…Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить свое „Послание к узникам“, для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой. <…>[417] Пушкин мне говорил: „Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках“. Он написал свое великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал»[418].

Из этих слов Марии Волконской следует, что ее разговор с поэтом носил более или менее продолжительный и откровенный характер. В ходе разговора затрагивались, среди прочих, и темы щекотливые, которые не было принято обсуждать тогда, что называется, на людях: ведь речь шла о судьбе декабристов, об авантюрном замысле поездки Пушкина в Сибирь и т. п. Для подобной беседы как нельзя более подошел бы уединенный кабинет — однако из дневника А. В. Веневитинова, описавшего поведение княгини в продолжение вечера не хуже заправского камер-фурьера, становится ясно, что такой tête-a-tête 26 декабря был практически *невозможен.*

Сначала Волконская находилась вне общества гостей, в соседнем помещении, куда входила разве что хозяйка дома. Разрыдавшись во время «Агнессы», Мария удалилась еще дальше, в какую-то заднюю комнату. Затем, после выхода княгини в полночную гостиную, велись только *общие* разговоры под аккомпанемент музыки. Во время ужина опять-таки текли коллективные беседы, причем «о предметах посторонних». А по окончании ужина княгиня, распрощавшись с гостями, сразу же ушла к себе.

Если бы Пушкину в какой-то момент вечера удалось, допустим, отвести Марию Волконскую в сторону, усадить на диван и там, не заботясь о приличиях, не допуская вмешательства третьих лиц, надолго завладеть ее вниманием, Веневитинов наверняка зафиксировал бы в дневнике эксцентричный и эгоистический поступок поэта. Но «архивный юноша» даже не упомянул о Пушкине. И это понятно: поэт ничем особенным *внешне* не выделился 26 декабря, он был лишь одним из гостей и вел себя сдержанно, *как все.*

Итак, на музыкальном вечере доверительного разговора Пушкина с Марией, скорее всего, *не было* — и все же, по уверению мемуаристки, такой разговор *состоялся.* Как объяснить это противоречие?

Ответ дала сама Мария Волконская, которая в мемуарах —

сознательно или невольно — *проговорилась*. Пушкинисты же не заметили признания княгини, а немногие заметившие посчитали ее проговорку заурядной ошибкой памяти.

Спору нет, женская память причудлива и не всегда совершенна — но может ли забыть женщина, когда и при каких обстоятельствах произошло ее *последнее свидание* с любимым человеком?

Приведем сызнова фрагмент воспоминаний княгини Волконской: «…Он хотел мне поручить свое „Послание к узникам“, для передачи сосланным, *но я уехала в ту же ночь,* и он его передал Александре Муравьевой».

Выделенные нами слова — ключевые, многое (если не всё) объясняющие.

Ведь Мария Волконская покинула Москву и отправилась в Сибирь *в ночь с 29 на 30 декабря* 1826 года. А раз так, то из ее слов однозначно выходит, что *она виделась с Пушкиным не только на музыкальном вечере, но и вторично — 29 декабря,* буквально за несколько часов до отбытия.

Тогда-то (а вовсе не 26-го), очевидно, и произошел разговор, очень скупо изложенный в мемуарах княгини.

По всем признакам, это было *тайное* свидание, состоявшееся по инициативе поэта. Вероятно, Пушкин, жаждавший объясниться с Марией, но напрочь лишенный такой возможности 26 декабря, через пару дней вновь посетил дом на Тверской (вернее, проник туда) и, никем при входе, видимо, не замеченный, наконец-то оказался с княгиней с глазу на глаз.

«Исключительные обстоятельства — великие духовные страдания и героическое решение идти в Сибирь за любимым человеком — с новой силой привлекли внимание поэта к этой женщине, едва ли не самой замечательной из всех, что появились в России в ту пору, и образ ее не только не потускнел, но и заблистал с новой силой и в новом блеске», — писал П. Е. Щеголев[419].

Писал пушкинист в целом-то верно, вот только насчет «любимого человека» он обманулся: избранник сердца Марии никогда не был в Сибири.

Двое суток после музыкального вечера она провела и деловито, и беззаботно: нежилась в постели, отдыхала и лечилась от простуды, размышляла о предстоящем тяжелом путешествии, делала кое-какие визиты, подолгу беседовала с княгиней Зинаидой (и даже однажды попробовала петь для нее[420]). Правда, порою, с замиранием сердца, с горечью и радостью одновременно, княгиня думала об увиденном в салоне Пушкине

— но сразу, подавляя соблазны ума, старалась уверить себя в том, что *они* стали другими и *всё уже в прошлом.* Такое самовнушение помогло лучше любого лекарства: она почти успокоилась.

Но 29 декабря дверь в ее комнату внезапно отворилась — и перед Марией возник поэт.

Не званное ею *прошлое* вторглось в *настоящее* — и с порога попробовало изменить настоящее самым коренным образом, до сущностной неузнаваемости, а будущее — превратить в улучшенную редакцию минувшего.

Позднее данные (если угодно, «ретроспективные») коллизии были не раз художественно осмыслены Пушкиным — в частности в восьмой главе «Евгения Онегина».

Там заглавный герой на «рауте тесном» *(VI, 174)* после долгой разлуки вновь (и совершенно случайно) встретился с Татьяной, которой Евгений некогда «пренебрегал в смиренной доле»[421]. Теперь она была, причем уже «около двух лет» *(VI, 173)* [422], замужней женщиной, женой *генерала* N и *княгиней.*

> Она была нетороплива,
> Не холодна, не говорлива,
> Без взора наглого для всех,
> Без притязаний на успех,
> Без этих маленьких ужимок,
> Без подражательных затей…
> Всё тихо, просто было в ней.
> Она казалась верный снимок
> *Du comme il faut*[423]… *(VI, 171;* выделено Пушкиным).

В следующей строфе также есть стихи, подходящие для Марии Волконской:

> Никто б не мог ее прекрасной
> Назвать: но с головы до ног
> Никто бы в ней найти не мог
> Того, что модой самовластной
> В высоком лондонском кругу
> Зовется *vulgar*[424]… *(VI, 172,* выделено Пушкиным).

Отметим также, что если во второй песни «Онегина» внешний облик Татьяны отчасти угадывался через описание «румяной» Ольги Лариной, то здесь «смутный вид» героини по воле автора являет собою контраст с внешностью сидящей с ней рядом «блестящей» Нины Воронской. У Нины, «Клеопатры Невы», —

«ослепительная», «мраморная краса» (*VI, 172),* она (в беловой рукописи) «стройна, свежа, светла, бела» *(VI, 624),* Татьяна же — явно какая-то иная, *немраморная*[425].

И еще одно «сближение»: Евгений прибыл в столицу *совсем недавно,* «попал, как Чацкий[426], с корабля на бал» *(VI, 171),* а ранее он (опять же подобно Пушкину) долгое время пребывал в «своем селеньи» и «странствовал без цели» (здесь автор романа многозначительно добавил: «Немногих добровольный крест») *(VI, 170, 171).* Есть и маленькая хронологическая подсказка: возвращение Онегина произошло тогда, когда ему было уже больше «двадцати шести годов» *(VI, 170),* то есть герой встретился с Татьяной *после 1825 года*[427].

Итак, Онегин, столкнувшись с княгиней N на «светском рауте» *(VI, 167)* (где ему удалось обменяться с ней лишь несколькими ничего не значащими словами), был взволнован и лишился покоя. Он погружается в мечты, ищет новых встреч, регулярно проезжает мимо окон дома Татьяны; он печалится, бредит наяву, «сохнет, и едва ль уж не чахоткою страдает» *(VI, 179).*

> Сомненья нет: увы! Евгений
> В Татьяну как дитя влюблен;
> В тоске любовных помышлений
> И день и ночь проводит он… *(VI, 178).*

Наконец Онегин не выдерживает этой душевной пытки и устремляется (не получив никакого приглашения!) по знакомому адресу:

> ……Вы заране
> Уж угадали; точно так:
> Примчался к ней, к своей Татьяне
> Мой неисправленный чудак *(VI, 185).*

Происходит все это «ясным утром» *(VI, 185),* что для нас также немаловажно.

Бросается в глаза, что архитектурные особенности дома Татьяны весьма схожи с деталями архитектуры московского дворца, в котором жида княгиня Зинаида Волконская. Автор пишет о поведении Евгения так:

> Ума не внемля строгим пеням,
> К ее крыльцу, стеклянным сеням

Он подъезжает каждый день… *(VI, 178–179)*

Известно, что люди той эпохи легко отличали «подъезд» от «крыльца» и не путались в терминологических тонкостях. «Подъездом» они называли парадный вход в дворянский дом, иногда украшенный колоннами и скульптурами и снабженный стоянкою для прибывающих экипажей. «Крыльцо» же — обыденный, более скромный вход. В особняке княгини Татьяны N такого подъезда, судя по всему, не было. Но отсутствовал подъезд и в реальном казаковском строении на Тверской (как сказано выше, гости княгини Зинаиды въезжали с улицы через арку во двор дома и там тормозили — прямо возле *крыльца)*.

Показательны и «стеклянные сени». Обычный вестибюль дворянского жилища пушкинского времени — помещение темное, без окон. Однако Онегин, отправившись на свидание, попал именно в *стеклянные* сени — точно такие, как и в доме З. А. Волконской.

Есть некоторое совпадение и по части интерьеров. Вошедший в особняк княгини Евгений

> Идет, на мертвеца похожий.
> Нет ни одной души в прихожей.
> Он в залу; дальше… *(VI, 185)*.

Следовательно, комнаты в романном доме располагались анфиладою, что аналогично планировке владений княгини Зинаиды[428].

Особо следует задержаться на стихах из строфы XL. Пройдя по пустому дому, Онегин наконец приблизился к кабинету Татьяны. Он прикасается к дверной ручке — и через мгновение читатель (как будто незаметно крадущийся за героем) знакомится с очень красноречивыми строками:

> Дверь отворил он. Что ж его
> С такою силой поражает?
> Княгиня перед ним, одна,
> Сидит, не убрана, бледна,
> Письмо какое-то читает
> И тихо слезы льет рекой,
> Опершись на руку щекой (*VI, 185)*.

Ю. Н. Тынянов однажды заметил: «Это удивительная черта

Пушкина: он должен скрывать, таить от всех свою любовь, имя женщины, а жажда высказаться, назвать её до такой степени его мучит, что он то и дело проговаривается»[429]. Вот и тут, при медленном чтении строфы XL, сразу же припоминаются некоторые факты, связанные с Марией Волконской.

Татьяна «не убрана, бледна» — а ведь точно так, отнюдь не по-светски, непривычно для тех, кто знаком с прочими (необязательно «парадными») портретами княгини, и выглядела Мария Николаевна в апартаментах на Тверской, в интимной обстановке. Подтверждает это рисунок З. А. Волконской, сделанный итальянским карандашом в дни пребывания жены декабриста в Москве. На небольшом овальном портрете (8×7,8 см) изображена (в профиль) бледная молодая женщина со следами «немых страданий» *(VI, 185)* на лице и с самой незамысловатой прической: ее черные волосы *«не убраны»,* они лишь наспех, по-простонародному, собраны в пучок на затылке. Да и одежда позирующей княгини, судя по всему, по-домашнему скромна. Ясно, что Мария Волконская никуда не собирается выезжать в таком виде и *никого не ждет* к себе. Как указывает современная исследовательница, «художница не только безукоризненно верно уловила сходство: слегка вздернутый кончик носа, „горящие глаза“ и т. п., но и проникновенно передала очарование этого лица, в чертах которого слились воедино женственность и твердость, сдержанность и эмоциональность»[430].

Стих «Письмо какое-то читает» еще более интересен. Некоторые комментаторы романа пришли к выводу, что Татьяна читала послание Онегина («Предвижу всё: вас оскорбит…» и т. д.)[431]. Такая догадка выглядит логичной при анализе *окончательного* варианта главы. Пушкинисты, однако, не учли, что письмо Евгения написано значительно позже основного текста (автор датировал черновик онегинского послания к Татьяне 5 октября 1831 года — *VI, 518).* В беловой же рукописи песни, завершенной 25 сентября 1830 года в Болдине (*VI, 637),* данного письма *еще не было* — но стих «Письмо какое-то читает» *уже присутствовал.* Появление стиха здесь, так сказать, *на пустом месте,* можно попробовать объяснить разве что беглыми пушкинскими упоминаниями о каких-то прошлогодних (безответных) «страстных посланьях» (*VI, 180)* заглавного героя к Татьяне — но эти «посланья» были получены ею настолько давно, что объяснение выглядит малоубедительной, нехарактерной для поэта натяжкой.

В общем, «эпистолярный» стих кажется странным, сюжетно немотивированным, однако, вне всякого сомнения, это не

случайная оговорка «заболтавшегося» автора. Строка, по всей вероятности, мотивирована (как и многие другие романные строки) *самой Жизнью*.

Ведь Мария Волконская, находясь в Москве, неожиданно получила *одно письмо*. Отец, старый генерал Раевский, писал дочери в напутственной записке (на русском языке) от 17 декабря из Милятина:

«Пишу к тебе, милой друг мой, Машинька, наудачу в Москву. Снег идет, путь тебе добрый, благополучный. Молю Бога за тебя, жертву невинную, да укрепит твою душу, да утешит твое сердце!»[432]

Отцовского благословения — не формального (такое сопутствовало сухому расставанию в Петербурге), а настоящего, сердечного — Мария все-таки удостоилась: в последний момент оно догнало и разыскало княгиню.

Заметим, что корреспонденция, пересылаемая при посредничестве почтового ведомства, тогда обычно доставлялась адресатам *по утрам* (уместно вспомнить тут про онегинское «ясное утро»). И сдержать даме («блудной дочери») слезы при чтении приведенного надрывного письма родителя было конечно же мудрено.

Заключительный стих рассматриваемой строфы также таит в себе важный намек. Плачущая княгиня, застигнутая Онегиным врасплох, сидит, «опершись на руку щекой». Ранее, анализируя ночное письмо Татьяны Лариной к Онегину[433], мы уже обращали внимание на необычную позу пишущей девушки и на пушкинские рисунки, где она была запечатлена со склоненной «к плечу головушкой». С той злополучной романной ночи минули годы, очень многое изменилось — но Татьяна, как и в юности, машинально (ее мысли далеко-далеко) располагается за столом все в той же позе. Это — устойчивая *привычка* героини, неподвластная времени «замена счастию» (*VI, 45)*.

Однако аналогичная, достаточно редкостная (особенно для дамы «из общества») *пожизненная* привычка отличала и Марию Волконскую. В доказательство сошлемся, к примеру, на два варианта широко известного портрета княгини работы декабриста Николая Бестужева, созданных в Читинском остроге в 1828 году: на обеих акварелях примостившаяся за небольшим столиком Мария Николаевна опирается склоненной головой на левую руку[434]. Упомянем заодно и о дагеротипе 1845 года: он наглядно демонстрирует, что и в сибирской глуши сорокалетняя княгиня Волконская не изменила своей всегдашней, излюбленной позе[435].

Перечисленные факты и аллюзии убеждают нас в том, что

сильные впечатления Пушкина от двух встреч с Марией Волконской, состоявшихся на исходе декабря 1826 года в Москве, в «волшебном замке» княгини Зинаиды, впоследствии нашли отражение в ряде строф восьмой главы романа в стихах — где, правда, автором разработана более традиционная для литературы, в какой-то степени «идиллическая» (то есть без семейственной катастрофы) версия судьбы Татьяны (она «богата и знатна», княгиню и ее супруга «ласкает двор» и т. д.). Исходя из этого убеждения, автору книги представляется логичным пойти в рискованных догадках еще дальше и предположить, что в описании финального разговора Татьяны с Онегиным также присутствуют элементы «настоящего происшествия», а конкретнее — фрагменты стенограммы беседы княгини Марии Николаевны с поэтом в доме на Тверской.

Той никем (видимо, никем) не замеченной и не подслушанной беседы, что имела место 29 декабря 1826 года, в день отъезда Волконской из Первопрестольной.

Характерно, что исчезли без следа черновики *всех* тех строф романа, где речь идет о посещении Онегиным дома Татьяны. Едва ли такая «аккуратная» лакуна возникла случайно: ведь там, в пушкинском брульоне, могли быть весьма красноречивые, «московские» слова и фразы…

Как сказано выше, княгиня поведала в мемуарах только о преклонении Пушкина перед отбывающими в «добровольное изгнание» женами декабристов, о «Послании в Сибирь» (которое он намеревался переправить узникам с нею) и мечте когда-нибудь посетить Нерчинские рудники. Известно также, что Пушкин волновался за своего лицейского друга Ивана Пущина («Большого Жанно») и коснулся этой темы в беседе с Волконской. О прочих же аспектах разговора с поэтом она умолчала — и неспроста: разговор их был тяжелый и донельзя *личный* — под стать давнишнему, одесскому.

Чего же жаждал Пушкин, нагрянувший поутру в дом на Тверской?

Глубоко заблуждалась княгиня Волконская, если в ходе беседы сгоряча сказала ему нечто вроде следующего:

> «Тогда — не правда ли? — в пустыне,
> Вдали от суетной Молвы,
> Я вам не нравилась… Что ж ныне
> Меня преследуете вы?
> Зачем у вас я на примете?
> ……
> Не потому ль, что мой позор

Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?..» *(VI, 187)*.

Поэт никогда не причислял Марию, «девочку несмелую» *(VI, 177)* и чистую, к *соблазнительным* особам и, входя заново в ее жизнь, конечно же не помышлял об адюльтере и тому подобных амурных банальностях. Он, охваченный после музыкального вечера у княгини Зинаиды «тоской безумных сожалений» *(VI, 185)* [436], хотел совсем иного.

Пушкин, окончательно прозрев за последние дни, надеялся излить душу, покаяться, признать свою страшную одесскую ошибку — и признаться Марии, что *теперь* творится в его сердце. Он не думал вплотную о будущем, не строил никаких конкретных (или фантастических) планов относительно себя и княгини — поэту было не до того. Пушкину надо было просто «преследовать» эту женщину, чтобы сказать уезжающей (возможно, навсегда) Марии Волконской *всё*.

Впереди разлука, долгая или даже вечная, — и поэтому между ними не должно остаться ничего недоговоренного.

И Мария почти сразу же поняла Пушкина:

Ей внятно всё. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней
Теперь опять воскресла в ней *(VI, 186)*.

Тут-то и подстерегала Марию главная опасность. Если «дева» в ней все-таки возьмет верх над «равнодушною княгиней» и заговорит с Пушкиным, а потом (это ведь неизбежно) станет внимать словам поэта — то все кончено. Но есть, есть выход: сейчас должна говорить с объявившимся в комнате господином *только княгиня*, ни в чем не сомневающаяся жена князя (пускай бывшего), а *он* — что ж, он пусть послушает, желательно не перебивая, женские нравоучительные речи. Здесь, на Тверской, они прилежно повторят Одессу, но поменяются при этом ролями. В таком травести ее спасение:

……помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя *(VI, 186)*.

И ее урок был безжалостным, временами — более чем несправедливым. «Неприступная богиня» *(VI, 177),* защищая себя и свое будущее от наступающего прошлого, намеренно (ей показалось: даже с некоторым удовольствием, «злобным весельем» — *VI, 516)* стремилась уязвить собеседника побольнее:

К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам…
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом? *(VI, 187–188).*

Пушкин стоял не шелохнувшись, «как будто громом поражен» (*VI, 189).* Зная о твердости характера Марии, он, идя на это свидание, допускал разные варианты развития событий. Не исключал поэт и того, что его непрошеный, могущий скомпрометировать княгиню, визит вызовет нарекания с ее стороны. Но столь бурной и резкой реакции, такого «крещенского холода» (*VI, 182)* Пушкин предвидеть, конечно, не мог.

Всякая фраза Марии лишь добавляла ему страданий:

…….я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — Боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь… *(VI, 186).*

И нимало не утешило поэта признание княгини, что тогда, в Одессе, он повел себя «благородно» (*VI, 187).* Что в том замшелом благородстве проку, если нынче он, Пушкин, как выясняется, «все ставки жизни проиграл» (*VI, 519)?*

«А счастье было так возможно,
Так близко!..» *(VI, 188)* —

продолжала, не ведая милосердия, добивать Пушкина Волконская.

Однако самый сокрушительный удар поэту княгиня нанесла в конце своего монолога. Было бы вполне резонным, если бы ее суровая отповедь завершилась на взятой изначально ноте — завершилась столь же суровым, властным и сухим указанием на дверь: «Я вас и видеть не хочу!» (*VI, 635)*. Возможно, Пушкин — после всего сказанного Марией — только того и ожидал. А довелось ему на прощанье услышать от женщины совсем другое, никак не прогнозируемое, — то, что запомнилось Пушкину навсегда и от чего он, видимо, так и не смог оправиться:

> «…Я вышла замуж. Вы должны,
> Я вас прошу, меня оставить;
> Я знаю: в вашем сердце есть
> И гордость и прямая честь.
> Я вас люблю (к чему лукавить?),
> Но я другому отдана;
> Я буду век ему верна» (*VI, 188)*.

В конце двадцатых и в тридцатые годы Пушкин не раз возвращался к теме нерушимости брачного, освященного Церковью, союза. Особо выделим его роман «Дубровский» (1832–1833). Героиня данного произведения, Маша Троекурова, была по воле отца сосватана («отдана») за престарелого и малопривлекательного князя Верейского[437]. Страстно влюбленный в Марию Кириловну Владимир Дубровский, бедный дворянин и «благородный разбойник» в одном лице, намеревался спасти девушку, похитить ее из-под венца, но он опоздал — и священник в церкви произнес «невозвратимые слова» *(VIII, 220)*. Маша вышла из храма на паперть княгиней Верейской.

После венчания, на пути к княжескому дому, Дубровский с «мрачными сообщниками» сумел догнать и остановить карету молодых. Казалось, Владимир добился своего: ведь еще совсем недавно Маша говорила ему: «…Явитесь за мною — я буду вашей женою» (*VIII, 212)*. Пощадив сопротивлявшегося Верейского, Дубровский заявил княгине, что с этой минуты Мария Кириловна свободна. И в ответ услышал почти то же, что довелось услышать Онегину (Пушкину): «Нет, — отвечала она. — Поздно — я обвенчана, я жена князя Верейского. — Что вы говорите, — закричал с отчаяния Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться… — Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостию, князь мой муж, прикажите освободить его, и оставьте меня с ним. Я не

обманывала. Я ждала вас до последней минуты… Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас» (*VIII, 221)*.

«Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить…» — «…Князь мой муж, <…> оставьте меня с ним». Две непреклонные героини, две очень схожие речи, за которыми, по всей видимости, — одно подлинное свидание и один прототип…

Она дала клятву перед Богом — и никакому, даже наделенному демонической волей, возлюбленному не под силу эту клятву отменить, повернуть жизнь вспять. Удел остающегося в одиночестве — утешаться тем, что навеки принадлежащая другому несравненная женщина все-таки любит и будет любить его, отверженного, того «печального сумасброда», который однажды, по глупости или по воле рока, сам лишил себя блаженства, «уз счастья» (*VI, 517)*.

«А счастье было так возможно…» — «Но теперь, говорю вам, теперь поздно»…

Вот чем Мария вконец сразила Пушкина в «злую минуту»: она, плача, внезапно призналась поэту в любви — и тут же, не дав собеседнику опомниться, навсегда отвергла его ответный порыв. Подобно легендарной египетской царице, княгиня наказала, фактически *казнила Пушкина своей любовью.* Трудно было придумать казнь более жестокую: отныне ему предстояло жить под мучительным и непреходящим гнетом *разделенного и неслиянного* чувства.

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови… *(VI, 181)*.

Пушкин, сам не свой, выбрался из жуткого дома. Он шел по улице не разбирая дороги, не слыша криков возниц, предостерегавших чудно́го барина с пышными бакенбардами, и в его голове проносились отдельные фразы убийственного монолога Марии.

Эти фразы потом, спустя несколько лет, превратились в поэтические строки, равных которым в русской литературе сыщется немного.

До вечера было еще далеко. На малолюдном бульваре, где разгуливал снежный ветер, Пушкин начал постепенно приходить в себя и даже небрежно ответил на подобострастный поклон какого-то незнакомого типа.

Вдруг его осенило: может быть, поэзия, спасительный «ангел-утешитель», выручит его и сейчас?

Однако спустя несколько часов Мария Волконская лишила Пушкина и этой призрачной надежды.

Оставшись одна, княгиня долго стояла у окна и смотрела на Тверскую.

С утра, не переставая, шел сильный, какого давно уже не было, снег.

Мария Волконская видела, как вышедший из дома Пушкин стремглав пересек, едва не угодив под возок, оживленную улицу и направился к бульвару. Поэт удалялся не оборачиваясь, и вскоре его шинель совсем исчезла из виду — скрылась за белой пеленой.

Эта снежная пелена чем-то походила на опустившийся театральный занавес: заключительное действие ее драмы благополучно завершилось. Держась из последних сил, чуть-чуть фальшивя и едва не сбиваясь на *деву,* Мария только что доиграла намеченную роль *княгини* до конца. Что ж, она по праву может гордиться собою: хваленым петербургским богиням сцены и не снились столь трудные, насыщенные сокровенными коллизиями роли.

Тут ее размышления были ненадолго прерваны: прислуга внесла в комнату переданный княгинею Вяземской подарок — роскошную душегрейку. Как это трогательно со стороны Веры Федоровны: уже сейчас, за неделю до отъезда, выказать заботу и начать собирать подругу в дорогу!

Да, скоро «день кончится для тебя и наступит мрачная ночь без предшественника тихого вечера», как сказала намедни княгиня Зинаида[438]. Сегодня 29-е, среда, еще неделя, всего одна неделя — и Мария отправится отсюда к узникам, к мужу…

Прохаживаясь по комнате с душегрейкой в руках, любуясь подарком, Мария невольно продолжала думать о разговоре с Пушкиным. Как будто все было сделано ею правильно, но все же *что-то* не давало княгине покоя.

И внезапно она поняла, что именно.

Поняв же — остановилась как вкопанная, выронив душегрейку.

Узники… Мария вспомнила недавние слова Пушкина о том, что он, вернувшись домой после музыкального вечера на Тверской, стал, не откладывая, сочинять «Послание к узникам»[439] и хотел передать стихи сосланным через нее, отъезжающую княгиню Волконскую. Поэт был доволен тем, что запас времени у него есть, торопиться не надо и он за оставшиеся дни сможет тщательно отделать столь важное, полное мыслей, послание. Наивной же Марии было лестно осознавать, что ответственная (и,

разумеется, секретная) миссия курьера возлагается на нее. Заранее радовалась княгиня и за каторжников: строки прославленного стихотворца (а для кого-то и друга, почти брата) наверняка добавят несчастным душевных сил.

Только теперь, меряя шагами кабинет, Мария раскусила, в чем состоял пушкинский план. Всё проще простого: автору *предстоит* передать путешественнице завершенный текст послания. А это значит, что в ближайшее время ей суждена *еще одна встреча* с Пушкиным.

Однако нового свидания, очередного *приступа* княгине уже не вынести. Она изнемогла в борьбе с собою и с Пушкиным и не может ручаться за себя. Так что впереди у Марии, похоже, не «возвышенное обречение», не «прекрасные строки нашей истории» (как твердят ее московские знакомые)[440] — но сплошной позор…

Нужно было срочно, прямо сейчас, что-то делать.

За окном по-прежнему кружил и падал пышный, густой снег.

Рухнув в отчаянии в кресло, Мария, в поисках выхода, попыталась сосредоточиться — но тщетно. Вдруг она заметила душегрейку, лежавшую на полу. И надо же: следом, буквально через мгновение, явилось (словно кем-то мудрым и добрым подсказанное) решение — как всегда, бесповоротное.

Она — и откуда взялись силы?! — энергично поднялась и направилась к столику — тому самому, за которым ее, всю в слезах, застал утром поэт. Отодвинула в сторону отцовскую записку — и взяла в руку перо. Спустя минуту письмо к Вере Вяземской было готово:

> «Дорогая княгиня, вот и Ваша душегрейка, принимаю ее с благодарностью. Что скажете Вы о Провидении? Не приют ли это страждущих душ? Не могу Вам передать, с каким чувством признательности я вижу этот снегопад. Помогите мне, ради Бога, уехать сегодня ночью, дорогая и добрая княгиня. Совести покоя нет с тех пор, что я вижу этот благодатный снег.
>
> До свиданья, дорогая, добрая и сочувствующая княгиня.
>
> Пойду подготовить сестру, чтобы она легче перенесла мой отъезд.
>
> *Сердечно преданная Вам Мария Волконская»*[441].

Перечитав и сложив эту записку, княгиня распорядилась отнести ее в Большой Чернышев переулок, в дом Вяземских. Потом она наскоро оделась и отправилась к Екатерине Орловой.

Та пришла в неописуемый ужас, услышав о желании сестры покинуть Москву немедленно. Но зная, что отговаривать Марию бесполезно, Екатерина Николаевна, попричитав, повелела срочно складывать вещи, которые могут понадобиться Волконской в Сибири. «…Она снабдила меня книгами, шерстями для рукоделия и рисунками», — вспоминала Мария Николаевна[442]. Пока шли суматошные сборы, сестры беседовали — и прощальный их разговор вышел скомканным, каким-то напряженным и бессодержательным.

А Вяземские, получив письмо с Тверской, хоть и удивились несказанно, однако не стали терять времени — и быстро сладили дело. Они, люди практичные, даже учли, что из столицы Волконская повезет множество посылок и писем для сосланных — и посему раздобыли для княгини вторую кибитку. Завершив эти неожиданные хлопоты, князь Петр Андреевич оповестил запиской Ф. И. Толстого («Американца»): «Волконская едет сегодня к мужу в Сибирь: мне хочется послать с ней малое пособие Шаховскому…»[443]

К вечеру все было окончательно готово. Две повозки ожидали княгиню у крыльца. Мария, возвратившись от сестры, провела последние московские часы наедине с Зинаидой Волконской. (Та покинула подругу лишь на несколько минут, и причину ее отлучки Мария уяснила много позже, уже будучи в Иркутске. Оказывается, Зинаида Александровна «тихонько велела привязать сзади кибитки», в которой должна была ехать жена декабриста, клавикорды[444].) Говорили Волконские о пустяках и мало — больше просто смотрели друг на друга и ходили от окна к двери и обратно, нервно комкая в руках платки[445].

Порешили трогаться в двенадцатом часу. Чуть раньше этого срока пришла проводить сестру Екатерина Орлова. Она, «видя, что я уезжаю без шубы, — читаем в мемуарах Марии Волконской, — испугалась за меня и, сняв с своих плеч салоп на меху, надела его на меня»[446].

Перед выходом на крыльцо женщины, как повелось, присели. А когда поднялись и двинулись наружу, Мария вспомнила, что так и не попрощалась с Раевскими. Она опрометью, не успев и подумать о дурных приметах, вернулась в «свою» комнату и там, стоя, не снимая теплой накидки, написала несколько строк родным. «Дорогая, обожаемая матушка, — сообщала второпях княгиня, — я отправляюсь сию минуту; ночь — превосходна, дорога — чудесная…» Обратилась чуть ниже и к сестрам: «Сестры мои, мои нежные, хорошие, чудесные и совершенные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой»[447].

Мария повторила вслух заключительные (сказать по правде,

не слишком скромные) слова, и у нее мелькнула мысль, что подобное удовлетворение она недавно уже испытала — более того, даже писала об этом отцу из Петербурга. Ну нет, возразила она себе сразу же, то чувство не идет ни в какое сравнение с нынешним. Ведь там, в Северной столице, она просто-напросто одержала блестящую победу, а сейчас, любя и ускользая под покровом ночи от любимого человека, — обретает гораздо большее: *свободу*.

Свободу, без которой ей не удалось бы исполнить своего *долга*.

Княгиня спустилась вниз и покинула дом. На крыльце, под тусклым фонарем, она троекратно расцеловалась со всеми провожающими и коротко, молча перекрестила их.

Затем подала знак продрогшим ямщикам и не села — впорхнула в кибитку.

И — прости, Москва!..

Мы не знаем, когда Пушкин проведал об отъезде Марии Волконской и что испытал, получив это известие. Из биографических хроник следует: на исходе декабря и в начале 1827 года поэт — не от накатившей ли хандры? — развлекался как мог бесшабашно, чередуя маскарады и «прогульные ночи» с «<…> и пьяницами» *(XIII, 319),* даже не отвечая на письма приятелей. «Послание в Сибирь» он, однако, закончил досрочно и вручил его А. Г. Муравьевой, которая ехала вслед за Марией и миновала Москву 2 января 1827 года[448]. Прощаясь с Александрой Григорьевной, поэт «так сжал ее руку, что она не могла продолжить письмо, которое писала, когда он к ней вошел»[449]. О странном рукопожатии в Большом Спасском переулке — как будто адресованном не одной хрупкой даме, а сразу *двум* изгнанницам — жена декабриста недоуменно рассказывала в Сибири многим.

Спустя несколько дней (вероятно, 13 января) в Большом театре случился любопытный эпизод. В бенефис одной из московских актрис давали романтическую трилогию князя А. А. Шаховского «Керим-Гирей, или Бахчисарайский фонтан», созданную по мотивам пушкинской поэмы. Поэт присутствовал в зале, и когда трагик П. С. Мочалов «начал свой монолог:

> Ее пленительные очи
> Светлее дня, чернее ночи… и проч.,

то Пушкин вскочил с места и сказал чуть не вслух: „Совсем заставил меня забыть, что я в театре“»[450].

Надо ли напоминать читателям, кто описывался в

прозвучавших со сцены стихах?

А 18 января было получено цензурное разрешение на печатание альманаха барона А. А. Дельвига «Северные цветы на 1827 год», куда Пушкин отдал письмо Татьяны. В конце марта послание «Я к вам пишу — чего же боле?..» наконец-то увидело свет[451].

Только теперь, когда Мария Раевская-Волконская *покинула этот мир,* поэт счел допустимым огласить «неполный, слабый перевод» ее «письма любви». Подчеркнем лишний раз синхронность событий: Пушкин сделал это *сразу же* после отъезда княгини.

Выпуская в том же году третью главу «Онегина» отдельной книжкой и упомянув в предисловии о «посторонних обстоятельствах», ранее не позволивших автору печатать роман более исправно, Пушкин заверил публику: «Отныне издание будет следовать в беспрерывном порядке: одна глава тотчас за другой» *(VI, 639).*

Он сдержал слово: последующие главы выходили почти регулярно — и неуклонно приближали читателей к замужеству Татьяны Лариной, превращению ее в княгиню N и роковому объяснению с Онегиным.

«Ну, нет, он Татьяны не стоил», — как-то ответил Пушкин барышням, простодушно мечтавшим о счастливой развязке романа[452].

О возможной погоне мыслей у нее не возникало, но все же береженого Бог бережет: чем быстрее и дальше Мария Волконская отъедет от Москвы — тем меньше возникнет дорожных сомнений в правильности сделанного выбора и тем *недосягаемее* она будет.

Впоследствии княгиня вспоминала: «Я ехала день и ночь, не останавливаясь и не обедая нигде; я просто пила чай там, где находила поставленный самовар; мне подавали в кибитку кусок хлеба, или что попало, или же стакан молока, и этим все ограничивалось»[453].

31 декабря 1826 года путешественница примчалась в Казань. Она решила не давать себе никакой поблажки и не задерживаться в предпраздничном, ярко освещенном городе.

«Я продолжала путь, — писала княгиня в мемуарах, — погода была ужасная; хозяин гостиницы мне сказал, что было бы осторожнее обождать, потому что будет метель.

Я подумала, что не с тем еще мне придется бороться в Сибири, велела опустить рогожу с верха кибитки и поехала. Но я не знала степных метелей: снег скоплялся на полости кибитки, между нами и ямщиком образовалась целая снежная гора. Я

заставила прозвонить свои часы, они пробили полночь — мой Новый год, моя встреча Нового года! Я повернулась к горничной, чтобы пожелать ей хорошего года, не имея никого другого, кого поздравить; но она была так не в духе, я нашла ее выражение лица таким отталкивающим, что обратилась к ямщику: „С Новым годом тебя поздравляю!“

И я мысленно перенеслась к моим родителям, к своей молодости, к детству. Как этот день всегда у нас праздновался, сколько радостей, сколько удовольствий!»[454]

Неприятности новогодней ночи на этом не кончились: «Лошади стали; ямщик объявил, что мы сбились с дороги и что надо выйти и искать убежища. К счастью, неподалеку оказалось зимовье дровосека, мы вошли в него; я велела затопить печь, заварила чай для людей и дождалась утра, чтобы продолжать путь»[455].

Позади всего несколько дней пути — и такая кошмарная перемена: из «замка», где собирался «цвет столицы» и звучала прекрасная музыка, Мария, словно по воле злого волшебника, попала в нетопленую хижину простолюдина. О том, что будет дальше, за Уральским хребтом, думать княгине не хотелось.

Безостановочная езда по еще не укатанному зимнику утомила ее до крайности. К тому же увиденные однажды в лесу каторжники произвели на Волконскую самое «отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой»[456]. Дабы не упасть духом окончательно, княгиня (о, эта âme slave!) решила в дороге петь и читать вслух стихи — и вот среди снегов зазвучала возвышенная поэзия вперемешку с «Idol mio» (из моцартовского «Дон Жуана») и другими любимыми (преимущественно итальянскими) мелодиями. Вероятно, Мария декламировала вконец изумленной горничной и то, что обожала всегда, с ранней юности — пушкинские строки. Такое занятие в какой-то мере приободрило княгиню и сделало ее дальнейшее путешествие не столь мрачным и монотонным. Более того, теперь Мария Николаевна иногда даже испытывала «какой-то восторг»[457].

Еще бы: сейчас она торопится в Сибирь, но пройдет какое-то время, все рано или поздно образуется — и испытанная кибитка полетит обратно, с востока на запад, к дорогому Николино (или, что еще желаннее, за ним). Как-то он там, ее маленький князь?

6 января Мария добралась уже до Перми — и отсюда решила послать весточку княгине Вере Вяземской. Дело в том, что у Волконской внезапно *появился удобный повод для письма в Москву.* Записка (на всякий случай неподписанная) вышла короткой, уместилась на одном листе — но в ней были очень важные для посвященного строки:

«Дорогая княгиня. Вот я и в Перми без приключений, послезавтра в Екатеринбурге, а затем и в дорогой Сибири. Я не очень страдаю от холода; что же до буранов, то я видела только один. Это было чудной лунной ночью; я была очень рада видеть метель; это великолепное зрелище — подымающиеся ввысь огромные горы снега; я не боялась, что меня занесет, потому что уже виднелась почтовая станция.

Простите бессвязность моей записки. Я разбита от усталости. Я не чувствую этого совершенно, пока приближаюсь к цели, но на стоянках я в полном изнеможении, и хочется скорее вернуться в свою кибитку.

Я встретила Пущина, Коновницына и кого-то третьего около Оханска; они едут на Кавказ; передайте это тому, кто интересуется первым из них»[458].

Заключительный абзац письма — несомненно, главный для Марии — был адресован *Пушкину*.

Внешне все выглядело более чем благопристойно: она всего лишь сообщила старинному знакомому (и бывшему лицеисту) важное известие о его друге. Однако не надо забывать о высочайшем мастерстве намека, достигнутом эпистолярной культурой той эпохи. Данной фразой Мария Волконская, возможно, преследовала и другую цель: упомянув о Пущине[459], она тем самым косвенно возвращала Пушкина к их московскому разговору 29 декабря (в ходе которого поэт как раз и заговорил о *Jeannot*). В таком контексте нейтральные с виду слова Марии допустимо трактовать и как скрытое напоминание о свидании вообще и о ключевом моменте ее монолога:

«…Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

Беглянка, отъехав от Москвы на тысячи верст, с безопасного расстояния решилась-таки через посредницу (которая, вероятно, о чем-то смутно догадывалась) обратиться к поэту со «строками приветными», прощальными.

Отправив это анонимное письмо по почте, Мария вновь поспешила в свою кибитку — и двинулась дальше.

Пушкинский «перстень верный» был при ней.

Вскоре дорога постепенно пошла в гору.

Спустя сутки княгиня очутилась уже за Уралом — в «дорогой

Сибири».

Там ей суждено было прожить безвыездно более четверти века.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ В СИБИРИ

Глава 10
ЖЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА

Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, я подчиняюсь им с щепетильной аккуратностью.

М. Н. Волконская — А. Н. Волконской, 12 февраля 1827 года

Разве мог подумать постоянно чем-то увлеченный человек в засаленном парике, великий предок Марии, мечтавший в XVIII веке об освоении россиянами богатств суровой Сибири, что однажды наступит день — и туда, в «мрачный, ледяной ад», устремится не кто-нибудь, а его упрямая правнучка, которая на целую вечность заточит себя среди лесов, снегов и злодеев?

«Мы с трудом можем себе представить, что была Сибирь того времени, — писал в начале минувшего столетия внук Марии Николаевны, князь С. М. Волконский. — Не только Сибирь недавнего прошлого, с железной дорогой, с флотом на дальневосточных водах, с университетом и т. д., но даже Сибирь пятидесятых годов, Сибирь Муравьева-Амурского, с присоединенным Амуром и выходом на Тихий океан, — представляется каким-то иным миром по сравнению с Сибирью двадцатых годов. Как выразился впоследствии канцлер граф Нессельроде, — „дно мешка“; это был конец света, выход оттуда был один — по той же дороге назад. Куда, собственно, ехала княгиня, на что себя обрекала, этого не знал никто, меньше всех она сама»[460].

В ночь на 21 января 1827 года, «сделав весь путь <…> в три недели, только с двумя ночевками, и то невольными»[461], Мария Волконская прибыла в столицу восточно-сибирского края — Иркутск. Она двигалась в своей кибитке по зимним просторам столь быстро, что почти догнала Е. И. Трубецкую (выехавшую к мужу значительно раньше Марии и оказавшуюся в Иркутске еще в конце сентября) и на восемь суток опередила А. Г. Муравьеву (которая оставила Москву через четыре дня после княгини).

«Приехав в Иркутск, главный город Восточной Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописною, реку великолепною, хотя она и была покрыта льдом, — вспоминала наша героиня. — Я пошла прежде всего в первую церковь, которая

мне встретилась, чтобы отслужить благодарственный молебен…»[462]

Княгиня расположилась в квартире, которую в предыдущие месяцы занимала Е. И. Трубецкая («Каташа»), только что, 20-го числа, отправившаяся из Иркутска в Забайкалье. Не успела Мария Николаевна как следует отдохнуть с дороги, как к ней пожаловал с визитом И. Б. Цейдлер, «старый немец», иркутский гражданский губернатор (и заодно большой энтузиаст насаждения в Сибири овцеводства). Он, по распоряжению из Петербурга, собирался «наставлять» княгиню и «уговорить возвратиться в Россию».

Цейдлер уже имел некоторый опыт обращения с женами государственных преступников. Несколько раньше он употребил все доступные ему средства, чтобы воспрепятствовать дальнейшему путешествию княгини Трубецкой (и задержал-таки ее в городе на четыре месяца). Декабрист А. Е. Розен (видимо, со слов самой Екатерины Ивановны) подробно описал тактику иркутского начальника: «Губернатор представил ей сперва затруднения жизни в таком месте, где находится до 5000 каторжных, где ей придется жить в общих казармах с ними, без прислуги, без малейших удобств. Она этим не устрашилась и объявила свою готовность покориться всем лишениям, лишь бы ей быть вместе с мужем. На следующий день те же препятствия со стороны губернатора, который объявил, что имеет приказание взять от нее письменное свидетельство, по коему она добровольно отказывается от всех прав на преимущества дворянства и вместе с тем от всякого имущества — недвижимого и движимого, коим уже владеет и какое могло бы достаться ей в наследство. Ек<атерина> И<вановна> Трубецкая без малейшего возражения подписала эту бумагу, в уверенности, что с этим отречением открыла себе путь к мужу. Не тут-то было: несколько дней сряду губернатор не принимал ее, отговариваясь болезнью. Наконец он решился употребить последнее средство; уговаривал, упрашивал и, увидев все доводы и убеждения отринутыми, объявил, что не может иначе отправить ее к мужу, как пешком с партией ссыльных по канату и по этапам. Она спокойно согласилась на это; тогда губернатор заплакал и сказал: „Вы поедете!“»[463]

Однако слезы администратора, человека пусть незлобного и чувствительного, но подневольного, высыхают быстро и бесследно. С княгиней Волконской Иван Богданович, взяв себя в руки, действовал столь же бездушно и по-немецки педантично. Краткий диалог между Цейдлером и Марией Николаевной зафиксирован в ее мемуарах: «Губернатор, видя мою решимость ехать, сказал мне: „Подумайте же, какие условия вы должны

будете подписать“. — „Я их подпишу, не читая“. — „Я должен велеть обыскать все ваши вещи, вам запрещено иметь малейшие ценности“. С этими словами он ушел…»[464]

На смену губернатору в квартиру вскоре явилась «целая ватага» мелких служащих, составивших тщательную опись вещам, которые были в багаже княгини. Завершив эту работу, они предложили даме поставить свою подпись под «условиями» — о них-то недавно и говорил ей Цейдлер. Мария Николаевна, не раздумывая, дала требуемую подписку. В бумаге (копия которой сохранилась в семейном архиве Волконских) были пункты, пугающие своей безысходностью:

> «1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить всё, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.
>
> 2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне.
>
> 3. Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.
>
> 4. Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших»[465].

Приведенный документ являл собою краткую выжимку из секретного предписания, разработанного генерал-губернатором Восточной Сибири А. С. Лавинским[466]. Княгиня Волконская не ведала, что в полном тексте этого предписания (занимавшем несколько страниц) было самым тщательным образом прописано, на какие ухищрения, обманы и угрозы должен идти иркутский губернатор, чтобы не допустить отбытия жен декабристов в Нерчинск. А далее, после перечисления «всех возможных внушений и убеждений», в той бумаге значилось: «По исполнении

сего с надлежащей точностью, если и затем окажутся в числе сих жен некоторые непреклонные в своих намерениях, в таком разе, не препятствуя им в выезде из Иркутска в Нерчинский край, переменить совершенно ваше с ними обращение, принять в отношении к ним, как к женам ссыльно-каторжных, тон начальника губернии, соблюдающего строго свои обязанности, и исполнить на самом деле то, что сперва сказано будет в предостережение и вразумление…»[467]

Позже Мария Волконская сообщила свекрови А. Н. Волконской: «Г. иркутский губернатор встретил с моей стороны полную готовность на все условия, которые были мне поставлены, как выкуп за просимую мною милость. Его долгие и горячие увещания остались безуспешными…»[468] О «долгом» сопротивлении Цейдлера было сказано неслучайно: княгине для выезда из Иркутска требовалась подорожная — а чиновник, прибегнув к апробированным «проделкам» (А. Е. Розен), снова тянул с выдачей такой бумаги как мог. «Губернатор, после данной мною подписки, не удостоивал меня своим посещением, — сокрушалась Мария Николаевна, — приходилось мне ожидать в его передней»[469].

В итоге княгиня Волконская против своей воли задержалась в Иркутске более чем на неделю и успела свидеться тут с ехавшей за ней следом А. Г. Муравьевой. Встреча изгнанниц произошла 28 января: «Мы напились чаю, то смеясь, то плача; был повод к тому и другому: нас окружали те же вызывавшие смех чиновники, вернувшиеся для осмотра ее вещей»[470].

В научной литературе существует довольно правдоподобная версия, будто Александра Муравьева (которой было не по дороге с Марией: она направлялась в Читинский острог) передала Волконской в ходе иркутской беседы копию пушкинского стихотворения «Во глубине сибирских руд…» и (возможно) послания к И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»)[471]. Если это и в самом деле было так, то можно сказать, что вся дорога княгини Волконской в Сибирь — и до, и за Уралом — прошла под знаком Пушкина.

В тот же день, 28 января, Цейдлер наконец смягчился и распорядился выдать Марии Волконской подорожную. Правда, документ выписали в правлении унизительный — на имя сопровождавшего странницу казака; «мое же имя, — рассказывала впоследствии не без горечи княгиня, — заменялось словами: „с будущим“»[472].

На другое утро, написав еще затемно бодрое письмо отцу[473], Мария покинула черствый Иркутск. Следующей ночью («при жесточайшем морозе: слеза замерзала в глазу, дыхание, казалось,

леденело») она переехала Байкал и взяла курс на Верхнеудинск. Оттуда княгиня двинулась в Кяхту, «наш пограничный город», где переночевала, оставила сослужившие верную службу кибитки и взяла взамен них две перекладные (то есть телеги): «Мысль ехать на перекладных меня очень забавляла, но моя радость прошла, когда я почувствовала, что меня трясет до боли в груди; я приказывала останавливаться, чтобы передохнуть свободно. Это удовольствие я испытывала на протяжении 600 верст; при всем этом я голодала: меня не предупредили, что я ничего не найду на станциях, а они содержались бурятами, питавшимися только сырой, сушеной или соленой говядиной и кирпичным чаем с топленым жиром»[474].

Только 8 февраля Мария Волконская прибыла в Большой Нерчинский завод, где находилась «резиденция» начальника Нерчинских заводов Т. С. Бурнашева. Здесь княгиня наконец-то настигла Е. И. Трубецкую: «Свидание было для нас большой радостью; я была счастлива иметь подругу, с которой могла делиться мыслями; мы друг друга поддерживали; до сих пор моим исключительным обществом была моя отталкивающая от себя горничная»[475].

Прежде всего Каташа сообщила, что их мужья и другие несчастные (всего их восемь человек) находятся рядом, в 12 верстах отсюда, в каком-то неведомом Благодатском руднике. Рассказала она, среди прочего, и об очередной подписке, взятой с нее начальством по приезде в Нерчинский завод. Две женщины сразу договорились, что Трубецкая не будет дожидаться подругу (которой, увы, еще предстоит выполнить «различные несносные формальности»), а поспешит вперед, к своему мужу — а заодно известит о приезде жены и тоскующего Сергея Волконского. На том княгини и расстались.

Каташа отправилась в близлежащий Благодатск, а Волконская — прямиком в контору завода.

До ее мужа — вроде бы рукой подать, однако «формальности», о которых с печальной усмешкой предупреждала поднаторевшая в таких делах Екатерина Ивановна, вынудили Марию пробыть в Нерчинском заводе еще целых двое суток. Ох уж эти жуткие повытчики! Апофеозом же изматывающей бюрократической волокиты стала подписка, данная княгиней по настоянию Бурнашева 10 февраля. Пространный документ, регламентирующий всякий будущий шаг жены декабриста, стоит привести целиком:

> «Я, нижеподписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь мужа моего, Верховным Уголовным

Судом осужденного, и жить в том заводском, рудничном или другом каком селении, где он содержаться будет, если то дозволится от Коменданта Нерчинских рудников, господина Генерал-Майора и Кавалера Лепарского, обязуюсь, по моей чистой совести, наблюсти нижеписанные, предложенные мне им, г. Комендантом, статьи; в противном же случае и за малейшее отступление от постановленных на то правил, подвергаю я себя осуждению по законам. Статьи сии и обязанности есть следующие:

1-е, желая разделить (как выше изъяснено) участь моего мужа и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна я отнюдь искать свидания с ним никакими происками и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то от г. Коменданта дозволению, и токмо в назначенные для того дни и не чаще, как через два дня на третий.

2-е, не должна я доставлять ему (мужу) никаких вещей: денег, бумаги, чернил, карандашей, без ведома г. Коменданта или офицера, под присмотром коего находиться будет муж мой.

3-е, равным образом не должна я принимать и от него никаких вещей, особливо же писем, записок и никаких бумаг для отсылки их к тем лицам, кому они будут адресованы или посылаемы.

4-е, не должна и я ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было моих писем, записок и других бумаг иначе, как токмо чрез Коменданта, равно, если отколь мне или мужу моему, чрез родных или посторонних людей, будут присланы письма и прочее, изъясненное в сем и 3-м пункте, должна я их ему же г. Коменданту при получении объявлять, если оные не чрез него будут мне доставляемы.

5-е, то же самое обещаюсь наблюсти и касательно присылки мне и мужу моему вещей, какие бы они ни были равно и денег.

6-е, из числа вещей моих, при мне находящихся и которых регистр имеется у г. Коменданта, я не вправе, без ведома его, продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же моим собственным, оставленным для нужд моих теперь, равно и впредь от г. Коменданта мне доставляемым, я обязуюсь вести приходо-расходную книгу и в оную записывать все свои

издержки, сохраняя между тем сию книгу в целости; в случае же востребования ее г. Комендантом, оную ему немедленно представлять. Если же окажутся у меня вещи или деньги сверх значущихся у г. Коменданта по регистру, которые были мною скрыты, в таком случае, как за противоучиненный поступок, подвергаюсь я законному суждению.

7-е, также не должна я никогда мужу моему присылать никаких хмельных напитков, как-то: водки, вина, пива, меду, кроме съестных припасов, да и сии доставлять ему чрез старшего караульного унтер-офицера, а не чрез людей моих, коим воспрещено личное свидание с мужем моим.

8-е, обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе, как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера, и не говорить с ним ничего излишнего, паче чего-либо не принадлежащего; вообще иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке.

9-е, не должна я к себе нанимать никаких иных слуг или работников, а довольствоваться только прислугами, предоставленными мне: одним мужчиною и одною женщиною, за которых также ответствую, что они не будут иметь никакого сношения с моим мужем, и вообще за их поведение.

10-е, наконец, давши такое обязательство, не должна я сама никуда отлучаться от места того, где пребывание мое будет назначено, равно и посылать куда-либо слуг моих по произволу моему без ведома г. Коменданта или, в случае отбытия его, без ведома старшего офицера.

В выполнении всего вышеизъясненного в точности, под сим подписуюсь, в Нерчинском заводе февраля 1827 года.

Подпись»[476].

Если недавняя иркутская бумага Цейдлера устанавливала юридический статус княгини Волконской в самой общей, декларативной форме, то эта, нерчинская, как бы дополняла, расшифровывала первую и регламентировала — очень подробно, вплоть до немыслимых мелочей — бытовое поведение жены декабриста в соответствии с ее теперешним положением. Главным вершителем судьбы княгини и ее товарок отныне становился вновь назначенный комендант Нерчинских рудников — генерал-майор Станислав Романович Лепарский. Только от

него, всевластного хозяина «каторжных нор», впредь зависело, казнить или миловать бывших изящных светских дам. А Марии Волконской, представительнице почтенного дворянского рода, титулованной, но по существу бесправной особе, оставалось только подавить обиду и смириться: с некоторых пор она была всего-навсего женой государственного преступника.

И вот теперь, в нерчинской избе, Мария наконец, вслед за осужденным почти год назад в Петербурге супругом, сполна узнала *свой* приговор.

Быстро проведали о суровых правилах, выработанных властями для хрупких изгнанниц, и некоторые декабристы. Так, в феврале М. А. Фонвизин в нелегальном письме из-под Иркутска оповестил жену: «Трубецкая, Волконская и Муравьева поехали за Байкал — их заставили подписать отречение от звания их, и я опасаюсь, что их положение будет тягостно»[477]. А И. И. Пущин писал своему отцу следующее: «…Ужасно то, что сделали с нашими женами, как теперь уже достоверно мы знаем (желал бы, чтобы это была неправда!). Им позволено и законами, и природными всеми правами быть вместе с мужьями. После приговора им царь позволил ехать в Иркутск, их остановили и потом потребовали необходимым условием быть с мужьями — отречение от дворянства, что, конечно, не остановило сих несчастных женщин; теперь держат их розно с мужьями и позволяют видеться только два раза в неделю на несколько часов, и то при офицере. Признаюсь, что я не беру на себя говорить об этом, а еще более судить; будет, что Богу угодно»[478].

Мария Николаевна не могла, конечно, тогда догадываться, что генерал-майор Лепарский, «пожилой холостяк, коренной кавалерист, командовавший с лишком двадцать лет Северским конно-егерским полком», был «вполне честным человеком» с «добрым сердцем»[479]. По преданию, он при назначении на должность получил от самого императора Николая Павловича повеление относиться к осужденным бунтовщикам строго, соблюдая законы, но в то же время участливо. И скорое будущее показало, что в лице нерчинского коменданта жены декабристов (да и сами каторжане) получили не жестокого притеснителя, не твердолобого служаку, а надзирателя вполне сносного, который выполнял возложенные на него служебные обязанности с изрядной долей сострадания к беднягам.

Итак, Мария Волконская подписала казавшийся ей зловещим документ и, удрученная его содержанием, молча протянула бумагу заводскому начальнику, сидевшему напротив. «Бурнашев, — читаем в ее мемуарах, — пораженный моим оцепенением, предложил мне ехать в Благодатск на другой же

день, рано утром, что я и сделала; он следовал за мною в своих санях»[480].

Наступило 11 февраля 1827 года.

В Благодатский рудник они, подгоняемые ветром, добрались к полудню. «Это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее изрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду. Местоположение было бы красиво, если б не вырубили, на 50 верст кругом, лесов из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались; даже кустарники были вырублены; зимою вид был унылый»[481]. К тому же, как вскоре выяснилось, данная местность считалась «летом очень нездоровой; сильный зной вызывает страшные эпидемии, а необыкновенная сырость рудников крайне вредно отзывается на здоровье» каторжников[482].

А 12-го числа Мария Волконская сообщила свекрови: «Я наконец водворена в той самой деревне, где мой обожаемый Сергей…»[483]

В тот же день проехавшая многие тысячи верст княгиня встретилась с мужем.

Государственный преступник I разряда Сергей Волконский и семеро его товарищей по заговору (С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, А. З. Муравьев, В. Л. Давыдов, А. И. Якубович и братья А. И. и П. И. Борисовы) были доставлены в Благодатск 25 октября 1826 года и водворены там в тюрьму, которая «находилась у подножья высокой горы; это была прежняя казарма, тесная, грязная, отвратительная. Трое солдат и унтер-офицер содержали внутренний караул; они никогда не сменялись. Впоследствии поставили двенадцать казаков при унтер-офицере для наружного караула. Тюрьма состояла из двух комнат, разделенных большими, холодными сенями. Одна из них была занята беглыми каторжными; вновь пойманные, они содержались в кандалах. Другая комната была предназначена <…> государственным преступникам; входная ее часть занята была солдатами и унтер-офицером, курившими отвратительный табак и нимало не заботившимися о чистоте помещения. Вдоль стен комнаты находились сделанные из досок некоторого рода конуры, или клетки, назначенные для заключенных; надо было подняться на две ступени, чтобы войти в них. <…> Таким образом, эти отделения являлись маленькими тюрьмами в стенах самой тюрьмы»[484].

В одной из «клеток», или чуланов, имевшей «три аршина с небольшим длины» и четыре ширины, и был помещен

Волконский. Его соседями по чулану стали Евгений Оболенский и Сергей Трубецкой.

Губернатор И. Б. Цейдлер распорядился, «чтобы сии преступники были употребляемы, как следует, в работу, и поступлено было с ними во всех отношениях по установленному для каторжных положению, чтобы был назначен для неослабного за ними смотрения надежный чиновник и чтобы о состоянии их ежемесячно доносилось в собственные руки Его Величества через Главный Штаб». При этом он потребовал, чтобы рудник для работы декабристов был «избран в стороне от больших дорог и не близко к границе Китайской, чтобы содержание их было обеспечено, дабы не допускать их до свободы, которую каторжные по окончании работ имеют для снискания себе вольными работами средств к содержанию подкрепления»[485].

В ноябре 1826 года губернатор дал новое указание: употреблять данных преступников «в работу одну смену в сутки, посылать их без изнурения и с обыкновенными льготными днями, но надзор за ними усугубить»[486]. Согласно распоряжению по Нерчинскому заводу, декабристы стали трудиться в подземных шахтах с пяти до одиннадцати часов утра. При этом для них была установлена облегченная норма выработки руды — по три пуда на каждого. Но и таких результатов закованным в ножные кандалы (весом в 5 фунтов) дворянам достичь удавалось редко.

«Вели <они> себя добропорядочно, при производстве работ были прилежны и ничего противного не говорили, к поставленным над ними смотрителям были послушны, характер показывали скромный, в квартирах своих никаких в чем-либо ропотных слов не говорили, кроме слов чувствительных, раскаяние в своих преступлениях изъявляющих»[487] — так тогда аттестовались декабристы в ежедневных заводских «Списках о поведении, занятиях и здоровье государственных преступников».

Однако настроение многих было подавленное. «Здесь находят нужным содержать нас еще строжее, нежели мы содержались в крепости, — сообщал с оказией С. П. Трубецкой жене 29 октября 1826 года, — не только отняли у нас всё острое до иголки, также бумагу, перья, чернилы, карандаши но даже и все книги и самое Священное Писание и Евангелие. Должен ли я причислить сие к новому наказанию, наложенному на меня, или только к мерам осторожности или испытания, мне не известно»[488].

К тому же декабристы были лишены возможности вести активную переписку с родными и близкими, оставшимися в России. По этому поводу в инструкции императора, данной отбывающему в Сибирь генерал-майору Лепарскому, в частности, говорилось: «Преступникам, осужденным в каторжную работу,

воспрещается вовсе писать и посылать от себя письма кому бы то ни было. Женам же их позволено посылать от себя письма к родственникам их и к другим лицам, но таковые письма должны они доставлять открытые г. коменданту, который обязан препровождать их к гражданскому губернатору для дальнейшего отправления. Письма простые, а также с деньгами и посылками, ежели следовать будут из России на имя осужденных в каторжную работу и их жен, то по доставлении их к гражданскому губернатору, который имеет право раскрывать их, и те, в коих не найдет ничего противного, доставлять к ним по адресам, открытые через коменданта, отсылая к нему также деньги и посылки»[489].

Правда, иногда декабристы пытались, как выразился И. Б. Цейдлер, «иметь сообщение посторонними путями»[490], то есть отсылать письма тайно, через тех или иных случайных проезжающих (или отъезжающих) «комиссионеров», однако большинство таких посланий так и не дошло до адресатов.

А жен, могущих наладить прочные, дозволенные правительством эпистолярные связи, рядом с преступниками пока не было…

Сергей Волконский находился на рубеже 1826 и 1827 годов в крайне тяжелом положении. Прочие декабристы, которым тоже было несладко, с опаской поглядывали на бывшего князя и замечали «жестокою грусть товарища»[491]. В письмах к жене, тайком отправленных из Благодатского рудника в ноябре 1826 года[492], он никак не скрывал того, что пал духом окончательно, и выглядел попросту жалко. Вдобавок ко всему состояние здоровья Сергея Григорьевича, и без того не ахти какого крепкого, к концу года резко ухудшилось — и окружающим порою думалось, что забайкальской зимы генерал может не пережить.

Приезд Марии, без преувеличения, спас Волконского.

Некрасов в своей поэме «Княгиня М. Н. Волконская» красочно поведал о том, как Мария Николаевна в Благодатске бесстрашно спустилась в горную шахту и там встретилась с супругом:

…В какой-то подвал я вступила
И долго спускались всё ниже; потом
Пошла я глухим коридором,
Уступами шел он; темно было в нем
И душно; где плесень узором
Лежала; где тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорох: земля иногда
Комками со стен упадала;

Я видела страшные ямы в стенах;
Казалось, такие ж дороги
От них начинались. Забыла я страх,
Проворно несли меня ноги!..

Поэт, завершив работу над произведением, горячо уговаривал сына Марии Николаевны, князя М. С. Волконского, не вычеркивать сцены *подземного* свидания декабриста с женой («… Эта встреча у меня так красиво выходит»[493]) — и тот согласился. Так история революционного движения и культура обрели еще один миф, который до сих пор активно эксплуатируется и воспринимается публикой как подлинный исторический факт.

На самом же деле 12 февраля 1827 года события развивались по-другому. Мария увиделась с мужем не в «шахте, похожей на ад», а в помещении благодатской тюрьмы. Через много лет княгиня вспоминала о моменте встречи так:

> «Бурнашев предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцанье его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого. Бурнашев, стоявший на пороге, не имея возможности войти по недостатку места, был поражен изъявлением моего уважения и восторга к мужу <…>. Я старалась казаться веселой. Зная, что мой дядя Давыдов находится за перегородкой, я возвысила голос, чтобы он мог меня слышать, и сообщила известия о его жене и детях»[494].

На рассуждения по поводу «кандального» эпизода было изведено целое море чернил, однако декабристоведы так и не захотели отметить, пожалуй, самое в нем существенное, «человеческое».

Сцена тюремного свидания Марии и Сергея Григорьевича получилась не только эффектной и волнительной, но и глубоко откровенной, символичной в психологическом плане. Ведь навстречу обретаемым после разлуки и испытаний *любимым* сами собой раскрываются объятия, железа любимых изначально попросту не замечаются (они как будто спадают), исчезают прочие вещи и условности мира — а вот тут, в Благодатске,

произошло *иначе*.

А именно: Волконский сразу «бросился» к жене — но действовавшая по наитию княгиня поцеловала *сперва оковы* мужа и только потом, словно вспомнив о заведенном супружеском ритуале, приветствовала их носителя. Ее импульсивный (поразивший своей «неправильностью» даже тюремщика, «истого заплечного мастера») поступок был вполне, что называется, знаковым: Мария, машинально избрав подобную последовательность поцелуев (то есть иерархию знаков), фактически с порога (и, повторим, непреднамеренно), на языке поведенческих жестов, призналась, что ехала и приехала к мужу *страждущему* (а не — «дистанция огромного размера» — к страждущему *мужу)*.

В этом пункте, кстати говоря, сибирская миссия Волконской кардинально отличалась от миссии Каташи Трубецкой.

Распрощавшись с мужем, Мария отправилась к подруге: «По окончании свидания я пошла устроиться в крестьянской избе, где поместилась Каташа; она была до того тесна, что когда я ложилась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда»[495].

Здесь, в избе, она почти сразу же сочинила письмо свекрови, княгине А. Н. Волконской:

> «…Прежде всего, не могу передать вам, как худ и как болезненно выглядит мой бедный муж. Его здоровье меня беспокоит, ему нужны все мои заботы, а я не могу отдать их ему. Нет, я не оставлю его, пока его участь не будет значительно облегчена, я не дам моему сыну повода раскаиваться, не вернусь к нему иначе, как с душою совершенно спокойной, хотя бы мне пришлось прождать все четырнадцать лет[496]. Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, — я подчиняюсь им с щепетильной аккуратностью. Я не буду делать никаких попыток видеть моего мужа вне положенных дней. Я должна быть благодарна и за то немногое, что мне позволяют делать для исполнения моей жизненной задачи. Да, милая матушка, чем несчастнее мой муж, тем более он может рассчитывать на мою привязанность и стойкость»[497].

Уже в этом, первом, письме Марии с благодатской каторги, среди вполне искренних фраз об «утешении <…> делить участь Сергея» и т. п., есть потенциально тревожные для Волконского (и

прочих Волконских) слова. В феврале 1827 года будущее еще не представлялось нашей героине безальтернативным. Нетрудно заметить (и «милая матушка», знакомясь с письмом, наверняка насторожилась), что свою «жизненную задачу» княгиня изначально поставила в прямую зависимость от условий каторжного существования супруга. Пока бытовое положение Волконского ужасно, пока он хвор и раздавлен, Мария обязана быть с ним *рядом,* выказывать «привязанность и стойкость», всячески заботиться о муже. Однако не иссякла надежда: рано или поздно участь декабриста «будет значительно облегчена», он, дай-то Бог, поправится и окрепнет духом — и тогда (но только тогда) Мария будет вправе *покинуть* мужа и вернуться, как и планировала, к сыну.

Удаление от супруга для нее *в принципе* все же возможно, если мотивы этого удаления этически корректны. В последующие сибирские годы, как мы увидим, Мария Николаевна не раз руководствовалась на практике именно такими соображениями.

Минули сутки после встречи с Сергеем Волконским. Она решила посмотреть на «место, где работает муж», — и действительно оказалась в подземелье:

> «Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудник; я спросила, можно ли их видеть на работе; этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто в роде факела, и я, в сопровождении другого, старшего, решилась спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но спертый воздух давил грудь; я шла быстро и услышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который не хотел мне позволить говорить с ссыльными. Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они спустили мне лестницу, я взлезла по ней, ее втащили — и, таким образом, я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия из России и передать привезенные мною письма[498]. <…> С тех пор было строго запрещено впускать нас в шахты. Артамон Муравьев назвал эту сцену моим „сошествием в ад“»[499].

Так началась оседлая сибирская жизнь жены государственного преступника Марии Волконской.

Она не имела обыкновения жаловаться, и все же однажды (в

письме к свекрови) у княгини вырвалось похожее на стон признание: «Милая матушка, какое мужество надо иметь, чтобы жить в этой стране! счастье для вас, что нам запрещено писать вам об этом открыто»[500].

Повезло, что рядом, в той же кренящейся набок и врастающей в землю, в два окна, избе, ютилась ее наперсница — Каташа Трубецкая. Вдвоем княгиням было чуть легче переносить выпавшие на их долю испытания. «Положение их было страшное <…> — вспоминал А. Е. Розен. — Собственные их переписки при расстоянии 7000 верст шли медленно; родственники сначала не знали, куда обратиться для высылки денег — к дежурному генералу Потапову или к А. Х. Бенкендорфу, оттого в первое время терпели недостаток и подверглись многим лишениям не только от местной скудости, но и от недостатка в деньгах; довольно сказать, что они терпели зимою 1826 года и от холода и от голода. Странным показалось бы, если бы я вздумал подробно описать, как они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом, когда страдания их были гораздо важнее и другого рода, когда видели мужей своих за работою в подземелье, под властью грубого и дерзкого начальства»[501].

Немудрено, что в тогдашних письмах в Россию княгиня не раз высказывала различные пожелания. То она нуждалась в «роговых вилках, а также и ложках», то умоляла прислать «банки и *искусственные* пиявки», то еще что-нибудь в этаком духе. Однажды она даже обратилась к свекрови с просьбой снабдить ее «английским портером», так как здоровье мужа требовало «укрепляющих средств»[502].

Портер был для Марии в Благодатске много важнее, нежели, допустим, шедшая где-то война русских с настырными персами.

В ее мемуарах более чем скромное житье-бытье подруг в первую забайкальскую зиму описано следующим образом: «…У нас не хватало денег; я привезла с собою всего 700 рублей ассигнациями; остальные же деньги находились в руках губернатора. У Каташи не оставалось больше ничего. Мы ограничили свою пищу: суп и каша, вот наш обыденный стол; ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом. За таким ужином застал ее один из сторожей тюрьмы и передал об этом ее мужу. Мы имели обыкновение посылать обед нашим; надо было чинить их белье. Как сейчас вижу перед собой Каташу с поваренной книгой в руках, готовящую для них кушанья и подливы. Как только они узнали о нашем стесненном положении, они отказались от нашего обеда; тюремные солдаты, все добрые люди, стали на них готовить. Это было весьма кстати, так как наши

девушки стали очень упрямиться, не хотели нам ни в чем помогать и начали себя дурно вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками. Начальство вмешалось и потребовало их удаления»[503].

То же бдительное начальство зафиксировало в заводских ведомостях, что с приездом на рудник жен «Сергей Трубецкой и Сергей Волконский сделались примерно веселы»[504].

Более полугода довелось прожить двум княгиням в Благодатске. Круг их здешних забот был весьма обширен. Благодаря приехавшим женщинам наладилась переписка декабристов с их родственниками. «Не имея разрешения писать, они были лишены известий о своих, а равно и всякой денежной помощи, — вспоминала Мария Волконская. — Мы за них писали, и с той поры они стали получать письма и посылки»[505].

Е. П. Оболенский спустя три десятилетия отозвался о Трубецкой и Волконской так: «Прибытие этих двух высоких женщин, русских по сердцу, высоких по характеру, благодетельно подействовало на нас всех, с их прибытием у нас составилась семья»[506].

Как могли помогали они и другим благодатским заключенным — уголовникам. Так, однажды Мария купила холста и заказала изготовить белье для каторжников из простонародья — за что получила порицание от Бурнашева. Зато дамская благотворительность была высоко оценена лицами «подлого сословия». «Нас узнавали издали и подходили к нам с почтением», — сообщала Волконская[507].

В мемуарах она поместила и романтическую, слегка идеализированную историю о «известном разбойнике Орлове, своего рода герое»: «Он никогда не нападал на людей бедных, а только на купцов и в особенности на чиновников; он даже доставил себе удовольствие некоторых из них высечь»[508]. Княгиня восхищалась пением этого арестанта, доносившимся из-за стен тюрьмы, материально поддерживала его, а когда Орлов исхитрился бежать из-под стражи, то фактически превратилась в сообщницу беглеца и передала преступнику через его товарища деньги. Позднее, в ходе следствия по делу о побеге, никто из каторжан так и не выдал Волконскую начальству. «Сколько чувства благодарности и преданности в этих людях, которых мне представляли как извергов!»[509] — умилялась Мария Николаевна.

Привычка, как известно, услаждает горе. Так было и здесь, на сибирском руднике. «…С течением времени я привыкла к климату, к образу жизни и даже к людям, окружающим меня», — признавалась княгиня[510]. «Жизнь и опыт убедили М<арию> Н<иколаевну>, — добавляет ее биограф О. И. Попова, — что от

жизни можно и даже должно брать не только то, что она дает, но стараться взять от нее и то, в чем она ей отказывает»[511].

Дважды в неделю, чаще всего по утрам, Мария отправлялась в тюрьму на свидание с мужем (в эти дни Волконский в работу обычно не посылался), остальные дни проходили преимущественно в хозяйственных хлопотах. В часы отдыха княгиня нередко музицировала (всегда с благодарностью вспоминая при этом З. А. Волконскую), читала или же просто садилась «на камне против окна тюрьмы»: «Я оттуда разговаривала с мужем и довольно громко, так как расстояние было значительное»[512].

Другим занятием, которое кое-как развлекало Волконскую, стали «большие прогулки» верхом, на «казачьей лошади» (в диковинном для тех мест дамском седле): «…Я доставляла себе удовольствие въезжать в Китай, от границы которого мы находились, по прямому пути, только в 12 верстах»[513]. Иногда, для разнообразия, Мария совершала с Каташей Трубецкой и долгие пешие путешествия по окрестностям рудника.

Храма в Благодатске не было, и в дни Великого поста княгини получили разрешение съездить на четыре дня в Большой Нерчинский завод, «чтобы там говеть». Пасхальную же неделю они провели в своей деревне, и провели «грустно»: «… Единственным нашим развлечением было сидеть на камне против тюрьмы. Я также играла с деревенскими детьми, рассказывала им Священную историю; они меня слушали с восторгом»[514].

Сохранилось 17 писем, отосланных женой декабриста в феврале — сентябре 1827 года из Благодатского рудника в Петербург А. Н. и С. Г. Волконским. Надо учитывать, что в посланиях, адресованных свекрови и золовке, далеко не самым близким людям, княгиня соблюдала определенный эпистолярный этикет и, держа себя в строгих рамках родственной корректности, не всегда бывала предельно откровенна. Несмотря на это, три важнейшие проблемы, постоянно волновавшие ее душу и разум, все же изложены в письмах Марии довольно отчетливо и правдиво[515].

Прежде всего она, любящая мать, безмерно тосковала по сыну и ежечасно «предавалась страхам» за оставленное в России «дорогое дитя» — «бедного Николиньку». Княгиня просила родню «писать о нем как можно чаще». Марию пугали нескончаемые болезни ребенка и «перемена кормилицы», зато она радовалась, узнавая, «как он развивается умственно». «Всем сердцем благословляю моего бедного Николиньку. Я никогда не позволяю себе ни вздоха, ни сожаления о нем, и если порою они вырываются у меня, то поистине — невольно», — признавалась

княгиня в одном из весенних писем. «Любите Николиньку, как вы любите Сергея, — вот всё, чего я прошу у вас», — буквально заклинала она свекровь в другом послании.

Мария неоднократно напоминала Волконским, что те должны выполнить ранее достигнутые договоренности и отдать маленького князя в семью Раевских, старому генералу. Едва ли матери декабриста нравились такие, к примеру, строки снохи: «… Я хочу, чтобы мой сын вернулся в мою семью. К тому же петербургский климат ему очень вреден; никогда не забуду, что я вынесла там, когда мой бедный ребенок заболел крупом».

Через три с половиной месяца, в письме от 28 мая, Мария, вновь противопоставляя «свою семью» семейству Волконских, была еще категоричнее: «Мой долг — доставить им (Раевским. — *М. Ф.)* все утешения, какие в моей власти, и потому я страстно хочу, чтобы мой сын вернулся к ним на будущую зиму, для того чтобы его присутствие заменило им дочь, которой они во мне лишились. Это желание я не раз пыталась высказать вам еще в Петербурге, во время прощанья с сестрой Репниной. Я заявила ей, что не рассчитываю вернуться скоро и что желаю, чтобы Николинька вернулся в мою семью для утешения моих родных в разлуке со мною».

Однако все уговоры Марии Николаевны в итоге оказались тщетными: Волконские так и не сдержали слово и не передали мальчика в семейство генерала Раевского.

Конечно, посылаемые из Благодатска в Петербург письма были переполнены сведениями о Сергее Волконском. Тут для Марии он чаще всего — «бедный Сергей», «бедный друг», «бедный муж». Пошатнувшееся здоровье супруга — главная тема ее сообщений. Вот только некоторые из них:

«Его нервы последнее время совершенно расстроены, и улучшение, которому я так радовалась в моих последних письмах, было лишь кратковременным, потому что его грудные боли возобновились еще с большей силой» (26 марта).

«Здоровье моего бедного друга очень слабо; он нервен и бессилен до крайности» (9 апреля).

«В своих предыдущих письмах <…> я подробно сообщала вам о здоровье моего бедного Сергея; оно всё в таком же положении, то лучше, то хуже. Я была у него сегодня утром; нынче — один из его хороших дней; он выглядел получше, не жаловался, и голос его значительно окреп» (30 апреля).

«…Все мои страхи и тревоги за моего бедного мужа возобновляются; его здоровье сильно беспокоит меня — оно никогда не восстановится; его состояние так неустойчиво: часто, оставив его довольно здоровым, я чрез три дня нахожу его

изменившимся, слабым, как после болезни; боль в груди истощает его вконец» (18 июня).

«…Боль в груди у него усилилась. Больше всего меня тревожит крайняя слабость, которую он чувствует в ногах; в особенности ему больно ходить. <…> Когда я вижу, как слабеет здоровье Сергея, — мною овладевает отчаянье» (26 июня).

Волконский испытывал «чувство религиозного раскаяния», пребывал в «полной покорности», он мучился «из-за своего несчастного и преступного заблуждения» (24 апреля) — и лишь Мария могла как-то «облегчить его страдания». В исполнении этого «первого долга» княгиня видела не только свое назначение, но и, более того, отпущенное ей «счастье». В ее письмах эта мысль повторялась неоднократно:

«С нетерпением жду возможности посвятить ему все мои заботы, потому что не могу скрыть от себя, что они ему необходимы» (12 марта).

«Я могу быть счастлива и покойна только возле моего бедного друга…» (24 апреля).

«…Нет такой жертвы, которой я не принесла бы, чтобы стяжать то единственное утешение, какое осталось мне на земле, — разделять участь моего мужа, и потеря титулов и богатства — для меня, конечно, вовсе не потеря. На что бы всё это было мне нужно без Сергея, на что была бы мне жизнь вдали от него?» (28 мая).

«Подле Сергея я счастлива, но не видя его, я чувствую себя невыразимо одинокой…» (2 сентября).

В ее тогдашнем отношении к супругу были не только христианское сострадание («милость к падшим»; *III, 424)* и ярко выраженный энтузиазм жертвенности («долг, сладкий моему сердцу»), но и что-то *материнское*, так и не растраченное на Николино, и этот сложный конгломерат чувствований, самовнушений и сублимаций Мария, пытаясь облечь в формулу, называла в письмах по-разному: то «обожанием» (12 февраля, 24 апреля, 26 июня), то «глубокой привязанностью» (24 апреля, 26 июня), то «единственным утешением» (28 мая).

А Волконские, получая письма с подобными громкими словами, может быть, и хотели бы, да не решались поверить в искренность Марии: ведь они-то прекрасно знали, как возник и длился этот супружеский союз. И жене декабриста приходилось раз за разом уверять своих корреспонденток, что она превосходная жена их сына и брата — и таковой была, есть и пребудет всегда.

«…Будьте уверены, — писала Мария свекрови, — это (облегчение душевных страданий мужа. — *М. Ф.)* цель моей

жизни» (30 апреля). «Когда же вы вполне поверите в мою привязанность к Сергею?» — раздраженно вопрошала она уже Софью Волконскую 26 июня 1827 года. И далее, в том же письме, явно разгорячась и теряя контроль над собой, княгиня — кажется, единственный в те благодатские месяцы раз — заявила о своей *любви* к мужу: «В заключение повторяю: когда-нибудь вы волею-неволею признаете, что я люблю Сергея больше всего на свете…»

Позже, положа руку на сердце, она *такого* уже никому и ни за что бы не сказала…

Можно предположить, что Мария Николаевна убеждала тогда не только Волконских, но и *себя.* Причем себя — прежде и пуще всех. После приезда Марии в Сибирь и воссоединения с Сергеем ее прерванная супружеская эпопея фактически стартовала здесь *заново,* как бы с повторного (правда, весьма специфического) медового месяца. Поэтому вполне объяснимо страстное желание княгини построить эту вдруг реанимированную семейную жизнь на прочных *началах любви,* сделать ее совсем не похожей на неказистое (и зачастую оскорбительное) замужнее одиночество Марии в 1825 году, желание наполнить каторжное семейное бытие каким-либо возвышенным, истинно духовным смыслом (коего раньше, при начале ее супружества, и в помине не было).

Ради достижения этой цели она даже была готова всячески обманываться. И на некоторое время княгине, видимо, удалось поверить в то, что ее мечта о брачной идиллии (которая не исчерпывается самоотверженным уходом за «бедным другом») сбывается…

С конца весны 1827 года в письмах Марии Волконской к свекрови и золовке появляется еще одна важная тема. Княгиня осознала, что в силу причин юридических и человеческих (то есть прискорбного состояния супруга) она, по всей видимости, не сможет в обозримом будущем покинуть Сибирь. Еще раз тщательно все взвесив, Мария 28 мая в послании к А. Н. Волконской подытожила свои размышления касательно данного предмета:

«С тех пор как я здесь, я, кажется, уразумела, что те из нас, которые проехали Иркутск, уже не могут вернуться. Если так, — я очень счастлива, что не поняла этого раньше. Теперь я могу с чистой совестью посвятить себя всецело моему мужу; это — единственное желание моего сердца. Мой долг был — поделить мою жизнь между Сергеем и моим сыном, но признаюсь вам — надо обладать большею силою духа, нежели какой я обладаю, чтобы покинуть своего мужа, увидав то положение, в которое он ввергнут своим заблуждением. Теперь я понимаю смысл предостережения, заключавшегося в словах Е<го>

В<еличества> императора: Подумайте же о том, что вас ждет за Иркутском[516], и тысячу раз благодарю Бога, что не поняла их раньше: это только увеличило бы страдания, разрывавшие мне сердце. Теперь на мне нет вины перед моим бедным ребенком; если я не с ним, то не по моей воле. Иногда я представляю себе, что почувствуют мои родители при этом известии; только в эти минуты мне бывает больно».

Допускаем, что Волконские, вовсе не заинтересованные в появлении Марии в Петербурге, ранее (не без задней мысли) сообщили ей какие-нибудь новейшие полуофициальные сведения или авторитетные слухи о запрете на возвращение жен декабристов. Тем самым они способствовали пересмотру «двойственной» перспективной программы действий княгини. Однако если такие уловки родни и имели место, то они все же не могли оказать существенного воздействия на княгиню. Мария ориентировалась главным образом не на столичные, а на благодатские обстоятельства и собственные установки.

Спустя месяц, 26 июня, Мария вернулась к данному труднейшему вопросу — и дважды подтвердила незыблемость своего выбора. Свекрови она, в частности, написала: «…Теперь ничто меня не удерживает, потому что теперь, благодарение Богу, уже все решено». А Софья Волконская получила из Благодатска письмо со следующими строками: «Теперь, когда моя участь решена, не могу вам сказать, какое спокойствие я испытываю; теперь мои родители уже не могут беспрестанно напоминать мне о моем долге пред моим сыном; я свободна по отношению к бедному ребенку и всецело посвящаю себя Сергею».

Казалось, что жизнь Волконской в Благодатске постепенно наладилась и теперь так, уныло, год за годом, может быть, до самой могилы на местном смиренном кладбище — и потечет дальше. Муж частенько болел, но поправлялся, работал в руднике «прилежно», «с великим терпением» — а Мария Николаевна, притерпевшись к невзгодам, почти не думая о себе, всячески ухаживала за ним.

В июне заводское начальство удовлетворило просьбу княгини и выдало ей хранившуюся на складе Нерчинской горной конторы «шинель тонкого сукна, подбитую ватой, с бобровым воротником»[517]. Эта шинель принадлежала Сергею Волконскому, и жена декабриста, готовясь к очередной студеной зиме, намеревалась при случае перешить ее «собственно для себя». Мария даже обрадовалась: у нее появилось занятие для безотрадных вечеров. Правда, она не очень-то торопилась взяться за иголку с нитками: еще успеется, ведь до наступления забайкальских холодов было далеко.

А впереди у нее, вернее, у них — целых четырнадцать таких зим…

Сколько же ей и ему стукнет тогда (если, конечно, стукнет)?..

Но в конце лета 1827 года все внезапно изменилось.

Генерал-майор Лепарский, выполняя поступившее из Петербурга указание, завершил в Чите строительство большого острога. Туда он намеревался собрать рассеянных по разным уголкам Сибири декабристов. Планировалось, что находившиеся в Благодатске государственные преступники будут отправлены на новое место еще в августе, однако из-за бунта каторжников, шедших из России, переселение декабристов в Читу задержалось. В начале сентября комендант решил-таки приступить к этой операции («походу»), и 9-го числа он распорядился: «Княгиням Волконской и Трубецкой объявить, чтобы они отправились 11-го сентября и следовали бы в Читу в сопровождении унтер-офицера Макавеева, которому дать открытое предписание, чтобы от станции до станции давали для безопасного проезда княгинь по два или по три человека конных вооруженных крестьян»[518].

Государственные же преступники («все восемь человек») должны были покинуть Благодатский рудник спустя двое суток после отъезда женщин, на подводах, под усиленным конвоем и с соблюдением в дороге всяческих охранительных мер.

Свалившаяся как снег на голову новость весьма обрадовала каторжную колонию: декабристы давно жаждали вырваться из-под надзора чиновников горного ведомства и соединиться со старыми товарищами. Раздражали их здесь и «темные, грязные, вонючие» клетки каземата, и неистребимые клопы («постоянные жильцы всех тюрем нашей матушки России»), и блеклые окрестные пейзажи. Хуже, чем есть, в Чите быть не должно, попросту не может — и Мария с Каташей полностью поддержали такое мнение мужчин.

Вскоре дамы были готовы к отправке.

«Мы купили две телеги, одну для себя, другую под вещи, и поехали», — вспоминала Мария Николаевна[519]. Накануне ее отъезда из Благодатска Сергею Волконскому вновь стало плохо, «он харкал кровью»[520]. Озадаченный Лепарский сам осматривал заключенного и нашел того «более всех похудевшим и довольно <…> слабым». Посему комендант дозволил сопровождавшему арестантскую партию офицеру «получить от княгини Волконской <…> две бутылки вина мадеры и одну водки, чтобы производить <…> Волконскому порцию по две рюмки в сутки одного из сих напитков»[521]. Позднее Мария писала, что ее муж «перенес дорогу лучше, чем она надеялась»[522].

О, всемогущее вино!..

Княгини Волконская и Трубецкая, преодолев на телегах свыше 500 верст, благополучно прибыли в Читинский острог, по всей вероятности, 25 сентября 1827 года[523].

А 29-го туда были доставлены их мужья и остальные декабристы.

Глава 11
ЧИТИНСКИЙ ОСТРОГ

Другие могут надеяться на будущее, надежда может ласкать воображение молодых людей, а для нас всё кончено…

М. Н. Волконская — А. Н. Волконской, 6 ноября 1827 года

«Вот я и в Чете, нежно любимая маменька», — сообщила «уставшая, разбитая» Мария Волконская С. А. Раевской 26 сентября 1827 года[524]. Заметим, что и спустя два года княгиня, «по-русски плохо знавшая», иногда писала название данного населенного пункта с той же характерной ошибкой…

Край, где они оказались, был хотя и глухим, однако в сравнении с благодатским казался вновь прибывшим прямо-таки курортным местечком.

«…Представьте себе небольшое селение на возвышенном месте, окруженном со всех сторон высокими горами, а с западной стороны еще речкою, которая в одной версте от селения впадает в реку судоходную, — и вы в Читинском остроге, где при моем прибытии туда было 45 домов, одна деревянная церковь и горное комиссионерство с принадлежащими к оному магазинами — провиантскими и соляными. Горы все разнообразны высотою и покатостями, покрыты лиственницей, кедрами и соснами, с восточной стороны горы по большей части каменисты, а на юг останавливается взор на сопку, имеющую вид развалины замка. Речка Чита, от коей селение имеет свое наименование, течет в плоских берегах в Ингоду. Высота, занятая селением, господствует над долиною, в которой в ясный день можно видеть Кенонское озеро, лежащее от Читы в семи верстах и знаменитое своими большими и вкусными карасями…» — писал один из декабристов[525].

Другой узник высказывался еще восторженнее: «Местность Читы и климат были бесподобны. Растительность необыкновенная. Всё, что произрастало там, достигало изумительных размеров. Воздух был так благотворен, и в особенности для меня, что никогда и нигде я не наслаждался таким здоровьем. <…> Вообще, все мы в Чите очень поздоровели и, приехавши туда изнуренные крепостным

заточением и нравственными испытаниями, вскоре избавились от всех последствий перенесенных нами страданий. Конечно, к этому много способствовала наша молодость, но, в свою очередь, климат оказал большую помощь»[526].

Среди таких красот природы, в благоприятном читинском климате чете Волконских довелось прожить три самых страшных каторжных года.

Государственные преступники, доставлявшиеся в Читинский острог с января 1827 года, сперва размещались в переоборудованных под тюремные замки частных домах — декабристы величали их между собой Дьячков и Малый казематы. А воздвигнутый комендантом Лепарским вместительный корпус получил в их среде название Большого. Все три здания находились рядом и были огорожены общим высоким частоколом «из толстых, плохо соединенных бревен». Несколько позже на внутреннем тюремном дворе были построены мастерские, устроен небольшой лазарет. Там же заключенные установили солнечные часы и разбили сад с аллеями и цветочными клумбами.

К началу 1828 года в острог поступило 66 узников (среди них были такие известные лица, как братья М. и Н. Бестужевы, А. Поджио, А. Одоевский, И. Пущин, И. Якушкин и другие). Прибывали, партиями и поодиночке, сюда декабристы и в дальнейшем. По подсчетам современных историков, всего через читинские тюрьмы прошло 85 человек, причастных к заговору[527].

Встреченная Марией в Иркутске А. Г. Муравьева стала первой женой декабриста, попавшей в это забайкальское селение. Летом 1827 года она обрела подруг: в острог прибыли Е. П. Нарышкина и А. В. Ентальцева[528]. А уже после Трубецкой и Волконской, в 1828 году, тут, на берегах Ингоды, появились другие «благодетельные гении» — А. И. Давыдова, Н. Д. Фонвизина и Полина Гёбль («молодая француженка», возлюбленная И. Анненкова). Таким образом, в Чите с определенной поры возникла и существовала целая женская колония.

«Я застала госпож Нарышкину, Ентальцеву и Муравьеву в подчинении совершенно тем же порядкам, которые были предписаны нам в Благодатске; значит, мне еще очень долго предстоит видеться с мужем лишь дважды в неделю», — писала Мария в упомянутом сентябрьском письме к матушке. И продолжала эпистолию так: «Со всеми дамами мы как бы составляем одну семью; они приняли меня с распростертыми объятиями, — как несчастье сближает. Госпожа Ентальцева передала мне игрушки, которые послал мне мой бедный мальчик, произнося мое имя и имя отца; я была очень тронута таким

вниманием этой превосходной женщины. Мы живем вместе, она — моя экономка и учит меня бережливости; помещение мое несравненно удобнее, чем в Благодатске, у меня по крайней мере есть место для письменного стола, пяльцев и рояля»[529].

Волконская, Трубецкая и Ентальцева поселились в «доме дьякона», взяв внаем одну комнату (которую они разделили перегородкой). «С Катей и г-жей Ентальцевой мы всегда вместе, — сообщала наша героиня С. Г. Волконской 20 декабря, — так как ведем общее хозяйство; мы по очереди стряпаем. Господь точно создал нас для нашего нынешнего положения — мы освоились с ним как нельзя лучше»[530]. Спустя неделю Мария уточнила, кто из них в чем первенствует: «Катя знает толк в кухне гораздо больше моего, зато ни одна из моих подруг не умеет чинить и шить белья так, как я; я же научу их, с наступлением весны, разводить огород; вот сколько талантов я приобрела с тех пор, как мы расстались»[531].

С первых же дней пребывания в Чите Мария продолжила привычные (благодатские) занятия и самоотверженно стала помогать товарищам своего мужа. Прежде всего княгиня озаботилась их перепиской. «Пока во мне останется хоть искра жизни, — заявляла она, — я не могу отказать в услугах и утешении стольким несчастным родителям…»[532] Вместе с подругами Волконская придумала своеобразную, но вполне согласную с законами, тактику. «Каждая дама имела несколько человек в каземате, — вспоминал один из ее подопечных, — за которых она постоянно писала, и переданное ей от кого-нибудь черновое письмо она переписывала начисто как будто от себя, прибавив только: „Такой-то просит меня сообщить вам то-то“»[533]. Некоторые из этих «косвенных» посланий княгиня Волконская, изменив своей привычке, написала на родном языке.

«…Я привыкла к своему положению, — рассказывала в те месяцы Мария Николаевна, — веду деятельную и трудовую жизнь; я нахожу, что нет ничего лучше, нежели работа рук: она так хорошо усыпляет ум, что никакая печальная мысль не мучит человека, тогда как чтение непременно приводит на память прошлое»[534].

Однако существовать без книг Волконская, разумеется, не могла и однажды в письме к свекрови она все-таки попросила выслать ей «каких-нибудь новых книг, как русских и французских, так и английских»[535]. Книжная тема фигурировала и в ее дальнейшей переписке с родней[536], вполне уживаясь с просьбами о вине, шоколаде, кацавейке, сукне, принадлежностях для вышивания и неизменном табаке для супруга («Это не прихоть Сергея, а санитарное средство, необходимое для него во многих

отношениях»[537]).

О табаке Мария писала в Петербург немногим чаще, чем о своих финансовых обстоятельствах. Волконские, как всегда, скряжничали и постоянно задерживали отправку в Сибирь причитающихся княгине (в качестве «опеки годовой») денежных сумм. Бедная родственница была вынуждена регулярно напоминать им об этих обязательствах. К примеру, 14 ноября она обратилась к свекрови следующим образом: «Я должна уведомить вас, милая матушка, что со времени моего отъезда из Петербурга я имела только те деньги, которые увезла с собою, да еще тысячу рублей, полученных мною от моего отца; путешествие, отсылка людей, наш переезд из Благодатска сюда ввели меня в непредвиденные расходы, так что я нахожусь в затруднительном положении»[538].

Иными словами, тогда вышло форменное издевательство: за *целый год* богатая родня не прислала в Сибирь ни гроша (Мария Николаевна получила от матери своего мужа лишь отступное — «обоз» с провизией). В ближайшие годы подобные махинации «милой матушки» не раз и не два повторились, и принужденная к дипломатичности Мария Волконская даже имела серьезные столкновения со своим отцом, который, по ее мнению, слишком резко реагировал на нарушение имущественных прав дочери.

«В Чите наша жизнь стала сноснее; дамы видались между собою во время прогулок в окрестностях деревни; мужчины вновь сошлись со своими старыми друзьями», — вспоминала Мария Николаевна[539]. А накануне наступления нового года, именно 27 декабря, она писала золовке: «Наша жизнь так тиха и однообразна: мы видимся с нашими мужьями два раза в неделю по три часа, нам разрешено посылать им обед; часто лязг их цепей призывает нас к окну, откуда мы с горькой радостью смотрим, как они идут на работу; они работают пять часов в день в два приема, но работа их не чрезмерна и благотворна для них, потому что это всё-таки движение»[540].

За щадящий режим и прочие, подчас значительные, послабления декабристы были обязаны коменданту Лепарскому. «Всё, что от него зависело к облегчению нашему, часто и к удовольствию, — всё было им допущено, всё позволено», — подчеркивал впоследствии не слишком сентиментальный Николай Бестужев[541].

В мемуарах Марии Волконской есть довольно едкие строки касательно труда государственных преступников в Читинском остроге: «Наши ходили на работу, но так как в окрестностях не было никаких рудников, — настолько плохо было осведомлено наше правительство о топографии России, предполагая, что они

есть во всей Сибири, — то комендант придумал для них другие работы: он заставлял их чистить казенные хлевы и конюшни, давно заброшенные, как конюшни Авгиевы мифологических времен. Так было еще зимой, задолго до нашего приезда, а когда настало лето, они должны были мести улицы. <…> Когда улицы были приведены в порядок, комендант придумал для работ ручные мельницы; заключенные должны были смолоть определенное количество муки в день; эта работа, налагаемая, как наказание, в монастырях, вполне отвечала монастырскому образу их жизни»[542].

Кроме этого, декабристы иногда кололи лед на реке или засыпали большой песчаный овраг на краю селения — так называемую Чертову могилу. Случалось, тюремным офицерам приходилось *просить* государственных преступников покинуть каземат для отработки дневного задания. Довольно часто они, будучи не в духе от дурной погоды и не желая поупражняться «для моциона», на глазах конвоиров нанимали (платя по 10 копеек с человека) потрудиться за себя местных жителей. И пока простолюдины орудовали лопатами, выполняя в дождь намеченный начальством для заключенных «урок», последние предавались беседам (вот где особенно котировался петербургский табак!) под расположенным неподалеку от оврага навесом[543].

Под стать работе было в Чите и жилище политических заключенных. «Оно заключало в себе две половины, разделенные между собою теплыми сенями или широким коридором, — писал Н. В. Басаргин про Большой каземат. — Каждая половина состояла из двух больших комнат, не имевших между собою сообщения. Вход в каждую из них был из коридора. В каждой комнате помещались от 15 до 20 человек довольно свободно. У каждого из нас была особая кровать и подле ночной столик. Посередине оставалось достаточно места для большого стола и для скамеек вокруг него. За этим столом мы обедали, пили чай и занимались. В одном из прежних казематов наших оставлено было человек 15, а другой назначен был для лазарета, на случай болезни кого-либо из нас. Туда водили также на свидание мужей с их супругами»[544].

Подобие братства между членами тайных обществ на каторге вроде бы сохранилось, но равенства уже не было. Происхождение и состояние осужденных довольно скоро вновь заимели цену. Описание установившихся между декабристами в Читинском остроге отношений находим у откровенного Д. И. Завалишина: «По какому-то странному случаю самую большую горницу, где жил я, заняли люди и по характеру, и по положению самые

независимые. Она поэтому и получила название Великого Новгорода; другую небольшую горницу на той же половине заняли люди, к нам подходившие по характеру и всегда стоявшие с нами заодно; поэтому эту горницу назвали Псковом. На другой половине ту горницу, которая была меньше, заняли люди богатые и с барскими замашками; эта горница получила название Москвы и барской; наконец, последнюю горницу прозвали Вологда, или мужичье, а иногда звали и холопскою, потому что многие из живущих в ней, почти все из армейских офицеров и разночинцев, были на послугах у Москвы и служили Москве орудием против наших комнат»[545].

Бывший князь и генерал Сергей Григорьевич Волконский, само собой разумеется, принадлежал к «московской» партии толстосумов.

При такой необременительной работе и при сносных условиях содержания он вскоре пошел на поправку, и его самочувствие, как отмечала Мария, было стабильно и «довольно хорошо»[546]. Сергей Волконский казался жене «образцом покорности и твердости»[547].

Судя по письмам 1827 года, в те месяцы княгиня гораздо больше волновалась за здоровье и «физическое развитие» «милого Николиньки»; она лишалась сна при всяком известии о болезнях сына и входила в малейшие подробности его скорбного листа: «Мысль о рахите изводила меня; мое воображение, легко предающееся тревоге, рисовало мне дело в самом мрачном свете»[548]. «Вот уже больше года, как я оставила Николиньку; навсегда ли он лишен благословения своего отца? Господи, если бы я могла жить с ними обоими в каком бы то ни было месте Сибири!» — восклицала она в конце декабря[549].

Мария Волконская тогда по-прежнему настаивала, что она совсем не «*бедная*» («это слово вовсе не подходит ко мне») и «совершенно счастлива, находясь подле Сергея»[550]. Вместе с тем временами ее одолевали дурные предчувствия: уж больно гладко началась их читинская жизнь и непривычно легки были «нынешние невзгоды». *Так* не может продолжаться долго, *ей* на роду написано иное — и потому княгиня с трепетом думала о страданиях грядущих, «о тех, какие готовит нам долгая, страшная будущность»[551].

Она не знала: «страшная будущность» уже стояла «при дверех».

«М. Н. Волконская, молодая, стройная, более высокого, чем среднего, роста, брюнетка с горящими глазами, с полусмуглым лицом, с немного вздернутым носом, с гордою, но плавною походкою, получила у нас прозванье „la fille du Gange“, девы

Ганга; она никогда не выказывала грусти, была любезна с товарищами мужа, но горда и взыскательна с комендантом и начальником острога»[552].

Такой запомнилась Мария читинским декабристам — такой она и встретила свалившиеся на нее новые беды.

«В Чите я получила известие о смерти моего бедного Николая, моего первенца, оставленного мною в Петербурге», — скупо зафиксировано в воспоминаниях княгини[553]. Родственники (то есть Волконские) окружили ребенка множеством нянек, русских и иноземных, однако так и не сумели уберечь малютку: их «ласки и заботы оказались бессильны против силы судьбы»[554]. Двухлетний Николинька скончался 17 января 1828 года. Гранитный саркофажец князя Николая Волконского был предан земле в Александро-Невской лавре, у южной стены Лазаревского кладбища[555]. На надгробии выбили пушкинскую эпитафию (о ней мы расскажем особо).

Мария Волконская получила весть из Петербурга, видимо, в марте месяце. Даже спустя год после этого она еще не пришла в себя от потрясения. «Третьего дня была у меня страшная годовщина, — писала Мария свекрови, А. Н. Волконской, 19 января 1829 года. — Да будет воля Божья. Так как в этот день у меня не было свидания, то Сергей не видел моего настроения, и я в первый раз за всё время была рада не быть с ним; мы только стесняли бы друг друга»[556]. Сестре же, Елене Раевской, княгиня призналась: «Мне кажется, я чувствую потерю моего сына с каждым днем всё сильнее…»[557] Когда же родственники переслали ей в Читу некоторые вещи Николиньки, то Мария, обнаружив среди них шерстяное вязаное одеяльце, приспособила его для себя в качестве шали, которую — в память о сыне — носила зимой «постоянно»[558].

Вероятно, тогда же, весной (или в самом начале лета) 1828 года, Николай Бестужев сделал известный (хотя и не слишком мастерский[559]) портрет Марии Волконской. Внук княгини, пораженный «мечтательной прелестью» акварели, так описал работу художника-декабриста: «Облокотившись на стол с красной скатертью, сидит она (М. Н. Волконская. — *М. Ф.)* у раскрытого окна, в черном платье, подперев щеку рукой; широкие у плеч рукава, большой на плечах белый батистовый с прошивками воротник, волосы, как во времена Евгения Онегина[560], собраны на маковке, а над ушами спадают локонами. В окно виден высокий мачтовый тын, около тына полосатая будка и рядом с ней — с ружьем, в кивере, часовой; за тыном крыша острога, Читинского острога. За спиной княгини, на стене, висит портрет

отца ее в генеральском сюртуке <…>… Я не могу передать впечатления великой печали, которая дышит в этой маленькой картинке. Но всякий раз, когда я смотрел на нее, мне слышались слова одного ее письма из Читы: „Во всей окружающей природе одно только мне родное — трава на могиле моего ребенка“»[561].

«Великая печаль» матери, только что потерявшей своего единственного ребенка, действительно запечатлена на бестужевской акварели. О страданиях Марии Волконской свидетельствуют и ее платье траурного цвета, и грустные, потухшие глаза, и темные (очевидно, от слез и бессонницы) круги под этими некогда чудесными очами. Перед нами — словно *тень* былой, несгибаемой Марии.

Но нельзя не заметить в этом женском портрете и другое, очень показательное.

Как ни огромно было внезапно нахлынувшее горе, оно Волконскую не опростило, не раздавило. Мария не махнула на себя рукой — она, как и в России, очень внимательно следила за своей внешностью. Может быть, до Читинского острога и не доходили модные журналы с красочными картинками — Волконская успешно обходилась без них. Всмотритесь в акварель Бестужева: платье дамы хоть и строго, скромно, но все же по-аристократически элегантно, а двойной кружевной, тончайшей выделки, воротник ее одежды мог бы вызвать завистливые пересуды и столичных модниц. Шерстяная шаль с изящным восточным узором подобрана с большим вкусом и гармонично сочетается с платьем. Тщательная же прическа Марии, с мудреными буклями и локонами, отнявшая не один час времени, вполне приличествует для петербургского раута или светского бала.

Да, она не сделала себе никаких скидок ни на туземные условия, ни на трагические жизненные обстоятельства — и в сибирской глуши, числясь по бумагам женой государственного преступника, терпя унижения, осталась *княгиней Волконской.*

С достоинством, подобающим настоящей княгине, она восприняла и «великую новость» 1828 года: 1 августа в Читу прибыл фельдъегерь с повелением «снять с заключенных кандалы»[562]. Комендант Лепарский поспешил исполнить высочайшую волю — и, исполнив, тотчас отослал соответствующий рапорт (№ 429 от 4 августа) военному министру графу А. И. Чернышеву[563].

Примерно в то же время узникам было сделано и другое послабление режима: им разрешили видеться с женами на дому, куда заключенные препровождались под конвоем. «Во время свидания Сергей клал по две бутылки <вина> в карманы и

уносил с собою, — вспоминала М. Н. Волконская, — так как у меня их было всего пятьдесят, то перенесены они были скоро»[564].

«После смерти сына оборвалась та нить, которая больше всего связывала М<арию> Н<иколаевну> с Россией, — пишет О. И. Попова, — и она стала добиваться разрешения переселиться к мужу в тюрьму, умоляя хлопотать об этом и отца, и мать мужа»[565].

Тюрьма представлялась княгине неким отдаленным подобием монастыря: там, за высоким частоколом, в спасительной камере-келье, с супругом и молитвой она смогла бы хоть как-то отрешиться от тягостной читинской суеты. Переход из обывательской избы в каземат на какое-то время стал целью, смыслом жизни Волконской. При этом Мария искренно надеялась, что старый генерал Раевский существенно — а как же иначе? — поможет ей получить высочайшее соизволение.

Однако старик не поддержал усилий дочери и не стал ходатаем по ее делу. (Раевский явно не желал способствовать дальнейшему сближению Марии с мужем и полагал, что она еще может вернуться домой.) Княгиня решила повторить свои мольбы. «Дорогой папá, — писала она 21 января 1829 года, — я с вами поделилась тотчас же, как только узнала о смерти сына, мыслью о своем твердом решении разделить заключение Сергея и уведомила вас о шагах, которые я просила мою belle-mère предпринять в этом отношении. <…> Меня уверяют, дорогой папá, что для меня необходимо, чтобы вы поддержали ее просьбы вашими; я слишком хорошо знаю вашу нежность ко мне и не должна была бы сомневаться ни на одно мгновение в рвении, с которым вы взялись бы защищать дело, которое обеспечивает мой покой здесь, на земле. Дорогой папá, отказ был бы для меня приговором таким ужасным, что я не осмеливаюсь думать о нем. Не скрою от вас, что я не могу больше переносить жизнь, которую я веду; справьтесь о том, какое впечатление произвела на меня смерть моего единственного ребенка. Я замкнулась в самой себе, я не в состоянии, как прежде, видеть своих подруг, и у меня бывают такие минуты упадка духа, когда я не знаю, что будет со мною дальше. Один вид Сергея может меня успокоить; я могла бы быть счастливой и спокойной только возле него. Дорогой папá, если это письмо найдет вас в Петербурге, не медлите, я вас заклинаю, хлопотать об этом; если вы у Катерины[566], — отправьте ваше прошение, во имя неба, возможно скорее…»[567]

В другом письме к отцу она писала: «…Я ослабла, нравственно в особенности, мне также нужны заботы и спокойствие — где же я могу их найти, как не около Сергея»[568].

Заодно княгиня пробовала воздействовать на Николая

Николаевича через сестер. (К брату Николаю обращаться было бесполезно: тот не собирался прощать обманувшего Раевских С. Г. Волконского, порицал действия Марии и посему не писал в Сибирь в течение нескольких лет.) Так, Елену Раевскую она упрашивала: «Во имя твоей дружбы к нему (Сергею Волконскому. — *М. Ф.),* во имя моего покоя, умоляй папа не запаздывать ни на один день отправкой своего прошения»[569].

Подключив же к уговорам батюшки Е. Н. Орлову, Мария получила от генерала Раевского следующий ответ: «Мое дорогое дитя, после письма, которое я только что получил от Катеньки, — я вижу, что ты плохо поняла мое последнее письмо по поводу твоего соединенья с мужем. Не зная ни места острога, ни условий — я не позволяю себе даже высказываться об этом; действуй, как подскажет тебе разум и сердце, но я не буду участвовать в этом деле»[570].

Мрачное, угнетенное настроение не покидало Марию Волконскую, которая «чувствовала себя плохо, в особенности душевно». «Вот мы и в новом году; для тех, кто ничего не ждет от времени, — это печальный праздник, — писала она свекрови 6 января 1829 года. — Наша участь не может измениться…»[571]

Тот же мотив безысходности звучал в других тогдашних письмах княгини. Сестре Софье Раевской она признавалась: «Когда я начинаю думать о вас всех — я совершенно забываюсь и провожу целые часы, ничего не делая. Как была права моя добрая матушка, балуя меня, — я часто вспоминаю об этом теперь и с таким удовольствием, хотя эти воспоминания не всегда в мою пользу. Я нисколько себя не щажу, поверь мне. Ты примешь, быть может, мои слова за поэтические прикрасы; если ты не подумаешь — то это сделают другие, потому что нельзя понять положение, в котором я нахожусь, не побывав на моем месте. Ты отвлекаешься каждую минуту от прошлого и думаешь о будущем, для меня же — все кончено»[572]. Схожие мысли есть и в другом ее послании — к княгине А. Н. Волконской: «Вы желаете нам счастия в будущем, но судьба наша не изменится и не может измениться; я не обманываю себя на этот счет»[573].

Правда, порою (увы, ненадолго) княгиню отвлекало и выручало пение. «…Зинаида <Волконская> высылает мне ноты. На меня нападает иногда страсть к музыке, — сообщала она С. Н. Раевской, — и я пою тогда от корки до корки без аккомпанемента»[574]. Ее боль (как и по дороге в Сибирь) на какое-то время притуплялась — чтобы вскоре заявить о себе с новой, не меньшей, силой.

Судьба была предуказана — но кое-что измениться в ее существовании все-таки могло: Мария не оставляла мысли

разделить тюремное заключение мужа. Так и не получив поддержки от отца, она почти в каждом письме, настойчиво и коленопреклоненно, просила свекровь добиться данной милости у императора Николая Павловича. Вот фрагменты ее посланий начала 1829 года:

«Милая матушка, ходатайствуйте у Е<го> В<еличества> императора об этой милости для меня; вымолите мне эту единственную льготу, которой я считаю себя вправе просить, и я стану благословлять тех, кто мне ее дарует, и мою участь. Помогите мне соединиться с Сергеем, и этот год, столь печальный по воспоминаниям и по моим предчувствиям, будет для меня годом счастия» (6 января).

«Милая матушка, когда же вы дадите мне благоприятный ответ относительно той милости, которой я прошу уже год. Я вверяю вам мою судьбу, испросите для меня то единое, что может обеспечить мне покой на земле, добейтесь того, чтобы я была заключена вместе с Сергеем, — и я забуду все мои горести» (19 января).

«Я надеюсь на справедливость Е<го> В<еличества> императора, надеюсь прежде всего на любовь моей милой матушки. Я уверена, что вы приложите все усилия, чтобы обеспечить мое счастье на земле» (8 февраля).

«Милая матушка, отвечая на мое письмо от 6 января, вы ничего не говорите о моей настоятельной просьбе насчет моего соединения с Сергеем. Это молчание приводит меня в отчаянье; милая матушка, сжальтесь над нами» (13 апреля).

«Не могу скрыть от вас, что ваши уклончивые ответы о том, что составляет единственный предмет моих просьб, крайне угнетают меня. Вы столько раз доказали мне свою заботливость, что я не могу подозревать, будто вы не желаете предстательствовать за меня, но, милая матушка, другие на моих глазах имеют счастье изо дня в день ухаживать за своими мужьями, а я всё еще жду, всё еще терзаюсь неизвестностью. Прошу вас, милая матушка, отвечайте мне, и просите Бога, чтобы Он дал мне силы переносить мое нынешнее положение, потому что соединение с Сергеем вольет в меня новую жизнь» (17 мая) [575].

В эти месяцы регулярных эпистолярных «челобитий» Мария Волконская теснее чем когда бы то ни было сошлась со своей свекровью (а та довольно умело пользовалась зависимостью жены сына и исподволь старалась обратить Марию в «свою веру»). Это сближение дало повод ее отцу, Николаю Николаевичу, с обидой сообщить Н. Н. Раевскому-младшему: «Машенька здорова, влюблена в своего мужа, видит и рассуждает по мнению

Волконских, и Раевского уже ничего не имеет…»[576]

Старый генерал вновь ошибся: его ненаглядная Машенька, как и перед отъездом в Сибирь, вполне трезво оценивала Волконских и их родственные чувства и поступки. В тогдашнем ее письме к сестре, Елене Раевской, есть замечательная, все ставящая на свои места фраза. «Если я умру, — делилась сокровенным княгиня, — что станет с Сергеем, у которого нет никого на свете, кто интересовался бы им?»[577] Так что она и в Читинском остроге хранила «раевскость» и, переписываясь со свекровью, не сомневалась, что мать ее мужа и прочие Волконские только *слывут* заботливой родней.

Княгиня А. Н. Волконская все же сумела поинтриговать в высших петербургских сферах касательно переселения Марии Николаевны в тюрьму. Но решающий ход сделал генерал-майор С. Р. Лепарский, обратившийся в начале 1829 года к царю с рапортом, в котором просил всемилостивейшего соизволения на «неразлучное соединение» жен декабристов со своими мужьями. На этом рапорте государь начертал: «Я никогда не мешал им жить с мужьями, лишь бы была на то возможность»[578], — и тем самым дело было вконец улажено.

Извещение об этой августейшей резолюции жене государственного преступника доставили в конце мая 1829 года. «Горячо обожаемый папа, — писала она отцу 31-го числа, — вот уже три дня, как я получила позволение соединиться с Сергеем. <…> Спокойствие, которое я ощущаю с тех пор, как я забочусь о Сергее и разделяю с ним дни вне часов его работы, с тех пор, как у меня есть надежда разделять целиком его судьбу, — дают мне душевное спокойствие и счастье, которое я утратила уже так давно»[579]. А брату Николаю Мария вскоре поведала: «Я достигла цели своей жизни; я довольна своей судьбой, у меня нет других печалей, кроме тех, которые касаются Сергея»[580].

«Я соединюсь с ним тотчас же, как это позволит помещение», — сообщала княгиня[581]. Теснота в читинском остроге и отсутствие там подходящих («семейных») камер помешали ей тогда же перебраться на жительство в каземат. Однако с тех пор Мария уже не приходила на свидания к Волконскому дважды в неделю, но имела возможность видеть супруга практически ежедневно и находиться подле него большую часть дня. (Иногда и Сергей Григорьевич, сопровождаемый для приличия охраной, отдавал визиты жене.)

В который уже раз за последние годы она намечала себе труднодостижимую цель — и добивалась намеченного.

Радость княгини была, правда, омрачена серьезным конфликтом с отцом, возникшим вследствие обострившихся в тот

период имущественных разногласий между ним и Волконскими. (Активно участвовала в этой полемике и Софья Алексеевна Раевская, приславшая дочери в Сибирь письмо с весьма резкой критикой Волконских[582].) Мария Николаевна, временами терпевшая острую нужду из-за необязательности свекрови, в данном случае, однако, выступила в защиту родственников мужа. «Что касается всего того, что относится к денежным делам, вы знаете сами, дорогой папа, много ли я понимаю в них и для моего ли это возраста? и особенно — в моем ли характере этим заниматься? — читаем в ее письме к родителю от 8 июня 1829 года. — И если я это делаю, то к этому принуждает меня только наше положение. Дорогой папа, я должна в оправдание тех, кого вы подозреваете во влиянии на меня, сказать, что я получаю от них такие письма, которые так же удобны для такой официальной корреспонденции, как и наша: никогда ни одного слова о делах (по крайней мере, я не брала в этом инициативу на себя), но всегда с выражениями самой глубокой нежности по отношению к Сергею и ко мне. <…> Бог посредник моих чувств; быть достойной имени вашей дочери — вот что всегда будет руководить моими поступками. Верьте, дорогой папа, что никто из ваших детей не любит вас с таким обожанием, как я, не чтит вас так, как я буду всегда вас чтить»[583].

Сестре Софье Мария тогда же попыталась разъяснить, что она согласилась принять от семейства Волконских некую сомнительную «дарственную» (на «воронежскую землю»), чем и вызвала гнев гордого старого генерала (который в апреле даже заявил сыну Николаю, что недавно писал к дочери «в последний раз»[584]). По версии княгини, отец осерчал на нее не только из-за этого лицемерного «подкупа», а еще и потому, что ему, благородному Раевскому, якобы было отказано в доверии. «Я спросила, в простоте души, у отца: уплачиваются ли долги, сделанные Сергеем, потому что никто не говорит мне о делах, а я хотела бы, чтобы тем, кто доверил свое состояние моему мужу, не пришлось жаловаться. Значит ли это не иметь достаточно деликатности? Значит ли это, что я хочу, чтобы мне отдавали отчет во всем? <…> Я не могу продолжать говорить об этом — я дрожу с головы до ног», — сокрушалась Мария Николаевна[585].

Вскоре ей пришлось написать совсем другое: «Я столько упрекала себя за огорчения, которые я причиняла моему дорогому отцу моими письмами отсюда…»[586]

Почти три месяца крепился изо всех сил обиженный старик и не сносился с Читинским острогом. Но в конце концов Николай Николаевич не выдержал и 23 июня 1829 года продиктовал Софье Раевской письмо к своей милой бедной Машеньке.

«Нельзя без волнения читать письмо, — утверждает О. И. Попова, — которым он исчерпывает печальное недоразумение с дочерью». Однако нельзя также не заметить, что генерал хоть и помирился с Марией Волконской, адресовал ей (а заодно и ее супругу) слова самые задушевные, но одновременно он, использовав благовидный предлог, наотрез отказался защищать в будущем финансовые интересы семейства дочери. Слагая с себя такое бремя, Раевский-старший недвусмысленно продемонстрировал, что в отношении вопросов имущественно-юридических он, доживающий свой век упрямец, остался при прежнем, крайне нелестном для Волконских, мнении.

Вот главная часть этого и в самом деле пронзительного послания:

> «…Теперь, моя дорогая Мария, я скажу тебе откровенно то, что тебе и твоему мужу должно было делать: если твой муж не знает меня настолько, чтобы верить, что я принимаю интересы своей дочери к сердцу ближе, чем его братья и сама его мать, то тебе следовало бы знать чувства твоего отца и объяснить мужу, что ради твоих интересов — я не способен сделать что-либо неделикатное или несправедливое. Что касается настоящего, то я прошу только тебя употребить все средства, чтобы освободить меня от твоих дел, не для избежания забот, не из-за неудовольствия, но единственно по причине моего слабого здоровья, в чем тебя удостоверят сестры; я не в состоянии больше этим заниматься; если бы было возможно — я хотел бы отказаться и от своих собственных дел, сложив их на кого-либо другого, но я совершенно лишен этого утешения.
>
> Не принимай к сердцу, мое дорогое дитя, то, что я тебе пишу: я вовсе не имею в виду делать тебе упреки или огорчать тебя, но я имею право не желать более неприятностей. Я сердечно разделяю печаль и беспокойство, которое ты перенесла во время болезни твоего мужа; уверь его, что муж моей дочери не может быть мне безразличен, что порицая всё то, что ты сделала, и то, что я ему приписываю, — я не сохраняю никакой неприязни.
>
> До свидания, будьте оба здоровы. Я пишу тебе через твою сестру Софью, потому что у меня болят глаза»[587].

По всей видимости, это было последнее, прощальное послание старика к Марии. 16 сентября 1829 года пребывавший

на покое в своем имении Болтышке Николай Николаевич Раевский-старший, так и не обняв любимой дочери, отошел в мир иной.

В Читинском остроге узнали о случившемся, видимо, в ноябре, и генерал-майор Лепарский, действуя весьма деликатно, подготовил княгиню Волконскую к печальному известию. Всю правду Марии Николаевне сообщили только в самом конце месяца. «Я так мало этого ожидала, потрясение было до того сильно, что мне показалось, что небо на меня обрушилось; комендант разрешил Вольфу, доктору и товарищу моего мужа, навещать меня под конвоем солдат и офицера», — вспоминала княгиня[588].

8 декабря она писала свекрови: «По моему предыдущему письму вы знаете, обожаемая матушка, что мне известна вся глубина моего несчастья. Тот, кому вы недавно писали, прося подготовить меня, предупредил ваше желание; он оказался достойным доверия лучшей из матерей[589]. Он был моим ангелом-хранителем, он предоставил мне всё возможное, чтобы облегчить мое ужасное положение. Сергей и я сохраним ему за это вечную благодарность». А далее Мария призналась: «Мое сердце разрывается при мысли, что у меня больше нет отца; только сознание, что я еще нужна Сергею, привязывает меня к жизни».

В те же черные декабрьские дни княгиня Волконская получила эпистолию от «сестры Репниной». Та рассказала жене декабриста, что перед кончиной ее отец «вспомнил о ссыльной дочери» и признался («с любовью и похвалой») другу, доктору Фишеру, указывая на висевший в его комнате портрет Машеньки: «Вот самая замечательная женщина, которую я знал». «Не могу сказать вам, — писала Мария свекрови, — какую отраду доставили мне эти подробности».

В указанном послании в Петербург она, скорбя об отце, утверждала: «Нельзя дважды перенести то, что я испытываю в эту минуту»[590].

Блажен не ведающий завтрашнего дня: тогда, в декабре, судьба *уже готовила* Марии новый, не менее жестокий удар…

Сергей Волконский никогда не жаловал своего неуживчивого тестя. Поэтому к известию о смерти генерала Раевского декабрист отнесся так, как принято у дальних, формальных родственников — с напускной благообразной печалью, но без какого бы то ни было траура в душе. «Он ухаживает за мною, не отходит от меня и почти так же глубоко чувствует мое горе, как я сама», — сообщала княгиня[591]. Иными словами, если Мария горевала об

ушедшем отце, то находившемуся рядом Волконскому было горестно видеть скорбь княгини. Он очень волновался за жену и грустил.

Конечно, утраты 1828 и 1829 годов были весьма чувствительны для слабохарактерного Сергея Григорьевича и надолго повергали его в хандру. Однако примечательно: состояние здоровья Волконского при этом почти не страдало. Что бы ни случилось в Чите или России, его самочувствие, как регулярно сообщала в Петербург Мария, было «очень хорошо» (иногда писалось по-другому: «Сергей совершенно здоров»), Заодно княгиня отмечала и недурственный аппетит супруга. За два года, кажется, лишь однажды, и то ненадолго, декабрист приболел. Зато Марии становилось все хуже, и она не раз жаловалась своим корреспондентам: «Сергей здоров, а я чувствую себя плохо, в особенности душевно»[592].

В Читинском остроге Н. А. Бестужев сделал довольно любопытный акварельный портрет Сергея Волконского (который сохранился в собрании Государственного исторического музея в виде карандашного наброска или перерисовки[593]). Бывший генерал на этом портрете мало похож на изнуренного работой государственного преступника. Волконскому уже за сорок — но тут он выглядит явно моложе своих лет. Правда, декабрист чуть сгорбился, несколько поредела его шевелюра — но лицом он, как и до бунта, свеж, не исхудал, губы (вспоминается портрет работы Дж. Доу 1822 года) сложены капризным бантиком, да и в глазах заключенного приметны не только неизбежная грусть узника, но и какой-то блеск. Умело повязанный шейный платок с брошью и ладные усы с бакенбардами только подтверждают, что сидящий перед художником человек вовсе не устал от *такой* жизни.

Как же отличается данный набросок от описанного выше (и сделанного примерно в то же время) трагического портрета Марии Волконской!

Пользуясь благодушием коменданта Лепарского, декабристы в Чите, не обремененные казенными трудами, предались всевозможным приятным и полезным занятиям. Кто-то собирал коллекции птиц, растений и насекомых, кто-то вел метеорологические наблюдения, сооружал часы, рисовал или чертил планы окрестностей. Иные, выписав из дома музыкальные инструменты, участвовали в оркестре и хоре, исполняли романсы и духовные песнопения и устраивали казематские концерты. Существовали тут и ремесленные артели — сапожная, слесарная, кондитерская, столярная… Разумеется, заключенные знакомились с поступавшими из-за Урала книгами и журналами и создали (кстати, при ближайшем участии М. Н. Волконской) солидную

тюремную библиотеку. Организовали они даже так называемую «каторжную академию», где читались лекции по разным отраслям наук и вполголоса обсуждались как проблемы декабризма, так и важнейшие современные происшествия: Туркманчайский победный мир с Персией, кончина вдовствующей императрицы Марии Федоровны, битвы с турками[594], коронация Николая I в Варшаве…

Волконский не избегал общих сходок, но предпочитал одиночество и львиную долю свободного времени проводил во дворе каземата. Садоводство манило его с незапамятных времен — и вот только здесь, на каторге, он наконец-то смог заняться им как следует. Среди парников и грядок Сергей Григорьевич забывал обо всем на свете и бывал в те минуты почти счастлив.

Мария выписывала для него из России (целыми ящиками) разнообразные, в том числе и самые экзотические, семена и «наилучшие французские книги по этой части», а также «Альманах опытного садовника» Туэна и «Огородник» Левшина[595]. А супруг сравнивал размеры выращенных им стеблей и листьев табака с достижениями американских плантаторов — и ходил вокруг грядок довольный. Благодаря ему княгиня сообщала свекрови: «У меня есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и арбузы, и запас хороших овощей на всю зиму»[596]. Мечтал Сергей Григорьевич и о собственной оранжерее. Когда ему не хватило посевной площади, он заставил горшками с саженцами и комнату в доме, где жила княгиня[597].

Товарищи изумлялись сельскохозяйственным успехам Волконского, охотно уплетали плоды его деятельности, а Н. А. Бестужев даже увековечил (по крайней мере дважды) угодья бывшего князя, причем рисовал он острожные парники при свете луны. «В такие ночи, по-видимому, парники и огород были особенно красивы, — предположил исследователь, — поэтому художник и запечатлел их именно в это время»[598]. Но и при свете читинского солнца этот уголок острога, где произрастали также деревья и кусты, не терял своей прелести, «и, — утверждал Д. И. Завалишин, — в хороший летний день <здесь> можно было забыться и воображать себя где-нибудь в России на публичном гуляньи в саду»[599]. Тяга Волконского к земле, щедрой и ароматной, не раз становилась и предметом для шуток окружающих.

Незлобивые грубоватые подтрунивания он понимал не всегда и порою, сочтя себя обиженным, удалялся от хохотавших приятелей в сторону Дьячкова каземата, в свои спасительные кущи. Эту ретираду Сергей Григорьевич старался осуществлять гордо и чинно, сложив (как в былые, генеральские, годы) руки за

спиной.

Он постепенно превращался в прежнего Бюхну. Правда, руки его стали теперь грязноватые, огрубевшие — как у завзятого садовника.

«Этот брак вследствие характеров совершенно различных должен был впоследствии доставить много горя В<олконскому>…» — писал современник[600].

Наступил 1830 год.

«В это время прошел слух, — вспоминала наша героиня, — что комендант строит в 600 верстах от нас громадную тюрьму с отделениями без окон; это нас очень огорчало»[601].

Не хотелось декабристам и их женам расставаться с острогом и перебираться в намеченный Петровский завод не только из-за окон (вернее, из-за отсутствия таковых), но и по другой причине. Читинское бытие в целом вполне устраивало всех. «Надо сознаться, что много было поэзии в нашей жизни. Если много было лишений, труда и всякого горя, зато много было и отрадного. Всё было общее — печали и радости, всё разделялось, во всём друг другу сочувствовали. Всех связывала тесная дружба»[602] — так писала о пребывании в Чите П. Е. Анненкова (та самая раскованная француженка мадемуазель Полина Гёбль, которая стала в остроге женой декабриста).

Труднее всех расстаться с Читой было, вероятно, Марии Волконской: ведь она оставляла здесь свежую дорогую могилку.

Незадолго до переезда, 10 июля 1830 года, Мария Николаевна родила дочь Софью — и тогда же навеки рассталась с ней.

Младенца похоронили на местном кладбище, рядом с храмом. (Спустя несколько месяцев княгиня, уже находясь далече, пожертвовала в этот храм серебряный вызолоченный образ из кипариса с надписью на его оборотной стороне: «Сей образ Святой Великомученицы Софии есть усердное и смиренное приношение во храм св. Архистратига Михаила, что в Читинском остроге, от имени моего и мужа моего Сергея и матери нашей княгини Александры Николаевны Волконской — в память дочери нашей младенца Софии, преставившейся июля 10-го дня 1830 г. и преданной земле возле храма сего. *Мария Волконская*. Петровский завод. 1831 года марта 15-го дня»[603].)

За что же, право, княгиня была так наказана? В Читинском остроге появились на свет и радовали родителей Нонушка Муравьева и Саша Трубецкая, Ольга Анненкова и Вася Давыдов, тут обзавелись приемной дочерью и Нарышкины (взявшие на воспитание крестьянскую девочку Ульяну Чупятову) — а Мария

потеряла уже второго своего ребенка. Лишилась она к тому же и отца…

Выпадало кому что — ей же доставались сплошь трава и кресты на могилах…

И все же Мария Волконская пыталась крепиться; она по-прежнему «рассчитывала на <…> Божественное милосердие» и, как прежде, верила, что «не здесь, на земле, но столько страданий и скорбей когда-нибудь будут вознаграждены»[604].

В начале августа Лепарский наконец-то приказал заключенным и их женам готовиться к отъезду. Первая партия тронулась в путь 7-го числа, следом за ней выступили и остальные преступники. При каждой партии находились офицеры и конвой; сам комендант, возглавивший поход, то примыкал к авангарду, то наблюдал за арьергардом. Дамские повозки следовали за партиями или обгоняли декабристов, переезжая от одного привала к другому.

«Это перемещение совершилось пешком в августе месяце, — писала Волконская, — делали по 30 верст в день и на другой день отдыхали то в деревне, то у бурят, в юртах. Александрина (Муравьева. — *М. Ф.)* и две другие дамы уехали вперед. Нарышкина, Фонвизина и я ехали следом в нескольких часах расстояния. В 6 верстах от города Верхнеудинска сделали привал. Вблизи этого города баронесса Розен встретила своего мужа. <… > В это время прибыла и Юшневская. Уже пожилая, она ехала от Москвы целых шесть месяцев, повсюду останавливаясь, находя знакомых в каждом городе; в ее честь давались вечера, устраивались катанья на лодках; наконец, повеселившись в дороге и узнав, что баронесса Розен уже в Верхнеудинске, она наняла почтовую телегу, как молния, пролетела вдоль нашего каравана и остановилась у крестьянской избы, в которой ждал ее муж»[605].

Внезапный приезд двух новых добровольных изгнанниц обрадовал всех. Впрочем, караван и так двигался довольно весело. Переход, по определению Д. И. Завалишина, был «необычайно странным во всех отношениях»[606]. На ночлеги и дневки ставили юрты, декабристы сами готовили пищу, играли в шахматы, беседовали с бурятами, гуляли и восхищались живописными окрестными видами, купались, собирали букеты и «ботанизировали», проводили топографические съемки, а Николай Бестужев не расставался с кистями и карандашами. «Поход наш в Петровский завод, продолжавшийся с лишком месяц в самую прекрасную осенную погоду, — сообщал один из участников, — был для нас скорее приятною прогулкою, нежели утомительным путешествием. Я и теперь вспоминаю о нем с

удовольствием. Мы сами помирали со смеху, глядя на костюмы наши и на наше комическое шествие»[607].

Александр Одоевский написал высокопарные стихи, посвященные этому путешествию.

Волконский, одетый в причудливую женскую кацавейку, то ехал на подводе (накануне поездки он сказался больным), то шел пешком. В дороге Сергей Григорьевич, как повелось, стал одним из главных объектов для острот. Отвечая товарищам, он всячески старался быть серьезным, но иногда не выдерживал и тоже прыскал, смешно подергивая своим большим носом.

Коллективный хохот усиливался.

Не смеялась, кажется, только его жена. Лишь изредка на смуглом лице Марии появлялась какая-то вымученная улыбка. Княгине Волконской не хотелось омрачать общий праздник.

Время, проведенное в Читинском остроге, принесло ей слишком много горя. «Я видела Сергея только два раза в неделю; остальное время я была одна, изолированная от всех, как своим характером, так и обстоятельствами, в которых я находилась, — писала Мария Волконская спустя три года. — Я проводила время в шитье и чтении до такой степени, что у меня в голове делался хаос, а когда наступили длинные зимние вечера, я проводила целые часы перед свечкой, размышляя — о чем же? — о безнадежности положения, из которого мы никогда не выйдем. Я начинала ходить взад и вперед по комнате, пока предметы, казалось, начинали вертеться вокруг меня и утомление душевное и телесное заставляло меня валиться с ног и делало меня несколько спокойней. Здоровье мое тоже тогда было слабо»[608].

В конце путешествия декабристы получили очередную почту из России — и из доставленных писем и газет узнали о революции во Франции. Мало что изменилось за прошедшие годы во взглядах большинства бунтовщиков. «Всю ночь то и дело раздавались среди наших песни и крики ура», — вспоминала княгиня Волконская [609].

Где-то заключенные раздобыли две-три бутылки «шипучего» и с ликованием выпили по бокалу (за «нее»). Для себя они сочли французский переворот «хорошим предзнаменованием»[610].

Особенно бурно восторгался падением Бурбонов Александр Поджио, итальянец по происхождению, бывший офицер лейб-гвардейского Преображенского полка, пылкий радикал и видный мужчина. (Между узниками ходили слухи о его успехах у петербургских дам; говорили и о том, что одна из влюбленных в Поджио особ будто бы даже постриглась в монахини после ареста красавца[611].)

Почти пятьдесят дней продолжался этот памятный поход.

23 сентября 1830 года государственные преступники вошли в «междугорие и теснины». Преодолев 634 с половиной версты, они достигли Петровского завода.

Глава 12
ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД

…Длинный ряд годов без всякой перемены в нашей участи.

М. Н. Волконская

В Петровском заводе нашей героине довелось провести целых шесть лет, однако документальных сведений о данном периоде жизни Марии Волконской сохранилось крайне мало. Только четыре страницы мемуаров княгини посвящены этим забайкальским годам, да и корпус ее напечатанных писем, отосланных отсюда, довольно скуден. Между тем время пребывания Марии Николаевны в заводе было отмечено рядом важных событий — как радостных для нее, так и привычно печальных.

«Петровский завод, большое заселение с двумя тысячами жителей, с казенными зданиями для выработки чугуна, с плавильнею, большим прудом и плотиною, деревянною церковью и двумя- или тремястами изб показалось нам, после немноголюдной Читы, чем-то огромным, — вспоминал один из декабристов. — Входя в него, мы уже могли видеть приготовленный для нас тюремный замок — обширное четвероугольное здание, выкрашенное желтой краской и занимавшее, вместе с идущим от боков его тыном, большое пространство; жилое строение, т. е. то, где находились наши казематы, занимало один фас четвероугольника и по половине боковых фасов. К ним примыкал высокий тын и составлял две другие половины боковых фасов и весь задний. Пространство между тыном назначалось для прогулок наших. В середине переднего фаса находились гауптвахта и вход во внутренность здания.

Все здание разделялось на двенадцать отделений; в каждом боку находилось по три; в наружном же фасе, по обеим сторонам гауптвахты, — шесть. Каждое отделение имело особый вход со двора и не сообщалось с другим. Оно состояло из коридора и пяти отдельных между собою номеров, из которых выходы были в общий коридор. Этот коридор был теплый, и из него топились

печи, гревшие номера»[612].

Марии Волконской эта построенная на болоте тюрьма — «в форме подковы, под красною крышею» — показалась громадной и мрачной[613]. «Вы расстроились при виде острога[614], — писала она вскоре после приезда, 12 октября 1830 года, своей сестре Е. Н. Орловой, — но если бы вы могли представить себе Петровск, я думаю, что ваш отклик был бы душераздирающим»[615].

К тому же здешние камеры для заключенных (числом 64) были очень душными и полутемными: каземат, по замыслу архитектора, не имел прорубленных наружу окон (в стенах существовали только небольшие, с железными решетками, отверстия, выходившие во внутренний тюремный коридор) и требовал «искусственного света днем и ночью»[616]. (Увидевшие такое жены преступников сразу же отправили энергичную петицию графу А. Х. Бенкендорфу, прося того исправить положение. В частных же своих письмах того времени они нарочито сообщали, как выразился начальник III Отделения, «кажется, преувеличенные о дурном будто бы помещении их в сем остроге известия, кои должны крайне встревожить и опечалить несчастных родственников их и произвести неблагоприятное впечатление на посторонних лиц»[617].) Однако в целом условия существования в Петровском заводе значительная группа декабристов сочла все-таки терпимыми.

Почти все женщины вскоре после переезда купили (или построили) дома вблизи каземата и образовали «европейскую колонию»[618]. Кое-кто из них разбил огороды, завел коров, лошадей и птицу. Так как большинство таковых усадьб находилось на одной улице поселка, то и улица стала называться среди политических преступников Дамской (La rue des Dames). (Правда, местные жители обычно величали ее «барскою» или «княжескою».)

Княгиня Волконская в первые же недели облюбовала и приобрела усадьбу («крестьянскую избушку») в стороне от подруг. На плане местности, который вошел в «Атлас казенных строений при Петровском заводе за 1842 год», видно, что жилище Марии Николаевны располагалось достаточно далеко и от Дамской улицы, и от тюрьмы. Участок, дом, хозяйственные постройки — все у Волконской, по другому чертежу, было весьма скромных размеров[619].

Изгнанница, как мы знаем, еще в Чите получила официальное дозволение жить вместе с супругом. Сразу же после перевода заключенных в Петровский завод генерал-майор Лепарский подтвердил, что правительственное разрешение остается в силе и,

более того, оно распространяется на всех жен декабристов. В рапорте, отправленном в Петербург 30 сентября 1830 года, старый комендант, в частности, доносил следующее:

> «В исполнение высочайше утвержденной моей инструкции статьи 10-й я дозволил всем девяти женам государственных преступников, при команде моей живущим, по настоятельной просьбе первых, проживать в казарме со своими мужьями, на правилах той же инструкции предписанных, определив им особые от холостых преступников отделения комнат, со дворами, имеющимися при оных внутри казарм. При том воспретил женам иметь детей при себе для того, что сии последние денно и ночно требуют особенного призрения, как то: ночью освещения комнат, когда с пробитием вечерней зари, повсеместно при запирании арестантских комнат тушится огонь, как равно и на кухне, где оный в случае болезни детей нужно было бы иметь для грения воды на ванны, припарки, приготовления лекарств и другие необходимые потребности к подаче помощи детям, чем совершенно изменяться должен в ночное время заведенный по общим постановлениям порядок. Детям же, с положенною для их присмотра прислугою, назначено мною находиться в купленных или нанятых матерями домах, куда им одним представлено ежедневно ходить, а в случае болезни детей или же их самих, в тех домах оставаться, до времени выздоровления»[620].

Мария Волконская не преминула воспользоваться предоставленным ей правом размещения в остроге, о чем сразу дала знать Лепарскому и подписала соответствующее письменное «обязательство». (В купленной же усадьбе хозяйничала девушка княгини.) «В первое время нашего пребывания в Петровском дамы по собственному желанию, чтобы не разлучаться с мужьями, были с ними в казематах и ходили на свои квартиры только утром, на несколько часов, чтобы распорядиться хозяйством, обедом и туалетом своим, — рассказывал Н. В. Басаргин. — Для большего удобства их помещения мы с радостью уступили им еще по номеру для каждой, так что женатые занимали два рядом номера, а некоторые из холостых разместились по два в одном»[621].

Сама княгиня впоследствии писала, что ходила в свою «избушку» разве что «переодеваться и брать ванну и доставляла себе удовольствие проводить ночь за тюремными затворами». «Уверяю вас, — добавляла она, — что слышать шум замков было

очень страшно. <…> Самое нестерпимое в каземате было отсутствие окон. У нас весь день горел огонь, что утомляло зрение. Каждая из нас устроила свою тюрьму, по возможности, лучше; в нашем номере я обтянула стены шелковой материей (мои бывшие занавеси, присланные из Петербурга). У меня было пианино, шкап с книгами, два диванчика, словом, было почти что нарядно»[622].

Семейству Волконских в Петровском каземате принадлежала камера под номером 54 — почти квадратная, имевшая 7 аршин длины и 6 ширины. В конце 1830-го или в самом начале 1831 года Н. А. Бестужев исполнил два акварельных рисунка данного помещения.

На одном из этих рисунков — тщательных, богатых интересными подробностями — художник, расположившись у глухой (внешней) стены, зафиксировал внутреннее убранство камеры. Ее пол, потолки и стены были сделаны из толстых досок. Слева от двери в коридор мы видим шкаф с множеством книг и этажерку с посудой; у другой стенки — огромную печь (она-то и топилась из коридора). В этой части интерьера присутствуют также изящное кресло и стул.

Другая акварель, рисованная Бестужевым со стороны двери в коридор, изображает Сергея Волконского и его жену. По всей вероятности, Мария Николаевна переслала оба бестужевских рисунка в Россию к родственникам (которые позднее заказали с них несколько копий). В памяти внука, князя С. М. Волконского, портрет деда и бабки в тюремном антураже запечатлелся так: «У меня была маленькая акварель, изображавшая эту камеру. Бревенчатые перегородки в одном углу обиты темно-синей материей, привезенной из Петербурга; у одной стены диван, перед ним круглый стол; у другой стены клавикорды, конечно, те самые, которые Зинаида[623] приказала подвязать к кибитке; за клавикордами княгиня Мария Николаевна с той же типичной прической; около клавикордов, прислонясь к стене, Сергей Григорьевич в арестантском халате. Над диваном портрет Николая Николаевича Раевского, над клавикордами на стене маленькие портреты, медальоны, миниатюры. Многие из этих портретов, несмотря на мелкий размер, легко можно узнать: они впоследствии вернулись из Сибири и висели у меня в „Музее декабристов“ и в моей комнате… Это изображение камеры № 54 интересно тем, что сделано до пробития окна…»[624]

Весьма любопытно произведение Николая Бестужева и по иным, не столь очевидным, причинам.

В одном из писем к сестре, С. Н. Раевской, Мария Волконская рассказала, что «над пианино» она расположила портреты

дорогих ее сердцу Раевских: «…Они все тут: мама, сестры, братья, недостает лишь портрета Элен»[625][626]. Более чем вероятно, что с Раевскими на дощатой стене мирно соседствовали и Волконские (прежде всех муж и свекровь). Однако обращает на себя внимание, что главное, наиболее почетное и фактически отдельное место в тюремной «экспозиции» было отведено портрету отца Марии, генерала Н. Н. Раевского-старшего. Этот «портрет в портрете» (или «текст в тексте») доминирует на акварели, является ее оптическим и, смеем думать, смысловым центром. Едва ли Волконский подолгу разглядывал изображение тестя, помещенное (словно в назидание или в качестве дамокловой кары) над диваном декабриста. Будь его, Сергея Григорьевича, воля — не выделили бы в 54-м номере этого старика с тяжелым взором столь откровенно, не сотворили из усопшего кумира. Но всем здесь, увы, верховодил не Волконский — а она, княгиня Мария Николаевна, урожденная Раевская…

Мария уже давно главенствовала в семье. Она — что в известной степени доказывает и помянутый отцовский портрет на стене — и в узилище *мужа* вела себя как полновластная хозяйка.

Как хозяйка — и как *княгиня*. Ясно, что Волконская следила не только за собственной одеждой и внешностью (о чем было сказано выше, в связи с ее портретом 1828 года). Благодаря усилиям Марии Николаевны, унылая камера каземата — «ее тюрьма», как она обмолвилась, — за считаные дни преобразилась и стала одновременно кабинетом, столовой, гостиной и спальней Волконских, приобрела и очевидную «нарядность» (с удовольствием отмеченную самой княгиней), и даже, сверх того, изысканность.

В такой камере допустимо принимать гостей, тут уместны аккорды итальянской музыки, кстати придется и небрежная французская речь. Нетрудно, к примеру, заметить, что наполняющая 54-й номер мебель хоть и не выдержана (по понятным причинам) в едином стиле, однако все-таки подобрана в тон. Художником открыта дверь не в то извечное семейное «гнездо», где милый патриархальный уют компенсирует вопиющие недостатки вкуса и средств, — но в благообразное, любовно ухоженное дворянское жилище, претендующее (конечно, со всеми «острожными» оговорками) на определенную «светскость». (В ее пользу говорят и явно не местного происхождения бокалы, и серебряный поднос, которые различимы на стоящей возле дивана тумбе.)

С трудом верится, что совсем рядом с этим жилищем, в том же Петровском заводе, обитают злодеи в тяжких оковах, «сосланные за важные преступления и наказанные кнутами, со

штемпельными знаками, одним словом, люди, по своему преступлению и в особенности по наказанию исключенные навсегда из общества, а потому и естественные враги его»[627]. (От подобных татей, не помнивших сделанное им «барынями» добро, порою, причем жестоко, страдали и жены декабристов.)

Бесспорно, Мария Николаевна Волконская, сидящая за музыкальным инструментом, нарисована художником неумело, но тем не менее она вполне органично вписывается в эту экзотичную для каторги обстановку. Княгиня чувствует себя здесь как дома, а вот ее супруг — нет. Сергей Григорьевич и одет вычурно, и действительно «совсем не похож на себя» — он какой-то *чужой*. К тому же и композиция акварели далеко не безупречна: зрителю может показаться, что декабрист, полуприкрытый Марией, замерший у клавикордов в странноватой позе изготовившегося к выступлению вокалиста, — вообще *лишний* на портрете. Без этого случайного человека, как будто *заслоненного* нашей героиней и мало чем напоминающего подлинного Волконского, бестужевская акварель стала бы много выразительнее.

Своими промахами рисовальщик непроизвольно нагадал скорое будущее этой дружной (с виду) семьи…

Мария Волконская не слишком-то долго обитала в стильном будуаре № 54. Весной 1831 года петербургские власти, рассмотрев обращение назойливых дам из Петровского завода, разрешили-таки сделать для заключенных желанные окна — и в каземате началась масштабная реконструкция.

Княгиня вынужденно переехала в свою «избушку». «Я уже несколько дней не живу в остроге, — сообщала она С. Н. Раевской 2 апреля. — Там производятся большие изменения — проделываются окна. Все номера будут оштукатурены…»[628] Как вспоминал Н. В. Басаргин, пока шел ремонт, «дамы перебрались на свои квартиры; мужьям позволили жить вместе с ними, а нас, холостых, разместили по нескольку человек вместе и переводили из неотделанного отделения в отделанное до тех пор, пока кончилось совсем исправление»[629].

Через два с половиной месяца Мария Николаевна известила сестру Софью, что «окна прорублены и дню позволено освещать тюрьму»[630]. Правда, в помещениях если и стало светлее, то ненамного: окошки были сооружены маленькие, вдобавок к этому комендант «придумал пробить их высоко, под самым потолком»[631]. Кое-кто из декабристов сызнова возроптал на заводское ведомство, однако княгиня Волконская, по завершении работ вернувшаяся в каземат на жительство, отозвалась о преобразованиях с похвалой. «Уже три дня, как я устроилась в

тюремной комнате Сергея, — писала Мария Николаевна свекрови 30 октября 1831 года. — Разница, которую я нашла в ней теперь по сравнению с прошлым годом, поразила меня. Все поправки удались, воздух чист; нельзя сказать, чтобы было совсем светло, но всё же света больше, нежели я надеялась в виду малого размера окон. В комнате сухо и температура хорошая»[632].

А вскоре, как неточно изъяснилась княгиня, семейным декабристам «было разрешено жить вне тюрьмы»[633]. Ее слова, скорее всего, надо понимать в том смысле, что государственным преступникам дозволили посещать своих жен и оставаться у них довольно продолжительное время. Случалось, что пришедшие к своим супругам заключенные неожиданно «заболевали» и гостили на Дамской улице по нескольку дней. В романтических походах за пределы острога «они сопровождались, однако же, конвойными»[634].

Убедившись в том, что теперь в «избушке» стало чересчур тесно, Мария Николаевна решилась строить в Петровском заводе собственный дом. Его возведение началось на Дамской улице, возле усадьб подруг княгини. Историк, изучивший в читинском архиве «Ситуационный план Петровскому заводу с показанием всех казенных и частных зданий, плотины, водопроводов и частию окрестностей» (1842), так охарактеризовал это владение Волконских: «Новая усадьба Волконских имела протяженность вдоль улицы 64 м, а в глубину — 50 м. Дом размерами в плане 19,2×16 м длинным пятиоконным фасадом был обращен в улицу. Шесть жилых комнат, просторная прихожая и кухня с подсобными помещениями отапливались четырьмя печами. Устроенный со двора вход вел в дом через тамбур. Окна были широкие, необычные для Сибири. В глубине двора имелся довольно большой (с двумя печами) флигель размерами в плане 16×7,2 м. Внутренний забор разделял усадьбу на две части. В одной находились дом и флигель, в другой — хозяйственные постройки»[635].

Дом княгини — одноэтажный, добротно рубленный, с четырехскатной, крытой тесом, крышей — был солидным, даже «очень хорошим домом»[636], однако он мало чем отличался от обычных жилищ горнозаводских чиновников, служителей или домов прочих изгнанниц (лишь Каташа Трубецкая соорудила себе хоромы в два этажа).

Во вновь отстроенном доме Волконская приютила на первых порах Камиллу Ле-Дантю, «прелестное создание во всех отношениях», дочь гувернантки, которая приехала (злые языки твердили: небескорыстно) в Петровский завод к декабристу В. П. Ивашеву. Их венчание состоялось в местной церкви 16

сентября 1831 года. На свадьбе княгиня Мария Николаевна и тучный Лепарский были посаженными матерью и отцом молодой четы.

Новоселье и бракосочетание произошли накануне больших перемен в жизни Марии Волконской.

«…Мы начали мало-помалу возвращаться к обычному порядку жизни, — вспоминала она, — на кухне мы больше не работали, имея для этого наемных людей, но солдат всегда был налицо и сопровождал повсюду заключенного, дабы тот не забывал своего положения. То же было и со всеми женатыми»[637].

По тогдашним заводским ведомостям значилось, что в услужении у жен декабристов состояло: в 1830 году — 18, а в 1832-м — 36 лиц мужского и женского пола[638]. С некоторых пор Мария Николаевна старалась не утруждать себя хлопотами по дому, много гуляла и читала. «Я получаю „Британское обозрение“, а также несколько русских журналов; до сих пор наши чтения удерживаются в достаточной мере на уровне образованности нашего времени», — сообщала она Зинаиде Волконской 25 декабря 1831 года[639].

Нашей героине в тот декабрьский день стукнуло двадцать шесть — ее женская молодость подходила к концу…

Завершались и каторжные сроки Волконского. 8 ноября 1832 года царь сократил их до десяти лет. Ждать освобождения бывшему князю оставалось совсем недолго.

Дни проходили быстро, буквально летели, и всякий наступивший очень походил на вчерашний. Отдельные заключенные откровенно признавались, что только баня в субботу и почта из России, вручаемая по воскресеньям, вносили в их нудное существование относительное разнообразие. Иногда оживляли тюремное бытие и конфликты, тайные и явные (вплоть до громких скандалов и даже ножей), столкновения лиц и целых «партий». С годами количество и периодичность размолвок в среде революционеров заметно возросли («исчезла та идеальность, которая одушевляла всех в тесном общем остроге читинском, <…> составился десяток кружков по родству, по наклонности характера», как дипломатично выразился А. Е. Розен[640]). «Каземат, представлявший до сих пор отдельный мир, вносивший нравственным влиянием новые понятия и чувства в мир внешний, стал видимо сливаться с ним и подчиняться сам его будничной жизни»[641].

Только внезапная кончина в ноябре 1832 года Александрины Муравьевой, «самой чистой, самой праведной» изгнанницы, потрясла и на какое-то (короткое) время вновь сплотила

заключенных. «Ее последние минуты были величественны, — вспоминала княгиня Волконская, — она продиктовала прощальные письма к родным и, не желая будить свою четырехлетнюю дочь Нонушку, спросила ее куклу, которую и поцеловала вместо нее. Исполнив свой христианский долг, как святая, она занялась исключительно своим мужем, утешая и ободряя его. Она умерла на своем посту, и эта смерть повергла нас в глубокое уныние и горе»[642].

Сергею Григорьевичу Волконскому, как и прочим декабристам, приходилось коротать время, «заниматься чем случится» и выполнять кое-какие положенные «уроки», преимущественно землеустроительные. Заключенные потихоньку рыли сточные канавы, приводили в порядок заводские дороги, зимой мололи ручным способом муку на расположенной рядом с острогом мельнице и т. д. Как правило, дневной «урок» давался им от начальства смехотворный, «который обыкновенно без большого усилия можно кончить в полчаса»[643].

А в «Записках» Н. В. Басаргина труд государственных преступников в Петровском железном заводе запечатлен так: «Бывало, нам самим странно было слышать, как унтер-офицер, обходя казематы, говорил: „Господа, не угодно ли кому на работу?“ Кто хотел, тот выходил, а нежелающие оставались покойно дома. Эти работы были неутомительны и очень часто прекращались на месяц и на два, под самыми пустыми предлогами: или по случаю сильного холода, сильного жара, дурной погоды, или существования повальных болезней. Они были те же, как и в Чите, т. е. молонье на ручных жерновах муки, и точно так же, как и там, приходившие на работу садились читать книги, газеты или играть в шахматы»[644]. По позднейшему сообщению И. Д. Якушкина, «мука нашего изделия была только пригодна для корма заводских быков»[645].

Вернувшись в тюремный замок после такой работы (продолжавшейся в общей сложности, с перерывом на обед и послеобеденный отдых, пять часов), каждый декабрист предавался собственным делам. Кто уходил в мастерскую или на диспуты в «академию»; кто читал, занимался научными исследованиями, музыкой и живописью; иные отдавали предпочтение врачеванию или поэзии, размеренным прогулкам по двору (в котором было 150 шагов длины и около 80 ширины) с трубками или нескончаемым чаепитиям. А Николай Бестужев, на все руки мастер, не только рисовал и увлекался механикой, но и делал кольца. («Каждая из нас носила кольцо из железа мужниных кандалов», — рассказывала Мария Волконская[646].) Многие в охотку трудились в так называемой «Большой артели»

— созданном самими заключенными «благодетельном учреждении», которое ведало их питанием, приобретением литературы и вещей, помощью неимущим и т. п. (Кстати, княгиня Мария Николаевна, по архивным данным, за период с 1830 по 1837 год пожертвовала на артельные нужды огромные деньги — свыше 15 тысяч рублей[647].)

Едва стаивал снег и подсыхала почва, Волконский устремлялся в заветные парники и на грядки. Однако тут, в Петровском заводе, ему фатально не везло: местные условия не выдерживали никакого сравнения с читинскими. Сколько бы пота ни пролил Сергей Григорьевич, что бы он ни высаживал, какие бы новейшие европейские руководства ни штудировал, — ему никак не удавалось добиться привычных урожаев. Прихотливые диковинные культуры, его конек, как назло, отказывались произрастать в неблагоприятном петровском климате. «Нужно всё терпение и постоянство заключенного в неволе человека, чтобы заниматься садоводством, как это делает здесь Сергей», — однажды деликатно написала Мария Николаевна брату, Н. Н. Раевскому-младшему[648]. В другом письме (к своей матери) она сообщила, что в парниках мужа «ничего не растет»[649].

Щадя самолюбие супруга, княгиня так и не предложила ему оставить этот сизифов труд. Между тем регулярные недороды тревожили декабриста, пожалуй, даже больше, чем вспыхнувший где-то кровавый польский бунт (в конце концов подавленный) или эпидемии холеры (пресловутой cholera morbus), которая посетила тогда многие губернии империи. Каждую осень, иступленно перекапывая неотзывчивую землю, просушивая клубни и семена, Волконский впадал в долгую хандру. Итоги очередного сезона были плачевны.

Стремительно развивавшийся ревматизм, ноющие боли в руке и шее только усугубляли его страдания.

В декабре 1834 года умерла мать декабриста, княгиня Александра Николаевна Волконская. (По вскрытии духовного завещания почившей нашли ее письмо к государю, «в котором она просила облегчить, после кончины ее, участь сына и вывезти его из Сибири, дозволив ему жить под надзором в имении»[650]. Однако император Николай Павлович не счел возможным удовлетворить это желание вполне и повелел лишь обратить осиротевшего каторжника на поселение.) Сестра Софья Григорьевна, которая и раньше не очень-то пеклась о несчастном брате, предпочитая думать о причитающихся ей родовых деньгах и хранить «непреклонное молчание»[651], отныне (как пишет О. И. Попова) и вовсе «надолго исчезла с горизонта С. Г. Волконского»[652].

Родственники жены по-прежнему относились к Сергею Григорьевичу более или менее холодно и тоже не стремились к сближению с ним. Весьма показательно в этом смысле письмо, датируемое началом 1830-х годов. «Я никогда не прощу ему, — писал к сестре в Сибирь Николай Раевский, — каково бы ни было его положение, безнравственности, с которой он, женившись на тебе в том положении, в котором находился, сократил жизнь нашего отца и был причиной твоего несчастья. Вот мой ответ, и ты никогда не услышишь от меня другого. Он всегда будет меня интересовать, но только ради тебя»[653].

Каторжные годы Сергея Волконского завершались — а наказание длилось. Видимо, только теперь он стал (и то смутно) догадываться, что искупал и искупает минувшее не только кандалами. Что кандалы! Ведь были на его веку после 1825 года, помимо оков (которые давно сняты), и могилы самых близких ему людей, и неслыханные унижения, и многое, очень многое другое. А в Петровском заводе заключенному открылось, что это, отпущенное и пережитое, еще далеко не все — и дряхлеющий, приближающийся к пятидесятилетию Бюхна, облаченный в арестантскую куртку[654], оказывается, приговорен также к бессрочному равнодушию многочисленной здравствующей родни.

Железа на ногах, право, сущая ерунда, детская «гремушка» в сравнении с остальным — непомерно тяжким, сжимающим сердце, всегдашним.

Но самое печальное открытие, сделанное тогда же Волконским, заключалось в том, что его верная жена Мария Николаевна все заметнее удалялась от него — и, похоже, смыкалась с равнодушными.

10 марта 1832 года княгиня Мария Волконская произвела на свет сына, которого окрестили Михаилом. В ее усадьбу (где при роженице в ту пору почти неотлучно находился Сергей Григорьевич) сразу же начали «сбегаться дамы», жившие поблизости, поступали шутливые письменные поздравления «с новым либералом»[655] из тюремного замка. Там, в камерах, декабристы распивали кофе по случаю «счастливого разрешения княгини»[656], радовались, что «мать чувствует себя хорошо и что малыш стал есть»[657]. В отсылаемых на Дамскую улицу записках они давали практические советы и предлагали Волконским всяческую помощь.

Несмотря на возражения супруга[658], Мария Николаевна сама кормила Мишу. Она была при младенце и «кормилицей, и нянькой, и (частью) учительницей»[659]. «Рождение этого ребенка — благословение неба в моей жизни, — писала княгиня

матери, — это новое существование для меня. <…> Теперь — всё радость и счастье в доме. Веселые крики этого маленького ангела внушают желание жить и надеяться»[660].

Брату Николаю Мария сообщала, что «Мишенька прелестное и красивое существо по словам всех, кто его видит». В том же письме княгиня признавалась: «Мишенька поглощает все мое время, все мои силы; этого достаточно, чтобы показать тебе, насколько они слабы; я занимаюсь только им, думаю только о том, что могло бы ему быть полезным или вредным, одним словом, — у меня ежеминутный страх за него, и в то же время я никогда не была так счастлива, никогда так не ценила жизнь, как в этот момент, когда могу посвятить ее ему»[661]. В другом послании она отмечала, что «его ум быстро развивается, и он привязан ко мне так, как только ребенок может быть привязан к матери»[662].

Накануне двухлетия «дорогого ангелочка», который «дает столько счастья», княгиня даже обиделась на брата: «Прошу тебя, дорогой Николай, говорить со мной о моем сыне каждый раз, как ты мне пишешь. Этого не было еще ни в одном твоем письме, что меня искренно огорчает»[663]. И огорчение Марии можно понять: ведь ей хотелось беседовать о своем ребенке с каждым, и беседовать бесконечно.

Примерно тогда же (за два дня до Пасхи) к С. А. Раевской (то есть к Мишиной бабушке) был направлен следующий отчет: «Миша здоров; он уже много говорит, произносит хорошо по-русски, по-английски и по-французски; на последних двух языках он знает по нескольку слов, но не может еще составлять фраз. Он очень хорошо ведет себя в продолжение нескольких дней, и его нежность ко мне поистине трогательна. Вчера вечером он тихонько играл в моей комнате и время от времени подходил ко мне, чтобы поцеловать мне ноги. Его крестный отец[664] прислал ему яиц всех цветов, покрытых лаком; он в восторге от них; это заинтересует его надолго»[665].

Весной 1834 года Н. А. Бестужев нарисовал портрет маленького Волконского, любимца всей петровской колонии. Правда, сеанс родители провели с «немалым трудом»: избалованный Мишенька никак не желал позировать, «посидеть на месте и двух минут». Эту акварель Мария Николаевна впоследствии отправила в Россию, к сестрам, и Раевские, по словам княгини, были «потрясены сходством» ребенка «с нашим обожаемым отцом»[666], то есть с почившим генералом.

А осенью 1834 года счастье Марии Волконской, и без того огромное, стало абсолютно «полным»: 28 сентября у нее, изрядно намучившейся, родилась дочь Елена (Нелли). В заочные крестные

матери девочки определили Елену Раевскую, сестру княгини. Едва оправившись, Мария Николаевна написала и отослала ей 13 октября 1834 года такое письмо:

«Добрая моя Елена, благословите вашу крестницу, любите ее так, как вы умеете любить. Боже мой, как я счастлива, что ее сохранила — я так боялась ее потерять; последние месяцы я была постоянно больна, и роды были очень тяжелыми: я страдала 24 часа. Но об этом я больше не думаю и всецело отдаюсь счастью заботиться о моей маленькой Елене и делать ее счастливой. Мне не позволяли кормить самой — я была в отчаянии. Ссылаясь на мою слабость, ее в продолжение двух дней кормила кормилица; я не могла это равнодушно видеть: как только она входила, я отвертывалась к стене и начинала плакать, как ребенок. Наконец на третий день появилось молоко, и я вступила в исполнение своих обязанностей. Начиная с этого момента я стала чувствовать себя хорошо, и теперь я вполне здорова»[667].

Разумеется, и Нелли, «девочка такая внимательная, добрая», сразу же была объявлена матерью «просто ангелом»[668]. «Что касается меня, — сообщала княгиня Елене Раевской 14 декабря 1834 года, — я точно курица с цыплятами, бегающая от одного к другому. Когда я с Мишей — меня беспокоит Неллинька; возле нее я боюсь, чтобы другой не приобрел гадких привычек от окружающих»[669].

Изучавшая переписку нашей героини О. И. Попова характеризует эти годы следующим образом:

«По мере того как росли дети М<арии> Н<иколаевны>, росла, казалось, и ее привязанность к ним. Письма ее того времени полны описаниями их жизни, наблюдениями над детской психологией, связанной зачастую с характером их сибирского быта. Она рассказывает о том, как неутешно плакал маленький Миша, узнав, что проспал ночной переполох по поводу троекратного посещения волка, и не успокоился до тех пор, пока не взял с матери слова, что на будущее время она разделит с ним все опасности, которым они будут подвергаться. Она жалуется сестре Елене на то, что дочь ее растет настоящей маленькой сибирячкой, „говорит только на местном языке: ‘пошто’, ‘тамока’, ‘нетука’, ‘евон-евон’, и нет никаких средств отучить ее от этого“. Или пишет о ее детских и наивных вопросах: глядя на заходящее солнце, Нелли спрашивает мать: „Мама, солнце в рай ложится, что ли?“, или начинает уверять ее, что „матери не могут умирать, потому что у них дети есть“»[670].

«Я жила только для вас, я почти не ходила к своим подругам. Моя любовь к вам обоим была безумная, ежеминутная» — с такими исповедальными словами, адресованными собственным

детям, сталкиваемся мы на одной из страниц мемуаров княгини[671].

При едва ли не всецелой поглощенности воспитанием Миши и Нелли чувства Марии Николаевны, питаемые ею к мужу, должны были претерпеть определенные — и значительные — изменения. Душевная близость между супругами, с таким трудом добытая (а частично и придуманная), отныне исчезла. Княгиня начала относиться к Сергею Григорьевичу более прохладно, заметно сократила время общения с ним и заботилась теперь о Волконском далеко не столь энтузиастически, как прежде, а скорее по инерции.

Подобные «послеродовые» психологические коллизии легко объяснимы, они весьма распространены в супружеской практике и возникают из века в век даже в семьях вполне благополучных и тактичных. Обычно гармония, однажды куда-то пропав, позже все-таки возвращается в разрастающиеся семьи, и выдержавшие испытания браки становятся еще крепче, обретая вдобавок новое качество — мудрость. Однако у Волконских в первой половине 1830-х годов сложилась гораздо более неординарная и щекотливая, нежели описанная, семейная ситуация.

Все смешалось в их доме — и посему надежд на скорое преодоление кризиса и возврат к status quo ante почти не было.

Не было, ибо в Петровском заводе в жизнь княгини на каком-то этапе вошел *другой человек* — и постепенно занял в ней важное (возможно, даже *очень* важное) место. (Повествование обо всем этом ожидает нас впереди.) Так что охлаждение Марии Николаевны к Сергею Волконскому было обусловлено не только рождением детей, а сразу *двумя* крайне серьезными факторами.

Семейный кризис Волконских, увы, имел явные признаки кризиса глубокого и непреходящего, как стали говорить потом — *системного*.

«Имя мужа теперь почти совсем исчезает со страниц ее писем, — утверждает О. И. Попова, — оно упоминается лишь изредка и то по какому-нибудь незначительному поводу»[672]. (Добавим к этому, что поводом в большинстве случаев были упрямые занятия Волконского садоводством.)

Характерно и другое: для переписывающейся с родней Марии ее супруг — уже не «обожаемый» или «дорогой», он даже не «бедный», как некогда в Благодатске или Читинском остроге, а просто «Сергей». Еще показательнее радость княгини в связи с тем, что бесценный Мишенька похож не на Волконского, а на своего деда, покойного генерала Раевского-старшего. «Чертами лица он напоминает нашего обожаемого отца, — сообщила она 18 февраля 1833 года брату Николаю. — Это сходство делает его для

меня еще дороже»[673]. В другом письме Мария повторила ту же, любезную ей, мысль: «Его сходство с нашим обожаемым отцом поразительно, я этим очень горда и счастлива»[674].

Мария Волконская, скорректировав в Петровском заводе свои программные установки и обозначив новые жизненные приоритеты, поставила супруга перед непростым выбором: как ему, мужу *de jure,* существовать дальше?

Посокрушавшись и поразмыслив, Сергей Григорьевич Волконский предпочел не бунтовать, а смириться — и быть пусть даже сбоку-припеку, но все же *при жене.* Про себя он тогда же решил, что готов снести все, любое *de facto* — лишь бы не потерять Марию Николаевну, Машеньку, свою спасительницу, окончательно.

Ему опять повезло: памятуя о будущем детей, не помышляла о громком разрыве и княгиня.

На том Волконские, однажды побеседовав откровенно и спокойно, без бурных мелодраматических сцен, и сошлись. Договорились впредь всемерно уважать друг друга и соблюдать на людях *«приличия».*

Еще с 1831 года декабристы, завершавшие положенные им сроки каторжных работ, стали один за другим переводиться на поселение и оставлять Петровский завод. «Каземат понемногу пустел, — писала наша героиня, — заключенных увозили, по наступлении срока каждого, и расселяли по обширной Сибири. Эта жизнь без семьи, без друзей, без всякого общества была тяжелее их первоначального заключения»[675].

По императорскому указу от 24 июня 1835 года освободили от заводской работы и злоумышленника I разряда Сергея Волконского. Таким образом, он пробыл в каторге в общей сложности девять лет вместо изначально объявленных двадцати.

Тем же указом декабристу было высочайше предписано поселиться «в собственном доме» на Дамской улице — до тех пор, пока правительство не подыщет для него подходящего пристанища за Уралом.

Однако «вопрос об избрании места для поселения оставался нерешенным в течение почти двух лет, и С. Г. Волконский и его семья, находясь в Петровском заводе и томясь в ожидании, недоумевали, чем объяснить эту отсрочку в исполнении царской милости»[676]. (Много позже из оглашенных материалов III Отделения выяснилось, что царь Николай I тогда пожелал, дабы для указанного важного лица «избрано было такое место, где не поселено ни одного из других государственных преступников»[677]. Чиновники различных рангов перебрали массу вариантов,

исследовали списки всех поселенных в губерниях Иркутской, Тобольской, Енисейской и Томской декабристов, но так и не смогли придумать ничего путного. В какой-то момент, отвергнув Курган, Ялуторовск, Баргузин и прочие города и веси Сибири, они почти вынудили бывшего князя остаться «свободным от работ» в Петровском заводе. Перспектива такого исхода дела «повергла в отчаяние» и Волконского, и еще более его жену.)

Весною 1836 года ревматические боли вконец одолели Сергея Григорьевича, и он, обессилев, долго не покидал постели. Для прохождения лечения Волконскому было дозволено выехать с семейством на Тункинские минеральные воды, расположенные в 180 верстах от города Верхнеудинска. Накануне этого путешествия княгиня Мария Николаевна, не желавшая прозябать в Петровском заводе и дальше, обратилась к А. Х. Бенкендорфу с пространным посланием. Она (по словам сына) твердо знала, что «граф Бенкендорф относился сердолюбиво к декабристам и другим политическим преступникам, смягчая их участь, насколько позволяли обстоятельства того времени, и вообще отличался благородством и прямотою характера»[678]. Настроенная весьма решительно, Волконская, в частности, писала ему:

> «Граф, в выборе, нам предложенном, я вижу только милостивое отношение Его Величества к памяти моей свекрови. Благоволите выразить мою глубокую признательность Его Величеству и взять на себя в то же время труд исходатайствовать единственную для нас милость быть поселенными в том же месте, где поселен доктор Вольф[679], или поблизости его, верстах в 5–10, чтобы можно было пользоваться его медицинской помощью. Одна мысль о неимении под рукою человека науки для ухода за моими детьми заставит меня постоянно трепетать за их жизнь и отравит мою собственную. Я не знаю, где он поселен, но если в окрестностях Иркутска, то это было бы наибольшим для меня счастьем, так как исполнение моей просьбы не встретило бы затруднения. Граф, будьте защитником моего ходатайства, которое не имеет иной цели, как обеспечить матери жизнь ее детей, и верьте чувству благодарности, которую я сохраню к Вам во всю мою жизнь»[680].

На Тункинских целебных водах Волконские пребывали свыше двух месяцев и вернулись («под надзором двух казаков») в Петровский завод в конце июля 1836 года. «Мария Николаевна с

семьей здоровы, — сообщала М. К. Юшневская уехавшей в Туринск К. П. Ивашевой. — Сергей Григорьевич возвратился, но всё страдает рукой и очень, бедный, жалуется, но цвет лица у него поправился, и он очень пополнел, несмотря на сильную боль руки и шеи»[681].

В те же летние дни судьба Волконских решилась в Петербурге окончательно. Граф А. Х. Бенкендорф, получив настойчивое ходатайство Марии Волконской, не положил бумагу под сукно, а при первом удобном случае сделал соответствующий доклад государю и уже 7 августа отписал генерал-губернатору Восточной Сибири следующее:

«Государь Император, снисходя к просьбе жены государственного преступника Волконского, всемилостивейше повелеть соизволил поселить Волконского в Иркутской губернии в Уриковском селении, куда назначен государственный преступник Вольф, бывший медик, который поныне оказывал пособие Волконскому и его детям в болезненном их положении»[682].

Любопытно, что в мемуарах княгиня Волконская скромно умолчала о своем обращении к высшему начальству и представила дело несколько иначе: «Муж заранее просил, чтобы его поселили вместе с Вольфом, доктором и старым его товарищем по службе; я этим очень дорожила, желая пользоваться советами этого прекрасного врача для своих детей…»[683]

Итак, осенью 1836 года Волконские наконец-то получили возможность тронуться в путь. Однако сняться семейству с обжитого места оказалось не так-то просто. Значительное время у Марии с мужем отняли, по традиции, всяческие бюрократические и имущественные дела (в том числе продажа домов заводскому ведомству[684]). Потом поочередно болели Мишенька и Нелли, а когда дети пошли-таки на поправку, сказала свое веское слово сибирская природа. И 18 ноября генерал-губернатору С. Б. Броневскому пришлось оправдываться и доносить начальнику III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, что «назначенный на поселение в Уриковское селение Волконский, по причине болезни детей и по невозможности переправиться через Байкал, впредь до закрытия оного льдом, приостановлен в Петровском заводе»[685].

В итоге супруги были вынуждены зазимовать в опостылевшем «междугорий».

Здесь до Марии Волконской дошло еще одно горькое известие.

На исходе февраля 1837 года в Петровский завод возвратился из отпуска, проведенного в северной столице империи, штабс-капитан В. В. Розенберг, который служил в Нерчинском комендантском управлении (у генерал-майора С. Р. Лепарского[686]) на должности плац-адъютанта. Этот офицер поддерживал ровные, а то и приятельские отношения с некоторыми декабристами, например, с И. И. Пущиным, и по приезде не преминул посетить декабриста в его 14-м номере каземата[687].

«Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге, — вспоминал Пущин в „Записках о Пушкине“. — Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и пр. Розенберг выслушал меня в раздумье и наконец сказал: „Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга“».

Далее «Большой Жанно» указал: «Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере…»[688]

Разумеется, в тот же день, в те же часы проведали о кончине поэта и на Дамской улице — и загулявшие заводские работники видели в одном из «барских» домов огонь, непонятно почему горевший среди глубокой ночи…

А спустя несколько дней (скорее всего, уже в марте, перед самым отъездом в Урик) Мария Волконская получила пространное письмо (на французском языке) из Москвы, датированное 10 февраля 1837 года. Автором эпистолии была Екатерина Ивановна Раевская (урожденная Киндякова) — жена Александра Раевского, брата нашей героини. (Княгиня регулярно переписывалась с ней начиная с 1835 года и в письмах сблизилась с невесткой, называла свою корреспондентку «доброй и дорогой сестрой», «ангелом», «дорогой Катит».) Благодаря этому февральскому посланию (под «№ 32») хорошо осведомленной Е. И. Раевской, в целом довольно верному (за исключением ряда неточностей в деталях), Мария Николаевна узнала многие подробности недавней петербургской трагедии.

Вот что рассказали ей три листка голубоватой тонкой бумаги (которые были обнаружены только в конце XX столетия в семейном архиве Волконских в Пушкинском Доме).

«Я должна сообщить вам печальное известие, — писала в Сибирь Е. И. Раевская. — Наше отечество понесло большую

утрату. Только что после ранений на дуэли скончался Пушкин. Это грустная история, которую я вам пытаюсь рассказать. Молодой иностранец, четыре года назад вступивший в русскую службу, Дантес, приемный сын голландского министра д-Экерна, ухаживал за женой Пушкина. Пушкин, недовольный ухаживанием за своей женой, решил закрыть перед ним дверь своего дома и был очень удивлен, застав его там несколько дней спустя. Он спросил его, что означает подобное поведение, и Дантес ему ответил: я влюблен в Вашу belle-sœur[689] и пришел просить у Вас ее руки. Пушкин нашел свою belle-sœur, сообщил ей о предложении Дантеса. Она сразу же согласилась выйти за него замуж. Пушкин со своей стороны не чинил никаких препятствий. Но в то же время он объявил, что по-прежнему не желает его принимать у себя, даже после свадьбы, которая состоялась. Через некоторое время Пушкин получил множество анонимных писем, одни более злые и мерзкие, чем другие. Они вывели его из себя, а разговоры Дантеса для тех, кто хотел ему внимать о том, что он ненавидит свою жену и по-прежнему влюблен в m-me Пушкину, не могли его успокоить».

Развязку пушкинской истории Екатерина Ивановна изложила так:

> «Со своей стороны m-me Пушкина допускала некоторую неосторожность, разрешая Дантесу приближаться к ней на балах, где они оба бывали. Неизвестно, что именно окончательно вывело Пушкина из себя, но, наконец, он написал ужасное письмо старому Экерну, в котором предупреждал, что, если его приемный сын будет продолжать отказываться от дуэли с ним, он объявит его трусом и будет вести себя с ним как с трусом на балу у графини Разумовской, на который все они были приглашены. Но туда никто не пришел, кроме Пушкина. Моя сестра, с которой он разговаривал, потом нам написала, что, видя его столь веселым, она никогда не могла бы даже заподозрить, что он собирается послезавтра драться. Действительно, дуэль состоялась 27-го; Дантес стрелял первым и ранил Пушкина ниже сердца. Пушкин упал, и, когда Дантес подбежал, чтобы ему помочь, он ему сказал: „Не здесь Ваше место, за мною выстрел“. И так как он был слишком тяжело ранен, чтобы подняться, он стрелял лежа и, увидя также упавшего Дантеса, сказал: „Я знаю, что я мертв, но и он тоже не будет жить“. — „Он будет жить, — отвечал Даршиак, который был секундантом Дантеса, — он

ранен лишь легко“. И в самом деле, Дантес был ранен только в руку, а рана Пушкина признана смертельной.

После страшных мучений он скончался 29-го. Он позвал свою жену и сказал ей, что знает — она не виновна, это несчастное стечение обстоятельств, которое принудило его драться. Он написал Государю: тот ответил ему запиской, полной доброты, что он не должен беспокоиться за своих детей, которым сам станет отцом. В самом деле, Государь сделал безгранично много для них. Сначала он дал 10 тысяч рублей на похороны бедного Пушкина, он оплатил все частные долги, освободил его имение от долга в ломбард, обеспечил пенсией в 11 тысяч рублей его вдову и детей, а сыновей он поместит в пажеский корпус, когда они достигнут того возраста, в котором туда принимают.

Не правда ли, это прекрасный жест Государя в отношении человека, на поведение которого он мог сетовать.

Огромная толпа собралась на похоронах Пушкина. Эта печальная история у всех на устах, пытаются найти автора анонимных писем, но до сих пор все поиски не увенчались успехом…»[690]

Ниже москвичка писала уже о другом, несущественном…

Конечно, основания сетовать на поэта имелись не только у великодушного царя, но и у Марии Волконской. Однако княгиня, читая письмо из Первопрестольной, напрочь забыла о своих обидах — и тихо плакала.

Потом она достала сердоликовый «перстень верный» и долго, как будто с кем-то или с чем-то прощаясь, на него смотрела.

Вот и ушли ее «златые дни».

Марии хотелось зарыдать в голос: она потеряла человека, которого любила и который был с нею, можно сказать, *рядом* во все эти сибирские годы.

Глава 13
ПУШКИН

Он <… > до нас не доехал.

М. Н. Волконская

Да, любезный читатель, все было именно так: начиная с первых месяцев пребывания за Уралом Мария Волконская поддерживала-таки неафишируемую связь с Пушкиным — и получала от поэта (кстати, находившегося под пристальным надзором тайной полиции и не раз объяснявшегося с властями по поводу своих «декабристских» контактов) самые разнообразные, подчас неожиданные, весточки. По письмам Марии Николаевны, адресованным в Россию, мы узнаем об этом вот что.

Спустя полгода после прибытия в Благодатский рудник (и накануне переезда декабристов в Читинский острог) княгине была доставлена посылка из Москвы, от В. Ф. Вяземской. Вера Федоровна отправила своей приятельнице кое-какие вещи, переданные Е. Н. Орловой, и присовокупила к ним пакет с книгой. Когда Мария Николаевна развернула его, то обнаружила внутри пушкинскую поэму — видимо, новинку 1827 года: «Цыган» или (что менее вероятно) «Братьев разбойников»[691]. Конечно, Волконская была рада, но самым важным для нее, несомненно, было то, что обертку книги надписал *сам автор.*

Так Пушкин исхитрился передать Марии свой *собственный* привет издалека.

Тогда же, а именно 12 августа 1827 года, благодарная Мария Николаевна написала В. Ф. Вяземской ответное послание:

«Постоянное свидетельство Вашей дружбы ко мне глубоко трогает меня, дорогая и добрая княгиня; как Вы любезны, что переправляете мне посылки сестры моей Орловой, это доказывает, что я часто присутствую в Вашей памяти; но почему не доказать это мне более осязательно, письмом? Я с радостью узнала Ваш почерк, так же как и почерк нашего великого поэта на пакете, в котором находилась присланная Вами книга. Как я благодарна Вам за это любезное внимание с Вашей стороны. Как радостно мне перечитывать то, что так восхищало нас в более счастливые времена».

Далее жена декабриста коротко рассказала о собственной сибирской жизни, заботах о «страдающем» муже, вновь попросила «дорогую сестру» писать ей и в заключение даже попробовала шутить с корреспонденткой: «Нежно целую Ваших прелестных

малюток. Надеюсь, что Ваша маленькая успокоилась на мой счет и что она больше не думает, что меня ссылают в Сибирь за воровство»[692]. В тот день к Волконской ненадолго вернулось хорошее расположение духа, и она, как в свои безмятежные годы, была оживлена и почти весела.

Следующий известный нам эпистолярный диалог Марии Николаевны с поэтом был вызван стихотворной эпитафией, которую сочинил Пушкин для надгробного памятника в Петербурге ее сыну, Николеньке Волконскому:

> В сияньи, в радостном покое,
> У Трона Вечного Творца,
> С улыбкой он глядит в изгнание земное,
> Благословляет мать и молит за отца[693].

Стоит обратить внимание, что Пушкин в заключительном стихе эпитафии, похоже, *разделил, разъял* (если не противопоставил) супругов Волконских. Это немаловажное обстоятельство было отмечено исследователями, кажется, еще в начале XX столетия[694].

Характерно, что в мемуарах княгиня Волконская сообщила, будто данный «надгробный мадригал» прислал ей в Читу сам автор[695]. На самом деле это сделал Н. Н. Раевский-старший, сопроводив пушкинскую эпитафию таким письмом от 2 марта 1829 года: «Хотя письмо мое, друг мой Машенька, несколько заставит тебя поплакать, но эти слезы будут не без удовольствия; посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным; он подобного ничего не сделал в свой век». Послание старого генерала к дочери завершалось словами: «Это будет вырезано на мраморной доске»[696].

Мария Волконская ответила родителю 11 мая — и заодно обратилась к Пушкину: «Я читала и перечитывала, дорогой папá, эпитафию на моего дорогого ангела, написанную для меня (! — *М. Ф.)*. Она прекрасна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так много (! — *М. Ф.)*. Как же я должна быть благодарна автору! Дорогой папá, возьмите на себя труд выразить ему мою благодарность…»[697]

Воспользовавшись тем же грустным поводом, княгиня по прошествии четырех с половиной месяцев вновь «напомнила о себе» поэту. На сей раз она сделала это через брата Николая. «В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие, напоминая о себе своим старым знакомым, — читаем в ее письме к Н. Н. Раевскому-младшему от 28 сентября, — напомни, однако, обо мне А<лександру>

С<ергеевичу>. Я поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николеньки: суметь удовлетворить скорбную мать, это — настоящее доказательство его таланта и его умения чувствовать»[698]. (Выписка из этого письма, доставленная Раевскими по назначению, сохранилась в пушкинском архиве[699].)

В 1830 году княгиня дважды завела речь о поэте в письмах к В. Ф. Вяземской. В начале июня Мария Николаевна получила от подруги посылку (отправленную, вероятно, вместе с письмом Веры Федоровны от 20 марта, которое не дошло до нас) с первыми номерами «Литературной газеты». Их, в связи с отъездом издателя А. А. Дельвига, редактировал Пушкин.

В «Газете» жена декабриста увидела, среди прочего, отрывок из Путешествия Онегина (начиная со стиха: «Прекрасны вы, брега Тавриды» и кончая стихом: «Зарему я воображал…») и пушкинские «Станцы» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). А в отделе «Смесь» первого номера (от 1 января) была напечатана (правда, анонимно) рецензия, посвященная некрологической брошюре о генерале Н. Н. Раевском-старшем (который скончался в 1829 году). Автором данной библиографической заметки тоже был Пушкин. Поэт не слишком высоко оценил эту «Некрологию» и, в частности, упрекнул автора сочинения (М. Ф. Орлова, зятя покойного): «Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812-м году!.. Отечество того не забыло» *(XI, 84)*.

Внимательно ознакомившись с полученными изданиями, Мария Волконская (готовившаяся тогда стать матерью) сообщила В. Ф. Вяземской 13 июня 1830 года из Читинского острога:

«Ваше любезное письмо от 20 марта доставило мне истинное удовольствие, дорогая княгиня, и если мне чего-то и не хватало, так это подробностей о Вас и Вашей семье. Прошу Вас быть моим предстателем у Вашего мужа и у всех тех, которые Вам поручили передать мне их любезное и доброе воспоминание. Ваша неистощимая доброта служит мне порукой, что чувства моей благодарности и уважения к ним будут ими восприняты так, как я этого желаю».

Потом Волконская перешла к изданию Дельвига-Пушкина: «Присылка „Литературной газеты“ доставляет мне двойное утешение: вновь увидеть имена любимых писателей моей родины и получать некоторые сведения о том, что делается в мире, к которому я уже не принадлежу. Прошу их и впредь проявлять ко мне то же участие, продолжая присылать мне свои произведения,

продлевать, могу сказать, счастливые мгновения, какие они мне уже доставили. Может быть, это с моей стороны и нескромно: но я хотела бы подписаться у Вас не только на этот год, но и на всё время нашей ссылки. Поблагодарите тех, кто сумел принести дань уважения моему отцу, его памяти. Я разделяю их справедливое недовольство его биографом: он многое опустил или забыл. Я прочитала заметку с живейшей благодарностью и с глубоким чувством скорби, которое покинет меня лишь с последним вздохом».

Не приходится сомневаться, что эти хвалебные слова были переданы автору заметки. Равно как и последующие:

«Прошу Вас, добрая и дорогая княгиня, поклониться от меня в особенности Вашему мужу и Пушкину, умоляю Вас непременно передать им выражение моего глубокого уважения. Обяжите их, ради Бога, посылать мне все их новые произведения и какие-нибудь другие литературные новинки, если это не будет им сколько-нибудь в тягость»[700].

Нетрудно догадаться, что последняя фраза Волконской была иносказательным призывом к *постоянной* переписке.

Второе письмо Марии Волконской, отправленное В. Ф. Вяземской в 1830 году (уже из Петровского завода), еще более любопытно. Перед тем как написать его, Мария Николаевна получила очередную посылку от княгини со свежими (мартовскими) номерами «Литературной газеты». Кроме того, Вера Федоровна сообщила сибирской узнице новое пушкинское стихотворение — «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», тогда еще не изданное. (Автор переписал его для княгини Вяземской в начале июня, гостя в Остафьеве.) В сопроводительной эпистолии Вяземская также поведала, что поэт наконец собирается жениться и эти стихи адресованы его невесте, Н. Н. Гончаровой (они были помолвлены 6 мая 1830 года)[701]. Прочитав все присланное, Мария Волконская 19 октября ответила Вяземской в довольно резкой, совсем не свойственной их переписке, форме. Ее письмо сохранилось в копии (сделанной рукой А. В. Поджио), а интересующая нас часть содержит такие строки: «<…> Так как я обязана Вам несколькими литературными новинками, я должна о них поговорить с Вами, предварительно поблагодарив Вас за них.

Вы сочтете меня слишком поспешной в своих заключениях, но „Литературная газета“, содержавшая в первых листах статьи, достойные Гизо и Вильмена, а также замечательные мысли, опустилась до отрывков из романов малоизвестных или, вернее, мало достойных известности. Делаю исключение для „Монастырки“, т. е. для трех писем, очень удачно включенных в „Газету“[702]. Я очень обязана Вам за аккуратность, с какой Вы

пересылаете газету, равно как и за стихотворение нашего великого поэта. Признаюсь, что я злоупотребила Вашим доверием и сообщила его здешним».

И тут, перейдя к «свободному и своеобразному» (Т. Г. Цявловская) анализу пушкинских стихов (якобы сочиненных счастливым женихом для своей избранницы), Мария Волконская не смогла сдержать своих чувств и невольно *выдала себя.* Ее *стихийная* вспышка ревности выразилась в неприкрытом, весьма огорчительном для Вяземской, сарказме:

«В первых двух стихах поэт пробует свой голос. Извлекаемые им звуки, нет сомнения, очень гармоничны, но не имеют отношения к дальнейшим мыслям, столь достойным нашего великого поэта, и, судя по тому, что Вы пишете мне, достойным предмета его вдохновения. Эти мысли так новы, так привлекательны, они возбуждают в нас восхищение, но окончание — извините меня, милая Вера, за Вашего приемного сына, — это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор, который нам приятен потому, что доказывает, насколько поэт увлечен своей невестой, а это для нас залог ожидающего его счастливого будущего. Поручаю Вам передать ему наши искренние, самые сердечные поздравления…»[703]

Почти четыре года минуло после свиданий Марии с Пушкиным в Москве и ее поспешного удаления из Белокаменной, — но время ничуть не излечило сердечных ран княгини…

Допускаем, что Волконская, знакомя находившихся в Петровском заводе декабристов и их жен с пушкинским «французским мадригалом», прибегла к столь же едким, на грани приличия, комментариям. Ах, если бы Мария Николаевна тогда знала, в какое заблуждение ненароком ввела ее подруга из столицы и кто был подлинной вдохновительницей стихов…

Вяземская же, получив письмо княгини от 19 октября, не без оснований обиделась на «приемного сына» и прочие чисто женские («их пол таков»; *VI, 179)* шпильки. Обиделась — и враз прекратила переписку с Сибирью.

Таким образом, Пушкин и Мария Волконская в конце 1830 года лишились очень нужной посредницы, которая в течение нескольких лет обеспечивала их эпизодическое эпистолярное общение.

20 марта 1831 года Мария Николаевна сообщила Зинаиде Волконской: «<…> Вера Вяземская перестала мне писать с тех пор, как я назвала стихи ее приемного сына, обращенные к его невесте, любовным вздором или же мадригалом, „что не любить оно не может“».

Судя по этим словам, Мария Волконская и спустя полгода по-прежнему остро переживала известие о появлении у Пушкина невесты и дословно помнила свое октябрьское послание к В. Ф. Вяземской. Гордая и упрямая, она не собиралась смягчать прошлогодних оценок. (Волконская еще не ведала, что месяцем ранее, 18 февраля, Н. Н. Гончарова стала в Москве женой поэта.) Правда, в том же письме к княгине Зинаиде жена декабриста более взвешенно отнеслась к пушкинскому «Борису Годунову», который был напечатан в конце декабря 1830 года и уже попал к каторжникам в Петровский завод:

«„Борис Годунов“ вызывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой, энергией, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая очаровывала меня прежде, той неподражаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра…»[704]

Из приведенных строк видно, что княгиня считала «Годунова» новейшим произведением (трагедия же была завершена автором в 1825 году). Ясно, почему «прежняя» пушкинская поэзия «очаровывала» Марию Николаевну больше: ведь там, в «той поэзии», зачастую присутствовала она. Должно также отметить, что отзыв Волконской о «таланте» Пушкина удивительным образом почти совпал с его собственным мнением, выраженным в черновом (и, как думают пушкинисты, неотправленном) письме на французском языке к Н. Н. Раевскому-младшему (оно датируется второй половиной июля 1825 года): «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» *(XIII, 198, 542)*.

А получив и прочитав «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.», которые вышли в свет в октябре 1831 года, Мария Волконская в письме к сестре С. Н. Раевской от 19 февраля 1832 года отозвалась о них так: «<…> Повести Пушкина, так называемого Белкина, являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Всё в ней картина. Он открыл новые пути нашим писателям»[705].

До княгини временами доходили и другие известия о Пушкине. Главными ее осведомителями были Раевские. Они более или менее регулярно общались с поэтом, их семейная переписка содержит множество упоминаний о нем[706], поэтому можно не сомневаться, что такими новостями Раевские охотно делились и с Марией Николаевной.

Эпистолярных высказываний Волконской о «Евгении Онегине» мы почти не знаем. Известно, правда, что в письме к

С. Н. Раевской от 15 июня 1828 года (из Читы) княгиня просила поблагодарить Екатерину Орлову за присылку «Северных цветов» и пушкинского романа в стихах[707]. По-видимому, незадолго перед тем она получила в подарок от старшей сестры четвертую и пятую главы «Онегина» (выпущенные под одной обложкой в конце января — начале февраля), или песнь шестую (вышедшую из печати 23 марта)[708], или сразу оба указанных петербургских издания.

Судя по всему, Александр Пушкин — вначале холостой, а позднее и женатый — написал о Марии и для нее несравненно больше.

После отъезда Марии Волконской в Сибирь поэт еще короче сошелся с «семейством почтенного Раевского». Особенно близок и дорог стал ему «старый друг» Н. Н. Раевский-младший. С ним Пушкин встречался в Петербурге и на Кавказе, часто советовался и по творческим, и по житейским вопросам, был предельно доверителен и обсуждал все, включая «киевские и каменские обиняки» *(XIV, 46, 395)*.

В пушкинских рукописях второй половины 1820-х годов исследователи выявили по меньшей мере пять изображений Николая Раевского[709]. В переписке поэта также есть немало любопытных строк о нем. Так, 18 мая 1827 года он оповестил брата Льва: «Из П<етер>Б<урга> поеду <…> в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского» (*XIII, 329)*. В письме к А. Х. Бенкендорфу от 10 ноября 1829 года Пушкин назвал Николая Николаевича «другом детства» *(XIV, 51, 397;* подлин. на фр.). Еще одно его послание к графу, датируемое 24 марта 1830 года, содержало такие строки: «Я предполагал проехать из Москвы в свою псковскую деревню, однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, убедительно прошу Ваше превосходительство разрешить мне съездить туда с ним повидаться» *(XIV, 73, 403;* подлин. на фр.)[710]. А нечаянную встречу с другом в Москве поэт красочно описал жене 2 сентября 1833 года *(XV, 77)*.

Напомним и о том, что в 1830 году Пушкин попытался выручить терпящих нужду Раевских и обратился в этой связи к высшему начальству. 18 января он отправил графу А. Х. Бенкендорфу послание (на французском языке), где, в частности, указывал:

«Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности Вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном

положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу. Г-жа Раевская ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалованья покойного мужа, с тем, чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее смерти. Этого будет достаточно, чтобы спасти ее от нищеты. Прибегая к Вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года, — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так печальна, — заинтересовать скорее воина, чем министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа» *(XIV, 58–59, 399)*.

Предстательство поэта сыграло определенную роль: пенсия С. А. Раевской (в размере 12 тысяч годовых) была высочайше пожалована. П. В. Нащокин впоследствии даже утверждал, что именно Пушкин, который «пользовался царской милостью на пользу другим», и «выпросил пенсион» вдове прославленного генерала[711].

Разумеется, в общении с Раевскими и прежде всего в устных и эпистолярных беседах поэта с Николаем Раевским-сыном неоднократно заходила речь о Марии Волконской. Друзей объединяла не только любовь к ней, но и весьма критическое отношение к ее супругу. Можно только гадать, до каких степеней откровенности доходили они, касаясь данной волнительной темы. Их переписка (видимо, обширная) почти полностью пропала — и этот факт допускает самые смелые (хотя и бездоказательные) толкования.

В посланиях к другим лицам, написанных после «всеобщего переворота в гражданской судьбе» (Ф. Н. Глинка), а также в дневниковых заметках Пушкин ни разу не обмолвился о княгине Марии Волконской. Зато ее имя, по всей вероятности, есть в так называемом «Дон-Жуанском списке» (1829) — собственноручно записанном поэтом в альбом Елизаветы Ушаковой «перечне всех женщин, которыми он увлекался». Здесь княгиня была названа «Марией» или (по другой, не слишком аргументированной, версии) еще более туманно — «NN» *(XVII, 265–267, 269–270)*.

Перейдем теперь к пушкинским сочинениям этого периода. Какая-то их часть, порою в черновых редакциях и вариантах, безусловно, так или иначе связана с Марией Николаевной, а некоторые исследователи даже утверждают, что поэт создал

целый «лирический цикл, проникнутый едиными настроениями (вся прелесть которых — в богатстве их оттенков) и ассоциированный с образом одной женщины — М. Н. Волконской»[712]. Сюда включаются и такие произведения, как «Не пой, красавица, при мне…» (1828), «Я вас любил…» (1829) и другие.

На данную тему издавна спорят пушкинисты — и, создав огромную литературу об «утаённой любви», так и не пришли к какому-либо согласию. Не под силу разрешить массу возникающих сложнейших вопросов и автору настоящей книги. В рамках дальнейшего повествования ему придется ограничиться самым малым: некоторой выборкой текстов Пушкина и ссылками на ранее высказанные суждения ученых (которые будут дополнены собственными наблюдениями автора).

Итак, мы обратимся к трем пушкинским произведениям конца двадцатых — начала тридцатых годов — к поэме «Полтава», злополучному стихотворению «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и конечно же к роману «Евгений Онегин».

1. «Полтава». Эта поэма была начата Пушкиным 5 апреля 1828 года и писалась им (с перерывами) практически до конца года. В ходе работы над беловым текстом «Полтавы» поэт (гостивший тогда у своей давней приятельницы П. А. Осиповой в имении Малинники Тверской губернии) создал и посвящение к произведению, озаглавив его очень интимно и загадочно — «Тебе» (*V, 325)* и поставив под перебеленным текстом дату: «27 окт<ября> 1828. Малинники» *(V, 511)*. А вышла «Полтава» из печати в конце марта 1829 года с таким «Посвящением», помещенным на отдельном ненумерованном листе:

Тебе — но голос музы тёмной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей

Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей *(V, 17)*.

Это «Посвящение» — «одно из таинственных, „недоуменных“ мест в биографии Пушкина»[713].

В наши дни среди литературоведов широко распространилось мнение, будто Пушкин «сознательно и целенаправленно стремился создать себе в литературе „вторую биографию“, которая служила бы в глазах читателей связующим контекстом для его произведений» (Ю. М. Лотман). Такой подход подразумевает частичный, а то и полный отказ от изучения проблемы прототипов (или адресатов) пушкинских творений. Нам подобная методика представляется ошибочной: если даже поэт и отдал дань «игре» с читателем, если у него и существовала с каких-то пор «вторая», *литературная,* биография, то не подлежит сомнению, что она не была от начала и до конца вымышленной, а включала в себя (наряду с блефом) эпизоды и элементы первой, *настоящей,* пушкинской биографии. «Вторая биография» могла быть лишь маскарадной маской, *отчасти* скрывавшей подлинное лицо поэта.

И «Посвящение» поэмы «Полтава» — лишнее и убедительное тому подтверждение.

Особенно любопытен для нас черновик данного текста. Почти сто лет назад, благодаря усилиям П. Е. Щеголева, там была обнаружена следующая зачеркнутая строка:

[Сибири хладная пустыня] (*V, 324)*.

«Этот зачеркнутый вариант решает вопрос», — удовлетворенно писал тогда П. Е. Щеголев. Он счел свою находку тем «фактическим подкреплением», которое возводит предположение о любви Пушкина к Марии Волконской «на степень достоверного утверждения»[714].

Однако сторонники иных версий об «утаённой любви» поэта (М. О. Гершензон, Ю. Н. Тынянов и проч.) вскоре выдвинули встречную гипотезу — остроумное «опровержение» утверждения П. Е. Щеголева. Они обратили внимание, что чуть выше «сибирского» стиха в черновике есть другой, тоже Пушкиным зачеркнутый:

[Что без тебя свет]

с вариантом:

Что без тебя кр<…> <пр?> мир (*V, 324)*.

Получившееся двустишие они предложили трактовать не в категориях географии, но метафорически, а именно: мол, однажды поэт заявил, что мир (свет) без этой женщины для него сродни сибирской пустыне — «только и всего». При таком понимании чернового текста все доводы П. Е. Щеголева, как заявил М. О. Гершензон, «падают сами собой»[715]. «Это не любовное посвящение жене декабриста», — вторил ему в статье «Безыменная любовь» Ю. Н. Тынянов[716].

Вслед за софистами «недоказанным» стали считать предположение П. Е. Щеголева и такие видные пушкинисты, как Б. В. Томашевский, С. М. Бонди и иные. Зато их современники и коллеги — Л. П. Гроссман, Т. Г. Цявловская, Д. Д. Благой и некоторые другие — в целом приняли щеголевскую гипотезу.

Однако представители обеих исследовательских коалиций, сосредоточившись на ономастической *частности* (увлекшись полемикой вокруг «Сибири»), прошли мимо *главной мысли* автора. Возможно, сказался здесь и свойственный научному сообществу той эпохи дефицит «духовного зрения». Из-за него спорщики не сумели выделить из имевшихся в наличии омонимов нужный, пушкинский. А ведь эта мысль поэта зримо присутствует не только в его черновике, но и в *напечатанном* тексте.

Одним из немногих уловивших ее был Н. В. Измайлов, который провел тщательный текстологический анализ черновика и перебеленного варианта «Посвящения». В жестких условиях советской цензуры ученый сумел в меру тонко и неброско поведать о своих наблюдениях.

На страницах монографии «Пушкин в работе над „Полтавой“» он убедительно доказал: что слово «пустыня» было в данном случае очень «ответственным» для Пушкина словом; что оно «явилось взамен первоначального, однозначного, но менее выразительного и более „бытового“ — „глушь“, с намеченным даже эпитетом „суровая“»; что «слово „пустыня“ явилось в черновых набросках раньше, чем позднейшие его эпитеты». «Слова „Сибири хладная пустыня“ являются в черновом автографе дальше, в ином (действительно!) контексте, — писал Н. В. Измайлов. — Понимая, что этот вполне конкретный образ в стихах невозможен — и потому, что слишком прямо указывает на ту, кому написано „Посвящение“, и потому, быть может, также, что может вызвать цензурные осложнения, Пушкин его зачеркнул

и от него отказался. Но самое слово „пустыня“ было ему дорого и нужно <…>, он его ввел в перебеленный текст, а наконец и в печатный, колеблясь только между эпитетами „далекая“ и „печальная“ (пустыня) и остановившись на последнем — наименее суггестивном из трех»[717].

В переводе с языка иносказательного на раскрепощенный все процитированное означает, что под словом «пустыня» (или «пустынь») здесь надобно понимать не что иное, как уединенную *обитель* (В. И. Даль), куда, добровольно покинув суетный мир (міръ!), удалилась та, кому посвящены стихи[718]. При таком, адекватном, восприятии образной пушкинской мысли адресат «Посвящения» не вызывает сомнений — это княгиня Мария Николаевна Волконская.

По мнению Н. В. Измайлова, «„Посвящение“ — в особенности, если рассматривать его вместе с черновыми вариантами — дает удивительный по выразительности образ той, к кому оно обращено. Она обладает „возвышенной“ и „скромной“, даже „младенческой“ душой, она когда-то умела ценить творчество поэта — „звуки, бывало, милые тебе“ — и внушала ему любовь — „утаённую“, оставшуюся без ответа; между ними давно уже пролегли „дни разлуки“, и он, вспоминая минуту прощания, „последний звук ее речей“, думая о „печальной пустыне“, в которой она пребывает, заверяет ее в том, что она „одно сокровище, святыня“, „одна любовь“ его души; он робко надеется, что она, прочитав его посвящение, поймет его и признает, и в то же время сомневается в этом. Но уже одно то, что он не уверен, — „коснется ль (ее) уха“ голос его музы — указывает на трудность ее положения в „пустыне“, куда не так-то легко достигают его новые произведения».

«Во всем окружении Пушкина от начала его ссылки до создания „Посвящения“ и далее мы не найдем другой женщины, которая бы соединяла в себе черты, собранные в строках, написанных в момент творческого подъема, посетившего поэта 27 октября 1828 г<ода>, — утверждал Н. В. Измайлов. — И это — едва ли не самое веское доказательство в пользу гипотезы П. Е. Щеголева (в том, разумеется, что касается „Посвящения“ к „Полтаве“)»[719].

С виртуозным разбором текста «Посвящения» и окончательным выводом пушкиниста нам трудно не согласиться.

Добавим к этому, что аналогичный мотив *удаления из мира* Пушкин использовал и впоследствии, завершая в дни «Болдинской осени» 1830 года «Евгения Онегина». Причем сделал он это в стихах, непосредственно примыкающих к стихам о прототипе Татьяны:

А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал…
……
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним… *(VI, 190)*.

Советуем читателям обратить особое внимание на последний стих: здесь речь идет о быстром, неожиданном («вдруг») и, главное, *добровольном* («умел») уходе женщины с «праздника Жизни». Имя этой женщины, здравствующей отшельницы, после всего сказанного угадать, похоже, несложно. (К одной из строк данной строфы «Онегина» нам еще предстоит обратиться.)

На листе черновика «Полтавы» исследователи недавно заметили погрудный портрет Марии Волконской[720]. (Этот пушкинский рисунок датируется сентябрем-октябрем 1828 года, то есть теми же примерно сроками, что и «Посвящение».) А в самой поэме (точнее, в ее «новеллистической», или любовной, части, связанной с дочерью Кочубея) есть немало строф и стихов, «звуков милых», ассоциирующихся с женой декабриста. «Страдания Марии Волконской, образ и облик ее присутствовали в сознании поэта, когда создавал он героиню поэмы „Полтава“ <…>. Он назвал ее Марией (дочь Кочубея звали Матреной)», — пишет Т. Г. Цявловская. Далее она приводит ряд «очевидных аналогий» (преимущественно внешних) между княгиней и литературным персонажем и заключает свой пассаж так: «Но главное, что узнаем мы в образе Марии Кочубей, — это характер Волконской — лирический, страстный, волевой»[721].

Нельзя, правда, не сказать заодно и о том, что отдельные комментаторы «Полтавы» иногда заходили слишком далеко в своих стремлениях доказать «присутствие» княгини Волконской в пушкинской поэме. Их толкования были тенденциозными и прямолинейными, а выводы — наивными и неправомерными. Публикации таких лиц достигли, увы, обратной цели: они только дискредитировали верные мысли серьезных ученых и внесли изрядную путаницу в изучение проблемы «утаённой любви».

По-видимому, уже в начале лета 1829 года изданная в Петербурге «Полтава» могла — по одному из многочисленных, официальных или тайных, декабристских каналов — дойти до Читинского острога. Каково было мнение Марии Николаевны о поэме, мы так и не знаем: *прямых* ее высказываний на сей счет в напечатанных материалах, кажется, нет. «Вероятнее всего, —

размышляет исследователь, — что, если она и прочитала „Посвящение“ к поэме, она не узнала (а может быть, не захотела узнать) себя в той, кому оно обращено»[722].

Однако один из фрагментов послания Волконской к В. Ф. Вяземской, на наш взгляд, вызывает иное (правда, очень смутное) подозрение: Мария не только прочитала пушкинскую поэму вскоре после ее выхода, но и *поняла* «Посвящение», *узнала-таки себя*.

Мы имеем в виду ее фразу из уже приводившегося письма, датированного 13 июня 1830 года: «Присылка „Литературной газеты“ доставляет мне двойное утешение: вновь увидеть имена любимых писателей моей родины и получать некоторые сведения о том, что делается *в мире, к которому я уже не принадлежу*».

Выделенные нами слова княгини Марии Николаевны показывают, что она приравняла свое пребывание в Сибири к *отречению от мира*.

Такая риторическая фигура весьма близка к пушкинской «печальной пустыни».

Очень даже возможно, что перед нами простое совпадение, расхожее в среде каторжан уподобление. Но разве нельзя допустить, что слова княгини — ее *ответ* поэту? Ведь письмо Марии Волконской — скорее всего, первое ее послание к В. Ф. Вяземской, написанное после выхода в свет «Полтавы». И к тому же Мария Николаевна знала, что Пушкин обязательно будет ознакомлен с данным письмом…

Остается только надеяться, что в мемуарном и эпистолярном наследии княгини Волконской когда-нибудь обнаружатся и другие, более выразительные, «полтавские» реминисценции.

2. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» Как резонно полагают пушкинисты, данное стихотворение, вызвавшее бурную реакцию Марии Волконской и рассорившее ее с Вяземской, стало известно княгине в окончательной редакции. Этот общеизвестный вариант был впервые напечатан в альманахе «Северные цветы на 1831 год», который вышел в свет 24 декабря 1830 года:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может *(III, 158)*.

Последний стих, как мы помним, и процитировала Мария Николаевна в письме к З. А. Волконской от 20 марта 1831 года. Очевидно, строка «Что не любить оно не может» ее особенно (и неприятно) поразила. Взревновавшая княгиня трактовала заключительную мысль Пушкина, вероятно, примерно так: что бы ни случилось, я всегда буду *хоть кого-нибудь* любить, не одну — так другую, не другую — так третью, причем между моими страстными увлечениями не будет никакой паузы, ибо я рожден поэтом и натура моя такова, что должна пребывать в состоянии постоянной, хронической влюбленности. Текст «Северных цветов» *допускает и такое* (довольно, правда, поверхностное) понимание стихов — равно как допускает он и отнесение их к пушкинской невесте, Н. Н. Гончаровой.

Наталью Гончарову и стали называть адресатом стихотворения многие комментаторы, начиная с редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева[723].

Однако надо учитывать, что публикация в альманахе «Северные цветы» была снабжена заголовком — «Отрывок». А в оглавлении «Стихотворений Александра Пушкина» (1832) напечатано следующее: «(На холмах Грузии лежит ночная мгла). *Отрывок*» *(III, 724–725)*. То есть поэт дважды сообщил читателям, что предает огласке лишь часть некоего *более значительного* текста.

Существовало и другое важное обстоятельство, о котором Мария Волконская не знала, читая присланные в 1830 году в Сибирь стихи. Она не имела понятия, что «любовный вздор» писался Пушкиным *еще в 1829 году*. Эта дата зафиксирована и в черновике («15 мая»; *III, 722),* и во втором беловом автографе (с уточнением — «Кавказ»; *III, 724),* и в переданной в цензуру рукописи третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» *(III, 725)*. В книге 1832 года стихи также были помещены в отдел произведений 1829 года (с. 15). Иначе говоря, авторская работа над стихотворением *проходила задолго до того, как Н. Н. Гончарова стала невестой поэта.*

Реалии же 1829 года в двух словах таковы. Пушкин, познакомившись с *mademoiselle Natalie* в московскую зиму 1828/29 года, в самом конце апреля или начале мая 1829 года просил (через графа Ф. И. Толстого-«Американца») у родительницы ее руки. Он не получил отказа — однако и положительного ответа тогда тоже не услышал: мать Н. Н. Гончаровой была со сватом весьма любезна, но отложила принятие решения, ссылаясь на юный возраст девушки. С этим поэт и отбыл в ночь на 2 мая из Москвы на Кавказ. Перед самым отъездом он отослал будущей теще Н. И. Гончаровой такое учтивое письмо (на французском

языке):

«На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ — не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я всё еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! — Но извините нетерпение сердца больного и опьяненного <?> счастьем» *(XIV, 45, 394–395)*.

В общем, Пушкин, искренно попрощавшись с Гончаровыми, уезжал на Кавказ с *надеждой* и расценивал свою матримониальную неудачу как частичную и временную, почти неизбежную в столь сложном и тонком деле, как осада «Карса» *(XIV, 51)*.

Существует довольно правдоподобная гипотеза, что по дороге (не позднее 10 мая) поэт навестил в Полтаве Александра Раевского[724]. Оттуда, уже 13 мая, он прибыл в Георгиевск, где переночевал, и, решившись «пожертвовать одним днем, <…> отправился в телеге к Горячим водам»[725]. (В Горячеводске Пушкин был вместе с Раевскими в 1820 году.) И тут, в памятных местах молодости, поэта охватило особое, вовсе не московское, настроение.

«Конечно, Кавказские воды нынче представляют более удобностей, более усовершенствования, — читаем в его „Кавказском дневнике“. — Таков естественный ход вещей. — Но признаюсь: мне было жаль прежнего их дикого, вольного состояния. — Мне было жаль наших крутых каменистых тропинок, кустарников и неогражденных пропастей, по которым бродили мы в прохладные кавказские вечера. — Конечно, этот край усовершенствовался, но потерял много прелести. — Так бедный молодой шалун, сделавшись со временем человеком степенным и порядочным, теряет свою прежнюю любезность».

Преднамеренное посещение Горячих вод пробудило в нем воспоминания о «счастливейших минутах жизни», проведенных «посереди семейства почтенного Раевского», и о событиях девятилетней давности.

«С неизъяснимой грустью пробыл я часа три на водах <…>, — писал Пушкин далее. — Я поехал обратно в Георгиевск — берегом быстрой Подкумки. Здесь, бывало, сиживал со мною Н<иколай> Р<аевский>, молча прислушиваясь к мелодии волн. — Я сел на облучок и не спускал глаз с величавого Бешту, уже покрывавшегося вечернею тенью. Скоро настала ночь. — Небо усеялось миллионами звезд — Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горными своими вассалами. Наконец он

исчез во мраке»[726].

На следующий день, 15-го числа, и был создан первый вариант рассматриваемого стихотворения. Пушкин записал его в так называемой «арзрумской» тетради (ПД № 841). Этот черновик на голубой бумаге «не имеет еще признаков грузинского пейзажа»[727] («холмы Грузии», «Арагва»), то есть опознавательных знаков путешествия *1829 года*[728]*:*

Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла
Восходят звезды надо мною
Мне грустно и легко — печаль моя светла
Печаль моя полна тобою

Тобой одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит не тревожит
И сердце вновь горит и любит от того
Что не любить оно не может

Прошли за днями дни — сокрылось много лет
Где вы, бесценные созданья
Иные далеко иных уж в мире нет
Со мной одни воспоминанья

Я твой попрежнему тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний *(III, 722–723)*[729].

Третья строфа этого черновика («Прошли за днями дни…») была в какой-то момент отмежевана поэтом от остального текста (с помощью разделительных знаков =) и зачеркнута. Это дало основание С. М. Бонди (который полностью разобрал черновик и опубликовал в 1931 году его транскрипцию) сделать такое замечание: «Можно ли считать эти четыре строфы цельным стихотворением? Я думаю, что нет. Третья строфа недаром вычеркнута Пушкиным, и переход от нее к четвертой звучит несколько натянуто»[730].

С суждением видного пушкиниста можно согласиться: по смыслу и стилистически данная строфа (а на ней-то обычно, со времен изысканий П. Е. Щеголева, и базируется аргументация в пользу имени Волконской) и в самом деле несколько отличается от соседних строф. Однако мотивы, которыми руководствовался поэт при обособлении и зачеркивании стихов, до конца все же не

ясны.

Исключение указанной строфы (где звучит тема воспоминаний о «*сокрывшихся»,* явно «догончаровских», днях) из состава произведения позволило некоторым ученым утверждать, что трехстрофная редакция стихотворения «Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…» «не противоречит отнесению стихотворения к Н. Н. Гончаровой». По их мнению, и весь трехстрофный текст, и строфа «Я твой попрежнему…» говорят «о трагическом перерыве в любви, о пережитой печали — и вновь разгоревшемся чувстве» к Natalie[731]. Однако такая версия представляется нам (да и не только нам) неубедительной, и прежде всего потому, что оставляет без внимания стих последней строфы — «И без надежд и без желаний» (он есть и в так называемой «второй черновой редакции»; *III, 724)*. Как показано выше, Пушкин весною 1829 года вполне *надеялся* на благоприятное завершение эпопеи с женитьбой и *желал* стать супругом юной красавицы. Да и о каком «трагическом перерыве в любви» и «вновь разгоревшемся чувстве» к Н. Н. Гончаровой мог вещать поэт *через две недели* после своего сватовства?

Никак не подходят к Наталье Гончаровой и другие варианты и наслоения стихов строфы «Я твой попрежнему…» — скажем, такие: «Как было некогда, я вновь тебя люблю», «что прежде, без надежд», «[как было] без надежд», «без упований» *(III, 723)*. Ведь в них явно намекается на какое-то *давнее* чувство поэта и *безысходность* его сердечных мук.

Столь же беспочвенны и возникшие еще в начале прошлого века предположения о том, что Пушкин в этих стихах обращался якобы к Екатерине Ушаковой или к Елене Раевской. Такие версии были опровергнуты в ходе проведенных исследований и вряд ли стоит их реанимировать.

Конечно, стихотворение Пушкина («в том виде, как оно записано в тетради»[732]), со спорной третьей черновой строфой или даже без нее, посвящено М. Н. Волконской. Оно навеяно «действительными и притом конкретными чувствами» (Ю. Н. Тынянов) — ностальгическими воспоминаниями о путешествии с Марией и другими Раевскими на Северный Кавказ в 1820 году. Такого мнения придерживались и авторитетные пушкинисты — П. Е. Щеголев, С. М. Бонди, М. А. Цявловский, польский славист В. Ледницкий… Это отчасти подтверждается и пушкинскими рисунками: рядом со стихами «Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…» (на левом поле тетради) поэт изобразил Марию, а также ее брата Николая и сестер Екатерину и Елену[733].

Таким образом, перед нами еще один синхронический эпизод

из истории отношений Пушкина и Раевской-Волконской: поэт, сочиняя 15 мая 1829 года стихи, думал — светло и печально — о Марии, но в те же буквально сроки пребывавшая в Сибири Мария, получив от отца эпитафию на смерть своего сына, вспоминала о поэте. Их думы, как и встарь, неслись навстречу друг другу…

С. М. Бонди выводит следующее: «Можно сделать довольно вероятное, как мне кажется, предположение о том, почему он (поэт. — *М. Ф.)* не печатал окончания стихотворения. Только что добившемуся руки Натальи Николаевны жениху-Пушкину, вероятно, не хотелось опубликовывать стихи, написанные в разгар его сватовства и говорящие о любви к какой-то другой женщине („Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь“). В напечатанных же первых двух строфах этот мотив — новое возвращение прежнего чувства („И сердце вновь горит и любит“) — настолько незаметен, что комментаторы, не знавшие „продолжения отрывка“ (да и современники Пушкина, его знакомые), нередко относили эти стихи к самой Гончаровой. Не исключена возможность также, что те же соображения (опасения каких-нибудь конкретных применений) заставили Пушкина изменить первые два стиха и перенести место действия в Грузию…»[734]

Поэтому и стих «Что не любить оно не может» из второй строфы должен пониматься вовсе не так, как его сгоряча поняла (вероятно, поняла) княгиня. В нем заключено пронзительное признание: сердце поэта жаждет не любви *вообще,* к кому бы то ни было, нет — оно не может не любить *Марию* и по-прежнему принадлежит ей, *ей одной* (ср. с последним стихом «Посвящения» «Полтавы»: «Одна любовь души моей»).

Как примирить такое признание с параллельным (и несомненным) влечением Пушкина к Наталье Гончаровой — отдельный и долгий разговор, который уже не имеет прямого касательства к нашей книге.

Знаменательно, что Пушкин, *как-то* обратившись к черновику, *зачеркнул* (вслед за третьей) и всю вторую строфу (NB: напечатанную!). С. М. Бонди выдвинул гипотезу, будто поэт тем самым создал новый вариант произведения, который состоял из первой («Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…») и четвертой («Я твой попрежнему тебя люблю я вновь…») строф черновика, — «вариант вполне законченный, значительно отличающийся от стихотворения „На холмах Грузии“ и, пожалуй, не уступающий ему в художественном отношении». Ученый предложил печатать получившееся восьмистишие «среди сочинений Пушкина рядом с „Отрывком“ („На холмах Грузии“), как вполне законченную прекрасную вариацию того же замысла»[735].

Размышление С. М. Бонди кажется нам довольно убедительным. Рискнем развить его: *поэт проделал эту операцию после того, как ему стала известна решительная реакция княгини Волконской на «окончание» «Отрывка».* Ведь тот же С. М. Бонди установил, что поправка (замена строф) носит более поздний характер и вдобавок сделана карандашом[736].

Такую «вариацию замысла» Мария уже вполне могла бы принять на свой счет.

Однако княгиня Волконская получила от В. Ф. Вяземской лишь две первые пушкинские строфы, то есть лишенный каких-либо ободряющих намеков «Отрывок», в придачу с оплошным комментарием. А черновой автограф стихотворения из «арзрумской» тетради был опубликован (не полностью) В. Е. Якушкиным только через двадцать лет после кончины Марии Николаевны[737]…

3. *«Евгений Онегин».* Пушкин расстался с Марией Волконской в декабре 1826 года. Он работал над романом в стихах еще почти четыре года и завершил беловую рукопись в сентябре 1830 года.

В последних главах «Онегина» автор претворил в ямбы многие эпизоды собственной биографии и «современные происшествия» в империи, александровской и николаевской. Нашла свое поэтическое отражение в «романе Жизни» и декабрьская катастрофа 1825 года. По нашему убеждению, поэт аллегорически изобразил крах декабризма в рассказе о дуэли и смерти Владимира Ленского[738].

Кажется, запечатлел Пушкин в восьмой (первоначально девятой) главе «Евгения Онегина» и свое последнее, московское, свидание с княгиней Марией Николаевной (об этом, равно как и об оставлении ею «праздника Жизни», уже говорилось выше).

Но этим поэт не ограничился.

Незадолго до женитьбы, в дни «Болдинской осени», он создал цикл стихотворений, куда вошли «Прощание», «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной…». Ими «завершалась любовная лирика Пушкина. <…> Он прощался с давними возлюбленными и со всем своим любовным прошлым»[739]. Среди тех, кому адресовались эти стихи, не было Марии Волконской, что дало повод некоторым ученым еще раз заявить о том, что «утаённая любовь» Пушкина к ней — не более чем фикция.

Но скептики почему-то упустили из виду, что в Болдине поэт окончил «Евгения Онегина» — и окончил его, как известно, проникновенным *прощанием с Идеалом Татьяны.* К тому же с Идеалом (словно выделяя его) Пушкин попрощался тогда *в первую очередь,* раньше, чем с прочими «образами милыми»:

И ты прости, мой спутник верный,
И ты, мой милый Идеал… (*VI, 636).*

А в последней строфе завершаемого романа, в «лучшем из всех эпилогов Пушкина» (В. К. Кюхельбекер), поэт, говоря о той, «с которой образован Татьяны милый Идеал», позволил себе еще один намек, почти откровенность. Мы привыкли, что восьмой стих этой строфы читается так:

О много, много Рок отъял! (*VI, 190).*

Однако автор, перебеляя 25 сентября 1830 года финал романа, доверил бумаге совершенно иной вариант:

О много, много Рок умчал! *(VI, 636).*

Если «каноническая» редакция строки вполне «метафизична», безлична и многосмысленна, то изначальная ее («болдинская») версия — напротив, как бы «спущена на землю», приспособлена к земным реалиям и одушевлена. В ней, выражаясь образно, различим след, оставленный каким-то вполне материальным средством передвижения — быть может, каретой или кибиткой. В кибитке же — *она,* умчавшийся Идеал. Но раз Рок *только «умчал»* (а не «отъял») Идеал — значит, этот Идеал не исчез насовсем из бренного мира, не переступил порога инобытия; значит, драгоценный Идеал, однажды покинувший «праздник Жизни», по воле Рока *всего лишь* быстро («вдруг») переместился куда-то, удалился от поэта на баснословное расстояние.

Беловой, оставшийся в рукописи, вариант восьмого стиха последней строфы, несомненно, был также связан с Марией Волконской.

Мы предполагаем, что и эпиграф этой главы «Онегина» (появившийся опять-таки в Болдине, в беловой рукописи) адресовался *прежде всего ей* (и только потом, попутно или для отвода глаз, — читателям и героям романа, а также произведению в целом).

«Fare thee well and if for ever // Still for ever fare thee well. *Byron*»[740] — такие строки из цикла «Стихов о разводе» знаменитого английского поэта поместил Пушкин в начале беловика (*VI, 619).*

Как известно, Джордж Гордон Байрон был в большой чести у юных сестер Раевских, они хорошо, наизусть знали его

творчество, а Елена Раевская даже переводила произведения лорда на французский язык (и Пушкин в Гурзуфе в 1820 году восторгался этими переводами). Наверняка Мария и прочие барышни были знакомы и с русским переводом байроновского «Fare thee well», который выполнил поэт-слепец И. И. Козлов. Этот перевод («Прости») был напечатан в 1823 году в «Сыне Отечества»[741]. Там (как и в подлиннике) стихам Байрона был предпослан отрывок из поэмы «Кристабель», написанной другим известным английским стихотворцем, представителем так называемой «озерной школы» С. Т. Кольриджем. В пушкинистике отмечено, что в указанном фрагменте «Кристабели» «с огромной силой изображено одиночество навсегда расставшихся близких людей»[742]. И хотя в расставаниях «близких людей» иногда и присутствует нечто общее, все же нельзя не сказать, что строки С. Т. Кольриджа *очень подходят* к драматической истории Марии Волконской и Александра Пушкина.

В переводе И. И. Козлова отрывок из «Кристабели» звучит так:

Была пора — они любили;
Но их злодеи разлучили;
А верность с правдой не в сердцах
Живут теперь, но в небесах.
Навек для них погибла радость;
Терниста жизнь, без цвета младость,
И мысль, что розно жизнь пройдет,
Безумства яд им в душу льет.
Но в жизни, им осиротелой,
Уже обоим не сыскать,
Чем можно б было опустелой
Души страданья услаждать.
Друг с другом розно, а тоскою
Сердечны язвы все хранят:
Так два, расторгнутых грозою,
Утеса мрачные стоят —
Их бездна моря разлучает,
И гром разит и потрясает;
Но в них ни гром, ни вихрь, ни град,
Ни летний зной, ни зимний хлад
Следов того не истребили,
Чем некогда друг другу были.

Томик «Стихотворений Ивана Козлова», куда вошел перевод Байрона (СПб., 1828), был в библиотеке Пушкина, и все страницы данного издания разрезаны[743]. Но еще любопытнее позднейшее

сообщение поэта о том, что он, находясь в 1830 году в Болдине, «перечитывал Кольриджа» *(XII, 310),* причем делалось это, судя по пушкинской <«Заметке о холере»>, как раз в *сентябре,* то есть в дни работы над беловиком «Евгения Онегина» или накануне таковой работы[744].

У байроновских стихов из эпиграфа был, как выяснилось, и иной, дополнительный смысл, и нельзя исключать, что Пушкин, в какой-то мере знакомый с английским языком, мог постичь его — сам или с чьей-то помощью. «Особую роль играет непереводимое двойное значение „Fare thee well“, — пишет современная исследовательница. — Благодаря вставке „thee“ (тебе) в обычное „Farewell“ (прощай) раскрывается второй, в обыденной речи не воспринимаемый смысл: „да будет тебе хорошо“. Тем самым прощание есть одновременно прощение и великодушное пожелание добра той, которая нанесла поэту тяжелый удар»[745].

В *таком* значении эпиграф уже никак не мог быть адресован ни героям, ни читателю, ни завершенному роману, «труду многолетнему» *(III, 230)*. Он взывал единственно к женщине, а конкретнее — к той, которая долгие годы была «милым Идеалом» Татьяны.

Напомним, что Мария Волконская имела в детстве гувернантку-англичанку, изучала английский язык и владела им, «как своим родным». Так что ей, скорее всего, было нетрудно определить и сокровенный смысл слов Байрона. А о том, что княгиня читала последнюю главу «Онегина» и запомнила байроновский эпиграф, как будто свидетельствует ее фраза из более позднего письма к А. М. Раевской (жене Н. Н. Раевского-младшего) от 25 августа 1839 года. Повествуя о разъезде декабристов на поселение, Мария Николаевна между прочим обронила: «Мы говорим друг другу *навсегда „прощай“*»[746] (выделено мной. — *М. Ф.)*.

Итак, болдинской осенью 1830 года, собираясь идти под венец, Пушкин в поэтической форме распрощался с Марией Волконской. Поэту тогда казалось, что это болдинское душевное расставание с ней — окончательное, что оно «навсегда».

Однако Жизнь в очередной раз распорядилась по-другому.

Вскоре Пушкину стало известно, что думала княгиня Волконская по поводу его «Отрывка» («На холмах Грузии…»). Потом поэт обвенчался с Натальей Гончаровой и на какое-то время погрузился в радости и хлопоты семейной жизни. Но мысль о том, что Мария не поняла его и такое непонимание между ними уже никогда не исчезнет, все сильнее тревожила его.

Вместо теплого, трогательного расставания Пушкин удостоился *разрыва.* И первопричиной жестокого разрыва стало

его *усеченное,* из двух строф состоящее стихотворение, попавшее в руки любимой женщины.

Гордая Мария Волконская с тех пор не писала В. Ф. Вяземской — не собиралась искать замирения и Вера Федоровна. Других вариантов эпистолярного общения у поэта как будто не было и в ближайшем будущем не предвиделось. Как, каким образом объясниться с Марией — он, растерянный, толком не знал.

А потом, готовя к печати заключительную главу «Онегина», все-таки придумал.

В беловике данной главы Евгений, влюбленный в Татьяну, пишет ей письма — причем целых три. Автор рассказал об этом в XXIX и XXX строфах:

XXIX
…Любовник хилый и больной
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть мало толку не вотще
Он в письмах видел вообще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему не в мочь.
Он ждет ответа день и ночь.

XXX
Напрасно! Он ей вновь посланье;
Второму, третьему письму
Ответа нет… *(VI, 632).*

Таким образом, поэт, работая в Болдине над беловой рукописью главы, ограничился *только упоминанием* о посланиях страдающего Онегина к замужней княгине. Мысль о сочинении *самого письма* Евгения пришла Пушкину в голову, скорее всего, позже — и была им с блеском реализована в начале октября 1831 года[747]. При этом Пушкину не пришлось основательно редактировать болдинский беловик: он изменил только заключительный, четырнадцатый стих строфы XXIX, которая (став в итоге строфой XXXII) приняла следующий вид:

Вот вам письмо его точь в точь (*VI, 180).*

В расщелину между этим стихом и слегка подправленной строфой XXXIII («Ответа нет. Он вновь посланье…») и было

Пушкиным вставлено Письмо Онегина к Татьяне. Письмо, принадлежащее «к самым потрясающим стихам о любви, какие существуют в мировой литературе» (Л. Я. Гинзбург).

«Пушкин явно чувствовал, что чего-то недостает в последней главе, — пишет современный ученый. — Понимание пришло позже — в конце лета 1831 года, когда было написано письмо Онегина (? — *М. Ф.)*. Только после этого Пушкин счел возможным опубликовать восьмую главу»[748]. Другой пушкинист уточнил, что послание Евгения компенсировало пробел в композиции произведения и в развитии душевной жизни героя: «Введение письма Онегина <…> устанавливало полную симметрию в отношении разработки основной любовной фабулы романа»[749]. Такого (или примерно такого) мнения издавна придерживаются и многие другие исследователи. И они — как вдумчивые исследователи *художественного произведения* — конечно, кругом правы.

Однако Письмо Онегина явно имело, помимо собственно романной, еще и другую — *житейскую,* коммуникативную функцию. Оно было ловко втиснуто Пушкиным не просто между строфами «Евгения Онегина» — между Литературой и Жизнью.

«Чем кончился „Онегин“ — тем, что Пушкин женился, — остроумно заметила однажды Анна Ахматова. — Женатый Пушкин еще мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог»[750]. Да, никак не мог, ибо «роман Жизни», герой которого Онегин (он + ego), а «план счастлив» *(III, 395),* шел след в след за биографией поэта и после 18 февраля 1831 года мог продолжиться разве что меланхолической («без упоения, без ребяческого очарования»; *XIV, 151)* женитьбой Евгения и прочими, по выражению автора, «рассказами пустыми» *(III, 395)* и не слишком поэтическими[751].

Совсем другое дело — послание Евгения к Татьяне. Пушкин не только мог, но с определенного момента считал своим долгом сочинить его: *ведь этим посланием он надеялся все объяснить прогневавшейся Марии.*

Холостяк Онегин в Петербурге «открывал душу» замужней княгине N — но одновременно женатый Пушкин исповедовался перед находящейся в Сибири замужней княгиней Волконской.

Когда-то письмо юной влюбленной Машеньки Раевской, написанное в Одессе 3 ноября 1823 года, было преобразовано Пушкиным в поэтический текст. Тогда в девичьей неумелой прозе он искал (и обрел) высокую поэзию. Теперь же, 5 октября 1831 года, пребывавший в Царском Селе поэт совершил иной творческий акт: в поэтический текст он вместил — как бы вторым планом — свое частное, невозможное в реальности, послание к

Марии Волконской.

То есть Пушкин в высокой поэзии обрел (и, обретя, намеренно скрыл) высокую жизненную прозу.

На двух листах этого «пограничного» послания поэт «изящным мелким почерком» (В. Б. Сандомирская) изложил всю драму собственной «утаённой любви».

«Последняя глава Евгения Онегина» была отпечатана в Петербурге в январе 1832 года. Письмо заглавного героя *(VI, 180–181)* открывалось таким вступлением:

> Предвижу всё: вас оскорбит
> Печальной тайны объясненье.
> Какое горькое презренье
> Ваш гордый взгляд[752] изобразит!
> Чего хочу? с какою целью
> Открою душу вам свою?
> Какому злобному веселью,
> Быть может, повод подаю!

Пушкин знал, что его стихи с некоторых пор могут вызвать у Марии «гневное презренье» (*VI, 516)* и «злобное веселье» — он и сейчас вполне допускал такое их восприятие. Но ему во что бы то ни стало требовалось объяснить свою *«печальную* тайну», то есть (NB) тайну непонятого княгиней «любовного вздора» «Отрывка» («На холмах Грузии лежит ночная мгла…») — «вздора», который как раз и начинался со стихов о *печали:*

> …*Печаль* моя светла;
> *Печаль* моя полна тобою… (выделено мною. — *М. Ф.)*

и кончался casus’ом belli:

> Что не любить оно не может *(III, 158)*.

Прежде всего автор Письма обратился к минувшему — и тут Пушкин, думая о своем, похоже, забыл, что пишет *роман*:

> Случайно вас когда-то встретя,
> В вас искру нежности заметя,
> Я ей поверить не посмел:
> Привычке милой не дал ходу…

Мы полагаем, что второй из приведенных стихов — «В вас искру нежности заметя…» — противоречит сюжету «Евгения Онегина». Там, если вспомнить, не было никаких «искр». Ведь Онегин, не успев толком и познакомиться с Татьяной, не имея ни времени, ни возможности что-либо (причем подавляемое, лишь иногда проскальзывающее) «заметить», вскоре (и неожиданно для себя) получил от Лариной страстное послание («безумный сердца разговор»; *VI, 65)* — в высшей степени откровенное и полноценное признание в любви, которое трудно назвать «искрой нежности». (Характерно, что черновые редакции данного стиха — «Младую склонность в вас заметя», «В вас нежность первую заметя» (*VI, 516)* — являлись вариациями на ту же, опять-таки нероманную, тему.)

Стих про «искру нежности» — из самой Жизни, из частного письма Пушкина к Марии Волконской.

Пушкин и в самом деле повстречал девушку в 1820 году как будто «случайно»: путешествующие Раевские (а среди них была и Мария) наткнулись на больного горячкой поэта в Екатеринославле. И уже вскоре тот обнаружил, что Мария питает к нему определенную симпатию. От свидания к свиданию эта «искра» становилась все заметнее — но Пушкин так и не отважился воспринять влюбленность «девочки» всерьез (в черновике Письма есть варианты: «Я ей прильститься не посмел», «Я с вами сблизиться не смел»; *VI, 516)*. Для пошлого («привычного») амурного похождения нежная Мария Раевская явно не подходила, а «узы счастья» *(VI, 517)* Пушкина тогда совершенно не прельщали:

> Свою постылую свободу
> Я потерять не захотел.

На том они, после письма Марии и трудного объяснения, и расстались — в Одессе, в конце 1823 года.

> Еще одно нас разлучило…
> Несчастной жертвой Ленской пал…
> Ото всего, что сердцу мило,
> Тогда я сердце оторвал…

Как мы постарались показать (см. примечание 45 к этой главе), дуэль Владимира Ленского символизировала в романе декабрьский бунт 1825 года. Пушкин в ту пору находился в «северной ссылке», в Михайловском. В черновике послания

Онегина далее следовало:

> Я позабыл ваш образ милый
> Речей стыдливых нежный звук[753] —
> И жизнь [терпел в душе] сносил душой унылой
> Как искупительный недуг *(VI, 517)*.

А потом (начиная с 23-го стиха и по 30-й) Пушкин отчаянно попытался внушить своей осерчавшей корреспондентке, кто подлинный «предмет его вдохновения» и кому отдано его *горящее и любящее* сердце. Возникает ощущение, что в этих стихах (трактуемых как *частное* послание) поэт полемизировал с письмом княгини Волконской от 19 октября 1830 года — и решительно опровергал язвительные строки Марии:

> *Нет*[754]*,* поминутно видеть *вас,*
> Повсюду следовать за *вами,*
> Улыбку уст, движенье глаз
> Ловить влюбленными глазами,
> Внимать *вам* долго, понимать
> Душой всё *ваше* совершенство,
> Пред *вами* в муках замирать,
> Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!

Поэт уверял Марию в своей любви — и сомневался в успехе своих поползновений — и снова убеждал, умолял княгиню:

> Боюсь: в мольбе моей смиренной
> Увидит ваш суровый взор
> Затеи хитрости презренной —
> И слышу гневный ваш укор.
> Когда б вы знали, как ужасно
> Томиться жаждою любви,
> Пылать — и разумом всечасно
> Смирять волнение в крови;
> Желать обнять у вас колени,
> И, зарыдав, у ваших ног
> Излить мольбы, признанья, пени[755],
> Всё, всё, что выразить бы мог…

Конец этого Письма, сочиненного Пушкиным в кабинете на втором этаже царскосельского дома, просто поразителен:

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.

Он прощался с княгиней Марией Волконской — и только от далекой княгини Марии Волконской, от ее «воли» теперь зависело, поверить или нет выговорившемуся Пушкину.

«Судьба» же поэта находилась внизу, в одной из комнат первого этажа — и звали его судьбу Natalie, и ее он *тоже* любил[756]. Прекрасная (чем-то, правда, отдаленно напоминающая Ольгу Ларину) madame Pouchkine была тогда брюхатой[757].

Через несколько месяцев она благополучно родила девочку — и девочку назвали *Марией.* Все вокруг знали, что подобным выбором имени Пушкин почтил свою бабушку, М. А. Ганнибал. Но только ли ее, давно почившую? Ведь некогда над беловиком «Посвящения» к «Полтаве» (того самого, что было адресовано княгине Волконской) поэт записал английскую фразу[758]: «I love this sweet name»[759] (*V, 325).* И вот теперь, в 1832 году, рядом с ним все-таки появилась *его Мария Пушкина…*

Существует предположение, что в феврале — начале марта 1833 года Пушкин опять нарисовал Марию Волконскую[760]. Примерно тогда же (около 23 марта) в Петербурге вышло первое полное издание «Евгения Онегина».

В этой книге поэт, кажется, послал новый привет княгине Волконской.

В качестве приложения к роману, состоявшему в окончательной редакции из восьми глав, Пушкин поместил фрагмент еще одной песни — он опубликовал «Отрывки из Путешествия Онегина». В предисловии к ним поэт написал, среди прочего, следующее:

«П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение (то есть исключение из романа „целой главы, в коей описано было путешествие Онегина по России“. — *М. Ф.),* может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их

помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф» (*VI, 197)*.

Эти «несколько строф» завершались многозначительной строкой с многоточием:

Итак я жил тогда в Одессе… *(VI, 205)*.

А выше в «Отрывках» было сказано:

Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне… *(VI, 201)*.

И далее следовало почти полтораста стихов об Одессе…

Автор и «добрый его приятель» снова оказались рядом, на берегу моря они еще более *сблизились*. Но еще важнее то, что именно *одесская* встреча друзей и описание *Одессы* позволили Пушкину выправить художественную структуру романа и объяснить «переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме». Публике, даже «тонким критикам», такая географическая подробность мало что говорила, а вот для самого поэта была нужна и крайне дорога.

Роман окончился «несвязным рассказом» об Одессе не случайно. Ведь как раз там, под «солнцем южным», в ноябре 1823 года Пушкин получил письмо Марии, позволившее вдохнуть в «Евгения Онегина» Жизнь и двинуть вперед едва теплившееся произведение. Там же автор объяснился с влюбленной в него девушкой — и тем самым подал дурной пример скучающему Онегину. Уехав оттуда же, из пыльной Одессы, отвергнутая и безутешная Мария Раевская вскоре стала «знатной дамой» — и ее путь к «подвенечному вуалю» через какое-то время покорно повторила Татьяна Ларина.

Итак я жил тогда в Одессе…

Многоточие здесь — знак ожидания: вот-вот автор получит «письмо любви» и затем произойдет все то, что произошло…

Одесса — удивительный город: она была и «колыбелью», и «переходом», и паролем «утаённой любви».

Почти десять лет минуло с того ноября — и в последних стихах роман вернулся к «началу своему», в «благословенные края» *(VI, 203)*. Теперь композиция «большого стихотворения» — по крайней мере, для автора и *одной из читательниц* — стала безупречной и понятной.

Вот только вряд ли они, автор и читательница, некогда упустившие свое счастье (которое «было так возможно, так близко!..»; *VI, 188),* восторгались ее совершенством.

В сентябре 1836 года Пушкин, расссорившись с домовладельцем («управляющий которого негодяй»; *XVI, 173, 393),* переехал с многочисленным семейством на новую петербургскую квартиру — «на Мойке близ Конюшенного мосту» *(XVI, 173).* Он нанял в доме, «состоящем 2-й Адмиралтейской части 1-го квартала под № 7-м весь, от одних ворот до других, нижний этаж из одинатцати комнат состоящий со службами» *(XVII, 646).*

«Для большой семьи Пушкина квартира была не очень удобна, — читаем в современном путеводителе. — Кабинет поэта — большой и светлый, с тремя окнами во двор, но к нему примыкала с одной стороны передняя, где всегда находились слуги, хлопала дверь на парадную лестницу, с другой — детская. К этому времени у Пушкина было уже четверо детей»[761].

Жилье оказалось не слишком удачным — зато дом был особенным.

Это трехэтажное здание с 1835 года (после кончины матери) принадлежало княгине Софье Григорьевне Волконской, сестре декабриста. В молодости тут («при въезде в ворота от Пущинского дома») живал и предавался «шалостям» Бюхна[762]. А в апреле 1826 года здесь, как раз в бельэтаже, останавливалась приезжавшая в столицу хлопотать за мужа Мария Волконская. В этот дом — дабы проститься с Николино и свекровью — княгиня заезжала и перед отъездом в Сибирь. Тут прожил свою мгновенную жизнь маленький сын Марии.

Пушкин так и не сумел явиться к ней «просить пристанища в Нерчинских рудниках» — но поэт все же *следовал* за княгинею и наконец настиг ее *тень.*

В этом доме он окончил свой роман про капитанскую дочь Миронову, «благоразумную, и чувствительную девушку» с «пленительными» глазами *(VIII, 299, 300),* которую опять-таки звали *Машей,* Марьей Ивановной.

Интересно, подсчитывал ли Пушкин когда-нибудь, сколько его литературных героинь носили это «нежное имя»?

Тут, на Мойке, он и завершил «судьбой отсчитанные дни» *(VI, 517).*

«Наше отечество понесло большую утрату…»

Волконская смотрела на извлеченный «перстень верный» и тихо плакала. Всхлипнув, вспомнила про отца, про свои московские слезы в доме на Тверской и прощальный разговор с

невесть откуда там взявшимся Пушкиным. При этом Мария Николаевна подумала: «Он так и не доехал до меня».

Сердоликовое кольцо лежало на столе, рядом с прочитанным письмом и влажным платком. Ненароком возникшая комбинация предметов напоминала пасьянс, в котором угадывалась вся жизнь Марии Раевской-Волконской: вот волшебный и жестокий Юг, тут Петербург с Москвой, последующие этапы биографии, а это (с краю) уже ее день нынешний, Сибирь…

Вот и ушли «златые дни»…

А над Петровским заводом между тем постепенно сгущались сумерки.

За стенкой, из соседней комнаты, послышались громкие мужские голоса: верно, к Волконским заглянул на огонек кто-то из приятелей мужа. Хозяйке надлежало привести себя в порядок, заученно стать comme il faut и выйти к этим неугомонным витиям.

И вообще — ей надо было встрепенуться и жить дальше, растить Мишу и Нелли. Княгиня поклялась вывести их, детей государственного преступника, в люди — и никто, ничто не остановит ее.

К тому же начиналась весна — значит, им всем до́лжно поторапливаться в Урик.

Глава 14
В ОКРЕСТНОСТЯХ ИРКУТСКА

…Жить с моими детьми и для них — это условие моей собственной жизни…

М. Н. Волконская — А. Н. Раевскому, апрель 1842 года

«Наша весна здесь очень печальна, или, скорее, сибиряки ее не знают; это — оттепель, сопровождаемая всё опрокидывающим ветром, который продолжается в апреле и мае; самый воздух остается холодным до середины июня…»[763]

В конце марта 1837 года, изведав все неприятности сибирской ветреной весны, семейство Волконских наконец-то очутилось в Урике — небольшом, «довольно унылом, но со сносным климатом»[764], селе, которое числилось по Кудинской волости и было расположено в 18 верстах от Иркутска.

Теперь Волконские стали настоящими поселенцами — и даже чуть-чуть приблизились к России.

Подходящей для семьи и прислуги декабриста крестьянской избы в селе, конечно, не нашлось, и Волконским пришлось, не откладывая, строить себе новое жилище — «вне села, на плоскости, без воды и без растительности»[765]. Пока этот деревянный дом возводился, они на несколько месяцев перебрались в находившееся неподалеку селение Усть-Куда, где был водворен на поселение дальний родственник Марии Николаевны — декабрист Иосиф Поджио. «Он нас принял с распростертыми объятиями», — вспоминала княгиня[766].

Усть-Куда стояла на берегу Ангары, «одной из красивейших рек Сибири». Места вокруг были живописные, «воздух очень хорош»[767], а дары приангарских лесов просто изумили Волконскую. Она пришла в восторг от обилия брусники, клюквы и голубицы, также собирала на береговых склонах американскую землянику, облепиху («плоды которой имеют совершенно запах ананаса») и росшую на мху «очень приятную и сладкую» моховку («крыжовник, но с ароматом черной смородины»). «У нас есть орхидеи всех видов, неизвестные в России, множество желтых и красных лилий, затем пунцовых и лиловых. Это великолепная картина», — писала Мария Николаевна[768].

Однажды, в ходе «спокойных и приятных» прогулок по

заповедным окрестностям, княгине подумалось, что недурно было бы ей обзавестись тут, в районе Усть-Куды, скромной заимкой, соорудить какой-нибудь «летний домик»[769]. В таком райском уголке, «среди скалистых пригорков, укутанных лесом», причем всего-то в 8 верстах от Урика, она могла бы счастливо «провести несколько летних недель» с детьми. Вернувшись домой, Мария Николаевна в тот же вечер обсудила свою идею с родными и друзьями — и сразу получила их полное одобрение.

Еще до отъезда в Урик она договорилась с местными жителями о постройке дачи — и уже на следующий год стала ее хозяйкой.

С тех пор Волконские чуть ли не ежегодно с наступлением тепла приезжали в «Камчатник» (так они назвали свою резиденцию) и блаженствовали там, «проводили время тихо очень, в ходьбе и прогулках»[770]. «Мария Ник<олаевна> пользуется с детьми на Камчатнике приятным видом Ангары и местоположения», — сообщали друг другу декабристы[771]. А один из знакомых Марии Николаевны как-то заметил, что «Камчатник напоминает Гурзуф: дом прислонен к очень высокой остроконечной горе, и Ангара образует бухту» прямо у ног дачников[772]. Это неожиданное сравнение обрадовало и взволновало княгиню.

«У меня было два акварельных вида, изображавших „Камчатник“, — вспоминал ее внук, — один вид — через дом на реку, другой — с реки на дом. Это было уютно, приветливо. Кругом были очаровательные прогулки; до сих пор можно видеть там, над высоким берегом — огромный камень, в котором высечено сидение, „скамейка княгини Волконской“»[773].

Кстати, видимо, именно там, в полюбившемся «Камчатнике», Мария Николаевна всерьез увлеклась сбором всяческих полезных трав и гомеопатией. Позже она настоятельно рекомендовала родне сугубо гомеопатическое врачевание, особенно методику известного немецкого медика. «Сестры приводят меня в отчаяние своей страстью к лечению: они прибегают ко всем системам поочередно, — жаловалась княгиня А. М. Раевской. — Я предпочла бы, чтобы они придерживались системы Ганеманна: она, по крайней мере, безвредна»[774].

…К осени 1837 года строительство «теплого и просторного» дома Волконских в месте их поселения завершилось, и семья декабриста смогла прочно обосноваться в Урике. Княгиня Волконская тогда вполне допускала, что останется тут, в восточносибирской деревне, навечно — но задержалась в ней, как выяснилось, только на семь лет.

«Наша свобода на поселении, — читаем в ее мемуарах, —

ограничивалась, для мужчин, правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли ездить в город (Иркутск. — *М. Ф.)* для своих покупок. Наши средства были еще более стеснены, чем в каземате. В Петровске я получала десять тысяч рублей ассигнациями, тогда как в Урике мне выдавали всего две тысячи. Наши родные, чтобы восполнить это уменьшение, присылали нам сахар, чай, кофе и всякого рода провизию, а также и одежду»[775].

О денежных проблемах той поры свидетельствует и переписка княгини Волконской с А. М. Раевской. В частности, Мария Николаевна писала: «Мы живем здесь спокойно и в хороших отношениях с властями, если не считать того, что они ставят сто тысяч препятствий при выдаче мне более 2000 р<ублей> в год — скромная сумма, когда приходится воспитывать двоих детей, содержать людей из России, которые бросили всё, чтобы служить нам в Сибири, и, следовательно, требуют больше забот и внимания к себе, чем то делается обычно в России. <…> Жизнь здесь очень дорога: все продукты отправляются на рынок в город, а частая ходьба меня беспокоила бы»[776]. Позднее Волконская признавалась невестке, что экономит всегда и на всем и «подает милостыню только медной монетой»: «Мои средства не позволяют давать мне больше»[777].

По рассказу князя С. М. Волконского, «Мария Николаевна в 1838 году обратилась с просьбой в III Отделение о том, чтобы ей было разрешено получать из собственных же денег несколько большую сумму, ввиду расходов по воспитанию детей. Ей было отвечено, что, по докладе ее прошения Государю Императору, „Его Величеству благоугодно было отозваться, что в Сибири учителей нет, а потому воспитание детей требует не расходов, а лишь одного попечения родителей“. Через год просьба была повторена и вторично отклонена»[778].

Несмотря на жесткую, порою нелогичную финансовую политику администрации, Мария Волконская, думая прежде всего о своих растущих детях, крепилась и старалась не ссориться с местными чиновниками. Но княгиня и не заискивала перед ними, она держалась с сибирскими бюрократами и их присными свободно и достойно, фактически на равных. Более того, жена бесправного поселенца порою даже покровительствовала некоторым лицам, занимавшим куда более высокое общественное положение.

Так, она оказала протекцию сыну бывшего иркутского губернатора И. Б. Цейдлера. Отец, помнится, был в 1827 году не слишком учтив с торопившейся в Благодатский рудник княгиней, но Мария Николаевна великодушно забыла об этом. «Я узнала на днях, что молодой Цейдлер служит офицером под твоим

начальством, посланный из гвардии, чтобы начать военную карьеру в действующих войсках, — обращалась Волконская к брату Николаю 3 июля 1838 года. — Он — единственный сын, умерь немного его воинственный пыл, вспомни, что его отец служил вместе с твоим в двенадцатом году, что в свое время это был один из храбрых офицеров, и что позднее он держал себя вполне порядочно по отношению ко мне, когда был гражданским губернатором в Иркутске, и что вообще его здесь уважают и почитают»[779].

Попробовала чем-то помочь Мария Николаевна и В. В. Розенбергу — тому самому офицеру, который в начале 1837 года привез в Петровский завод известие о кончине Александра Пушкина. Относительно него Волконская писала жене Николая Раевского: «Дорогая и прелестная сестра, прошу вас, примите как можно лучше подполковника Розенберга; он пробыл 12 лет в Сибири при нас как адъютант и затем плац-майором. Во всем, что касалось нас, он вел себя как порядочный человек, с бесконечным тактом и выдержанностью. Он произведен теперь в подполковники с назначением быть плац-майором в Ставрополе. Несмотря на свой пост и независимое положение, возможно, что он явится к Николаю, чтобы искать действительной военной службы, более подходящей к его возрасту, чем этот стариковский пост, который ему дают в Ставрополе. И я не могу умолчать перед братом о благородном и деликатном отношении, которое он выказывал относительно нас, и считаю долгом признательности попросить Николая дать ему случай сделать карьеру. Василий Васильевич Розенберг оказал мне очень большие услуги. Я надеюсь, что Николай оценит и то, что он взялся отвезти это тайное письмо, которое может его скомпрометировать и погубить навсегда»[780].

Не раз приходила на выручку княгиня Мария Николаевна и оказавшимся в беде простолюдинам. Например, в течение нескольких лет она упорно хлопотала за невинно осужденного татарина Сали, опекала его и поддерживала материально. В итоге Волконская (благодаря собственной настойчивости и связям все того же Н. Н. Раевского-младшего) добилась-таки своего: Сали был оправдан и возвращен на родину, в полуденные края.

Полуденные края… Живя в Урике и «Камчатнике», княгиня иногда перечитывала пушкинские произведения, но о самом поэте в ее тогдашних письмах, отправленных в Россию, кажется, не было упомянуто. Зато Мария Николаевна часто рассказывала своим детям о столь дорогом для нее, связанном с «утаённой любовью», Крыме — рассказывала, «как растут в Крыму розы и каким образом растет виноград, персики и другие прекрасные

плоды <…>. Они не могут представить себе страну, в которой не идет снега и зимой не надо закутываться с головы до ног в мех», — писала она родственнице[781].

Смерть Александра Пушкина очень изменила Марию Николаевну. Привыкшая к самоанализу княгиня вдруг поняла, что теперь, после нелепой гибели поэта, из ее жизни вслед за ним удалилась и поэзия. Она стала сугубо частным лицом, обывательницей, которая существует как бы вне (или почти вне) культурного контекста эпохи. Ее кругозор отныне заметно сузился, текущие государственные дела (скажем, реформа местного управления или осторожная подготовка правительства к освобождению крестьян) оставляли Марию Волконскую равнодушной. Наша героиня научилась ценить поступок за его авантаж. *Такая* Волконская, сосредоточенная на повседневных материях, нет-нет да и походила на заурядную, полунищую, бесповоротно погрязшую в быте провинциальную барыню.

Конец тридцатых и начало сороковых годов — период тяжелого душевного кризиса жены декабриста. В это время даже ее почерк, ранее весьма изящный, стал «небрежнее и менее разборчив». Биограф княгини О. И. Попова утверждает: «Перед нами образ М<арии> Н<иколаевны>, в котором потускнели краски былого энтузиазма и романтического порыва»[782].

Волконская ощутила, что ее «великое смирение»[783], увы, не беспредельно, что она измаялась, ужасно устала и утратила интерес к жизни. «Я совершенно потеряла живость характера, вы бы меня в этом отношении не узнали, — сообщала она сестре Елене в 1838 году. — У меня нет более ртути в венах. Чаще всего я апатична; единственная вещь, которую я могла бы сказать в свою пользу — это то, что во всяком испытании у меня терпение мула; в остальном — мне всё равно, лишь бы только мои дети были здоровы. Ничто не может мне досаждать. Если бы на меня обрушился свет — мне было бы безразлично»[784].

В ее письмах не раз заходила речь о том, что ей уже не удастся вернуться в Россию. Так, прося Николая Раевского почаще браться за перо, княгиня добавляла: «Подумай только, что я никогда не увижусь с тобой, что мне суждено никогда не знать твоей жены. Значит, ты должен мне писать и попросить ее о том же»[785].

Те же упаднические мотивы присутствовали и в письмах М. Н. Волконской к А. М. Раевской. К примеру, 25 августа 1839 года княгиня просила «добрую и дорогую Аннет»: «В свободную минуту вспомните, что одно ваше слово принесет радость в очень далекую и навсегда разлученную с вами семью». Далее Мария Николаевна писала в том же тоне: «…Ради Бога, не занимайтесь

моей печальной особой; это — напрасная трата, которая меня немного стесняет, потому что мне суждено не быть никогда в состоянии отплатить вам тем же, ни доставить вам удовольствие каким-нибудь сюрпризом»[786]. Характерен и следующий фрагмент ее письма к жене брата: «Добрая и прелестная сестра, я получила от вас чудесный браслет, который гораздо лучше шел бы к вашей руке, чем к моей, потому что вот уже пятнадцать лет, как я не ношу ничего подобного. Однако я надела его на одно мгновенье, чтобы он достиг цели, которую вы ему назначили, и со своим смуглым и сумрачным лицом несколько походила на бурятского бурхана, украшенного побрякушками, а затем я передала его дочери…»[787]

Вот до чего подчас доходила в Урике падшая духом княгиня — до уподобления себя бесчувственному медному истукану, идолу кочевников…

Иногда Мария Николаевна развлекала себя тем, что предавалась «воспоминаниям детства». Однажды Н. Н. Раевский получил от нее такое ностальгическое письмо: «…Годами ты больше подходил к нам, сестры и я были доверчивей, дружнее и ближе с тобой, чем с Александром (старшим братом. — *М. Ф.),* который всегда подавлял нас своим превосходством. Это не значит, чтобы у тебя не было этого превосходства над нами, но ты моложе и добродушнее, ты был скорее нашим товарищем, чем он. Милый друг, я часто возвращаюсь мыслью к годам, протекшим под отцовским кровом; ты никогда не заставлял меня страдать, я не могу сделать тебе ни малейшего упрека; говорю тебе это, зная хорошо, что, воздавая тебе справедливость, я доставлю тебе удовольствие»[788].

В другой раз (23 марта 1839 года) княгиня Волконская откровенничала с невесткой, А. М. Раевской: «Я так люблю Николая, что не могу думать о нем без слез. По годам он больше подходит ко мне, чем Александр, и потом у него есть та детская доброта, веселость и простота в обращении, которые тотчас же покоряют сердце. Что за страсть к музыке и желание петь со мной, тогда как он не мог взять ни одной ноты — ему всегда нужно было повторять тридцать шесть тысяч раз одно и то же место. Милый, славный Николай, как я была бы счастлива теперь услышать только звук его голоса, я, так избегавшая дуэтов с ним»[789].

Многократно вспоминала Мария Николаевна в тогдашних эпистолиях и своего незабвенного героического отца. Она в чем-то завидовала своей матушке Софье Алексеевне: ведь подле нее, Марии, такого героя не было. *Ее* картавый «генерал» ничем не походил на Н. Н. Раевского-старшего. «Философ по убеждению

или по необходимости»[790], Волконский и на поселении по-прежнему «отдавался с любовью агрономии и дорожил сближением с рабочим людом»[791]. «В Урике хотя и много занимаются земледелием, но успех не довольно увенчивает их труды, чтоб можно было вывести решительные заключения», — подсмеивался над приятелем живший неподалеку (в Оёке) С. П. Трубецкой в письме к И. Д. Якушкину[792].

Как вспоминал сибирский старожил (М. С. Добрынин), Сергей Григорьевич к концу тридцатых годов «крайне устарел, сделался скрягой, за что княгиня немало его и журила. Она еще была молода и хороша, а Волконский уже был без зубов, опустился и отрастил себе бороду»[793]. Посетивший в 1838 году Урик с ревизией петербургский чиновник Л. Ф. Львов позже отозвался о декабристе как о «старике очень слабого характера, больного, недалекого ума, но в высшей степени добром»[794].

Однако добрым и приветливым «дедушкой» Бюхна обычно представал на людях, дома же он частенько бывал сварливым, упрямствовал, прекословил привыкшей главенствовать Марии Николаевне — и в семье (правда, в отсутствие детей) регулярно происходили размолвки. С некоторых пор сложные внутрисемейные отношения Волконских в открытую обсуждались между декабристами. Так, Ф. Ф. Вадковский сообщал в 1839 году Е. П. Оболенскому: «Об Волконских не стану тебе говорить. Глаз, долго и приятно отдохнувший на примерном семействе Трубецких, с печалью и огорчением переносится на это. Как мне показалось, одно приличие удерживает мужа и жену под той же кровлей; а кто из них виноват, знает один Бог…»[795]

Правда, поездка Сергея Волконского в 1841 году на Тункинские и Погроменские воды (для лечения «застарелых ревматизмов») дала супругам возможность немного отдохнуть друг от друга, и на какое-то время в чету вернулся худой мир. Но вскоре, спустя месяц-другой после возвращения Сергея Григорьевича, конфликты между Волконскими возобновились с прежней силой.

Видимо, правы те, кто считает, что «самой несчастной женой, поехавшей в Сибирь, оказалась Мария Николаевна Волконская»[796].

Домашние неурядицы подпортили ее репутацию. В те годы авторитет Марии Николаевны среди декабристов, прежде огромный, резко пошел на убыль. Кое-кто, сочувствуя Сергею Григорьевичу, начал недолюбливать княгиню и, что называется, ставил ей всякое лыко в строку. В тогдашней переписке Волконской с российскими корреспондентами есть косвенные тому подтверждения (к примеру, строки о «людях», которые «ни

перед чем ни останавливаются», и т. п.).

Зато сосед Волконских по Урику, М. С. Лунин, придерживался другого мнения и, ведя в письме речь о Марии Николаевне, уверял свою сестру Е. С. Уварову, что «доброй и превосходной женщине <…> вот уже 13 лет докучают в ссылке окружающие ее болваны»[797]. Тот же М. С. Лунин величал княгиню «дорогой сестрой по изгнанию»[798], а в «Письмах из Сибири» характеризовал ее так: «Она существила (sic! — *М. Ф.)* мысль апостола и стройной наружностью и нравственным совершенством»[799].

Михаил Лунин, бывший сослуживец С. Г. Волконского и решительный член Северного общества, был самой незаурядной персоной из всех поселенцев Урика[800]. О дружбе княгини Волконской с ним, пожалуй, следует рассказать поподробнее.

Княгиня Мария Волконская познакомилась с Луниным довольно давно. В Чите и Петровском заводе она зачастую вела его переписку и поближе узнала каторжанина. Но только в Урике (где Лунин поселился в 1836 году) они стали настоящими друзьями. Бывают дружества от скуки и конфиденты «от делать нечего» *(VI, 37;* выделено Пушкиным) — но здесь, в приангарских дебрях, сошлись близкие души, обделенные общением с себе подобными недюжинные *личности.*

С Михаилом Сергеевичем, человеком острого ума и огромной образованности, владевшим восемью языками и даже на каторге читавшим латинских и греческих авторов в подлинниках, княгине было легко и интересно. Возможно, Марию Николаевну влекло к нему еще и потому, что Лунин некогда находился в приятельских отношениях с Пушкиным. Не исключено, что княгиня знала, к примеру, знаменательные факты: поэт хранил прядь волос «друга Марса, Вакха и Венеры» *(VI, 524)* и однажды в разговоре так отозвался о декабристе: «Михаил Лунин — человек поистине замечательный!»[801] (Обо всем этом Е. С. Уварова не преминула сообщить брату из столицы в Сибирь.)

«Лунин вел жизнь уединенную, — вспоминала впоследствии наша героиня; — будучи страстным охотником, он проводил время в лесах и только зимой жил более оседло. <…> Это был человек твердой воли, замечательного ума, всегда веселый, бесконечно добрый и глубоко верующий»[802].

Дошедшие до нас письма и записные книжки декабриста содержат немало строк, посвященных Марии Николаевне.

Уже вскоре после прибытия княгини Волконской на поселение, 9 апреля 1837 года, Лунину довелось присутствовать при исполнении ею одной из арий Дж. Россини. «Я услышал

пение впервые после десятилетнего заключения, — отметил он в дневнике. — Музыка была мне знакома; но в ней была для меня прелесть новизны благодаря контральтовому голосу, а может быть, благодаря той, которая пела»[803].

27 июня того же года Луниным записано следующее: «Я прогуливался на берегах Ангары с изгнанницей, чье имя уже в наших патриотических летописях»[804]. Весьма лиричен и такой фрагмент лунинского послания к сестре, датированного 25 ноября 1837 года: «После двух недель, проведенных на охоте, я отправился к NN (Волконской. — *М. Ф.)*. Было поздно. Она обычно убаюкивает свою малютку Нелли, держа ее на руках и напевая своим молодым голосом старый романс с ритурнелью. Я услышал последние строфы из гостиной и был опечален тем, что опоздал. Материнское чувство угадывает. Она взяла свечу и сделала мне знак следовать за нею в детскую. Нелли спала в железной кроватке, закрытой белыми кисейными занавесками. Шейка ее была вытянута, головка слегка запрокинута. Если бы не опущенные веки и не грациозное спокойствие, которое сон придает детству, можно было бы сказать, что она собирается вспорхнуть, точно голубка из гнезда. Мать, радуясь сну дочери, казалась у изголовья постели образом тех неземных существ, что бодрствуют над судьбою детей»[805].

В письмах тех лет к Е. С. Уваровой Лунин, не таясь, неоднократно называл княгиню «доброй М. В.» или даже «милой М.»[806]. Несомненно, он с какого-то момента был увлечен Волконской, однако вел себя предельно корректно и всячески стремился обуздать свои чувства[807]. Княгиня же была благодарна ему за рыцарственную сдержанность и с удовольствием проводила время в его обществе.

К тому же Марии Николаевне, как любой матери, льстило, что Лунин живо интересовался ее маленькими детьми. Особенно он заботился о Мише Волконском. Для княжича (отрока, по убеждению декабриста, «красоты рафаэльской»[808]) ученый сосед в 1838–1839 годах даже составил «План начальных занятий, разделенный на 3 этапа с 8-летнего возраста до 14 лет». Целью этого оригинального пособия было «приготовить 14-летнего ученика к поступлению в общественную школу или к продолжению занятий самостоятельно, по источникам»[809].

Программа Лунина казалась продуманной, выглядела весьма внушительно и охватывала едва ли не все предметы — от математики и географии до гимнастики и рисунка. Не мешает, впрочем, отметить, что отдельные педагогические идеи декабриста были довольно спорны. Скажем, немецких философов он априори считал «слишком глупыми»: «Достаточно указать на

их исходную точку, чтобы опровергнуть их системы»[810]. В список обязательной литературы для детского чтения Михаил Сергеевич внес, допустим, труды князя А. М. Курбского и Ж. Ж. Руссо, но сознательно игнорировал сочинения Н. М. Карамзина и И. А. Крылова. Будучи убежденным католиком, Лунин и во взглядах на воспитание юношества исподволь проводил мысль о преимуществах «папства» перед православной верой. Едва ли плодотворен и такой его совет, данный «сестре по изгнанию»: «Заклинаю вас всегда говорить с Мишей по-французски или по-английски и никогда по-русски»[811].

Все это и многое другое свидетельствовало о тенденциозности педагогических и — шире — идеологических установок Лунина. Посему немудрено, что Мария Волконская деликатно выслушивала регулярные вдохновенные наставления друга, но сочла для себя возможным применить на практике лишь некоторые из них.

Точно так же княгиня отдавала должное гражданской смелости Михаила Лунина — однако не была поклонницей его политического радикализма. «Он много писал и забавлялся тем, что смеялся над правительством в письмах к своей сестре», — вспоминала она[812]. Едкие нигилистические насмешки декабриста грозили ему самыми серьезными последствиями: ведь лунинские послания обычно шли официальным путем и подвергались в дороге строгой цензуре. Наконец за «неуместные рассуждения и самохвальство» бунтаря в 1838 году лишили на год права переписки, и его корреспонденцией, как и в каторжные времена, стала заведовать Мария Николаевна. В октябре 1839 года запрет был снят, однако «Вениамин» (таким библейским именем однажды наградила Лунина Волконская) за истекший срок так и не одумался и продолжил свое антиправительственное сочинительство.

Он, словно отчаянный дуэлянт, искушал у барьера судьбу.

Добром это бретерство кончиться, конечно, не могло, и вскоре (в 1841 году) на декабриста был сделан донос: генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта ознакомили с лунинским очерком «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года». Эхо разразившегося скандала мигом докатилось до Петербурга, началось разбирательство, вскоре в доме Лунина в Урике жандармы произвели обыск, а его самого арестовали и (после допроса в Иркутске) отправили в зловещий Акатуевский тюремный замок при Нерчинских горных заводах. Есть сведения, что княгиня Волконская, не думая о возможных последствиях, провожала туда друга и простилась с ним в 30 верстах от Иркутска[813].

Но даже находясь в Акатуе, «в строгом заключении», Михаил Лунин порою умудрялся переправлять послания Марии Волконской и ее мужу (известно 12 таких секретных писем). «Я люблю вас не меньше, чем мою сестру», — признался он в одной из эпистолий[814]. В другой записке, от 1 апреля 1842 года, Лунин, поздравив Марию Николаевну (через С. Г. Волконского) «с днем ангела», добавил: «Я питаю к ней неизменную преданность, и мои пожелания ее счастия не уступят ничьим»[815]. Из Акатуя декабрист по-прежнему старался руководить занятиями сына Волконской. Княгиня не осталась перед ним в долгу. «Я переслала ему, — читаем в ее мемуарах, — несколько книг, питательного шоколада для его больной груди и, под видом лекарства, чернил в порошке с несколькими стальными перьями, так как у него всё отняли при строжайшем запрещении писать и читать что бы то ни было, кроме Библии»[816].

А. Ф. Бриген однажды написал Е. П. Оболенскому о Лунине: тот «говорил, что только два человека его поняли: Никита Муравьев и М. Н. Волконская»[817].

Михаил Лунин так и не вышел из этой «самой ужасной тюрьмы, где содержались преступники-рецидивисты, совершившие убийства и грабежи. Он недолго мог вынести зараженный и сырой воздух этого последнего заключения и умер в нем через четыре года»[818], в ночь на 3 декабря 1845 года. (О кончине Лунина долго ходили самые разные слухи.)

Екатерина Уварова, получив скорбное известие, просила сибирские власти, «чтобы все вещи и книги, оставшиеся по смерти брата ее, Лунина, были предоставлены в полное распоряжение жены государственного преступника Сергея Волконского Марье Николаевне Волконской»[819]. Чиновники вроде бы и не возражали, однако в итоге все выморочное имущество почему-то было продано Нерчинской горной конторой «с аукционного торгу»[820] и пропало без вести.

Много позже выяснилось, что княгиня Волконская и ее муж сумели сохранить некоторые лунинские бумаги. В частности, Мария Николаевна сделала список обеих серий «Писем из Сибири».

Но все это — связанное с декабризмом и декабристами — было хоть и важным, однако вторичным. На первом же месте у Марии Николаевны стояли дети, Нелли и Миша, — главное, единственное «условие ее собственной жизни». Ими она занималась от зари до зари. О них княгиня Волконская могла толковать с любым корреспондентом бесконечно, и письма той поры писались ею прежде всего для того, чтобы рассказать

жительствующим в России о своих маленьких чудесных Волконских.

«Что касается Миши, Нелли, то они, милостью Бога, совершенно здоровы, — сообщала княгиня 23 марта 1839 года Е. С. Уваровой. — Вы упрекаете меня в том, что я слишком мало забочусь о первом, судя по тому, как я писала вам о нашем возвращении из Иркутска на лодке; но я хотела вам сказать, что дождь и вода в лодке доставались только на мою долю: дождевой зонт защищал Мишину головку, а мой капюшон — существенная часть моего костюма — его ноги. Неллинька растет и очень хорошеет; ваш брат (Лунин. — *М.* Ф.) начинает отдавать ей пальму первенства перед ее братом…»[821]

А вот выполненный Марией Волконской набросок психологических портретов Миши и Нелли: «…Первый серьезен, задумчив, любит заниматься, почти никогда не играет, тогда как его сестра — маленькая поющая птичка, прыгающая, забавляющаяся всем, избегающая старательно всех занятий, за исключением тех, которые ее привлекают, например: диктовку — ей хочется забавную по содержанию; чтение — тоже; в музыке — ей нужны пьесы по ее вкусу. Она вкладывает столько привлекательности и наивности в выражение своих желаний, что в конце концов получает всё, чего хочет»[822]. (В другом письме княгиня поведала, что ее дочь примешивает «к занятиям игры, песни и свою неистощимую болтовню»[823].)

К обучению детей Мария Николаевна относилась чрезвычайно серьезно, вполне по-научному. «Воспитательная часть детей С. Г. Волконского всецело лежала на их матери, ревниво следившей за каждым их шагом, — подтверждал спустя десятилетия ее сын, князь М. С. Волконский. — Она сама преподавала им французский и английский языки, П. А. Муханов — математику, А. В. Поджио — русский язык, историю и географию, М. С. Лунин — английский язык, сосланный по движению в Польше 1837 года Сабинский — французский язык. Она питала надежду поместить сына в Иркутскую гимназию, и для латинского языка, а впоследствии и для законоведения, пришлось приглашать учителей из Иркутской гимназии, что, при значительном расстоянии от города, обходилось чрезмерно дорого»[824].

«Я обставляла его всем, что только могло служить его образованию», — удовлетворенно вспоминала о детстве Миши княгиня[825].

И сын сызмальства очень радовал Марию Николаевну своим старанием и успехами. Ребенок быстро «подвинулся вперед» во французском языке и принялся за параллельное изучение

английского. Он с наслаждением читал «французские и английские книги для самого младшего возраста» и просил прислать ему из России «русских книг, более серьезных, <…> путешествия были бы всего лучше»[826]. Спустя год-другой княгиня Волконская отправляла родственникам уже целые списки книг и атласов, необходимых для продолжения занятий Миши. «Этот милый ребенок заслуживает награды: он учится прилежно, — сообщала она А. М. Раевской, — не далее как вчера он пожертвовал своими двумя свободными часами и частью вечера, которые ему дают для моциона и для отдыха глазам, чтобы выучить чрезвычайно длинный и запутанный урок истории»[827].

Однако счастье матери временами омрачалось: здоровье Миши было хрупким, он часто болел. Летом же 1841 года Волконская едва не потеряла его. «На этих днях он меня очень напугал: вообразите себе, что с этим малюткой было два сильных нервных припадка, — писала княгиня 14 июня своей невестке. — Это были страшные страдания в груди, боли в руках и ногах; он кричал: „Ах, ножки мои, ножки, три мне их, мама!“, и, как только наступало облегчение, он начинал гладить Вольфа по лицу своей маленькой ручкой, говоря: „Дядя Воля, да скоро ли это пройдет?“ Этот ребенок такой благодарный и серьезный, постоянный в своих детских чувствах! Вольф говорит, что первый припадок прошел, но что нужно наблюдать, не будет ли правильно повторяться болезнь; на другой же день, в тот же час, боли начались снова, но с тех пор, благодаря заботам дяди Воли, больше не возвращаются»[828].

Спустя несколько месяцев, прошедших в постоянных тревогах, Мария Николаевна составила 23 ноября 1841 года более подробный эпикриз сына: «Это не золотуха и не рахитизм; у Миши чистая кровь, он хорошо сформирован, цвет его лица смуглый, но у него появляется румянец, когда он себя хорошо чувствует. Его болезнь происходит от солнечного удара, который он получил последним летом. Нужно вам сказать, что здешние жары, как они ни коротки, очень сильны; это — раскаленный тропический воздух. Миша удил рыбу в самый полдень на берегу Ангары; широкая река отражала солнце, так что ребенок находился как бы между двумя светилами, которые вдвойне действовали на него. Я его увела домой, но в следующие же дни у него были припадки тоски, стеснение сердца и наконец, на третий день, был очень сильный приступ спазмы в груди и боль во всех членах; на другой день — второй припадок, но более слабый, и с тех пор, в продолжение остального лета, — приливы крови к голове; малейшее утомление, прогулка вызывали у него тотчас же что-то вроде насморка: его глаза делались красными, и

слезы текли беспрестанно до конца дня. Всякое движение ему было запрещено, и предписанный строгий режим и некоторое лекарство, назначенное для печени, скоро восстановили его здоровье. Но до сих пор при слишком сильной жаре и слишком большом холоде мы держим его в комнатах. Сердечные явления время от времени еще повторяются, иногда бывают в горле судороги или, вернее, сильные спазмы и — удивительная вещь для ребенка — стеснение в сердце, о котором он говорит: „Сердце жмет“. Все эти симптомы чисто нервные»[829].

Все обошлось, молодой организм одолел недуг. Однако не успела Мария Николаевна толком оправиться от сильных волнений, как подоспели другие неприятности. На сей раз они имели петербургское происхождение.

Еще в начале 1841 года, по инициативе В. А. Жуковского и графа А. Х. Бенкендорфа (и в связи с намечавшимся бракосочетанием наследника престола), воспоследовала высочайшая резолюция, согласно которой надлежало облегчить участь «детей, рожденных в Сибири от сосланных туда государственных преступников, вступивших в брак в дворянском состоянии до постановления о них приговора». Разрешением данного вопроса по воле императора занялась группа высших правительственных чиновников. Их совокупное мнение о «видах монаршего милосердия» сформулировал в январе 1842 года управляющий Министерством юстиции граф В. Н. Панин. Сановники полагали возможным принять следующие меры:

> «1) Детей мужского пола, достигших возраста, в который они могут поступить в военно-учебные заведения, отдать, буде того пожелают родители, в кадетский корпус, с тем, что они утверждены будут в правах дворянства токмо по выпуске из корпуса, если заслужат сей милости нравственным поведением, хорошими правилами и успехами в науках. 2) Детей женского пола, равным образом, по желанию родителей и по достижении установленного возраста, отдать в учебные заведения, состоящие под надзором правительства; и 3) Детям обоего пола не дозволять носить фамилии, коей невозвратно лишились их отцы, но именоваться по отечеству, т. е. Сергеевыми, Никитиными и Васильевыми»[830].

Император Николай Павлович, получив общий всеподданнейший доклад сановников, одобрил предложенные ими пункты, и 21 февраля 1842 года граф А. Х. Бенкендорф отправил генерал-губернатору Восточной Сибири В. Я. Руперту (а

также военному и некоторым другим министрам) «к исполнению» соответствующее высочайшее повеление. В бумаге выработанные чиновниками «льготные» условия были «повторены буквально»[831].

Только дети четырех бунтовщиков подходили под означенную категорию лиц — дети Н. М. Муравьева, С. П. Трубецкого, В. Л. Давыдова и С. Г. Волконского[832].

«Генерал-губернатор Руперт вызвал однажды к себе моего мужа, Никиту Муравьева, Трубецкого, жившего в деревне в 30 верстах от нас, и тех из их товарищей, которые были женаты, — писала в мемуарах (адресуясь к своим уже взрослым чадам) Мария Волконская. — Я сейчас поняла, что дело шло о наших детях. Эти господа отправились, и невозможно передать, какие я перенесла томления и муки, пока они не вернулись. Наконец я увидела, что они возвращаются; муж, выходя из экипажа, сказал мне: „Ты угадала, дело касается детей; их хотят увезти в Россию, лишить их имени и поместить в казенные учебные заведения“. — „Но приказано ли взять их силою?“ — „Нет, Государь только предлагает это их матерям“. Услыхав эти слова, я успокоилась, мир и радость опять наполнили мое сердце. Я вас схватила и стала душить в своих объятиях, покрывая вас поцелуями и говоря вам: „Нет, вы меня не оставите, вы не отречетесь от имени вашего отца“»[833].

Аудиенция у иркутского генерал-губернатора произошла, по всей вероятности, 16 апреля 1842 года. Три последующих дня Волконские, Муравьевы и Трубецкие, как заправские заговорщики, не смыкали глаз и провели в раздумьях, сходках и дискуссиях по поводу сложившейся ситуации. Князь М. С. Волконский позднее утверждал: «Сосланные в Сибирь отнеслись к Монаршей воле как к великой милости, но одно из условий произвело не только на них и родственников, но и на всех лиц, узнавших о том в Сибири, удручающее впечатление, а именно: требование от детей их перемены фамилии. В нем они видели желание уничтожить в последующих поколениях даже и эту связь с отцами и предками»[834].

Большинство родителей по зрелом размышлении решили, что в *таком* виде принять царское предложение невозможно.

Однако С. Г. Волконский думал иначе. Бывший генерал боялся перечить власти, он колебался, всячески уходил от прямого ответа и наконец все-таки высказался в том смысле, что «не имеет права мешать <…> возвращению в Россию» сына и дочери.

Его собеседники, услыхав такие речи, опешили, враз замолкли и, переглянувшись, засобирались восвояси…

Оставшись с мужем наедине, Мария Николаевна вновь была вынуждена изъясняться с ним на повышенных тонах, и под ее сильным давлением Сергей Григорьевич, слегка попетушившись, пошел на уступки. «Он сдался на мои просьбы и на мой довод, что, напротив того, вы (Миша и Нелли. — *М. Ф.)* можете когда-нибудь упрекнуть родителей в том, что они лишили вас вашего имени без вашего на то согласия», — сдержанно, не вдаваясь в подробности, сообщила о тогдашнем столкновении с супругом княгиня[835].

К 19-му числу общая позиция поселенцев была согласована. В этот день отцы семейств отправили на имя В. Я. Руперта письма с учтивыми отказами от сомнительной милости[836]. В посланиях декабристов недвусмысленно говорилось, что «лишение детей фамильного имени отцов» было главным (единственным) мотивом их отказа. Для пущей убедительности С. Г. Волконский изложил и иные резоны; он (в присутствии жены) написал генерал-губернатору следующие прочувствованные строки:

«Частые и сильные болезни сына моего совершенно расстроили его здоровье. В положении сем не только предназначение к военной службе, но и самое путешествие его из Сибири в Россию будет для него, несомненно, пагубным. Дочь моя еще ребенок, и что может ей заменить заботливое попечение матери? Существование жены моей так совершенно слито с благополучием и жизнию ее детей, что одна мысль о возможности разлуки сделалась для нее мучением. Должны ли дети мои вступить в свет с горькою уверенностью, что отец их купил им житейские выгоды новыми страданиями и самою жизнию их матери? На сердце, уже полное любви и добродетели, Государя Цесаревича и Наследника возлагаю я нераздельную судьбу жены и детей моих и чрез сердобольное ходатайство Его испрашиваю милости не лишить детей моих имени, переданного им святостию брака родителей, имени, которое изгладить в их памяти можно только с уничтожением сыновней в них любви. Сим отзывом имею честь ответствовать на предложение, сделанное мне чрез Ваше Высокопревосходительство»[837].

«Мы выразили свой отказ самым вежливым образом, — вспоминала об этой бумаге княгиня Волконская, — так как действительно доброе чувство побудило Государя предложить нам воспитать наших детей на его счет, хотя он и поставил при этом условие, сообразное с его личным взглядом на вещи»[838].

В тот же день 19 апреля 1842 года Мария Николаевна отослала пространное письмо брату Александру Раевскому, где изложила историю предполагавшегося «помещения мальчиков в кадетские корпуса и девочек в институты». Этим посланием

княгиня еще раз подтвердила, что судьбу Миши и Нелли она определила фактически единолично.

«Отказаться от имени отца, это такое унижение, подвергнуть которому своих детей я не могу взять на себя; не будут ли они вправе когда-нибудь потом поставить мне это в упрек? — писала между прочим Волконская. — По совести, перед Богом и перед людьми, я не должна этого делать; это значило бы заклеймить их в глазах каждого, дать им вид незаконнорожденности, чего ни одна мать не могла бы вынести. Дорогой мой Александр, вы, который меня знаете, не приписывайте этого, умоляю вас, ни горечи, ни оскорбленному самолюбию, это лишь крик моего сердца. Разве я не знаю, как трудно соединить добро, которое хотят нам делать, с положением, в котором мы находимся; вверимся же Богу, свидетелю страданий, чрез которые прошло мое сердце за последние три дня. Он сжалится надо мною. <…> Словом, жить с моими детьми и для них — это условие моей собственной жизни, разлучить нас значило бы произнести приговор надо мной. Дорогой мой Александр, я слишком взволнована в эту минуту, чтобы продолжать писать…»

Княгиня Волконская, как следует из этого письма, сумела сохранить в трудный час объективность и отдала должное предложению императора Николая I. Она давно постигла строгую, по-своему справедливую юридическую логику его царствования и понимала, что милости «великого легитимиста» могут скорректировать (и неоднократно корректировали) лишь *букву,* но никак не самый *дух* законов: «Разве я не знаю, как трудно соединить добро, которое хотят нам делать, с положением, в котором мы находимся…» И посему Мария Николаевна, поступая по-матерински, без всякой иронии благодарила государя за его «сердечное отношение»[839] к сосланным.

Апрельский демарш декабристов не на шутку рассердил генерал-губернатора В. Я. Руперта. Тот представил их «письменные отзывы» на благоусмотрение графа А. Х. Бенкендорфа и в своей сопроводительной записке от 11 мая 1842 года указал, что «один только Давыдов умел понять и вполне почувствовал всю благодать снисхождения и милосердия доброго Государя, и потому один достоин воспользоваться настоящею высокою Монаршею милостию. Что же касается до Волконского, Муравьева и Трубецкого, — добавлял В. Я. Руперт, — то обнаруженная ими неготовность к принятию ее, вследствие какого-то неизъяснимого упрямства и себялюбия, по мнению моему, должна навсегда лишить их всякого права на какое бы то ни было снисхождение Правительства»[840].

Однако начальник III Отделения (вскоре скончавшийся) в который раз проявил благосклонность по отношению к политическим преступникам и не придал рекомендациям В. Я. Руперта, «этого недоброго человека»[841], особенного значения[842]. Княгиня Мария Волконская снова взяла верх, но заплатила за эту победу 1842 года очень дорого. Тяжелый недуг сына и едва не случившаяся разлука с ним и дочерью так потрясли Марию Николаевну, что вскоре «она впала в продолжительную и опасную болезнь»[843]. Из ее переписки становится ясно, что это было сильное нервное расстройство. «Наша добрая Мария Николаевна чего нам не стоила всё это время, — писал спустя несколько месяцев А. В. Поджио к И. И. Пущину, — но, благодаря Бога, как нарочно утешила горе наше неожиданными вдруг восстаниями, брат твой тому был свидетель. Она очень слаба, и здоровье ей часто изменяет — нужны большие предосторожности, а ты ее знаешь — впрочем, подает надежды к исправлению и поэтому к жизни и к успокоению нас всех!»[844]

Летом княгиня Волконская, намереваясь хоть как-то подлечиться, отправилась на Тункинские минеральные воды, где очутилась в одно время с иркутским генерал-губернатором. Этот факт некоторые декабристы расценили не в ее пользу: Марию Николаевну тотчас стали упрекать в заискивании перед официальными кругами. «Княгиня также ездила на воды — оповещал Ф. Ф. Вадковский того же И. И. Пущина, — всё Рупертово семейство и его гадкая свита там собралась. С нею были оба Поджио и Муханов. И об этой поездке я сожалел душевно, да и почти все мы, сколько нас ни есть. Наш генерал-губернатор, хотя очень учтив и очень обязателен, но ясно и при всяком случае выказывает, что малейшее сближение с нами ему противно! Как же нам в свою очередь не быть несколько гордыми? Вдобавок кажется, что Тункинские воды вместо пользы принесли вред твоей кумушке»[845].

(Волконская давно догадывалась, что кое-кто из товарищей мужа пристально следит за ней и, злорадствуя, втихомолку разбирает по косточкам всякое ее действие. В этой связи Мария Николаевна однажды вспомнила свое посещение Петербурга в 1826 году — а вспомнив, от души позабавилась: люди повсюду и всегда одинаково падки до «запретного плода». Тогда на рвавшуюся в Сибирь жену бунтовщика светское общество ходило смотреть «как на диковинное животное», смаковало каждую новую подробность, а сгоравшая от любопытства графиня М. Д. Нессельроде, супруга самого вице-канцлера, не утерпела и «заглянула даже под вуаль, которую Мария опустила, чтобы не

быть замеченной»[846]. Теперь ее «вуаль» не давала покоя другой категории лиц.)

Только осенью 1842 года княгине Волконской стало чуть лучше. «Вчера я получила ваше письмо от 20-го июля, дорогая и милая сестра, — сообщала она А. М. Раевской 10 октября, — и спешу ответить, чтобы успокоить вас всех относительно моего здоровья, потому что боюсь, что я встревожила Катерину (Орлову. — *М. Ф.)* тем, что я писала ей на прошлой неделе. Я чувствую себя лучше, хотя всё еще очень слаба, но припадки совершенно прошли»[847].

Минуло еще некоторое время — и зимой Мария Николаевна начала выходить из дому на прогулки, а затем постепенно вернулась и к своим обыденным делам и занятиям с детьми.

Она приглушила болезнь, но здоровье ее было навсегда подорвано. В последующие годы Волконская часто и мучительно хворала.

Осень 1843 года принесла Марии Николаевне новое горе: она узнала, что еще в июле скончался ее любимый брат Николай…

В августе 1844 года В. Я Руперт разрешил ей выехать на лечение в Иркутск. Более того, подобревший генерал-губернатор[848] поддержал ходатайство княгини, адресованное графу А. Ф. Орлову (заменившему А. Х. Бенкендорфа). Мария Николаевна просила правительство дозволить ей *постоянно* проживать (вместе с мужем) в столице Восточной Сибири. «Волконская одержима упорной болезнью, к излечению которой она в селении Урике не в состоянии иметь способов», — доносил по своим каналам В. Я. Руперт в Петербург[849]. Однако высочайшего соизволения на переселение Волконских тогда не последовало.

23 ноября того же года Мария Николаевна послала из Иркутска еще одно письмо в столицу — теперь на имя начальника штаба при шефе корпуса жандармов Л. В. Дубельта. Тот некогда был адъютантом генерала от инфантерии Н. Н. Раевского-старшего и «домашним в его семье человеком». Княгиня деликатно напомнила ему о давних временах и просила заступничества в таких словах:

> «Генерал-губернатор мне разрешил переехать на время в город, ввиду серьезного оборота моей болезни. Но это разрешение не могло распространяться на моего мужа. Но разве он может оставаться в Урике, зная, что я нахожусь в опасности и дети мои одни со мною?
>
> Основываясь на разрешении, которое получили многие из товарищей моего мужа — жить в губернских

городах — Барятинский, Давыдов, которые принадлежат к первой категории, тогда как муж мой ко второй, — я решилась написать Алексею Федоровичу (Орлову. — *М. Ф.),* как я писала прежде графу Бенкендорфу, всегда мне отвечавшему со вниманием. Ответ графа Орлова генералу Руперту не был благоприятен в отношении моего мужа, хотя и не заключал в себе запрещения проживать мне в городе. Не могу от Вас скрыть, что это известие сильно меня потрясло, и судороги в сердце у меня возобновились.

Взгляните, в каком положении я нахожусь за отказом нам в перемещении в город; я даже не знаю, долго ли меня здесь оставят, со дня на день могут мне приказать выехать, а я так боюсь умереть беспомощной в Урике. Не решаясь вторично утруждать графа, я обращаюсь к Вам, дорогой Леонтий Васильевич, и прошу Вас разъяснить ему мое положение. Испросите мне официальное разрешение жить в Иркутске до излечения болезни и чтоб мой муж мог приезжать для ухода за мной и нашими детьми.

Кончаю, прося Вас верить, что я храню к Вам чувства уважения и дружбы самые искренние»[850].

Л. В. Дубельт уважал отца Марии Волконской, помнил сделанное ему добро и посему приложил немало сил для удовлетворения просьбы княгини. Его хлопоты завершились благополучно, и уже в январе 1845 года граф А. Ф. Орлов после всеподданнейшего доклада уведомил генерал-губернатора Восточной Сибири, что «Волконской дозволяется остаться в Иркутске впредь до выздоровления, с дозволением мужу ее приезжать туда по временам»[851]. (Любопытно, что влиятельное лицо даже повторило формулировку, подсказанную княгиней.)

Императорское «впредь до выздоровления» было еще одним отступлением от *буквы,* оно значило: постоянно.

Почти одновременно с получением этого подспудного «вида на жительство» княгиня узнала, что в Риме скончалась ее мать, Софья Алексеевна. Не всегда дочь ладила с ней, подчас крупно ссорилась и прекращала переписку, но тем не менее всегда ее любила — и иркутские слезы Волконской были вполне искренними. Со смертью С. А. Раевской оборвалась еще одна ниточка, которая связывала Марию Николаевну с родной семьей, со счастливыми временами и с Россией…

«…Я поселилась в городе, — читаем в мемуарах Марии

Николаевны. — Мужу было дозволено навещать нас два раза в неделю, а несколько месяцев спустя и совсем туда переехать»[852]. Сергей Григорьевич не очень-то и стремился подолгу жить в Иркутске. Здесь ему было тесно, душно, неуютно. Волконского тянуло на природу, к земле — и бывший князь при первой же оказии покидал семейство и отправлялся «крестьянствовать» в более привычный Урик или в тихий «Камчатник».

После переезда Марии Волконской в Иркутск туда стал наведываться и подолгу проживать в нанятой на Большой улице квартире *другой человек*. Иногда он демонстративно испрашивал у местного начальства разрешение на подобные визиты, но чаще всего его поездки в город из расположенного неподалеку селения носили «келейный» характер. Постепенно визитер приучил начальство смотреть сквозь пальцы на такие невинные проделки.

Имя этого человека — тоже декабриста — уже встречалось на страницах данной книги. Теперь мы расскажем о нем и его отношениях с княгиней Волконской более обстоятельно.

Глава 15
АЛЕКСАНДР ПОДЖИО

Это превосходный и достойный уважения человек, который предан мне сердцем и душой, и я не знаю, как выказать ему свою признательность.

М. Н. Волконская — А. М. Раевской, 14 июня 1841 года

«Превосходного» человека, как нетрудно догадаться, звали Александром Викторовичем Поджио.

Он родился в 1798 году в Новороссии, в Николаеве, был итальянцем по происхождению и католиком. В юности Александр воспитывался в Одесском институте (частной гимназии). Вместе со своим старшим братом Иосифом он приходился княгине Марии Николаевне Волконской дальним родственником — кузеном[853].

Александр Викторович еще в 1814 году был причислен к лейб-гвардии Преображенскому полку, где к 1823 году дослужился до чина штабс-капитана. После этого его перевели (по не совсем понятным для историков причинам) майором в Днепровский пехотный полк, расквартированный на юге России. Оттуда Поджио спустя полтора года вышел в отставку («по домашним обстоятельствам») с чином подполковника.

С 1821 года Александр Поджио был членом Северного общества, а с 1823-го — заодно и Южного. На тайных сходках бравый офицер выделялся активностью и красноречием, причем частенько предлагал заговорщикам предпринять самые решительные меры, вплоть до уничтожения всей августейшей семьи. (Правда, после ареста и препровождения в Петербург его энтузиазм быстро сошел на нет, и поведение отставного подполковника Поджио в ходе следствия временами выглядело, мягко говоря, сомнительным, жалким.)

Его осудили по I разряду — и по конфирмации вместо смертной казни приговорили к вечной каторге. (Срок каторжных работ Поджио, как и у других злоумышленников, впоследствии неоднократно сокращался.) Сначала Поджио содержался в Кексгольмской крепости, потом в Шлиссельбурге, а в январе 1828 года он был доставлен в Читинский острог. Позднее его вместе с прочими государственными преступниками перевели в

Петровский завод. С 1839 года декабриста обратили на поселение в Усть-Куде Иркутской губернии.

Сын иркутского купца Н. А. Белоголовый, учебными занятиями которого в первой половине 1840-х годов руководил А. В. Поджио, вспоминал о своем «почтенном учителе и друге» так: «Длинные черные волосы, падавшие густыми прядами на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденною подвижностью в движениях и с живостью характера ясно указывали на его южное происхождение. Под этой красивой наружностью скрывался человек редких достоинств и редкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили в нем рыцарское благородство, искренность и прямодушие в отношениях, горячность в дружбе и тому подобные прекрасные свойства <…>, но при этом придали ему редкую мягкость, незлобие и терпимость к людям, которые до конца его жизни действовали обаятельно на всех, с кем ему приходилось сталкиваться»[854].

Сближение Марии Николаевны с Александром Поджио, «итальянцем, сохранившим весь жар и все убеждения юношества» (Е. И. Якушкин), произошло в Петровском заводе в начале тридцатых годов и не стало тайной за семью печатями для окружающих. Не случайно С. Г. Волконский в 1832 году просил каторжанина как-то повлиять на только что ставшую матерью княгиню Волконскую[855]: он тогда уже знал, что его жена прислушивается к словам «доброго кузена» Александра Викторовича. Кто-то из декабристов трактовал отношения Волконской и Поджио как обыкновенную дружбу, кто-то был склонен видеть в них нечто большее. Последние (преобладавшие), однако, руководствовались в основном слухами и догадками. К сожалению, они порою прибегали и к оскорбительным публичным заявлениям. Например, печально известный «декабрист-провокатор» И. И. Завалишин (родной брат Дмитрия Завалишина) «на всех перекрестках трубил про бедную М. Н. Волконскую, что она вторая Мессалина»[856]. Определенную лепту в дело посрамления Марии Николаевны внесли и «сибирские жители», а также отдельные позднейшие мемуаристы.

Напомним читателям, что Александр Поджио в течение некоторого времени преподавал детям княгини ряд предметов и потому бывал в доме (вернее, в домах) Марии Николаевны регулярно, а иногда и ежедневно. Особенно много занимался он с «дорогим другом» Мишей Волконским, к которому относился с

необычайной нежностью. Помянутые обстоятельства также были учтены и прокомментированы современниками.

Приведем для наглядности кое-какие фрагменты текстов, в которых речь шла о том, насколько «плотно прилепился» (С. Гессен) Александр Поджио к княгине Марии Волконской.

Из письма декабриста Ф. Ф. Вадковского к П. Н. Свистунову от 13 января 1840 года: «Что касается семьи Волконских — на нее жалко смотреть. Бедный старый муж решительно устранен. Жена ведет хозяйство, с утра до вечера окружена братьями Поджио, злословит и с ними и с кем попало над Сергеем Григорьевичем, доводя скандал до того, что поддерживает все унижения, которые его заставляют сносить. Словом — это отвратительно!»[857]

В воспоминаниях сибиряка, записанных И. И. Благовещенским, находим, в частности, следующее: «Поджио обыкновенно ночевал у Волконской. У Волконской был даже сын Михаил — „вылитой Поджио“. Связь их продолжалась и в Иркутске, где дома их находились в соседстве…»[858]

Из мемуаров чиновника Л. Ф. Львова: «Она (Волконская. — *М. Ф.)* любила посещать выстроенный домик Иосифа Поджио на отведенном ему участке близ Иркутска, на самом берегу Ангары…»[859]

А в письме Е. И. Якушкина (сына декабриста) к жене (1855) выделим такие строки: «Много ходит невыгодных слухов про ее (Волконской. — *М. Ф.)* жизнь в Сибири, говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского»[860]. Тот же Е. И. Якушкин, повествуя о первом замужестве Нелли (дочери княгини) и упорном сопротивлении С. Г. Волконского этому браку, утверждал, что Мария Николаевна «не хотела никого слушать и сказала приятелям Волконского, что ежели он не согласится, то она объяснит ему, что он не имеет никакого права запрещать, потому что не он отец ее дочери»[861].

Итак, и декабристы, и «лица, знавшие декабристов», усматривали в отношениях княгини Волконской и Александра Поджио самую натуральную *связь*.

Лев Толстой решительно отвергал «рассказы про роман между Поджио и Волконской». «Я не хочу верить, — говорил он, — так часто выдумывают такие легенды и чернят память людей»[862]. Ведя речь исключительно о «памяти», писатель, однако, не учел, что многие пикантные побасенки про княгиню и пылкого итальянца получили хождение еще при жизни Марии Николаевны. Невзлюбившие Волконскую лица распространяли их едва ли не по всей Сибири — и поселенцев, желающих бросить в княгиню камень, становилось все больше и больше. (Заодно упомянем, что в любовники Марии Волконской иногда

определялись и иные декабристы — такой чести удостоились, например, Михаил Лунин и Иван Пущин.)

В тридцатые годы XX века О. И. Попова собрала и изучила почти все доступные материалы, касающиеся данной темы. Поработав в Пушкинском Доме с документами княжеского архивного фонда, она предположила, что «чьей-то заботливой и тщательной рукою изъято из архива Волконских всё то, что могло бы пролить свет на самую интимную страницу ее жизни, на источник ее семейной драмы. В архиве Волконских, — сообщала исследовательница, — не нашлось ни одного письма А. В. Поджио к М<арии> Н<иколаевне>. Сохранились лишь немногочисленные письма его к Сергею Григорьевичу и Михаилу Сергеевичу, почти все относящиеся к годам после смерти М<арии> Н<иколаевны>. Исключительная близость Поджио к семье Волконских, подтверждаемая его биографией и указанными выше письмами, заставляет думать, что большая их часть была уничтожена самой М<арией> Н<иколаевной> перед кончиною или позднее членами ее семьи. Вряд ли почти полное отсутствие писем лица столь близкого к семье Волконских можно объяснить случайностью, тем более, что архив Волконских дошел до нас в прекрасной сохранности»[863].

Кроме того, О. И. Попова отметила, что и в напечатанных воспоминаниях княгини Марии Волконской немало недосказанного и непонятного в тех местах, где мемуаристка упоминает имена Александра Поджио и его брата.

Попова вполне допускала, что «дети М<арии> Н<иколаевны> — Михаил и Елена — были детьми и Поджио». В этом случае «становится понятной и пламенная любовь к ним М<арии> Н<иколаевны>, — писала О. И. Попова. — В них она нашла не только смысл и содержание своей жизни, не только с помощью их создала в трудной и сложной семейной обстановке какой-то свой неотъемлемый уголок жизни, в них она нашла те реальные нити, которые, вопреки всей внешней обстановке, прочно и тесно связывали ее с любимым человеком»[864].

Такова была, по мнению биографа, суть «семейной драмы» княгини Волконской, «истинную причину которой мы узнаем всё же не от нее самой, а от лиц, непосредственно наблюдавших ее жизнь»[865].

В определенной мере аргументированной и смелой, лишенной свойственного большевизму ханжества, гипотезе О. И. Поповой, изложенной в сборнике «Звенья», была уготована в СССР странная, как бы двойственная судьба. Значительная часть советской научной и культурной «общественности» сразу и практически безоговорочно приняла ее. В неформальном

общении специалистов и любителей романтической истории вопрос о «внебрачных похождениях» княгини вполголоса обсуждался как вопрос окончательно решенный, непроясненный разве что в интимных подробностях.

Однако идеологические условия в стране постепенно менялись, мифы режима становились всё жестче и примитивнее — и посему с некоторых пор в официальной печати княгиня Волконская начала превращаться (и вскоре, естественно, превратилась) в кристально чистую, верную соратницу несгибаемого борца за свободу, едва ли не в убежденную революционерку, «декабристку», которая вслед за мужем бросила вызов «царизму». О спорных, «человеческих» фактах биографий такой категории лиц вещать не рекомендовалось. И поэтому в сочинениях декабристоведов и литераторов, посвященных Марии Волконской, о «чрезвычайной дружбе» княгини и Поджио приходилось в послевоенные времена или вовсе умалчивать, или говорить крайне осторожно, мельком, в основном посредством глухих намеков.

Тема «романа» Марии Волконской и Александра Поджио была тогда почти полностью вытеснена из пространства текущей историографии в сферу кулуарных бесед высокопросвещенной публики, знакомой со старыми изданиями.

А в 1989 году Н. П. Матханова попыталась закрыть эту скользкую тему окончательно. Она издала в Иркутске (с тщательными комментариями) мемуарное и эпистолярное наследие А. В. Поджио[866] и в предисловии к книге остановилась на проблеме отношений М. Н. Волконской и итальянца. Н. П. Матханова заново изучила все имеющиеся документы, придирчиво проверила доводы О. И. Поповой и в итоге пришла к такому заключению: «Бесспорно, что А. В. Поджио был очень близок к семье Волконских и очень привязан к М. С. Волконскому, это подтверждают и впервые публикуемые в настоящем издании письма А. В. Поджио. Но ни одного не только прямого указания, но и намека на особый характер отношений А. В. Поджио и М. Н. Волконской не обнаружено. Никаких прямых утверждений в воспоминаниях и письмах декабристов, их родных и друзей также не найдено. Версия О. И. Поповой не может считаться доказанной»[867].

Однако Н. П. Матханова, ставя под сомнение популярную давнюю гипотезу о «романе» княгини Марии Николаевны, так и не смогла эту гипотезу убедительно опровергнуть. Желания ее, вне всякого сомнения, были благими — а вот контраргументы оказались далеко не безупречными.

В частности, исследовательница почему-то не придала

никакого значения красноречивому письму А. В. Поджио к С. Г. Волконскому, датируемому мартом 1832 года (об этом документе уже не раз велась речь). Да и введенные Н. П. Матхановой в научный оборот письма Александра Поджио к сыну княгини, Михаилу Волконскому, наполнены такой безграничной любовью, так откровенны, что напоминают (подчеркнем: *напоминают*) родственную переписку. К тому же Н. П. Матханова не заметила ряд многозначительных фактов, к примеру, следующий: в записках и письмах А. В. Поджио практически отсутствует имя его старинного знакомого, некогда принимавшего итальянца в Северное общество, — М. С. Лунина (который, как упомянуто выше, в Урике был увлечен княгиней).

Критикуя методику Н. П. Матхановой, нельзя, однако, не согласиться с ее репликой касательно отношений А. В. Поджио и княгини М. Н. Волконской. «…Эта сторона его (Поджио. — *М. Ф.)* жизни, — пишет исследовательница, — к сожалению, вызывала и до сих пор вызывает чрезмерное любопытство, продиктованное далеко не научными интересами»[868].

Таким образом, на сегодняшний день в литературе и общественном сознании сосуществуют два полярных взгляда на характер многолетней дружбы княгини Марии Волконской и Александра Поджио. Долгая полемика так и не выявила преимущества сторонников той или иной версии, ибо обе версии до сих пор не подкреплены неопровержимыми фактами. Прогнозируем, что и в будущем лица, вознамерившиеся писать о «романе» Марии Николаевны, не сумеют добыть каких-либо решающих аргументов и будут опираться исключительно на косвенные исторические источники, личные понятия о морали и собственную интуицию.

Мы, признаться, считаем означенную ситуацию самой что ни на есть закономерной и счастливой. Пусть тайна взаимоотношений княгини и Александра Поджио так и останется навсегда неразгаданной тайной — *их* тайной. Для тактичных же исследователей, однажды коснувшихся данного сюжета, будет, видимо, вполне достаточно слов, посредством которых Мария Николаевна определила место Александра Поджио в своей жизни: «Это превосходный и достойный уважения человек, который предан мне сердцем и душой, и я не знаю, как выказать ему свою признательность»[869].

Ведь «преданность сердцем и душой» все же важнее того, о чем судачили кумушки XIX века и до чего пытались и поныне пытаются докопаться иные биографы княгини Волконской.

Отставной штабс-капитан Иосиф Викторович Поджио умер 6

(или, быть может, 8) января 1848 года в иркутском доме Волконских, куда он, словно чувствуя неизбежное, приехал из селения Усть-Куда за два дня до кончины.

О последних же десятилетиях жизни Александра Поджио можно поведать немало интересного.

После смерти брата Александр Викторович окончательно, официально переселился из Усть-Куды в Иркутск. Там в 1850 году он неожиданно женился на Л. А. Смирновой, классной даме Иркутского девичьего института, «урожденной москвичке и без всякого состояния, но чрезвычайно доброй» (Н. А. Белоголовый), которая была моложе декабриста ровно на четверть века. Современники говорили, что, узнав об этом браке, «Волконская с горя захворала»[870].

В 1854 году у супругов Поджио родилась дочь Варя, которая (став в замужестве Высоцкой) дожила до советских времен.

Вскоре окончилась николаевская эпоха…

После амнистии 1856 года восстановленный в правах Поджио решил остаться в «дорогой и всегда памятной Сибири». Он занялся огородничеством и мукомольным делом, потом по старой привычке давал частные уроки и в конце концов пустился в золотоискательство — но нигде не сумел найти свою жилу. В 1859 году невезучий шестидесятилетний предприниматель возвратился-таки в Россию.

Отныне в отношениях Александра Поджио с Волконскими наступил новый период. «Ни его женитьба, ни изменившиеся условия жизни семей Волконских и Поджио после амнистии не в силах были разрушить их глубокую взаимную привязанность, — пишет О. И. Попова. — Жизнь Волконских и Поджио была тесно сплетена до конца их дней»[871]. Сергей Григорьевич, давно свыкшийся со своей полуотставкой, до самой гробовой доски относил Александра Викторовича (прозванного «Дядькой») к числу закадычнейших друзей.

Волконские встречались с вернувшимся Поджио, всячески старались помочь ему, «пробивавшемуся между жизнью и смертью»[872], в непростых финансовых (наследственных) делах, устраивали денежные ссуды Александру Викторовичу, привечали его молодую и симпатичную жену и конечно же переписывались с декабристом.

Писал в ответ и он, причем особенно часто Поджио посылал нацарапанные дурным почерком весточки князю Михаилу Сергеевичу Волконскому, своему любимцу и былому ученику, а теперь уже взрослому и вполне респектабельному человеку. Весьма примечательно, что многие из этих проникновенных посланий завершались (равно как и мартовское 1868 года

послание Александра Викторовича к Нелли[873]) традиционной, почти неизменной, напоминающей родительскую (сызнова подчеркнем: *напоминающей)* формулой: «Все мои тебе благословения»[874]. (В опубликованной Н. П. Матхановой сотне писем Поджио к прочим лицам точно таких концовок больше нет, а отдаленно похожих, кажется, всего четыре и применены они явно бессистемно — можно сказать, случайно.)

В эпистолярном диалоге с Михаилом Сергеевичем зачастую упоминалась и М. Н. Волконская. Обращаясь к Мишелю, Поджио охотно делился воспоминаниями о ней, величал княгиню «достойной» и даже «святой матерью», говорил о ее «великом смирении»[875]. А в письме, датируемом осенью 1871 года, декабрист назвал Марию Николаевну просто «мамой»[876]. Впрочем, все это опять-таки ничего толком не доказывает…

С лета 1861 года по предложению Нелли Александр Викторович занял должность управляющего имением Шуколово Дмитровского уезда Московской губернии. (Усадьба и земля принадлежали внуку княгини Волконской — сыну Нелли от первого мужа, Д. В. Молчанова.) Мало-мальскими достижениями на новом поприще он похвастаться, увы, не мог. «Сел не в свои сани и взялся не только за шаткое дело, но и не по силам и взгляду», — писал тогда С. Г. Волконский[877].

А в мае следующего года Поджио сообщили о серьезном недомогании Марии Николаевны. Он мигом бросил все дела и поспешил к ней, в имение Воронки Козелецкого уезда Черниговской губернии (владение второго мужа Елены Сергеевны, Н. А. Кочубея). В Воронках декабрист прожил подле угасающей княгини более года, разделяя с другими «уход и заботы о больной»[878], и в глубоком унынии покинул поместье вскоре после кончины Волконской.

С тех пор черниговские Воронки стали для него святой, вожделенной землей.

С осени 1863-го и до весны 1864 года Поджио сопровождал Нелли в заграничном путешествии. (Они с семьями посетили тогда Италию, где больной чахоткой муж Елены Сергеевны завершил свои дни.) Вернулся восвояси Поджио ненадолго и спустя всего несколько месяцев вновь отправился в Европу, на сей раз в Швейцарию.

Летом 1868 года Александр Викторович наведался с семейством в Воронки, поклонился праху Марии Николаевны — и опять, как ни уговаривали его остаться насовсем, отбыл за границу. Через какое-то время Поджио обосновался во Флоренции. (Там на исходе 1865 года он получил известие о смерти С. Г. Волконского.)

А весною 1873 года семидесятипятилетний Поджио сам занемог, слег и, ощущая приближение конца, попросил, чтобы его как можно быстрее отправили в Россию. Полуживого старика с немалыми трудами отвезли все в те же Воронки.

В Воронках он вскорости и испустил дух — на руках преданной Нелли, Елены Сергеевны (в ту пору ставшей уже Рахмановой). Это случилось 6 июня 1873 года.

Накануне кончины Александр Викторович Поджио высказал горячее пожелание, чтобы его похоронили в углу воронковского сада, аккурат возле часовни над могилами М. Н. и С. Г. Волконских.

Его предсмертная воля была исполнена. Он лег в *ту же* землю.

Много всякой всячины понаписано про отношения М. Н. Волконской и А. В. Поджио, однако на два любопытных обстоятельства, неразрывно связанных с этой волнительной и туманной историей, никто из сочинителей, кажется, не обратил заинтересованного взора.

Прежде всего, биографы не оценили должным образом занятную ономастическую рокировку, произведенную главными героями нашей книги в начале 1830-х годов: Пушкин тогда назвал своего ребенка, дочь, *Марией,* а самым коротким сибирским другом княгини стал *Александр,* «достойный уважения человек» с инициалами *А. П.*

А вот и второй факт, похоже, более значимый. Сопоставление ряда свидетельств и нехитрые подсчеты показывают, что некое сближение Марии Волконской с *этим* Александром (А. П.) началось в Петровском заводе *только после того,* как Мария Николаевна узнала о бракосочетании другого А. П. — Александра Пушкина.

Наверное, какой-нибудь романтический писатель XVIII или XIX столетий выразился бы на сей счет так или приблизительно так: поступок поэта сделал оскорбленную княгиню одинокой и *свободной.*

Данными соображениями мы, пожалуй, и завершим короткий очерк о «романе» Александра Поджио и княгини Марии Николаевны Волконской.

Перейдем теперь к рассказу о заключительном этапе ее зауральской эпопеи.

Глава 16
ПОСЛЕДНИЕ СИБИРСКИЕ ГОДЫ

…Молите Бога, чтобы мы все возвратились…

М. Н. Волконская — Е. Н. Орловой, 10 мая 1848 года

Заключительный этап сибирской жизни Марии Николаевны начался еще в бытность генерал-губернатором В. Я. Руперта.

«Мое здоровье лучше, и я по многим причинам очень довольна своим пребыванием в городе, — сообщала княгиня А. М. Раевской 25 марта 1845 года. — Я веду жизнь уединенную, никуда не выхожу, но добрые люди, которые знали папа или много слышали о нем, приходят меня навестить и проявляют ко мне много внимания»[879]. Однако тогдашняя ее жизнь в Иркутске далеко не всегда походила на идиллию.

«На первых порах было трудно, — писал ее внук. — Разрешение на въезд в город, полученное из Петербурга, не нравилось местному начальству, оно с трудом приспособлялось к этому вкрапливанию государственных преступников в среду иркутских обывателей. Случались ложные положения. Однажды Мария Николаевна, желая доставить развлечение своей дочке, повела ее в театр (если можно назвать театром тот сарай, в котором давались в то время представления). Через несколько дней появилось распоряжение о запрещении женам государственных преступников посещать общественные места увеселений»[880].

Другой поступок княгини Волконской даже стал предметом переписки раздраженной иркутской администрации с Петербургом.

Как-то Мария Николаевна посетила музыкальный вечер в Иркутском девичьем институте — и тотчас же гражданский губернатор А. В. Пятницкий сделал ей «неприятное замечание». Княгиня, не удержавшись, вспылила и в очередном письме к сестре Е. Н. Орловой пожаловалась на притеснения со стороны властей, которые неизменно принимали «обидные и оскорбительные формы». Екатерина Николаевна, оценив ситуацию, поведала об инциденте брату мужа, могущественному начальнику III Отделения графу А. Ф. Орлову. И вскоре иркутский генерал-губернатор получил из столицы бумагу, где

указывалось, что «Мария Волконская претерпевает иногда неприятности, тогда как она должна бы была пользоваться снисхождением, потому что не разделяла преступления мужа и последовала за ним в Сибирь по собственному своему желанию». Далее А. Ф. Орлов настоятельно рекомендовал В. Я. Руперту «удостоить Волконскую покровительством и приказать, дабы ближайшие власти действовали в отношении к ней сколь возможно снисходительнее и прилично ее положению»[881].

Такие строки сановника очень напоминали выговор, и В. Я. Руперт был вынужден оправдываться. Вместе с тем он (в письме к А. Ф. Орлову) продолжал настаивать: «Присутствие государственных преступников, равно их жен и детей, на балах и в публичных собраниях вообще я находил и нахожу по настоящему их быту нисколько не соответственным, а тем более неуместным свободное посещение ими, под каким-либо предлогом, казенных заведений, для воспитания юношества предназначенных»[882]. И хотя в Петербурге в целом согласились с данным суждением чиновника, В. Я. Руперт стал впредь вести себя по отношению к женам декабристов гораздо осмотрительнее.

Он понял, что времена потихоньку меняются…

После таких коллизий Мария Николаевна все-таки была вынуждена свести свои визиты в публичные места к минимуму. Но в своем жилище — приобретенном вскоре после переезда просторном двухэтажном здании, «убранном по образцу лучших столичных барских домов» (Б. В. Струве) — Волконская была полновластной хозяйкой, *княгиней* и могла не обращать внимания на докучливых чиновников. Тут она порою позволяла себе и насмешливую фронду.

Скажем, властям не понравилось ее появление в убогом театре — что ж, тогда Волконская устроит театр в собственном доме. Сказано — сделано, и княгиня заказала декорации, а юные посетители ее владений с воодушевлением начали репетировать фонвизинского «Недоросля», причем роль Митрофана досталась Мише Волконскому. (Потом, правда, энтузиазм «первобытных актеров» иссяк, и вся эта затея сошла на нет.)

Уже знакомый нам Н. А. Белоголовый вспоминал: «…Княгиня Марья Николаевна была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни. Говорят, она была хороша собой, но, с моей точки зрения 11-летнего мальчика, она мне не могла казаться иначе, как старушкой, так как ей перешло тогда за 40 лет; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим

достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии <…>. Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем, и только генерал-губернатор Руперт и его семья и иркутский гражданский губернатор Пятницкий избегали, вероятно из страха, чтобы не получить выговора из Петербурга, появляться на многолюдных праздниках в доме политического ссыльного. <…> Кроме этого дома и дома Трубецких, тогдашняя иркутская жизнь мало могла дать для развлечений светской молодежи, а у Волконских же бывали и балы, и маскарады, и всевозможные зимние развлечения»[883].

Обустроившись в Иркутске, княгиня Волконская вскоре подыскала для Нелли подходящую гувернантку. А в 1846 году она (на сей раз посовещавшись с мужем) решила ходатайствовать о помещении сына Мишеля в Иркутскую гимназию. По этому поводу Мария Николаевна писала 25 февраля графу А. Ф. Орлову следующее:

> «Граф! У меня нет более родителей, Вы это знаете, нет никого, кто бы мог за меня ходатайствовать, я обращаюсь к Вам и прошу поддержать меня в том затруднительном положении, в котором я нахожусь.
>
> Страдая уже несколько лет постоянной болезнью сердца и боясь не перенести ее, я озабочена мыслию, что не даю достаточно хорошее образование сыну, а, с другой стороны, разлука с ним нанесла бы смертельный мне удар при таком состоянии моего здоровья. Вот почему я желала бы, чтобы он прошел курс гимназии в Иркутске, где, при направлении казенного заведения, он обеспечил бы себе спокойную будущность. Итак, я умоляю Вас, граф, исходатайствовать милостивое соизволение Государя Императора на то, чтобы сыну моему было разрешено поступить приходящим учеником в Иркутскую гимназию, и я буду обязана Его Величеству спокойствием остальных дней моей жизни.
>
> Граф! Не с формальным прошением обращаюсь я к Вам, а с просьбою матери, которая говорит Вам со всею искренностью и упованием своего сердца»[884].

Генерал В. Я. Руперт, памятуя об изменении политического климата, поддержал это ходатайство: по его мнению, оно «заслуживало уважения, тем более, что публичное воспитание есть лучшее средство дать юному уму направление, согласное с

видами правительства»[885].

Вскоре граф А. Ф. Орлов доложил императору Николаю Павловичу относительно прошения княгини Волконской и получил высочайшее одобрение. Уведомление об этом было разослано министру народного просвещения графу С. С. Уварову, министрам военному и внутренних дел, а также иркутскому генерал-губернатору. Последний сделал соответствующее распоряжение — и Михаил Волконский стал учеником семиклассной Иркутской гимназии. (Домашняя подготовка юноши была признана педагогами столь основательной, что его зачислили сразу в пятый класс.)

Можно себе представить, как радовалась Мария Николаевна такой удаче. А спустя всего несколько месяцев судьба преподнесла княгине еще один подарок.

В Иркутск наконец-то прибыл вновь назначенный генерал-губернатор Восточной Сибири — Н. Н. Муравьев. С приездом этого весьма либерального государственного деятеля жизнь ссыльных декабристов стала совсем иной. «Последние восемь лет (пребывания в Сибири. — *М. Ф.)* никогда не изгладятся из моего благодарного сердца: за это время генерал-губернатором был уже не Руперт, а Николай Николаевич Муравьев, честнейший и одареннейший человек», — писала впоследствии княгиня Мария Николаевна[886].

Ее внук характеризовал «новый курс» Н. Н. Муравьева (позже ставшего графом Муравьевым-Амурским[887]) в таких словах: «Этот редких качеств человек, столь много сделавший для сибирского края, с первых же дней своего вступления в должность проявил себя заступником, покровителем, другом декабристов; он сразу выдвинул их и, если не в гражданском, то в общественном смысле поставил их в то положение, которое им принадлежало в силу высоких качеств образования и воспитания. Он не только принимал декабристов у себя — он ездил к ним. С домом Волконских у него и его жены (она была родом француженка[888]) установились отношения самой тесной дружбы»[889].

Завязавшаяся искренняя дружба с генерал-губернаторской четой принесла Марии Николаевне немало доброго, душевно приятного и, разумеется, полезного. Благодаря покровительству Муравьевых воспрянувшая духом княгиня перестала ощущать себя существом отверженным, парией, и заняла довольно заметное место в местной элите. Теперь Волконская могла посещать лучшие, ранее недоступные, дома Иркутска и регулярно принимала ответные визиты городских тузов. Однако из-за такого «возвышения» она вскоре столкнулась и с новыми затруднениями.

Расходы Марии Николаевны в конце сороковых — начале

пятидесятых годов заметно увеличились: деньги постоянно требовались ей и на обеспечение нового стиля жизни, и на подросших Нелли и Мишу. Состояние княгини и ее детей находилось под опекой брата, А. Н. Раевского, и к нему из Сибири все чаще стали приходить письма с просьбами финансового характера. Тот ворчал, но высылал требуемые суммы — а потом рассердился всерьез, в сердцах назвал сестру «экстравагантной, сумасшедшей» и заявил (в письме к племяннику), что его мать слишком много «транжирит» и недалек тот день, когда она «разорит его»[890]. И хотя после столь бурного демарша Александра Николаевича разрыва все же не произошло, отношения между детьми генерала Раевского тогда резко и надолго ухудшились.

Пала Мария Николаевна и в глазах большинства поселенцев. Те, прознав о превращении Волконской в светскую даму и закадычную приятельницу генерал-губернатора, стали клеймить ее, вконец изменившую «святому делу», пуще прежнего. Особенно усердствовали декабристы принципиальные и, как повелось, малообеспеченные. Весьма характерно, к примеру, письмо В. Ф. Раевского к Г. С. Батенькову, которое было написано в Олонках в июне — августе 1848 года. Автор вроде бы начал свою эпистолию с бытовых укоров, но потом, разойдясь, обвинил Волконскую (а заодно и ей подобных) в куда более серьезных прегрешениях.

«Первый декабрист» сообщил другу в Томск следующее: «В ответ на совет твой пристроить в дом Мар<ии> Ник<олаевны> Волк<онской> детей моих разъясняю тебе: 1) ты не знаешь детей моих, 2) ты не знаешь *княгини* Мар<ии> Ник<олаевны>. Одна из дочерей моих жила около года у ней. Мои дети не рождены пожирать, поедать чужой труд, ходить на помочах, бояться укушения блохи, проводить жизнь в пляске; мои дети *плебеи*, им предстоит тяжелый, умственный труд — как средство для жизни и в жизни. Наши понятия не сошлись и не сойдутся, да подобные люди и понятий ни о чем иметь не могут. Малограмотные по беспечности родителей, малоумные по направлению от детства, безжизненные, бестолкового физического направления и подготовления — они, эти люди, достойны более сожаления, нежели упреков, они суть как трава в поле, которая не идет в пищу скоту и потому только вредна, не годится, что не приносит пользы».

Выделенные слова решительно подчеркнуты самим В. Ф. Раевским. Он издавна презирал «аристократов» и с гордостью причислял себя и собственных детей к плебсу. При этом Владимир Федосеевич нисколько не сомневался, что

будущее за ними — простолюдинами, «спартанцами». А Волконские и прочие сибаритствующие «патриции» являлись, по убеждению автора письма, гримасой истории, никчемным сорняком на революционной ниве: «Если бы ты посмотрел на вашего диктатора, на его половину[891], на Волк<онских> и других — ты понял бы ясно, — гневался В. Ф. Раевский, — что ожидания, мысль, видения ваши — были детская ошибка. Большое, огромное, дипломатическое дело, дело всего человечества в руках воспитанников Театральной школы или дирекции!»[892]

Так Марию Николаевну оскорбляли разве что невежественные и грубые нерчинские тюремщики в первые годы ее пребывания в «каторжных норах». Но к инвективам «плебеев» Волконская давно привыкла и относилась спокойно, свысока. Труднее княгине было привыкнуть к тому, что в стан ее недругов перешла и некогда ближайшая подруга — Е. И. Трубецкая, добрейшая и преданнейшая Каташа.

Семейство Трубецких тоже пользовалось благосклонностью нового генерал-губернатора Н. Н. Муравьева, и посему Каташа старалась ни в чем не отставать от Волконской. Салон Екатерины Ивановны — не столь шумный, как салон Марии Николаевны, но претенциозный — также пользовался популярностью в городе. Между дамами, желавшими первенствовать, разгорелось нешуточное соперничество, причем обе конкурентки не всегда действовали в рамках светских правил. (Так, Е. И. Трубецкая второпях приобрела дачу бывшего губернатора Цейдлера, хотя знала, что Мария Николаевна давно положила глаз на этот загородный дом[893].)

Их мужья вели себя посдержаннее, пытались сберечь старую дружбу, но и они поневоле были втянуты в противоборство, получившее широкую огласку. «Самое неприятное: взаимное несогласие семейств Волк<онского> и Трубецкого, — писал декабрист В. И. Штейнгейль И. И. Пущину. — <…> Грустно и жалко»[894]. Примерно тогда же иркутский чиновник Н. Д. Свербеев сообщал матери, что две почтенные фамилии «издавна ведут маленькую вражду»[895]. Отголоски этой вражды обнаруживаются и в некоторых письмах С. Г. Волконского. А С. П. Трубецкой признавался И. Д. Якушкину в письме от 17 мая 1848 года: «Сами мы по вечерам <…> редко выезжаем, только в домовые праздники к Волконским, что для нас несколько тягостно, потому что в такие дни у них обыкновенно танцуют и продолжается долго…»[896]

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая скончалась 14 октября 1854 года. Волконская, забыв о долгой розни, тяжело

переживала смерть «бедной Каташи». «…О ней глубоко сожалели ее дети, друзья и все те, кому она делала добро», — по-доброму вспоминала Мария Николаевна[897].

Да вот незадача: внезапная хворь помешала ей участвовать тогда в многолюдной траурной церемонии. Иркутское же общество истолковало отсутствие Волконской на отпевании и похоронах (в Знаменском монастыре) на свой лад. «Одно только лицо удивило меня своею холодностью», — сообщал приятелю овдовевший С. П. Трубецкой[898]. По Иркутску поползли новые разговоры, на каком-то углу что-то присочинили, и в итоге губернское общественное мнение («пружина чести»; *VI, 122)* большинством голосов сурово осудило демонстративный поступок княгини. На исходе того года Н. Д. Свербеев оповестил отъехавшего в Кяхту С. П. Трубецкого, что Мария Николаевна, «между прочим, пользуется теперь всеобщей нелюбовью, начиная сверху. Странными бывают перемены, давно ли она была паролем и лозунгом!»[899].

Получалось, что даже недуги княгини Волконской вменялись ей в вину, даже в них «толпа дворян» (*VI, 524, 526)* умудрялась обнаружить некий вызов или аморальный подтекст…

Между тем Мария Николаевна уже с конца сороковых годов вновь чувствовала себя неважно и никак не могла толком поправиться. Временами ей становилось легче — но потом болезнь возвращалась. И. И. Пущин, в 1848 году гостивший в Иркутске у Волконских, сообщал М. И. Муравьеву-Апостолу и Е. П. Оболенскому: «Марья Николаевна почти выздоровела, когда мы свиделись, но это оживление к вечеру исчезло — она, бедная, всё хворает: физические боли действуют на душевное расположение, а душевные тревоги усиливают болезнь, в свою очередь. Изменилась она мало, но гораздо слабее прежнего»[900].

В переписке с сестрой, Е. Н. Орловой, княгиня подробно описала симптомы своего нескончаемого заболевания. (Видимо, в *холодный* день похорон Е. И. Трубецкой или накануне того дня с Марией Николаевной случился именно такой припадок.) Вот что мы узнаем из послания, датированного 10 мая 1848 года:

«…Я меньше страдаю в этом году от сердца и, если я не выхожу, если в комнатах температура ровная, — я сплю спокойно и не страдаю; но как только в квартире холодно, со мной делается что-то вроде лихорадки, которая начинается с подошв. Это озноб, который не заставляет меня дрожать, но который охватывает спину, левый бок и грудь до сердца; тогда у меня бывает стесненное дыхание и мне кажется, что я дышу сердцем. Это — холодное дыхание, меня охватывает невыразимая тоска и уныние; потом мне делается жарко, язык делается сухим, как

щетка; я глотаю время от времени немного воды; после четырех или пяти часов этого нервного озноба я засыпаю; обильный пот меня облегчает. В этом заключаются мои припадки; самые продолжительные длятся до 6 часов утра; тогда я совсем не засыпаю и встаю утомленной. Вот и всё; а после обеда я сплю 3–4 часа подряд, и всё проходит.

Чтобы избежать этих припадков, утомляющих меня особенно нравственно, доктор просто приговорил меня к домашнему аресту, и я совершенно утратила привычку быть на воздухе; третьего дня было 25 градусов тепла на солнце, но было ветрено — я вышла на террасу; я никогда не чувствую ничего в тот же момент, но ночью, как только я ложусь, начинается мой припадок. Мои легкие больше не выносят воздуха.

Глядя на меня, нельзя сказать, что я больна; я сильна, очень деятельно занята детьми. Я хочу лечиться сама. Я забыла вам сказать, что моя левая рука делается очень слабой и во время припадков я почти не могу ею действовать, — это-то меня и беспокоит больше всего. В общем, вся левая сторона тогда слабеет и нога — тоже. Я хочу приучать себя к воздуху, буду пить козье молоко (это смешно при моем наружном виде); я не хочу больше исландского мха, которым доктор пичкает мне желудок. Но вот еще неудобство: например, в июне, если я провела день в саду и возвращаюсь домой, комнатный воздух мне кажется таким холодным, что я от этого страдаю»[901].

В том же майском послании к сестре Екатерине (написанном «дрожащей рукою») княгиня Мария Николаевна вскользь затронула и другую болезненную тему — тему возвращения бунтовщиков из Сибири на родину. Она писала: «Сейчас поляки возвращаются в Россию — три высланные дамы. А мы добьемся этого счастья только тогда, когда будем стары и разбиты параличом, или же для того только, чтобы умереть дорогой»[902]. Да, существование декабристов и их близких при новом великодушном генерал-губернаторе стало вполне сносным, достойным, однако об освобождении, о Москве или Петербурге, они по-прежнему могли только грустно мечтать.

Правда, накануне двадцатипятилетия царствования Николая I по империи бродили слухи о скорой амнистии политических преступников, и С. Г. Волконский почти не сомневался, что манифест императора со дня на день будет доставлен в Иркутск. Княгиня Волконская в ноябре 1850 года сообщала А. Н. Раевскому: «Сергей уверен, что он вернется, как только появится манифест. Он весел, немного взволнован, однако, опасением, но надежда к нему тотчас же возвращается»[903]. В те месяцы Сергей Григорьевич даже разрабатывал программу

грядущей своей поездки за границу или на Амур.

Но ожидания поселенцев оказались напрасными.

К тому времени их, друзей и недругов княгини, осталось в живых уже совсем немного: многие упокоились в сибирской земле или были убиты на Кавказе.

Мария Николаевна часто и горячо молилась за ушедших — и за собственных детей. Для себя и мужа она в те годы, кажется, уже ничего не просила.

Муж ее, скромно отметивший в Иркутске 60-летие, продолжал жить своей жизнью и слыл на всю округу «большим оригиналом». На одной из страниц воспоминаний Н. А. Белоголового есть колоритное и пространное, сдобренное легкой иронией, описание тогдашнего бытия Сергея Григорьевича.

> «Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче, — сообщал преклонявшийся перед декабристами мемуарист. — С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его время<пре>провождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки.
>
> Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут — до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями — он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе — и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства;

> особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапогов».

Сын Волконских утверждал в начале XX столетия, что «в весьма симпатичном своем труде Н. А. Белоголовый слишком доверился своей детской памяти и впечатлениям 11-летнего ребенка, отчего образы Сергия Григорьевича и княгини Марии Николаевны Волконских вышли у него неверны»[904]. Думается, что верный сыновьему долгу князь М. С. Волконский относил к числу ошибок памяти Н. А. Белоголового не только вышеприведенный, но и такой фрагмент его мемуаров:

> «В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков…»[905]

О «стариковских причудах» Волконского сообщала своим российским корреспондентам и Мария Николаевна. Выходки Сергея Григорьевича то и дело раздражали княгиню. Она же однажды упомянула в письме о «присущей возрасту» мужа «привычке командовать»[906].

Размолвки в семье Волконских не прекращались и в Иркутске. «Попытки С. Г. Волконского наладить добрый мир с женой разбивались об ее скептическое отношение к нему, — пишет О. И. Попова. — Она давно и бесповоротно вынесла суровый приговор мужу, который читается между строк ее писем, таких, казалось бы, мягких по форме, но по существу своему — покровительственно-снисходительных и уничтожающих его. Он в ее глазах был человеком не от мира сего, и это вызывало в ней не сочувствие, а лишь иронию. По складу своего характера они были носителями двух разных направлений, которые в наиболее яркие моменты их жизни неизбежно приводили их к взаимному непониманию и столкновению»[907].

В письмах, которые Волконская посылала близким людям из Иркутска, есть множество нелестных строк о Сергее Григорьевиче. Наиболее откровенна Мария Николаевна была с Нелли и ее мужем. Вот, к примеру, некоторые фрагменты из переписки

княгини с дочерью и зятем в конце 1850 года.

«С. Г. завидует ласкам Нелли и вашим ко мне» (2 октября).

«С. Г. со мной то хорош, то дуется, разыгрывая из себя мою жертву: он никогда не бывает естественным, никогда самим собой» (19 октября).

«С. Г. сегодня страшно сердит; он хочет уехать в номера гостиницы Шульца или жить в своем флигеле. <…> Мишель всем этим потрясен: он верит, что С. Г. действительно переедет к Шульцу. Вы не поверите, до какой степени этот человек позволяет себе лгать» (25 ноября)[908].

В те же сроки, 22 ноября, Мария Николаевна писала брату Александру Раевскому: «…Он (Волконский. — *М. Ф.)* завистник моих детей и особенно завидует тому авторитету, который я имею на них. Он не понимает, что это происходит от любви и доверия и что этими двумя чувствами не повелевают»[909].

Стоит, однако, сразу заметить, что бывали в иркутской жизни Волконских и «добрые минуты» (О. И. Попова). В письмах того же 1850 года княгиня чистосердечно рассказала и об этих эпизодах.

«Мы с ним точно старые друзья, которые, не высказывая этого, согласны, что пора уже одному перестать горячиться и дуться, а другому — не огорчаться и не желать невозможного» (Д. В. Молчанову, 15 декабря).

«Мы веселы. Сергей очень добр по отношению ко мне, заботится обо мне, насколько это позволяет его характер, и очень деликатен; он не оскорбляет более никакое чувство моего сердца…» (С. Н. Раевской, 15 декабря).

«<Сергей Григорьевич>, увидев кольцо Нелли, сказал, что он подарит и мне такое же, чтобы возместить обручальное, которое у меня украли здесь вместе с бриллиантами[910] <…>. Это очень мило с его стороны» (Д. В. Молчанову, 25 декабря)[911].

Из приведенных писем становится ясно, что примирение Волконских произошло спустя три недели после крупного скандала. Однако вскоре раздоры в доме возобновились. Так они и жили в течение десятилетий…

В пятидесятые годы, после начала Восточной войны, неисправимый Волконский выкинул очередное коленце, да еще какое.

Когда шестидесятисемилетний Сергей Григорьевич узнал об осаде Севастополя союзниками, он тотчас вздумал «просить перевода его туда солдатом»[912]. Скорее всего, декабрист понимал, что его патриотическая эскапада выглядит нелепо и не встретит сочувствия в верхах. Он, видимо, только хотел напомнить власти предержащей о своем существовании. Добиваясь этой подспудной цели, Волконский действовал в

присутственных местах столь назойливо и шумно, что терпение лопнуло даже у благовоспитанного Н. Н. Муравьева: генерал-губернатор был вынужден отказать старику в весьма жесткой форме.

В иркутском обществе, не слишком озабоченном далекой войной, острословы открыто потешались над несостоявшимся седобородым ратником. Говорили, что бравый Бюхна, попади он в Крым, наверняка прогнал бы бездарных генералов и враз изменил ход неудачной для России кампании. Иркутское общество, копируя столичное, вело себя тогда «довольно гадко» (*VIII, 153)*.

А Марию Николаевну, задыхавшуюся от злости, в который раз бил жестокий озноб.

В такие дни и месяцы ее часто спасали дети, бесценные Мишенька и Нелли, Нельга и Мишель, которые любили свою мать до самозабвения и не отходили от нее.

Порою Марии Николаевне даже казалось, что только благодаря им она и преодолевает недуги и невзгоды, что единственно любовь к сыну и дочери удерживает ее в этом жестоком мире. «…Мои дети были моими ангелами-хранителями, — сообщала благодарная княгиня сестре, Софье Раевской, — им я обязана всем счастьем моей жизни и, быть может, спокойствием моих последних минут, когда Бог захочет призвать меня к себе. Это потому, что они так добры и так чисты сердцем»[913].

В другом письме Волконская была еще более откровенна: «… Моя сила воли равна силе моей любви к детям, когда дело идет о их благе; во всех других случаях — я мокрая курица, которую каждый может напугать и сбить с толку; я не стою ничего вне моей любви <…>, и природа иссякла на этом. Помимо этого — я лишь существо нервное, безвольное и вызывающее скуку»[914].

Своим возмужавшим сыном Мария Николаевна была безмерно довольна. В 1849 году Михаил Волконский окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью и с правом на чин XIV класса. Ему, правда, несмотря на старания петербургских родственников, так и не разрешили поступать в Московский университет — но юноше очень помог Н. Н. Муравьев. Генерал-губернатор Восточной Сибири задумал взять талантливого юношу на службу к себе и испросил на то высочайшее соизволение. В северной столице за Волконских вновь ходатайствовал граф А. Ф. Орлов.

«Сын государственного преступника Сергея Волконского, Михаил, — писал ближайший сотрудник царя Н. Н. Муравьеву в октябре 1849 года, — воспитывавшийся с Высочайшего

соизволения в Иркутской губернской гимназии, по окончании ныне полного курса наук изъявил желание поступить на службу и в особенности желает иметь честь служить при Вашем Превосходительстве. Имея в виду, что во всё время нахождения своего в гимназии он вел себя хорошо и учился прилежно, так что при окончательном экзамене награжден золотою медалью, я нахожу такое стремление молодого человека похвальным, и как для него, так и вообще полезным, чтобы он во избежание всякой праздности занят был деятельно службою и находился под ближайшим надзором Вашего Превосходительства, и потому обращаюсь к Вам, Милостивый Государь, с покорнейшею просьбою, если Вы находите это удобным и ежели те слухи, которые дошли до меня о нравственности и познаниях его, справедливы, то не изволите ли обратить на этого молодого человека особенное внимание и о последующем удостоить меня уведомлением»[915].

Получив (через А. Ф. Орлова) разрешение императора Николая I, генерал Н. Н. Муравьев тут же, 30 ноября, распорядился зачислить Михаила Волконского на службу в V отделение Главного управления Восточной Сибири, которое находилось под ближайшим надзором генерал-губернатора. Информируя петербургские власти об этом, Николай Николаевич 1 декабря того же года писал начальнику III Отделения: «Я исполнил это с тем большим удовольствием, что Волконский вполне заслуживает особенного внимания как по поведению и прилежанию своему, так и по тому похвальному нравственному направлению, которое он получил в родительском доме»[916].

Княгиня Волконская по гроб жизни помнила это благодеяние Н. Н. Муравьева. В ее мемуарах содержится немало теплых слов о Николае Николаевиче. Среди них, в частности, есть и такие: «В тебе, Миша, — писала она, адресуясь к сыну, — он развил душевные способности для служения твоей родине и направлял тебя на пути терпения и умственной работы»[917].

Мария Волконская гордилась тем, что ее Михаил Сергеевич быстро пошел в гору и уже 1 июня 1850 года стал помощником столоначальника. (К тому же генерал-губернатор, явно доверяя молодому человеку, регулярно отправлял его в ответственные, подчас далекие, командировки.) Горячо одобряла Мария Николаевна и не по годам серьезное поведение сына. «Мишель, которому будет скоро 19 лет, ведет жизнь молодой девушки, а его, конечно, не держат строго, — сообщала она своей сестре Софье. — Я его друг и только предупреждаю его — вот и всё»[918].

Была у княгини и еще одна веская причина для радости. Ее неустанные воспитательные труды не прошли даром: Мишель

вырос настоящим верноподданным, он придерживался консервативных взглядов, на дух не выносил «философов» и весьма скептически относился к декабристам и их идеологическим постулатам. «Благодаря Богу — я вне этого круга, — писал он тетке С. Н. Раевской и далее многозначительно добавлял: — Меня не любят за это»[919].

Разговоры поселенцев о близкой амнистии были восприняты М. С. Волконским саркастически: «Великие люди в страшной ажитации — 25-летие!»[920] Характерно и его признание в письме к А. Н. Раевскому от 23 января 1850 года: «Вы мне советуете не мечтать о несбыточном усовершенствовании мира, бояться германской умозрительности и пр.; поверьте, дядюшка, что у меня такое отвращение от всего этого, в особенности же от политики, что я никаких политических книг никогда и в руки не беру, а русские газеты читаю для того только, чтобы знать, что на свете делается»[921].

Старик Волконский, внимая подобным речам Михаила, мрачнел и только сокрушенно вздыхал: эх, откатилось яблоко от яблони чуть ли не на версту…

В 1853 году генерал-губернатор Н. Н. Муравьев вознамерился отправить своего протеже по казенной надобности в Россию, однако эта поездка, столь многое сулившая Михаилу Сергеевичу, в последнюю минуту сорвалась[922]. Волконский-младший тогда очень расстроился — но горевал недолго. Служа «отлично-благородно», разумно пользуясь высоким покровительством, он был уверен, что рано или поздно покинет тесную Сибирь и сделает карьеру, войдет — ворвется — в элитное сообщество империи.

Вечерами, случалось, Мария Николаевна слушала мечтательные рассказы Мишеньки. Княгиня видела его горящие глаза, воодушевлялась в эти минуты сама, и что-то подсказывало ей: иркутские надежды сына обязательно сбудутся…

Незаметно выросла и дочь княгини — Елена Сергеевна, Нелли. (Теперь мать иногда называла ее Нельгой.) Девушка по праву считалась одной из первых красавиц города. Внук Марии Николаевны, князь С. М. Волконский, спустя десятилетия писал о ней: «Редкой красоты, живая, блестящая, обворожительная в обхождении, она была всеобщая любимица; мужчины, женщины, старушки, дети — все ее боготворили; и до глубокой старости, в параличе, без ног, в колясочке, без руки, без глазу, она до восемьдесят четвертого своего года оставалась кумиром всех окружавших ее. Я еще не встречал человека, знавшего ее, который не произносил бы ее имени иначе, как с глазами к небу и с поднятыми плечами, — так, как говорят о чем-то, подобного чему

не было и не будет. Можно себе представить, что это было в юности»[923].

А в юности заневестившаяся Нелли была, разумеется, еще восхитительнее. Правда, иногда она выказывала «некоторое пренебрежение к внешним формам жизни, к светским обычаям»[924], что, по всей видимости, явилось следствием долгого пребывания в глуши, вдали от крупных городов и салонов. Мать, притворно напуская на себя строгость, слегка журила ее за это. «Нельга, наблюдай за своей манерой держаться, не возвышай голоса, не смейся громко, не стучи, когда ходишь», — наставляла княгиня дочь в одном из писем[925]. Но и в раскованности Елены Волконской окружающие находили трогательный шарм.

Вокруг нее на вечерах увивались кавалеры, ей завидовали губернские нежные девы, а люди опытные, перебирая в углу залы карты, уверенно предрекали Нелли блестящую (по сибирским понятиям) партию. И никому из жителей Иркутска не могло прийти в голову, что очаровательной девушке вскоре доведется «понести крест едва ли не в ту же меру, как и родителям»[926].

Если покровителем Мишеля Волконского стал генерал-губернатор Н. Н. Муравьев, то судьбу юной дочери взялась определить сама Мария Николаевна. Некогда (четверть века назад!) она вышла замуж за предложенного отцом человека, «видного генерала», — теперь же, словно продолжая фамильную традицию Раевских, княгиня подыскала видного и выгодного (как ей казалось) жениха для Нелли.

Им оказался Дмитрий Васильевич Молчанов, воспитанник престижного петербургского Императорского Училища правоведения, чиновник при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Придирчивый выбор княгини Волконской был вполне одобрен и ее сыном. «Привлечение в семью политически благонадежного Д. В. Молчанова в качестве мужа Нелли устраивало, с точки зрения М<арии> Н<иколаевны>, не только дочь, но и сына, будущее которого ее особенно беспокоило, — утверждает О. И. Попова. — Положение Миши, как она полагала, упрочивалось родственной связью с Молчановым, которому так усиленно покровительствовал, не без влияния самой М<арии> Н<иколаевны>, Муравьев»[927]. (Кстати, генерал-губернатор и его супруга всецело поддерживали политику княгини Волконской в отношении этого брака.)

Расчет, безусловно, присутствовал в действиях княгини, однако она усматривала в Молчанове и несомненные человеческие достоинства. Мария Николаевна настаивала, что он «существо самое бескорыстное и самое благородное»[928]. Самому же Дмитрию Васильевичу она однажды искренно написала: «Бог в

своей доброте послал Вас в мою семью»[929].

Далеко не все разделяли ее мнение. Так, резко отрицательно относился к Молчанову И. И. Пущин; позднее он вспоминал: «Я в бытность мою в 849-м году в Иркутске говорил Нелинькиной маменьке всё, что мог, но, видно, проповедовал пустыне»[930]. Не одобряли эту кандидатуру и некоторые другие декабристы — прежде всего П. А. Муханов и А. В. Поджио (последний даже надолго рассорился с Волконской). Они верили ходившим по губернии слухам, будто Молчанов «человек ограниченный» и, более того, склонен к «мерзостям»[931]. (Надо признать, что в поведении жениха, действительно, присутствовали настораживающие моменты.)

Дочь Нельга была равнодушна к Молчанову, однако не помышляла перечить любимой матушке. Она была готова идти под венец. Самым решительным противником намечавшегося союза выступил С. Г. Волконский. Старик, обожавший Нелли, сопротивлялся изо всех сил, каверзничал и порою напоминал былого Бюхну (к примеру, в знак протеста он перестал приходить по утрам здороваться с Марией Николаевной). «Жестокая борьба» Сергея Григорьевича с женой, изобиловавшая «сценами, столь пагубными для ее здоровья»[932], длилась почти год.

В письмах Мишеля Волконского к родным, датируемых 1850 годом, есть немало страниц, посвященных этому драматическому домашнему противостоянию. Весьма показательно, в частности, одно из его посланий к тетке, Софье Николаевне Раевской.

> «Вы знаете, — сообщал М. С. Волконский в Россию, — что матушка и я — мы видим счастье Неллиньки в глубокой привязанности, которую питает к ней г. М<олчанов>; папа́ — против; сначала из-за того, что их политические убеждения не сходятся, потом из-за того, что он видит, что матушка решилась на это, если и моя сестра согласна. <…> Представьте себе, что папа перед всеми бросает яростные взгляды на Нелли, когда она говорит или танцует с Д<митрием> В<асильевичем>, и когда матушка говорит ему, что она не перенесет в будущем, чтобы он устраивал такие сцены с дочерью публично, — он горячится и остается у себя во флигеле, выходя только вечером, если Д<митрий> В<асильевич> здесь, чтобы его мучить.
>
> Муханов, которого я не переношу с самого детства, потому что это человек фальшивый и интриган, только и делает, что настраивает папа́ еще более против; он видит, что мы его понимаем и не хотим его ига, — тогда

он льстит папа и почти не покидает его. Матушка встречает его очень холодно, он не осмеливается располагаться около нее; она избегает всякого спора и всякого разговора, — она боится сцен и шума, потому что они вызывают у нее кашель с кровью. На вид — она молчалива, страдает и впадает в уныние, но духом не ослабевает. Судите сами, какая жизнь для нее, если все эти страдания продолжатся до семнадцатилетнего возраста моей сестры, которой нет еще 16 лет.

Папа́, видя по вашим письмам, что вы и дядя (А. Н. Раевский. — *М. Ф.)* за приличное устройство моей сестры, — принялся писать. Он скажет вам, что молодой человек играет в карты; на душе моей и совести — я уверяю вас, что это неправда; он делает это, как все молодые люди теперь, но вот уже два года, как он не брал карты в руки; он скажет вам, что он вошел в долги, но они будут уплачены в этом году, и разве у г. Муханова их нет? <…>

Единственная вещь, которая беспокоит матушку — это то, что у г. М<олчанова> на вид некрепкое здоровье, но они все в семье худы и суховаты, но в то же самое время — долговечны. И, наконец, если Бог позволит, чтобы я поехал в Россию, — я расскажу вам, как он достоин моей сестры своим характером, мягким и тихим, своим умом, таким светлым и серьезным, своей чистой нравственностью, своим бескорыстием»[933].

От постоянных столкновений и споров с мужем и его единомышленниками Мария Николаевна вновь занемогла.

Вот что писал Михаил Волконский дядюшке, А. Н. Раевскому, 23 января 1850 года: «…Теперь простуда ее прошла, но нервы очень ослабли; она всё тоскует, плачет, она упала духом. Пока была здорова, она кое-как сносила обхождение батюшки, двуличность Поджио и скрытую ненависть Муханова; но теперь всё это ее тревожит, огорчает; ей необходимо душевное спокойствие, но где же взять его при теперешнем ходе наших домашних дел? Мои доводы и убеждения, ласки сестры моей, — всего этого недостаточно, чтобы возвратить ей спокойствие. Ей нужна уверенность, что кончатся все эти домашние неудовольствия, кончатся скоро (она всё боится не дожить до этого времени) и, главное, — кончатся так, как этого она желает, как желаем мы с сестрой, как желаете вы, сколько можно видеть из последнего письма вашего ко мне. Я не в состоянии рассказать вам, что происходит в нашем доме: если б я решился на это, то

должен бы был осуждать поступки батюшки, а это выше сил моих. <…> Его обхождение с моей бедной, больной маменькой уж чересчур странно и невыносимо. Вот всё, что могу сказать вам об этом; увольте меня от подробностей: пожалейте сына, который должен жаловаться на отца и разбирать его поступки»[934].

В один из январских вечеров декабрист заявил сыну, «что он „на словах ничего не будет делать, но будет действовать, и действовать сильно, смело, неожиданно, и действовать с наглостью лиц, о которых мы и думать не посмеем“ — вот его собственные слова. Что они значат — право, не знаю», — сообщал М. С. Волконский[935].

Так, в перебранках, и прошла зима, а вслед за нею миновали весна и лето 1850 года…

Только к осени Сергей Григорьевич выдохся, смягчил свою позицию, а потом и вовсе сдался. Княгиня Волконская настояла-таки на своем, и 15 сентября Нелли обвенчалась с Дмитрием Молчановым. Через четыре дня молодые супруги «без разрешения высшего начальства» покинули Иркутск и отправились в свадебное путешествие — за Урал, в Петербург. Хотя жандармские чиновники и переписывались по поводу несанкционированного отъезда молодоженов, никаких препятствий им по ходу поездки они не чинили.

Это значило, что Елена Сергеевна Молчанова, дочь государственного преступника, отныне стала свободным человеком и «двери в Россию» для нее открылись.

Во время путешествия Нелли, по словам Б. В. Струве, «обратила на себя внимание всего света»[936]. Молчановы жили в граде Петра на широкую ногу, временами даже роскошествовали, что вызвало бурное неудольствие экономного А. Н. Раевского. Да и Дмитрий Васильевич, невесть откуда взявшийся родственник, ему, мягко говоря, не приглянулся. Позже княгиня Волконская в письме к А. М. Раевской возмущалась: «Он обращался с ним как с ничтожным существом, с мальчишкой, а между тем у Дмитрия Васильевича на руках все дела Восточной Сибири; он ведет всю отчетность и пользуется полным доверием Н. Н. (Муравьева. — *М. Ф.)*. Когда дело идет о том, чтобы отдать под суд какого-нибудь богача, негодяя, всегда Дмитрий ведет следствие, — до такой степени генерал уверен в его знании законов и в высокой честности»[937]. (Попутно заметим, что С. Н. Раевская, пришедшая от сибирской племянницы Елены «в восторг», вела себя при знакомстве с Молчановым более приветливо.)

Вернувшись из поездки в Россию, Молчановы поселились в обширном доме Волконских, чем очень обрадовали Марию Николаевну. А когда у Нелли родился сын (названный Сергеем),

его крестным отцом стал сам генерал-губернатор Восточной Сибири.

Все вроде бы устраивалось наилучшим образом и доказывало правоту княгини Волконской. Да и Молчанов в ту пору как-то преобразился, стал совсем другим. «Брак с красивой и обаятельной дочерью Волконских сильно изменил его, — вспоминала О. П. Орлова (племянница княгини Марии Николаевны). — Он любил ее до обожания и оставил тот сомнительный образ жизни, который вел до женитьбы»[938].

И тут в дом Волконских — Молчановых пришли беды.

В конце 1852 года Мария Николаевна узнала, что ее сестра Елена Раевская скончалась в Италии. Ей было всего сорок восемь лет.

Тогда же у Молчанова обнаружились признаки тяжелого заболевания. Нелли спешно собралась в дорогу и в начале 1853 года вновь отправилась с мужем в Россию. Она надеялась, что столичные доктора и лекарства помогут Дмитрию Васильевичу.

Княгиня Волконская, проводив дочь и зятя, погрузилась в глубокое отчаяние. «Теперь остается только желать, — писал И. И. Пущин Ф. Ф. Матюшкину, — чтоб не сбылось для этой бедной, милой женщины всё, что я предсказывал от этого союза, хотя уже и теперь ее существование не совсем отрадно»[939].

Примерно в те же сроки Молчанов, «глава и хранитель семьи»[940], был обвинен в получении крупной взятки от попавшегося на темных махинациях сибирского чиновника. Началось долгое и громкое судебное разбирательство.

Мария Николаевна не находила себе места. «Бедная старуха томится всё неизвестностью, но и с тем ужасно горюет, — сообщал Александр Поджио приятелю, — в минуты откровения или, лучше сказать, нравственного удушья, она рыдает и гов<орит>: я причиной несчастья моей Н<елли>, я одна, и каково мне жить!! Жаль ее, бедную, она страшно изменилась…»[941] Образ безутешной княгини настолько прочно врезался в память А. В. Поджио, что и спустя двадцать лет преследовал декабриста. «Нет! Не забыть мне слез твоей матери…» — горестно признавался он Михаилу Волконскому в 1871 году[942].

Мучениям, казалось, не будет конца. Шло черепашьим шагом следствие, неуклонно и быстро прогрессировала болезнь Молчанова, волновалась его жена — горевала и бичевала себя Мария Николаевна…

В тогдашней переписке декабристов неоднократно встречаются упоминания о постигшем семейство Волконских несчастье. И что характерно: авторы писем, как правило,

сочувствовали Нелли и при этом не слишком жалели княгиню Волконскую. Более того, почти всякий норовил бросить в нее камень поувесистее. Вот лишь несколько типичных эпистолярных фрагментов.

В. И. Штейнгейль — Г. С. Батенькову, 4 мая 1856 года: «О Молч<анове> не стоит говорить. Жаль Нелиньку; пуще всего жаль этого гетерогенного соединения! Иначе и думать нельзя, что это случилось при содействии „лукавого“. Дивить нечего: где чуть надмение — он тут!»[943]

И. И. Пущин — Н. Д. Фонвизиной, 11 июня 1856 года: «Всё очень плохо, и кажется, нет исхода! Вот тут такой fatum[944], что и ты, друг сердечный, не разгадаешь. Однако, пожалуйста, повидай Нелиньку — и взгляни на простоту М<арии> Н<иколаевны>. Прежде она этим не отличалась. Мрачно об ней иногда думается. Нелегко ей в этой драме…»[945]

С. П. Трубецкой — З. С. и Н. Д. Свербеевым, 4–5 апреля 1857 года: «Крепко соболезную я о Нелиньке, да и старика мне жаль. Не наказание ли здесь за гордую самоуверенность, отвергшую Промысел в судьбе человеческой?»[946]

Грустно, право, читать такие строки: ведь даже Иван Иванович Пущин, «Большой Жанно», фактически слился с толпой обвинителей и не сумел удержаться от колкостей в адрес княгини…

Развязка ужасной истории произошла уже в новое царствование. Как пишет О. И. Попова, Молчанову «пришлось искупить все ошибки и заблуждения молодости: прикованный к креслу, с парализованными ногами, впавши перед смертью в сумасшествие, он умер в 1857 году, находясь под судом»[947]. К сказанному следует, однако, добавить, что продолжавшееся судебное разбирательство о злоупотреблениях Молчанова завершилось полным *оправданием* усопшего мужа Нелли.

Такой итог расследования малость утешил Волконскую. Теперь Марии Николаевне хоть было что ответить лицам, которые укоряли ее в том, что она насильно выдала дочь замуж за проходимца.

Мздоимцем Дмитрий Молчанов, как выяснилось, не был — однако и счастья своей жене он так и не принес.

И этого княгиня Волконская себе никогда не простила.

Поглощенная семейными делами, Мария Николаевна все же не забывала о Пушкине.

Однажды она даже доверила бумаге любопытный комментарий к пушкинским стихам — уточнила историю создания «Демона». В письме к Д. В. Молчанову от 23 октября

1850 года княгиня, упомянув о нелюбви С. Г. Волконского к ее брату, Александру Раевскому, поведала следующее: «Он зовет его демоном, говоря, что Пушкин тоже называл его так, зная его очень хорошо (тогда как мой брат сам подал мысль поэту об этих стихах, желая прослыть демоном в глазах одной дамы, которой нравилась мысль обратить его в истинную веру)»[948].

Это сообщение Марии Волконской, где речь идет о Е. К. Воронцовой, жене новороссийского генерал-губернатора, далеко не всегда учитывается пушкинистами.

Были в иркутской жизни Марии Николаевны и другие достойные внимания биографа эпизоды.

Известно, к примеру, что в это время ссыльный польский рисовальщик Леопольд Немировский создал портрет княгини[949]. А спустя ряд лет, в 1848 году, Волконская познакомилась с другим художником — известным шведским живописцем Карлом Петером Мазером, который долго странствовал по Сибири. В ходе этой поездки он создал, помимо прочих работ, свыше 20 карандашных изображений декабристов. Некогда (в 1839 году) К. П. Мазер нарисовал Пушкина — а теперь упросил позировать и знававшую поэта Марию Николаевну.

Ее портрет, выполненный маслом, по утверждению И. С. Зильберштейна, оказался «самым примечательным по яркой психологической характеристике» в «декабристском» цикле путешественника[950]. Позже, в мемуарах, К. П. Мазер уважительно отозвался о княгине Волконской и особо высоко оценил ее «аристократическую фацию, прирожденную доброту и обворожительный дар светскости, свойственный высшему обществу»[951].

Весною 1852 года к Марии Николаевне приехала из России сестра — сорокапятилетняя фрейлина Софья Раевская. Она находилась в столице Восточной Сибири несколько недель. В письме от 14 апреля к невестке, А. М. Раевской, княгиня сообщила подробности пребывания Софьи Николаевны в Иркутске: «Вы переписываетесь с Софьей, но она, вероятно, не говорит вам о впечатлении, которое она производит здесь своим умом, своей любезностью, своим знанием света. Она и К. Н. (Е. Н. Муравьева, супруга генерал-губернатора. — *М. Ф.)* везде на первом месте и, если бы только она захотела, весь женский beau monde[952] города приехал бы ей представиться, как это делают высокопоставленные люди. Она везде первенствует своим интересным разговором, своими ясными понятиями обо всем, что делается на свете. Что касается меня — она заботится обо мне, как о ребенке, и необыкновенно добра к Мише. И Нелли получает в этом свою долю»[953].

Княгиня Волконская и ее дорогая гостья намеревались вместе «поехать на воды и проехать в Кяхту», но мы, к сожалению, не знаем, удалось ли им осуществить этот план. В любом случае Мария Николаевна была чрезвычайно довольна совместным времяпрепровождением. Самоотверженный поступок сестры, решившейся в солидном возрасте на столь трудное предприятие, растрогал княгиню. «Я ей так благодарна за то, что она приезжала ко мне в Сибирь», — писала Волконская вскоре после отъезда Софьи Николаевны[954].

Узнав о путешествии С. Н. Раевской, отправилась в 1853 году за Урал и Софья Волконская, вдова фельдмаршала и родная сестра декабриста. Долгие годы она молчала, даже не переписывалась с семьею государственного преступника — а теперь сочла за благо продемонстрировать пылкие родственные чувства. Накануне отбытия из Петербурга «от княгини Волконской была отобрана подписка о том, что она не будет входить ни с кем в переписку, не соответствующую обстоятельствам, а при возвращении не примет ни от кого писем и вообще будет поступать с тою осторожностью, которой требует положение ее брата в Сибири»[955].

Софья Григорьевна, невзирая на сдержанное с нею обхождение супругов Волконских, прогостила у них в Иркутске «целый год»[956]. «Общественным мнением она дорожит, и тому пример ее поездка в Сибирь, которой хотела покрыть ограбление меня» — так позднее оценил этот вояж С. Г. Волконский в письме к Нелли[957].

Гораздо больше удовольствия принесла ему и Марии Николаевне нечаянная встреча с И. А. Гончаровым, автором «Обыкновенной истории». Известный романист, участвовавший в кругосветном плавании на фрегате «Паллада» (1852–1854), возвращался с Дальнего Востока в Петербург сухопутным путем («берегом») через Сибирь. 31 декабря 1854 года он достиг Иркутска, где и познакомился с Волконскими и С. П. Трубецким (об этом знакомстве Иван Александрович вскользь упомянул в очерке «По Восточной Сибири»). «Никаких подробностей о встречах и беседах с декабристами Гончаров не оставил — ни в письмах, ни в воспоминаниях, — говорит современный исследователь. — О том, что беседы были, и, судя по всему, продолжительные, свидетельствует отзыв С. Г. Волконского о писателе как об умном и увлекательном рассказчике. Этот отзыв содержится в письме, которое князь (бывший князь. — *М. Ф.*) поручил путешественнику доставить в Москву, семейству Молчановых»[958].

Гончаров покинул Иркутск в первых числах января 1855 года.

Княгиня Волконская тепло распрощалась с ним, пожелала писателю счастливой дороги и новых прекрасных произведений.

Она и в мыслях не допускала, что спустя несколько месяцев тоже отправится в Россию.

18 февраля 1855 года, в разгар тяжелой Восточной войны, скончался император Николай I Павлович. На престол вступил его сын, император Александр II Николаевич. В империи был объявлен траур — и наступила новая эпоха…

Волконский, узнав о кончине монарха, сурово его покаравшего, вновь удивил окружающих: он три дня «плакал, как ребенок». Однако Сергей Григорьевич сокрушался тогда, по всей видимости, вполне искренно: как вспоминала его жена, он «никогда не питал чувства злопамятства к Императору Николаю, напротив того, он отдавал должное его хорошим качествам, стойкости его характера и хладнокровию, выказанному им во многих случаях жизни; он прибавлял, что и во всяком другом государстве его постигло бы строгое наказание»[959].

В дальнейшем события развивались весьма стремительно. Сын Марии Николаевны описал их так: «…Жизнь в Иркутске шла обычным путем, но здоровье княгини Волконской, с трудом переносившей уже сибирский климат, постепенно ослабевало. Это обстоятельство вынудило Е. С. Молчанову, находившуюся вновь в Петербурге, обратиться с письмом к Государыне Императрице, в котором она просила предстательства Ее для разрешения матери прибыть в Москву для совещания с врачами, с тем, чтобы она могла потом возвратиться к мужу в Сибирь»[960].

По словам князя С. М. Волконского, «сама Елена Сергеевна в это время продолжала вести жизнь сестры милосердия, проводя дни у изголовья больного (Молчанова. — *М. Ф.)*. Много тяжелого перенесла она за это время. Она приехала в Москву в год холеры, город был пуст, из родственников никого, все повыехали. Мельком помню ее рассказы о жарком, пыльном лете, о ее скитаниях по канцеляриям, об ужасном одиночестве с несчастным мужем, которого она в колясочке катала по пыльным знойным улицам. К довершению несчастия, Молчанов, несмотря на болезненное свое состояние, был присужден к предварительному заключению. В страшном горе молодая, неопытная женщина кидалась направо и налево, чтобы высвободить несчастного из тюрьмы»[961].

Высвобождала она и свою милую матушку. Прошение Нелли было составлено 12 июня, переписано набело и тотчас передано графу А. Ф. Орлову. А тот подготовил всеподданнейший доклад, где фигурировали следующие строки: «Подобных случаев приезда

жен государственных преступников не было, и они, на основании существующих постановлений, не могут возвращаться оттуда, доколе находятся там мужья их; впрочем, разрешение сего совершенно зависит от Вашего Императорского Величества»[962].

Молодой царь благосклонно отнесся к умело составленной сановником бумаге и дозволил княгине Волконской покинуть Сибирь для лечения. 24 июня 1855 года граф А. Ф. Орлов сообщил об этой высочайшей милости министру внутренних дел. Тогда же была отправлена соответствующая депеша и на имя генерал-губернатора Н. Н. Муравьева.

Поселенные в Западной Сибири декабристы раньше других проведали о невероятном факте. И. И. Пущин писал брату Николаю из Ялуторовска: «Недавно узнал, что Нелинька выхлопотала позволение М<арии> Н<иколаевне> ехать в Москву. Значит, она будет здесь…»[963]

А в Иркутск депеша поступила в конце июля — и мигом стала предметом всеобщего обсуждения. С первой же почтой С. П. Трубецкой сообщал Г. С. Батенькову, который жительствовал в Томске: «Вслед за письмом вашим Сергей Григорьевич получил радостную весть: дочь его испросила дозволения для матери ехать в Москву. Конечно, вы не ожидали видеть Марью Николаевну так скоро у себя, и знакомство будет приятнее при таких обстоятельствах. Сергей Григорьевич радуется, хотя и остается теперь в совершенном одиночестве; но он знает, что жена его будет спокойнее, когда соединится с дочерью и вручит ей опять сына»[964][965].

Ошеломленная княгиня Волконская не сразу постигла смысл случившегося. Когда-то она, мечтая о возвращении, уверяла себя, что день ее освобождения будет праздничным, даже помпезным, причем непременно музыкальным, — а наяву все произошло на удивление буднично, скучно: прибыл очередной фельдъегерь из России, отряхнул дорожную пыль с мундира и — и окончились ее «нравственные страдания, разлука с родными, с родиной»[966]. Никакого душевного ликования Мария Николаевна поначалу не ощутила: этого невзрачного фельдъегеря с заветным пакетом она ждала слишком долго, зимою и летом, и давно уже устала, перестала ждать…

Однако вскоре на смену холодной опустошенности пришло волнение, радостно зашлось сердце: ведь теперь Волконская получила возможность свидеться с дочерью, которая совсем измаялась в столице с больным мужем. И не только свидеться — но и вернуть тоскующей Нельге ее ребенка, целого и невредимого. Княгиня сохранила внука.

Она стала лихорадочно, бестолково собираться в дальнюю

дорогу. Отъезд был назначен на 6 августа, и с каждым днем возбуждение Марии Николаевны заметно нарастало. Весь дом ходил ходуном. Суетившегося и что-то советовавшего супруга княгиня даже не замечала. А утром 6-го числа она, вконец лишившись терпения, положила отъезжать ранее намеченного времени. С. П. Трубецкой, хотевший отправить с Волконской пространное послание Г. С. Батенькову, вынужден был ограничиться краткой запиской, где черкнул томскому приятелю: «…Марья Николаевна несколькими часами ускоряет свой отъезд, и потому я не успею побеседовать с вами…»[967]

До вечера было еще далеко. Провожали княгиню и ее внука многие жители города. Выйдя из дома, Волконская увидела в собравшейся на улице толпе открытые приветливые лица — но увидела и хорошо ей знакомые *маски.* Некоторые из пришедших неподдельно радовались сказочной удаче Марии Николаевны, кое-кто даже прослезился при расставании с этой удивительной женщиной.

Другие обнимались с княгиней лицемерно и побыстрее отворачивались, отходили прочь: в душе они проклинали гордую аристократку и страшно завидовали ей. Слабое утешение притворщики находили разве что в том, что отныне Волконская уже не будет раздражать их своим присутствием в Иркутске. (Пожалуй, наиболее откровенно высказалась на сей счет А. С. Ребиндер, дочь С. П. Трубецкого, которая тогда же, в августе, отписала сестре: «Мария Ник<олаевна> уехала, к большому моему удовольствию; кто бы ожидал такой развязки? Тогда, когда и думать не хотели даже о малейшем облегчении в пользу других, ей одной позволяют уехать, и, право, я не буду удивлена, если она удерет и гораздо подальше, даже на Парижскую выставку»[968].)

Мишеля Волконского на проводах не было: он опять странствовал по служебным делам, что-то инспектировал в Урге. А Сергей Григорьевич стоял у крыльца точно вкопанный и едва сдерживал рыдания. Княгиня, садясь в экипаж, напомнила ему, что едет только на том условии, что «ей будет дозволено вернуться в Сибирь»[969]. Когда же кучер взмахнул кнутом и с оттяжкой ударил лошадь, Волконский нелепо замахал руками и подался было вперед, словно вознамерился бежать вслед за женихой повозкой. Старика насилу удержали.

Видевшей все это Марии Николаевне вдруг стало безмерно жаль несчастного, и она ободряюще улыбнулась остающемуся мужу…

Как ни торопилась княгиня Волконская в Первопрестольную, возраст и маленький внук не позволяли ей ехать слишком быстро.

Посему только к началу сентября Мария Николаевна добралась до Ялуторовска, где ее давно поджидал кум, И. И. Пущин. Днем ранее туда же из Москвы прибыл Е. И. Якушкин, направлявшийся к ссыльному отцу в Иркутск. В письме к жене Елене Густавовне он рассказал о случайной встрече с Волконской в западносибирском городке:

«На другой день Пущин разбудил меня часов в 7. Ночью часа в 3 приехала в Ялуторовск Марья Н<иколаевна> Волконская и хотела меня видеть. Я отнес к ней письмо от дочери и думал, что она будет меня расспрашивать об ней, но она ничего не спросила об ней, только уже перед самым отъездом спросила про здоровье Молчанова. Впрочем, понятно, что разговор о дочери с человеком, которого она видела в 1-й раз, не мог быть ей приятен. <…> И того, что она знала, было довольно, чтобы уничтожить самого крепкого человека, и она действительно была жалка. Сначала она хотела пробыть день в Ялуторовске, потом хотела остаться только до обеда, но наконец часов в десять просила, чтобы ей привели почтовых лошадей, потому что, как говорила она, она не может оставаться в таком тревожном положении и спокойна только тогда, когда сидит в карете»[970].

Почти то же самое люди слышали от Марии Волконской и более четверти века назад, когда молодая и энергичная княгиня, напевая итальянские арии, мчалась в Сибирь. Теперь ей, жалкой «старухе», почти пятьдесят, здоровье ее безнадежно подорвано, силы на исходе… Как много воды утекло с тех пор, скольких не стало!

«Иных уж нет, а те далече…» *(VI, 190)*.

К тем, которые оказались «далече» и нуждались в ее сочувствии, Мария Николаевна и спешила осенью 1855 года…

«Перстень верный» был, как всегда, при ней.

Да, никудышны российские тракты — но в путешествии по «колеям и рвам отеческой земли» (*VI, 154)* княгиня обретала некое подобие покоя…

Вдоль тряской дороги высились всё те же вековечные леса, убегали за горизонт всё те же пажити, да и лица пожилых станционных смотрителей подчас казались ей знакомыми. Однако Волконская, мать и бабушка, отчетливо понимала, что мир, куда она на старости лет возвращается, кардинально изменился, стал для нее чужим.

Этот «праздник Жизни» приуготовлен для иного племени — для ее дорогих детей, для внука. И Мария Николаевна догадывалась, что в обновленном неуютном мире ей суждено

быть лишь *недолгой* гостью.

Осень стояла на дворе — неумолимо облетал и ее век.

За печальными философическими думами наша героиня и не заметила, как миновала Урал. Она опомнилась только на подъезде к Перми — и с того момента разволновалась вновь, велела вознице поторапливаться…

Через несколько дней трепещущая княгиня въехала в Москву — в город, где она когда-то навеки рассталась с Александром Пушкиным и где теперь, в наемном доме на Спиридоновке, ее ждала дочь.

«Однажды, возвращаясь домой после утомительных своих хлопот, — рассказывал С. М. Волконский, — Елена Сергеевна отворила дверь своей гостиной, — на диване сидела ее мать, а у ног ее играл ее маленький Сережа»[971].

Круг сибирских мук княгини Марии Николаевны Волконской завершился.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ У ГРОБОВОГО ВХОДА

Глава 17
В ДОРОГЕ И ДОМА

…И чей-нибудь уж близок час.

А. С. Пушкин

В начале нового царствования в живых числилось только 28 поселенных за Уралом декабристов[972]. Они, разбросанные по бескрайней территории, так и не дождались прощения в 1855 году, после восшествия Александра II на всероссийский престол. Смирившийся со своей участью С. Г. Волконский был уверен, что его «кости останутся в Сибири»[973]. Однако ни он, ни его товарищи не подозревали, что император повелел «готовящиеся к коронации милости распространить и на обвиненных 1825 года»[974] — и весною 1856 года Комитет министров вплотную занялся решением этого вопроса.

В день московской коронации разработанный в глубокой тайне правительственный документ обнародовали в печати, а также зачитали в столичных храмах и на площадях. Высочайшим Манифестом 26 августа 1856 года были дарованы «государственному преступнику Сергею Волконскому и законным детям его, рожденным после приговора над ним, все права потомственного дворянства, только без почетного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить где пожелает в пределах Империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, но под надзором»[975].

Тогда же произошло еще одно, символичное и весьма знаменательное для Волконских, событие.

В конце августа в Белокаменной находился Михаил Волконский, который сопровождал на коронационных торжествах генерал-губернатора Восточной Сибири. (Тот, командируя в 1855 году Михаила Сергеевича в Монголию, наказал ему доложить о выполнении задания в Петербурге, куда Н. Н. Муравьев вскоре отправился представляться государю. С помощью такой нехитрой комбинации Николаю Николаевичу удалось обойти административные препоны и наконец-то вытащить своего любимца из Сибири.) Император, услышав от Муравьева об этом человеке, пожелал, чтобы Манифест об амнистии был доставлен поселенцам именно *сыном декабриста.* Титулярного советника М. С. Волконского срочно вытребовали в Кремлевский дворец, где начальник III Отделения и шеф жандармов генерал-адъютант

князь В. А. Долгоруков сообщил молодому чиновнику высочайшую волю.

В тот же августовский вечер Мишель спешно выехал из Москвы.

Пока он летел на перекладных на восток, не сидела сложа руки и его мать. Узнав из Манифеста, что мужу и, следовательно, ее детям так и не будет возвращен исконный княжеский титул, княгиня Волконская тотчас же обратилась с письмом к императрице Марии Александровне. Государыня передала ходатайство Марии Николаевны августейшему супругу, и спустя три дня, 30 августа, воспоследовал дополнительный высочайший указ, благодаря которому дети помилованных обрели прежнее родовое достоинство. Таким образом, Михаил Волконский стал князем во время своего путешествия в Сибирь.

Он передвигался по осеннему тракту с необычайной скоростью, по дороге объявляя поселенцам и простым жителям о царских милостях. 14 сентября Михаил Волконский, весь в синяках и ссадинах, достиг Иркутска[976] и бросился на шею отчаявшегося отца…

Сборы декабриста были недолгими, и уже 23 сентября Волконские распрощались с Иркутском. По Восточной Сибири они ехали вместе, чинили сообща «сломанные колеса и оси», где-то Мишель даже «тащил на буксире» экипаж Сергея Григорьевича[977]. По прибытии в Омск Михаил Сергеевич, выполнивший почетную миссию и торопившийся по служебным делам, покинул отца и умчался вперед.

В Москве, на Спиридоновке, прощенный государственный преступник Волконский объявился на исходе октября 1856 года. С его приездом в жизни семейства наступил как бы новый этап. На склоне лет воссоединившиеся супруги стали сдержаннее и конфликтовали нечасто, в их доме установился достаточно прочный и почти ненарушаемый мир. Сергей Григорьевич, по обыкновению склонный к патетике, старательно расточал жене всяческие, в том числе эпистолярные, комплименты. Например, в одном из писем к Мишелю Волконскому он охарактеризовал Марию Николаевну так: «Да, мой друг, как жена, как мать — это неземное существо или, лучше сказать, она уже праведная в сем мире. Смысл ее жизни в самопожертвовании для нас»[978].

Княгиня, слыша такое, добрела и снисходительно терпела московские чудачества мужа.

С. Г. Волконскому, как сказано выше, было запрещено жительствовать в столицах, и посему в тогдашних официальных бумагах значилось, что декабрист обретает в деревне Зыково Московского уезда (что за Петровским парком). Но

семидесятилетний генерал-губернатор граф А. А. Закревский, «старый его товарищ по боевой жизни», никоим образом не препятствовал пребыванию Волконского в черте вверенного ему города. Сергей Григорьевич подолгу гостил и на Спиридоновке, и на Подновинском (куда вскоре переехали, купив дом, Молчановы вместе с Марией Николаевной).

В феврале 1857 года А. А. Закревский даже ходатайствовал «о дозволении С. Г. Волконскому проживать в Москве ввиду затруднений, встречающихся со стороны болезни как его, так и его жены», и 17-го числа князь В. А. Долгоруков отвечал графу из Петербурга: «По всеподданнейшему докладу моему относительно дворянина Сергея Волконского, Государь Император, единственно во внимание к объяснению Вашему, что Вы, из сострадания к горестному положению Волконского, разрешили ему временный переезд в Москву, предоставляет Вам, милостивый государь, на том же основании действовать и впредь, но с непременным условием, чтобы означенный приезд дозволять Волконскому только до тех пор, пока он поведением своим и скромностью будет достоин разрешенной ему милости. В противном случае, он должен быть подвергнут самому строгому взысканию»[979].

А в июле 1857 года, благодаря стараниям все того же А. А. Закревского, декабристу разрешили съездить на неделю в Петербург, для свидания с заболевшей родной сестрой Софьей Григорьевной.

В московском обществе, нетерпеливо ожидавшем грандиозных реформ, Сергей Григорьевич (равно как и прочие амнистированные) «был принят радушно, а некоторыми — даже восторженно», — заметила в мемуарах княгиня Волконская[980]. «Постоянное внимание» ему оказывали славянофилы, возглавляемые братьями И. С. и К. С. Аксаковыми и А. С. Хомяковым, да и в ряде других кружков Волконский пользовался устойчивой популярностью. «Нельзя не вспомнить при этом о влиянии, которое он имел, вовсе к тому не стремясь, на молодежь, особенно им любимую, — писал его сын. — В это время, как и после, нередко бывали беспорядки в высших учебных заведениях, и сыновья его друзей и родственников часто обращались к нему за советом, излагая свои огорчения и юные политические бредни; но вместо ожидаемой поддержки последних они встречали успокоительные советы и доводы, основанные на долгом опыте и примере оцененных умом и пережитых сердцем событий»[981].

Однако от современников не скрылось, что Волконский не столько давал на дому «успокоительные советы» молодежи, сколько пытался играть в столице некую политическую роль. Ему

явно льстило, что либеральная публика тогда смотрела на всякого «декабриста, к какой бы категории он ни принадлежал, как на какого-то полубога» (А. С. Гангеблов).

Н. А. Белоголовый, встретившийся с Волконским через несколько лет после возвращения того из Сибири, поразился перемене, происшедшей с декабристом: «Я нашел его хотя белым, как лунь, но бодрым, оживленным и притом таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал в Иркутске; его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и всё его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой».

Далее, повествуя о Сергее Григорьевиче, мемуарист рассказал о «благоговейном почете, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания», и мимоходом добавил: «Он стал гораздо словоохотливее <…>; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльнопоселенца»[982].

Другими словами, Сергея Григорьевича заботили теперь иные семена и всходы.

Общественная активность Волконского день ото дня становилась все заметнее. Он бодро пустился в салонные дебаты об освобождении крестьян и о гласном судопроизводстве, в беседах с «серьезными людьми московского общества» добывал конфиденциальные петербургские новости, выуживал сведения о настроениях в верхах и у сына, заодно строил собственные смелые прожекты. «…Вижу отпечаток лиц и идей и будущих событий», — доверительно сообщал он И. И. Пущину, требуя от приятеля подробностей с берегов Невы[983]. А в одном из посланий к М. С. Волконскому декабрист выразился еще определеннее: «К общему делу мои желания горячи, надежда велика. Авось она сбудется до схода моего в могилу и горизонт русской плебы озарится новым светом и упрочит ей новую жизнь»[984].

В некоторых конспираторах, вернувшихся из Сибири, Сергей Григорьевич нашел не только внимательных слушателей, но и союзников. Согбенные «шалуны» быстро приосанились в александровское правление, вспомнили былые «забавы» и речи. Не случайно кто-то из недоброжелателей «первенцев свободы» написал в ту пору: «Эти декабристы, получивши свободу после 30-летнего смирения, уподобились спущенным с цепи собакам — так и лезут — как бы кого язвительнее укусить»[985]. А князь

П. А. Вяземский (некогда сам яростный фрондер, «декабрист без декабря») изъяснился все же поделикатнее и аттестовал данную категорию лиц («нарядных и франтоватых») следующим образом: «Ни в одном из них нет и тени раскаяния и сознания, что они затеяли дело безумное, не говорю уже преступное. <…> Они увековечились и окостенели в 14 декабря. Для них и после 30 лет не наступило еще 15 декабря, в которое они могли бы отрезвиться и опомниться»[986].

Мария Николаевна чувствовала, что обстановка в империи, самый дух времени очень изменились. Однако она, приветствуя реформы, не одобряла общественную суетливость мужа и оставалась при своем мнении в оценках 14 декабря, бунта Черниговского полка и «невозможных переворотов» *(VIII, 384)* вообще. Княгиня, как и раньше, выступала сторонницей эволюционных государственных преобразований. «…Всё это было несвоевременно, — размышляла она, — нельзя поднимать знамени свободы, не имея за собой сочувствия ни войска, ни народа, который ничего в том еще не понимает, — и грядущие времена отнесутся к этим двум возмущениям не иначе, как к двум единичным событиям»[987].

Если Сергей Григорьевич превратился в человека откровенно публичного, то его жена принимала гостей и выезжала сравнительно редко. Ей хватало домашних забот: княгиня вела хозяйство, нянчилась с внуком, помогала Нелли ухаживать за немощным Молчановым. Весною 1857 года Мария Николаевна намеревалась ехать вместе с ним и дочерью за границу, однако это путешествие так и не состоялось. Болезнь зятя уже вступила в завершающую фазу, он давно измучил семью и стал, как выразился в одном из писем А. В. Поджио, «помехою для всех». «…Пожалуй, он и старуху, и бедную Неллю сведет с ума», — опасался друг семьи[988].

В Москве княгиня Волконская, уступая настойчивым просьбам сына, начала урывками работать над воспоминаниями. Она сразу и твердо постановила, что ее рукопись будет предназначена исключительно для *семейного* чтения. И открыла свои мемуары (писавшиеся, естественно, по-французски) Мария Николаевна так:

«Миша мой, ты меня просишь записать рассказы, которыми я развлекала тебя и Нелли в дни вашего детства, словом — написать свои воспоминания. Но, прежде чем присвоить себе право писать, надо быть уверенным, что обладаешь даром повествования, я же его не имею; кроме того, описание нашей жизни в Сибири может иметь значение только для тебя как сына изгнания; для тебя я и буду писать, для твоей сестры и для

Сережи (Молчанова, внука. — *М. Ф.),* с условием, чтобы эти воспоминания не сообщались никому, кроме твоих детей, когда они у тебя будут; они прижмутся к тебе, широко раскрывая глаза при рассказах о наших лишениях и страданиях, с которыми, однако же, мы свыклись настолько, что сумели быть и веселы, и даже счастливы в изгнании»[989].

Хотя княгиня и надеялась, что потомки не отдадут ее мемуары в печать, она все же писала кратко и не касалась многих эпизодов своей биографии.

«В то время, о котором говорим, — отмечал С. М. Волконский, — от княгини Марии Николаевны веяло некоторою строгостью; но это было ее настроение, это не было ее отношение к людям. Она смотрела на чужую жизнь из глубины своего прошлого, на чужую радость — из глубины своих страданий. Это не она смотрела строго, а ее страдания смотрели из нее: можно всё забыть, но следов уничтожить нельзя. И я думаю, что это причина, по которой домочадцы, служащие, гувернантки боялись ее»[990].

Такое мироощущение княгини Волконской нашло свое отражение и в ее воспоминаниях: их трудно назвать жизнеутверждающими.

15 сентября 1857 года скончался Д. В. Молчанов. Спустя некоторое время после похорон его измученная вдова и княгиня Волконская решили отправиться за границу. Судя по эпистолярным источникам, им удалось сделать это лишь весною 1858 года[991]. Вместе с ними в Европу поехали сын Марии Николаевны и ее внук Сергей. Интересную деталь сообщил спустя десятилетия С. М. Волконский: оказывается, «княгиня Мария Николаевна, уезжая из России, взяла с собой мешочек русской земли, с тем, чтобы в случае, если она умрет за границей, ей положили его в гроб»[992].

Последующие три года княгиня Волконская провела, по большей части, в дороге — и привезла заветный мешочек обратно. *Ее час* еще не пробил…

6 июля 1858 года И. И. Пущин, получив свежую почту, оповестил М. С. Корсакова (родственника и сотрудника Н. Н. Муравьева), что Нелли, «М<ария> Н<иколаевна> и Миша и Сережа на водах. Пьют их и купаются»[993]. А уже в августе поднаторевшая в дипломатическом искусстве Елена Сергеевна вступила в переписку с правительством: она «обратилась <…> с письмом к князю Долгорукову, прося его исходатайствовать разрешение ее отцу приехать за границу, так как состояние здоровья ее матери требует продолжения пребывания в чужих краях еще в течение года»[994].

После некоторых проволочек высочайшее соизволение на поездку помилованного государственного преступника все-таки воспоследовало. Император Александр Николаевич разрешил Волконскому отправиться «для свидания с женою за границу на три месяца с тем, чтобы он в срок прибыл обратно»[995]. (Позже срок пребывания Сергея Григорьевича в чужих краях дважды продлевался, и в итоге декабрист находился с семьей в Европе без малого год.)

В начале октября 1858 года Волконский покинул Москву и взял курс на Париж, где его поджидала Нелли (княгиня Волконская с внуком тогда были в Ницце). В дороге старик занемог, слег и 19-го числа писал А. Н. Раевскому из Дрездена: «Вы удивитесь, получив сей листок еще из Дрездена: постигший меня недуг тому причиною — опухоль в ногах и открывшиеся раны на оных в третий день моего отъезда из Москвы. Страдания были большие, пока дотащился до Варшавы, где и остановился на трое суток; вот уже пятые сутки я в Дрездене, страдания те же, и сии строки пишу Вам лежа, при невозможности без боли опустить ноги. Сегодня выезжаю в Париж; выписал сына во Франкфурт. Не могу двинуться без помощи, хотя теперь опухоль в ногах спала и раны закрылись. <…> Жена уже выехала в Ниццу из Парижа; дети меня еще там ждут, но, дотащившись до них, склоню их к выезду туда же. Быть скорее при больной жене — долг и чувство сердца; светской жизни я не ищу и не хочу»[996].

Говоря о «детях», Сергей Григорьевич, очевидно, имел в виду не только Михаила и Нелли, но и третьего человека: к этому моменту Елена Волконская-Молчанова стала женой Николая Аркадьевича Кочубея. («Второй брак Елены Сергеевны был временем безоблачного счастья и для нее, и для ее родителей», — утверждал позднее князь С. М. Волконский[997]. А Иван Тургенев однажды написал декабристу, что «ничего не может быть приятнее зрелища двух таких счастливых супругов»[998].)

Прибыв с грехом пополам в Париж, Волконский и в самом деле быстро «склонил» молодежь ехать в Ниццу. Уже 2 (14) ноября он сообщил из французской столицы А. М. Волконской: «Сегодня я уезжаю в Ниццу с нашей молодой парочкой»[999].

Всю зиму Волконские и Кочубеи провели в Ницце, на целебном Лазурном берегу. А ближе к весне 1859 года семейство перекочевало в Рим. Там, в «Вечном городе» и его окрестностях, княгиня Волконская сумела разыскать дорогие могилы — и поклонилась праху матери Софьи Алексеевны и сестры Елены.

В Риме же состоялась и помолвка ее сына Михаила. Избранницей двадцатисемилетнего князя стала внучка его тетки Софьи Григорьевны (и графа А. Х. Бенкендорфа), княжна

Елизавета Григорьевна Волконская — по афористическому определению А. В. Поджио, «жена английской школы, весьма умная, но красивая женщина»[1000]. Они обвенчались (конечно, в присутствии М. Н. и С. Г. Волконских) в Женеве 24 мая того же года.

Благословив сына, княгиня Волконская заторопилась вместе с Кочубеями в Россию. (Для спешки у них были весьма веские основания.) Пересекая границы, компания двинулась в Черниговскую губернию — в имение Воронки, которое принадлежало Н. А. Кочубею. Через несколько недель там же оказался и С. Г. Волконский, лечившийся минеральными водами во французском курортном местечке Виши. Он приехал в поместье зятя вовремя: 9 августа 1859 года в Воронках у Нелли родился сын, Александр Кочубей.

Отныне у Марии Николаевны было уже два внука, целое «племя младое» (*III, 400)*.

До ближайшей весны княгиня вместе с мужем прожили в Воронках. Обширная усадьба Кочубеев то и дело оглашалась детскими возгласами, однако одновременно — увы — напоминала она и лазарет. 4 апреля 1860 года А. В. Поджио извещал С. П. Трубецкого: «Получил я письмо от Нелли <…>. Кочубей похварывает, Марья Ник<олаевна> не выезжает; Сер<гей> Гр<игорьевич> стонет. Утешительные картины»[1001].

Непрекращающиеся припадки подагры и морока с варикозным расширением вен на ногах вынудили Волконского опять обратиться к столичным властям (через киевского генерал-губернатора) с ходатайством о разрешении повторного заграничного отпуска. Уведомление о высочайшем согласии было получено декабристом от князя В. А. Долгорукова еще в марте. На сей раз царь дозволил Сергею Волконскому полугодичное лечение в чужих землях.

Сергей Григорьевич и Мария Николаевна вновь отправились в Европу.

В это же время в имении Фалль, под Ревелем (которое ранее было собственностью графа А. Х. Бенкендорфа, а теперь им владела супруга князя М. С. Волконского), произошло еще одно важное событие: 4 мая 1860 года княгиня Е. Г. Волконская разрешилась от бремени сыном. Его нарекли Сергеем[1002].

Так наша героиня стала трижды бабушкой. Ей тогда безумно хотелось перенестись из Виши в Эстляндию, в Фалль.

Завершив пребывание в Виши, где Сергей Григорьевич прошел очередной курс бальнеотерапии, Волконские переехали в Париж.

Княгине явно нездоровилось. Е. С. Давыдова (дочь

С. П. Трубецкого), встретившая супругов на берегах Сены, отписала своему отцу, что Мария Николаевна «показалась <…> постаревшею и болезненною, а С<ергей> Г<ригорьевич> молодцом, только нога одна плохо действует»[1003]. О плохом самочувствии княгини упоминал и русский посол в Париже граф П. Д. Киселев: в ноябре 1860 года, поддерживая желание Волконских остаться за границей еще на год, он сообщил в Петербург, что «Сергей Григорьевич Волконский и в особенности супруга его находятся в болезненном состоянии»[1004].

Очередную европейскую зиму Мария Николаевна и Сергей Григорьевич провели во Флоренции (где декабрист сошелся с Л. Н. Толстым) и Ницце. А в феврале 1861 года они, пожилые и больные люди, с большим трудом вернулись в Париж. Их встречала там Нелли с детьми, прибывшая из России.

В Париже путешественники узнали о царском Манифесте 19 февраля 1861 года, делавшем российских крестьян свободными. «Русские собрались в церковь, протоиерей Васильев сказал прекрасное слово, С. Г. Волконский стоял тут же, — читаем в заметках его сына. — Чувствуя, что этим актом увенчалось заветное желание его жизни и что с высоты престола являлся как бы ответ на всё то, чем он, для осуществления своего желания, пожертвовал, — он плакал, руки и ноги его дрожали, и слезы счастья и благодарности к Царю-Освободителю катились по лицу старика. После он говорил, что это была лучшая минута его жизни»[1005].

Мария Николаевна радовалась отмене крепостной зависимости вместе с соотечественниками, однако в храм не пришла: отстоять долгий торжественный молебен княгиня не могла. «Мама очень изменилась, — писала Е. С. Кочубей своей тетке А. М. Раевской 1 (13) апреля, — но с тех пор, как она здесь, ей гораздо лучше; приехав из Ниццы, она так была слаба, что едва вставала с кресел; теперь ходит немного гулять и гораздо бодрее прежнего»[1006].

19 апреля княгиня Волконская и ее близкие покинули Париж. Они, как и два года назад, направились в Женеву, где навестили Софью Григорьевну Волконскую. После этого непродолжительного визита вежливости члены семейства разъехались в разные стороны. (Возможно, причиной тому стала размолвка супругов Волконских.)

Из сохранившихся писем видно, что Сергей Григорьевич за период с начала мая по конец июля побывал в По, Виши (где брал ванны почти месяц), Париже и Вильбадене. В августе 1861 года он вернулся в Москву. «Старец наш возвратился с ногами, довольно бодрым и вообще с восстановленными силами», — писал

А. В. Поджио Е. П. Оболенскому[1007]. 1 (К тому же Волконский был вдохновлен знакомством с А. И. Герценом.)

Его жена ни здоровьем, ни бодростью похвастаться не могла: модные европейские курорты так и не исцелили ее. В сопровождении дочери и внуков Мария Николаевна из Женевы поехала прямиком в Россию. В Вене вояжеры остановились на отдых. Там мастер Ангерер сделал фотопортрет знаменитой русской женщины[1008]. Волконская была запечатлена в полный рост: такой ракурс позволил фотографу подчеркнуть сохранившуюся стройность ее фигуры. В руках княгини, возложенных на спинку кресла, мы видим романтическую темную (черную?) шаль. Но замечается (несмотря на удаленность дамы от камеры) и другое: лицо Марии Николаевны осунулось, глаза ее болезненно тусклы и грустны — и общее впечатление от снимка, несмотря на постановочные ухищрения Ангерера, гнетущее…

Еще до Вены Мария Николаевна и Нелли решили не заезжать на обратном пути в Москву. Они вместе с детьми сразу отправились в Малороссию, в Воронки. Побывав там однажды, княгиня очень полюбила кочубеевское имение и с тех пор считала его (в душе) своим *домом.* По-видимому, она оказалась в этом уголке Черниговской губернии в середине лета.

А в августе на нашу героиню и Кочубеев обрушилось горе: внезапно умер Александр, двухлетний сын Елены Сергеевны[1009].

Мир обновился, но мрак минувшего не рассеялся: «Что́ было, то́ и будет; и что́ делалось, то́ и будет делаться…» (Еккл., 1, 9). Бедная Нелли шла стезей матери: сперва неудачный брак, потом кончина ребенка. Причем алчная смерть настигла их детей, Николеньку и Сашеньку, в одном и том же возрасте…

В Воронках надолго установилась тишина.

От этого удара княгиня Волконская уже не смогла, да и не пыталась оправиться.

Глава 18
ПУШКИН

Промчалось много, много дней…

А. С. Пушкин

Уже вскоре после кончины Пушкина в печати стали эпизодически появляться историко-биографические работы, посвященные поэту. Среди первых собирателей и публикаторов документов личного и официального происхождения, касающихся «солнца нашей поэзии», были такие известные отечественные ученые и деятели культуры, как Д. Н. Бантыш-Каменский, В. П. Гаевский, Я. К. Грот, П. И. Бартенев и другие.

А в феврале 1855 года читающая Россия получила ценный подарок: в Петербурге П. В. Анненков выпустил свои фундаментальные «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина»[1010]. В «Отечественных записках», «Современнике», «Библиотеке для чтения» и иных столичных журналах тут же появились восторженные отклики на это издание. По мнению критиков, проделанная пушкинистом работа была «образцовой»; рецензенты особо подчеркивали, что привлеченные автором «Материалов…» разнообразные тексты и биографические сведения проливают «совершенно новый свет на жизнь и деятельность Пушкина»[1011]. Книга П. В. Анненкова стала краеугольным камнем недавно возникшей и бурно развивавшейся науки — пушкинистики, она вдохновила знатоков и поклонников поэта на дальнейшие труды и разыскания.

Внесли свою лепту в пушкинистику и вернувшиеся в то время из Сибири супруги Волконские.

Они действовали по-разному.

Минуло много, много лет с тех пор, как князь Сергей Волконский навсегда распрощался в Одессе с Александром Пушкиным. Конечно, декабрист (что-то знавший о романтических отношениях поэта и Марии Раевской), находясь на каторге и в ссылке, не вычеркнул из памяти прославленного знакомца.

После смерти Пушкина Волконский попытался было завести с супругою разговор о поэте, но княгиня сразу нахмурилась и определенно дала понять, что не намерена обсуждать с ним эту тему. Получив от ворот поворот, Сергей Григорьевич, ранее частенько заставававший Марию Николаевну за чтением пушкинских произведений, оторопел, надулся и даже по-

молодецки взревновал жену.

От всех этих Александров, тамошних и тутошних, он терпел одни убытки.

А через какое-то время Волконский и сам стал — от случая к случаю, украдкой — проглядывать хваленые стишки.

Однажды, меланхолично листая (еще в Иркутске) «Евгения Онегина», Сергей Григорьевич сделал для себя неожиданное открытие. Ему вдруг показалось, что N, муж Татьяны, чем-то напоминает его самого. Конечно, не государственного преступника Волконского — а былого, моложавого, позировавшего англичанину Джорджу Доу, то бишь Волконского начала двадцатых годов.

Перечитав повнимательнее соответствующие строфы восьмой главы романа, он утвердился в первоначальном мнении. Совпадений хватало: ведь N — князь, богатый и «важный генерал», к тому же он «в сраженьях изувечен» (*VI, 171, 187)*. Подходили к Сергею Григорьевичу и некоторые другие детали (допустим, возраст персонажа), но особенно следующие строки:

> …И всех выше
> И нос и плечи подымал
> Вошедший с нею генерал *(VI, 171–172)*.

Подобная («надменная») манера ходить с незапамятных времен составляла отличительную «родовую черту» князя Волконского[1012]. (Любил он, как мы помним, еще и скрещивать руки за спиною.) А Пушкин, увековечив плывущий над толпою спесивый генеральский нос, безжалостно осмеял декабриста. Так подумалось Сергею Григорьевичу (и подумалось, видимо, небезосновательно).

Оказывается, не он — его оставили с носом.

Раздосадованный, Волконский заново изучил все песни «Онегина» — и не обнаружил в них ничего дельного. Более того, он пришел к выводу, что в пушкинском романе есть попросту вредные, прежде всего для молодого поколения, фрагменты. Сергей Григорьевич даже попробовал внушить мысль о «соблазнительных» строках Мишелю Волконскому, ученику Иркутской гимназии. «Когда его сыну, моему отцу, пятнадцатилетнему мальчику, захотелось прочитать „Евгения Онегина“, — поведал спустя десятилетия князь С. М. Волконский, — он отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению»[1013].

Прощать Пушкину «важного генерала» Волконский не собирался. И когда настал благоприятный момент, декабрист по-

своему расквитался с покойным насмешником.

В один прекрасный день, уже после возвращения из Сибири, Волконский открыл своим близким тайну, касающуюся его приятельства с Пушкиным. (Получается, он скрывал эту тайну свыше тридцати лет.) Позже Волконский неоднократно повторил свой рассказ, сделав его тем самым семейной легендой.

С годами легенда, стараниями потомков Сергея Григорьевича, получила достаточно широкое распространение. К примеру, сын декабриста пересказал ее в письме к Л. Н. Майкову: «Не знаю, говорил ли я Вам, что моему отцу было поручено принять его (Пушкина. — *М. Ф.)* в Общество и что отец этого не исполнил. „Как мне было решиться на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха, а теперь, что его убили, я жалею об этом. Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь…“»[1014]

В начале 1920-х годов внук декабриста, князь С. М. Волконский, приняв родственную эстафету, обнародовал сенсацию в печати. «…Уместно упомянуть подробность, которая, кажется, в литературу не проникла, но сохранилась в нашем семействе как драгоценное предание, — читаем в его мемуарах. — Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного Общества, но он, угадав великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения»[1015].

Академик Л. Н. Майков, почтенный пушкинист, автор трактата «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки» (1899) и других трудов, не счел возможным ввести сообщение сына С. Г. Волконского в научный оборот. Зато советские декабристоведы, ведомые академиком М. В. Нечкиной, всячески стремились придать этой легенде статус исторического факта.

Они почему-то не замечали: рассказ С. Г. Волконского дискредитирует заговорщиков, лишний раз выставляет их неорганизованной, склонной к анархии «толпой дворян» (ведь из предания следует, что декабрист мог запросто игнорировать поручения принципалов и делать все, что ему заблагорассудится). Не учитывали историки и другое: благодетелем поэта объявил себя человек, который *именно в то время,* не думая ни о каких грядущих «случайностях», обманул родителей Машеньки Раевской и тем самым искалечил дальнейшую жизнь девушки.

В доказательство же достоверности сообщения Сергея Григорьевича советские ученые приводили такие «косвенные данные»: «Декабрист Волконский был действительно столь близок

с семьей Раевских и с Пушкиным, что кому же как не ему было взять на себя такое поручение?»[1016]

Во второй половине XX века семейное предание Волконских, так и не подвергнутое критическому анализу, прочно утвердилось в отечественной историографии. Сергей Григорьевич посмертно стал закадычным другом и спасителем поэта.

В распоряжении исследователей до сих пор нет (и, скорее всего, уже никогда не будет) никаких конкретных *документов,* проясняющих данный вопрос. Однако у них имеются — причем издавна — непреложные *косвенные данные,* которые позволяют дать взвешенную оценку рассказу Сергея Григорьевича.

Напомним общеизвестные факты:

1. Большинство декабристов во время следствия пали духом и не пытались кого бы то ни было выгородить. Они охотно сообщали дознавателям не только о действительных членах тайных обществ, но и о мнимых соратниках, а также называли имена тех, кого намеревались привлечь в свои ряды. Правительственные чиновники проявляли повышенный интерес к находившемуся под подозрением Пушкину — и в делах заговорщиков, коноводов и рядовых, содержится множество упоминаний о поэте. Однако там ничего не сказано об ответственном поручении, данном генералу С. Г. Волконскому.

2. Князь Сергей Волконский был одним из самых откровенных арестантов. Он, правда, временами запирался — но потом, спохватившись, сыпал фамилиями, на допросах и очных ставках изобличал товарищей, вдобавок ко всему фантазировал и скомпрометировал ряд непричастных к заговору лиц. За несколько месяцев предварительного заключения генерал сказал много больше, чем знал, выговорился в Петропавловской крепости сполна — вот только в этой генеральской «исповеди» не нашлось места для важного эпизода, связанного с «вербовкой» поэта.

3. На каторге и в ссылке декабристы нередко беседовали о Пушкине, делились откровенными воспоминаниями о встречах с ним. Всякая подробность, касавшаяся автора «Послания в Сибирь», имела в заточении особую цену. Принимал участие в доверительных разговорах, конечно, и Волконский: за трубкой доброго табака (а то и за чашей) ему было что рассказать о поэте. Однако и здесь, в дружеской аудитории, Сергей Григорьевич не помышлял о разглашении своей тайны.

4. По возвращении из Сибири Волконский сочинял воспоминания — но, доведя свое масштабное повествование до января 1826 года, он так и не поместил в подходящем по хронологии месте сокровенную новеллу (кстати, весьма

выигрышную для мемуариста). Более того, декабрист — случай редкостный для тогдашней мемуаристики — вообще ни словом не обмолвился в воспоминаниях о Пушкине.

Итак, Сергей Григорьевич не ознакомил со своей новеллой ни членов Следственного комитета, ни товарищей; не собирался он информировать и будущих читателей. Этого не случилось, очевидно, по одной простой причине: она, эта новелла, была от начала и до конца Волконским *выдумана.*

Люди, знавшие всю подноготную тайных обществ (будь то судьи, бунтовщики или серьезная публика), столкнувшись с нею, сразу же вывели бы автора на чистую воду. По всей видимости, Волконский приготовил новеллу исключительно для домашнего пользования, для не посвященных в закулисные тонкости (и пакости) детей. Величая себя в присутствии Михаила Сергеевича или Нелли другом и охранителем знаменитого поэта, произнося напыщенные монологи, старец заметно возвышался в их мнении.

Оно и понятно: ведь дети предрасположены к идеализации своих отцов.

Княгиня же слишком долго прожила на свете и слишком хорошо изучила собственного супруга, чтобы принимать его самовлюбленные рассказы за чистую монету. Но Пушкин, *подлинный* и ничем не обязанный Волконскому, Марию Николаевну по-прежнему волновал. (Например, книгу П. В. Анненкова, о которой тогда говорила вся Москва, она прочитала с живейшим интересом.)

И у нее были свои счеты с поэтом.

Петр Иванович Бартенев, «один из основоположников пушкиноведения и последний хранитель устной традиции о Пушкине»[1017], слыл неутомимым собирателем документальных материалов и рассказов современников о поэте. Бартенев напечатал в «Отечественных записках» (1853, № 11) очерк «Род и детство Пушкина»; спустя год он поместил в нескольких номерах «Московских ведомостей» другую свою работу — «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии». Уже к середине пятидесятых годов пушкиноведческая деятельность сотрудника московского Главного архива Министерства иностранных дел приобрела широкую известность в обществе и котировалась весьма высоко. В то же время Бартенев конфликтовал с авторитетным Анненковым, громогласно обвинял «первого пушкиниста» не только в методологических просчетах, но и в неблаговидных поступках.

Однако данное обстоятельство не смутило прознавшую о Бартеневе княгиню Волконскую.

В ноябре 1856 года настырный Петр Иванович добился

встречи с ней и, естественно, завел разговор о Пушкине. Мария Николаевна вкратце поведала собеседнику о поездке Раевских с поэтом на Кавказские минеральные воды в 1820 году и о пребывании всей компании в Гурзуфе, на даче герцога Ришелье. Дома Бартенев зафиксировал услышанное от княгини на бумаге, датировав свою запись 21 ноября[1018].

В воспоминаниях, написанных Волконской «в конце пятидесятых годов»[1019], рассказано об общении с Пушкиным чуть более подробно. Здесь упомянуто не только о совместном путешествии на Юг, но и о свидании с поэтом в Москве в декабре 1826 года. (Об Одессе, где все и решилось, а также о кишиневских и киевских встречах княгиня умолчала.)

Таким образом, два мемуара Марии Волконской коснулись (и то вскользь) лишь *завязки* и *финала* ее отношений с Пушкиным. Она не собиралась особенно откровенничать ни с близкими, ни (тем паче) с «толпой».

Мария Николаевна поместила в своих французских записках пушкинские стихи — послание «Во глубине сибирских руд…» (наименованное ею «Посланием к узникам»), а также эпитафию на смерть младенца Николая Волконского («В сияньи, в радостном покое…»). Кроме того, княгиня мимоходом сообщила, что стихи из «Бахчисарайского фонтана» про чудные очи Заремы (которые «яснее дня, чернее ночи»; *IV, 159)* адресованы ей. О ней же, Марии Раевской, Пушкин (по утверждению мемуаристки) говорил и в «Евгении Онегине», в одной из самых лиричных строф первой главы («Я помню море пред грозою…»; *VI, 19)*.

Заодно наша героиня дала некоторые — пусть поверхностные, но объективные — характеристики творчеству Пушкина. Она отметила его «громадный талант», «книгу о Пугачеве» назвала «великолепным сочинением», означенные же стихи из первой песни «Онегина» — «прелестными». А при первом упоминании Волконская нарекла Пушкина «нашим великим поэтом» («notre grand poète»).

Пушкину-человеку тоже было уделено два-три мемуарных слова. Княгиня дала понять, что поэт никогда не забывал добро, сделанное ему генералом Н. Н. Раевским-старшим, отцом Марии; что он дружил с ее братьями, Николаем и Александром, и питал ко всем без исключения Раевским «чувство глубокой преданности». Вспомнила Волконская и занятный анекдот: как Пушкин в Гурзуфе, тайком, «под окном подбирал клочки бумаг» — выброшенные Еленой Раевской переводы из Байрона и Вальтера Скотта. В другом месте Мария Николаевна указала, что «добровольное изгнание в Сибирь жен декабристов» вызвало «искренний восторг» поэта.

Отобразила княгиня и пушкинское донжуанство: как поэт ухаживал в Крыму за ее сестрой, Екатериной Раевской, и как он вообще «считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал».

В книге обычного формата мемуары Марии Волконской о Пушкине (в совокупности с «бартеневскими») не занимают и четырех страниц. Однако скупые заметки княгини очень насыщенны и издавна считаются важным историческим источником. Пушкинисты подробно комментируют этот источник уже целое столетие — и до сих пор не исчерпали его содержания. К примеру, исследователями не замечалось, что одна из фраз Марии Николаевны указывала (видимо, указывала) на ее тайное свидание с поэтом в Москве 29 декабря 1826 года[1020]. Нам представляется, что не была подвергнута должному анализу и другая, тоже очень многозначительная и интимная, фраза.

Между тем это высказывание мемуаристки — своего рода скрижаль: им княгиня Волконская подытожила долгие размышления о Пушкине и его «утаённой любви».

Уяснить подлинный смысл фразы можно только в едином контексте с предшествующими мемуарными строками Марии Николаевны. Тогда перед читателем открывается следующая картина.

Мемуаристка процитировала страстные, к ней обращенные, пушкинские стихи:

> Как я завидовал волнам,
> Бегущим бурной чередою
> С любовью лечь к ее ногам!
> Как я желал тогда с волнами
> Коснуться милых ног устами!

Далее был приведен проникновенный отрывок из «Бахчисарайского фонтана», также указывающий на Марию Раевскую.

И буквально *тут же,* в соседней строке, княгиня Волконская вывела вот что:

«В сущности, он любил лишь свою Музу и облекал в поэзию всё, что видел».

Вне указанного контекста данная (выделенная нами) формула Марии Николаевны воспринимается как лапидарная оценка *всего* творчества Пушкина. Но *в* контексте она обретает совершенно иное, уже не обобщенное, а вполне конкретное значение.

Тут смысл мемуарной фразы разительно меняется и становится, видимо, таким (или примерно таким): Пушкин в

стихах (в том числе приведенных) уверял меня в своей любви, на все лады воспевал это чувство, однако, как оказалось, по-настоящему он обожал вовсе не меня, а свою Музу, *ее одну. Я* же (наравне с прочими встреченными им женщинами) была необходима Пушкину лишь как «милый предмет», проще говоря — как счастливо подвернувшийся материал для его талантливой эгоистической поэзии.

Конечно, такое заключение (которое, кстати, правомерно распространить и на Н. Н. Пушкину) могло быть сделано княгиней Волконской только на основании изучения наследия Пушкина в полном его объеме, от стихов вроде «Музы» («В младенчестве моем она меня любила…») и до поэтического завещания — стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», которое оканчивалось обращением опять-таки к Музе:

Веленью Божию, о муза, будь послушна… *(III, 424)*.

Углубленное изучение текстов и сбор доказательств Мария Николаевна вела добрых три десятка лет. Рискнем все же предположить, что решающие аргументы в пользу своего вердикта она нашла в восьмой главе «Евгения Онегина»: ведь в строфах этой песни содержался, пожалуй, самый откровенный очерк истории романтических отношений Пушкина и Музы.

Здесь было изложено его кредо.

Связь Пушкина и Музы возникла когда-то в «студенческой келье» и продолжилась после Лицея, в «шуме пиров и буйных споров» северной столицы. Неразлучная «подруга» была рядом с поэтом и после удаления того из Петербурга — на «скалах Кавказа», в Крыму (на «брегах Тавриды»), в бессарабских степях («В глуши Молдавии печальной»).

Сопровождая Пушкина, Муза часто меняла свое обличье, иногда представала Вакханочкой, в другой раз — Ленорой; временами была «резвой», подчас — «ветреной», «ласковой», «одичалой»; она алкала то светских успехов, то «безумных пиров», то немых южных ночей, то «песен степи». Но при всех метаморфозах Музы пушкинское чувство, влечение к ней оставалось неизменным, сильным — несопоставимым по силе и постоянству с прочими романами поэта.

Он был счастлив с Черкешенкой, Заремой, Марией (Потоцкой), с другими «летучими тенями» и «образами нежными»… А потом пушкинская Муза (во многом благодаря Машеньке Раевской) вдруг стала Татьяной Лариной:

И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках (*VI, 167)*.

И ее — «милую Татьяну», «ту девочку» — Пушкин, вне всякого сомнения, тоже полюбил, сразу и навсегда. *Ее* — но отнюдь не ее прототипа, не саму Марию Раевскую.

Марию Раевскую Пушкин не любил никогда.

Таков был окончательный, по существу предсмертный, вывод мемуаристки.

Признаниям поэта, литературным и жизненным, она так и не поверила…

Мы теперь знаем многие факты, связанные с «утаённой любовью» Пушкина, факты, о которых княгиня не ведала, — и потому правомочны утверждать, что ее мнение было излишне категорично. Для поэта Мария Волконская очень многое значила и в Жизни. И он имел определенные основания для встречных сокрушенных упреков:

Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь? (*V, 17)*.

Думается, что гораздо точнее и справедливее, «диалектичнее» высказался по данному поводу наш современник, глубокий знаток Пушкина: «Когда приходилось выбирать между женщиной и Музой — он выбирал Музу»[1021]. При такой формуле пальма первенства принадлежит опять-таки Музе, однако любовь к *реальной* женщине никоим образом не исторгается из пушкинского бытия.

«Утаённая любовь» Пушкина — это драма в рамках любовного *треугольника* (Муза — поэт — Мария). Тут разрешительной, подходящей всем теоремы Жизнь не предусмотрела.

Княгиня же Волконская настаивала, что поэт был попросту лишен дара *простой человеческой любви.*

Но в мемуарах Марии Николаевны есть и другие нюансы, которые биографу желательно уловить. Так, она на всю жизнь запомнила, что Александр Пушкин в Гурзуфе «особенно любезничал» с Екатериной Раевской (Орловой). Да и приговор ревнивой «старухи» («В сущности, он любил лишь свою Музу…»)

не только суров, но и преисполнен горечи.

Это — уже не о *«нашем* великом поэте» (выделено мной. — *М. Ф.),* а о *ее* Пушкине. Тут, что называется, «заметы сердца» (*VI, 3)*.

Кое о чем говорит и сбереженный княгиней «перстень верный».

> …Я знаю, ты мне послан Богом,
> До гроба ты хранитель мой… *(VI, 66)*.

Некогда, приехав в Одессу, Машенька Раевская написала *ему* что-то в этом духе.

Конечно, годы и обиды сделали свое дело — но обиды и годы, похоже, так и не превратили *бывшее* в ничто.

Глава 19
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

…Дней прошлых гордые следы.

А. С. Пушкин

После смерти внука, Сашеньки Кочубея, такой ранней и такой нелепой, княгиня Мария Николаевна Волконская лишилась последних сил, утратила саму волю к жизни, стала постепенно и необратимо угасать.

«Теперь она была старушка, с гладко причесанными волосами, только на ушах закрученными в два локона, — писал ее внук. — Седины не было; белый кисейный чепец обрамлял серьезное лицо и ложился концами на бархатную кацавейку. Остался прежний рост, остались удивительные глаза. В них осталась прежняя грусть и было много нового страданья и много новой мысли»[1022]. Так выглядела княгиня Волконская на одной из фотографий начала шестидесятых годов. (Позднее, в 1873 году, известный итальянский художник Н. Гордиджиани сделал с этой фотографии выразительный портрет Марии Николаевны.)

В Воронках стояла тогда та тишина, которую испокон веку принято называть кладбищенской, — и в тишине, на прогулках, ей хорошо думалось…

В траурные дни княгиня Мария Николаевна вдруг остро почувствовала, что она больше не хочет присутствовать при умирании близких ей людей, слышать «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему…», что ей невмоготу хоронить моложавых и юных. Она, старуха, чересчур *загостилась* на белом свете. Да и насущные дела были ею практически завершены, осталось лишь подвести итоги…

Итоги подводились тут же, на садовых дорожках, в уме — и в целом они удовлетворяли Марию Николаевну.

Княгиня сделала все от нее зависящее, чтобы ее дети были людьми родовитыми и обеспеченными. Им не придется заботиться о куске хлеба — Миша и Нельга смогут вести достойную, безбедную, независимую жизнь.

Сын, князь Михаил Сергеевич, удачно женился и уже обзавелся потомством, он на виду у высшего начальства и идет в гору, давеча получил Владимира 4-й степени. О будущем Мишеля Мария Николаевна, кажется, могла не беспокоиться[1023].

Дочь, потеряв недавно ребенка, пребывала в глубокой скорби — но у нее есть Сережа, но она счастлива подле Кочубея,

боготворит обоих, а Николай Аркадьевич души не чает в супружнице. Значит, и здесь все как-нибудь перемелется, все еще впереди. У Нелли наверняка будут и обворожительные малыши, будет и безбурный, устроенный, не похожий на материнский, век[1024].

Не пропадет и вдовствующий Сергей Григорьевич: о нем так трогательно пекутся дети, его так уважают в обществе. Да и молодой государь постоянно вспоминает о настрадавшемся непутевом старике, царские милости воистину беспредельны. Того и гляди, сбудется заветная мечта мужа и с него снимут полицейский надзор[1025]. Впрочем, ему и сейчас, под формальным надзором, живется весьма привольно, особенно в отдаленном Фалле, у Мишеля и Лизы, где он пишет мемуары.

У Александра Викторовича своя семья, собственные радости и печали. Княгиня благодарна ему за прошлое — а Поджио должен быть признателен Волконским за неизменную дружбу и поддержку (да и за теплое местечко, приносящее средства к существованию).

Воспоминания, пусть и неумелые, отрывочные, ею таки написаны.

Архив (при участии мужа) заблаговременно разобран, приведен в надлежащий порядок (и кое-что, касающееся *только ее,* попутно уничтожено).

Она едва не упустила очень важное: с мучительными сомнениями насчет Пушкина тоже покончено — и тоже в срок.

Иначе говоря, княгиня Волконская ничего не должна этому миру — да и мир обойдется без княгини.

А посему ей пора и честь знать.

> Увы! на жизненных браздах
> Мгновенной жатвой поколенья,
> По тайной воле Провиденья,
> Восходят, зреют и падут;
> Другие им вослед идут… *(VI, 48).*

Memento mori. Мария Николаевна издавна, еще с сибирских времен, готовилась к смерти — и вот теперь, в Воронках, на исходе шестого десятка, была *совершенно готова.*

В этом-то и заключалась ее «новая мысль», зародившаяся и окрепшая в осенних аллеях воронковского парка.

Зимой княгиня Волконская заболела, опять слегла, и члены ее семьи приуныли. Однако к началу весны 1862 года Марии Николаевне стало чуточку лучше. Обрадованный А. В. Поджио писал 1 апреля М. С. Волконскому: «Матушка только что

сообщила о том, что 12 марта сидела на свежем воздухе и солнце при 25° тепла. Судите по сему об улучшении, которое она испытывает…»[1026]

Месяца полтора не покидавшим усадьбы докторам казалось, что угроза миновала, но вскоре состояние здоровья княгини вновь ухудшилось: вернулась жестокая лихорадка.

Узнав об этом, А. В. Поджио, захватив с собою жену и дочь, спешно отправился из Москвы в Черниговскую губернию.

В Воронках, помимо Сергея Григорьевича и Кочубеев, уже находились М. С. Волконский с супругой и двумя детьми. Вскоре после приезда, где-то в начале июля, А. В. Поджио сообщил об увиденном Е. И. Якушкину: «Бедная Марья Николаевна борется с изнуряющею ее болезнию; худа и слаба донельзя, и для нее <… > зима и холод будут, дай Бог, чтоб не окончательно убийственны»[1027].

Все взрослые, съехавшиеся в Воронки, были безмерно расстроены, регулярно проводили какие-то совещания в гостиной, потом поодиночке и ненадолго заходили к хворой княгине. А мало что понимавшие дети почти не видели зябнувшую бабушку в чепце: они с утра и до вечера пребывали на воздухе, резвились и хохотали в обширном тенистом парке.

Мария Николаевна обычно наблюдала за ними из окна своей комнаты или (изредка) с террасы, куда ее, укутанную, выносили в креслах. Мелькающие среди деревьев быстрые тени и веселые клики юного квартета приводили княгиню в какое-то особое, умиротворенное состояние.

Погоды стояли удивительные, урожай по всей губернии ожидался невиданный…

Природа словно с кем-то прощалась…

Ближе к осени Мишель с женою и детьми уехал восвояси — и воронковский сад опустел, снова умолк. О том, что произошло по их отбытии, рассказал один из тех шалунов, что носились летом 1862 года по парку. «Когда они уехали и меня увезли, — писал позднее князь С. М. Волконский, — садовнику было приказано не мести дорожек в саду, чтобы не стирались на песке следы от детских ног моих…»[1028]

Княгиня Мария Николаевна, отдавая такое распоряжение, знала, что иногда чудесным образом сберегается то, что по всем рациональным законам должно исчезнуть безвозвратно — допустим, вензеля на «отуманенном стекле» (*VI, 70),* звуки произнесенных tête-a-tête речей, сожженные письма… Вот и зыбучий песок, казалось бы, вовсе не памятлив — однако ж навсегда впечатались в него (где-то под Таганрогом, у самой воды) следы девичьих ног. А если так, то почему бы не

сохраниться *следам* и здесь, в Воронках?

Это был *предпоследний* поступок княгини Волконской, о котором нам что-либо известно из документов. Зиму она еще кое-как продержалась, а по весне у Марии Николаевны открылось тяжелейшее заболевание печени. Слабость неумолимо нарастала, и к лету «светлый луч надежды»[1029] угас окончательно.

Доктора отводили глаза.

Дни ее были сочтены.

Сергей Григорьевич тогда находился в Фалле, где занедужил. У постели княгини попеременно, лишившись сна, дежурили то Нелли, то Поджио. В июле 1863 года к ним присоединился Мишель Волконский, примчавшийся из Эстляндии.

Ему-то (как старшему из детей) Мария Николаевна и передала в начале августа кольцо с сердоликом — пушкинский «перстень верный».

Вместе с амурами в ладье она переплыла жизнь. *Ее* (вернее, их) история «утаённой любви» подошла к концу.

Отныне кольцо становилось *родовой* реликвией Волконских.

ЭПИЛОГ

Их поколенье миновалось…

А. С. Пушкин

Княгиня Мария Николаевна Волконская «скончалась христианскою смертью на руках сына и дочери»[1030] 10 августа 1863 года, на 58-м году от рождения. Ее отпели и похоронили в Воронках 12-го числа.

Муж княгини, «прикованный к месту сильным припадком подагры»[1031], так и не смог приехать тем летом в имение зятя. Получив роковую весть из Воронков, Сергей Григорьевич сумбурно писал 30 августа (по-русски) Е. С. и Н. А. Кочубеям:

«Святая кончина нашей славной мамы — достойный конец ее жизни — она перед престолом Божиим будет за всех нас представительницею-заступницею. Будем и мы на сей земли в жизни нашей ее достойною, в чем первое начало обоюдной дружбы и неразрывное доверие и непрерывную связь в отдельных ваших семейств, дорогие мои детки, и общее между нами.

Что мне писать о моей грусти — вы и сами вообразите: лишиться — не сказав даже вечное прости той, которая всеми лишениями общественной жизни принесла в дань моему опальному быту — горько мне, и не обидев вас скажу — усиливает мою скорбь»[1032].

(Сохранились и другие его послания последних месяцев 1863 года, полные возвышенных строк о жене. Так, 12 декабря он писал Михаилу Сергеевичу о «праведной маме» и о «беспорочной жизни этого святого существа»[1033].)

Позднюю осень и зиму Волконский провел в Петербурге. (Кстати, в бытность его в северной столице там умерла всем известная Н. Н. Пушкина-Ланская.) Он посетил могилу Марии Николаевны только весною следующего года.

Из Черниговской губернии Сергей Григорьевич отправился в Виши, однако на сей раз заграничные воды ему не помогли. В ту пору «важный генерал» уже передвигался в кресле на колесах: у него был прогрессивный паралич конечностей…

Весною 1865 года родственники вновь привезли его в Воронки: семидесятисемилетнему Волконскому хотелось «сложить жизнь рядом с той, которая ему ее сохранила»[1034]. Минуло немногим более полугода — и желание декабриста исполнилось.

Утром 28 ноября 1865 года Сергей Григорьевич причастился

Святых Таин, потом попросил дочь «что-нибудь почитать ему»[1035] — и через несколько минут тихо, во сне, отошел…

Нелли и Михаил часто наведывались в Воронки, где их ждало столько дорогих *следов минувшего*. Со временем они воздвигли над прахом родителей часовню. В ее иконостас дочь и сын вставили иконы, которые находились вместе с Волконскими в Сибири. Под иконами, на доске алтарной преграды, были начертаны стихи из псалмов царя Давида (Пс. 145, 144):

> «ГОСПОДЬ РЕШИТ ОКОВАННЫЯ…»
> «ГОСПОДЬ ВОЗВОДИТ НИЗВЕРЖЕННЫЯ…»

(Данными стихами[1036] княгиня Мария Волконская когда-то открыла свои мемуары.)

А над сводами склепа высекли текст из «Акафиста Пресвятей Богородице, пред иконою Ея, именуемою Троеручица» (икос 10) [1037]:

> «РАДУЙСЯ, НЕУСЫПАЮЩАЯ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЕ ВО УЗАХ И ТЕМНИЦЕ СЕДЯЩИХ».

Воронковская часовня простояла совсем недолго. Но то́, что случилось в XX столетии с ней, с потомками княгини Волконской, да и с самой империей — уже другая история, другие книги.

Мнится: *эта* история продолжается и в наши дни.

1986–2005

ИЛЛЮСТРАЦИИ [1038]

Н. Н. Раевский-старший. П. Ф. Соколов. 1826.

С. А. Раевская. В. Л. Боровиковский. 1813.

Герб дворянского рода Раевских

А. Н. Раевский. Неизвестный художник. 1821.

Ек. Н. Раевская. А. Лагрене. 1821.

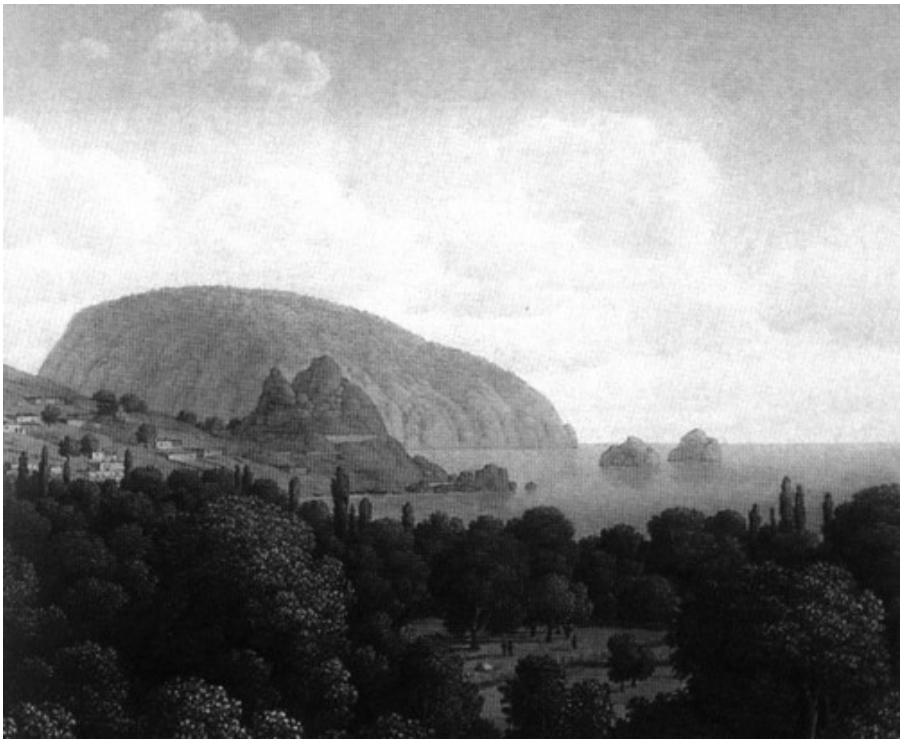
Ел. Н. Раевская. А. Лагрене. 1821.

С. Н. Раевская. Э. Мартен. 1830-е гг.

М. Н. Раевская. Литография Х. И. Эри с оригинала П. Ф. Соколова.1821.

М. Н. Раевская. Рисунок А. С. Пушкина в черновиках «Кавказского пленника». 1821–1822.

Граф Г. Ф. Олизар. Рисунок Н. Н. Раевского-младшего. 1821.



Крым. Гурзуф. Гравюра К. Ф. Кюгельгена. 1824.

М. Н. Раевская. Рисунки А. С. Пушкина в черновиках второй главы «Евгения Онегина». Конец октября — начало ноября 1823 г.

Татьяна Ларина. Рисунок А. С. Пушкина в черновиках третьей главы «Евгения Онегина». 1824.

Княгиня М. Н. Волконская. Н. А. Бестужев. 1828.

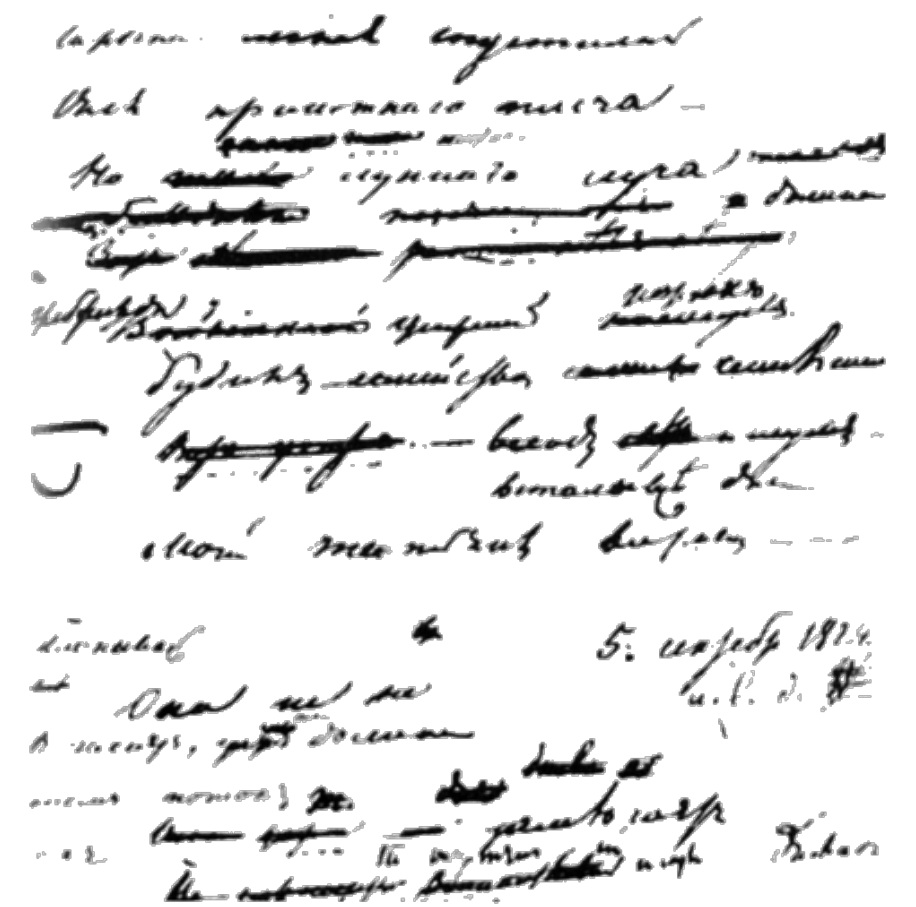
Княгиня М. Н. Волконская. Дагеротип А. Давиньона. Иркутск, 1845.

Татьяна Ларина. Рисунок А. С. Пушкина в черновиках третьей главы «Евгения Онегина» 1824.

М. Н. Раевская. Неизвестный художник. Начало 1820-х гг.

М. Ф. Орлов. А. Ризнер. 1814.

Князь С. Г. Волконский. П. Ф. Соколов. Конец 1816-го — начало 1817 г.



Черновик третьей главы «Евгения Онегина». В правом нижнем углу — запись А. С. Пушкина о получении 5 сентября 1824 года письма от Марии Раевской.

Одесса в начале 1820-х годов. Литография.

Император Николай I. Гравюра Т. Райта с портрета Дж. Доу.

Князь С. Г. Волконский. Дж. Доу. 1822.

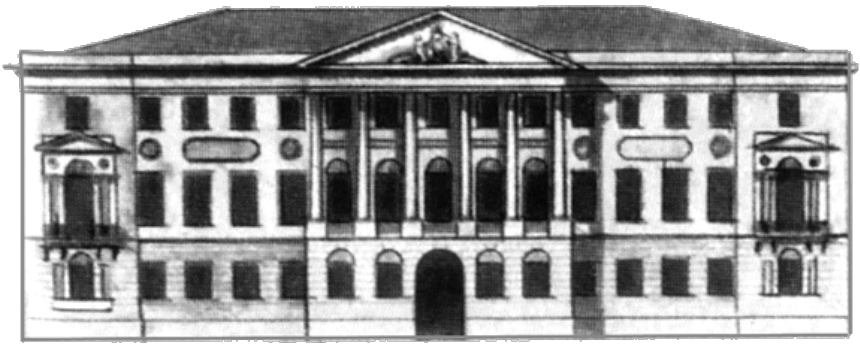
Княгиня А. Н. Волконская.

А. С. Пушкин. И. О. Вивьен. 1826–1827.

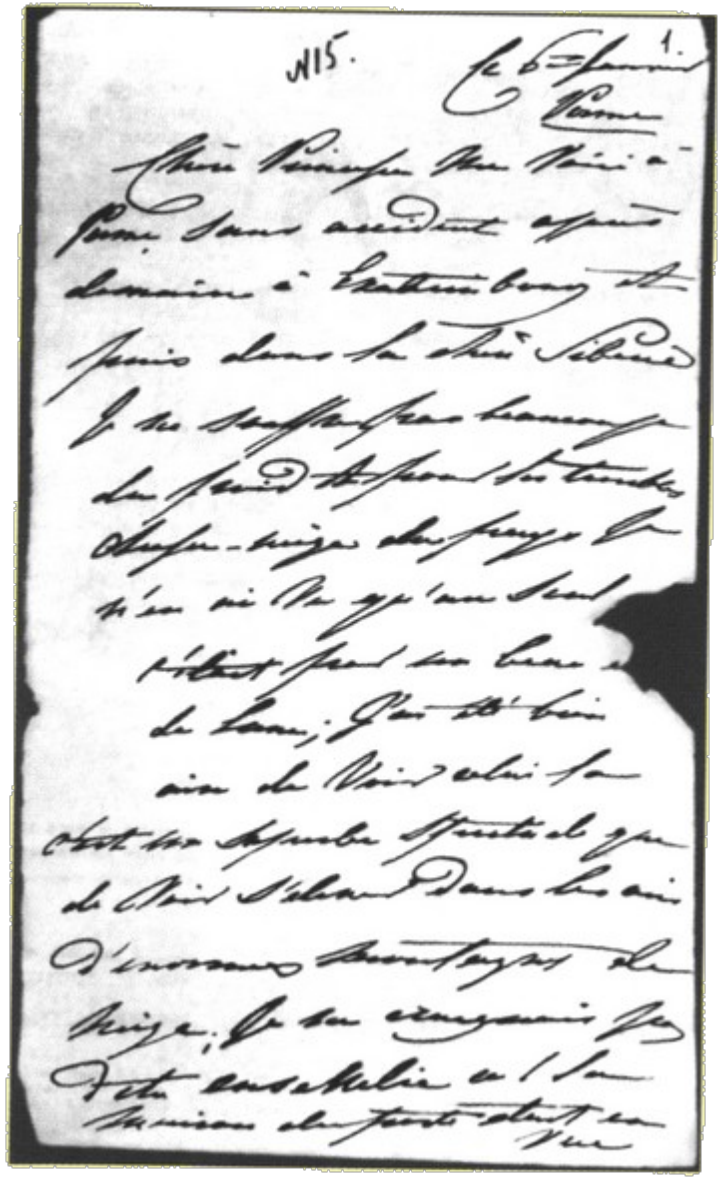
Княгиня М. Н. Волконская с сыном Николаем. Гравюра В. Унгера с акварели П. Ф. Соколова 1826 г.

Княгиня З. А. Волконская. П. Бенвенути. 1820-е гг.

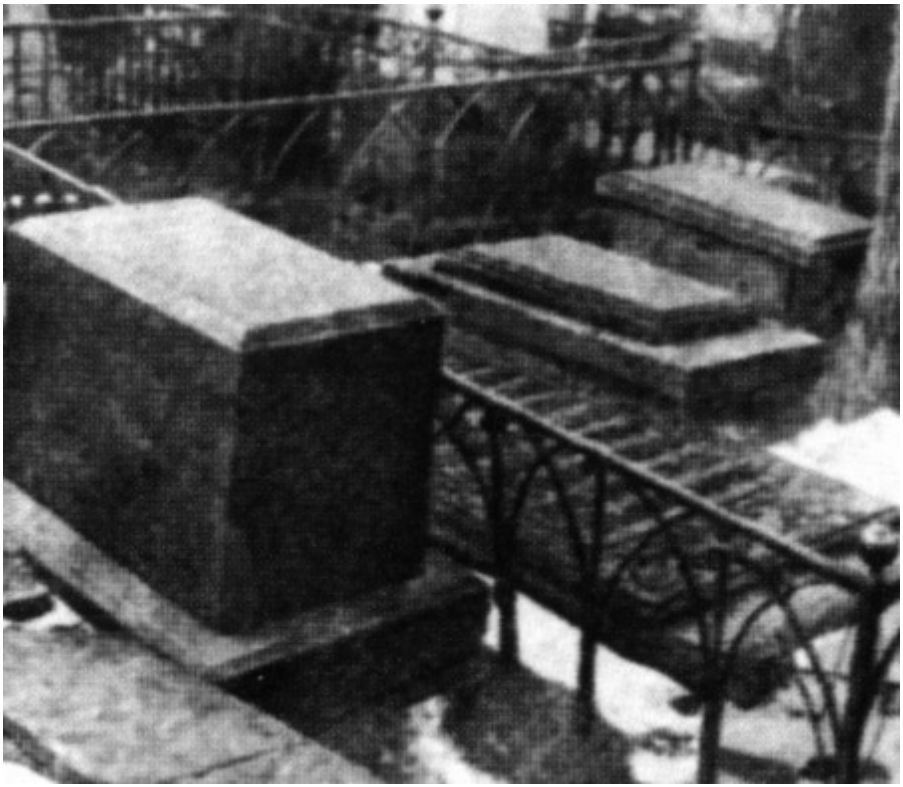
Княгиня М. Н. Волконская. Рисунок З. А. Волконской, сделанный 26–29 декабря 1826 г. в Москве.



Дом на Тверской, где жила княгиня З. А. Волконская. Рисунок из архитектурных альбомов М. Ф. Казакова.



Письмо М. Н. Волконской к В. Ф. Вяземской от 6 января 1827 года из Перми.



Могила Николая Волконского на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Фотография 1960-х гг.

Княгиня М. Н. Волконская. Н. А. Бестужев. 1837.

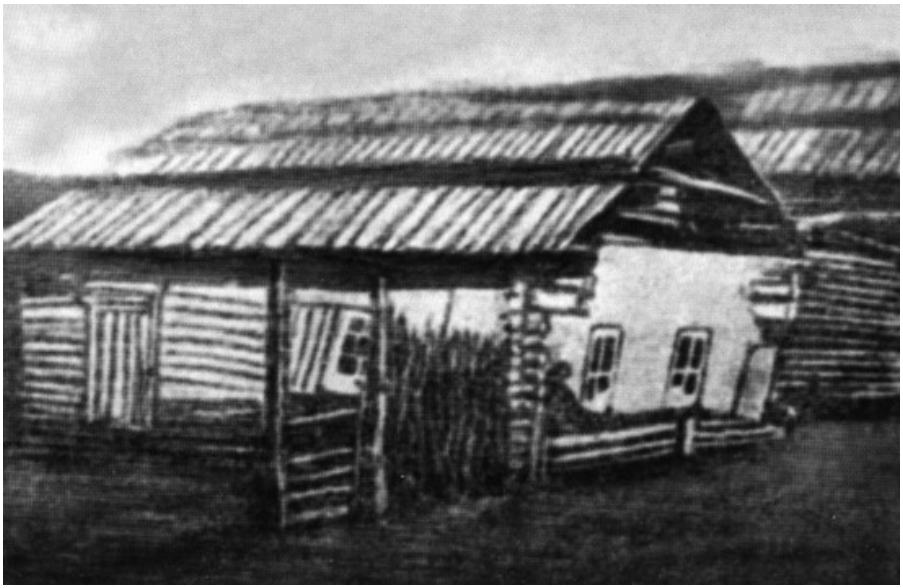
Сон Волконского. Неизвестный художник. 1840-е гг.

Князь А. Ф. Орлов. Фотография конца 1850-х гг.

Граф А. Х. Бенкендорф. Литография К. Поля.

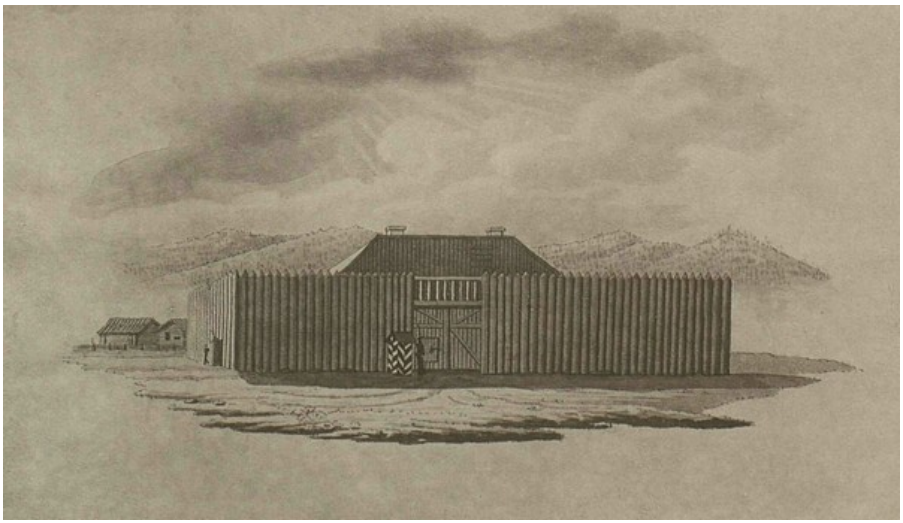
Благодатский рудник. Гора, в недрах которой работали декабристы. Фотография последней четверти XIX в.

Княгиня Е. И. Трубецкая. Миниатюра на слоновой кости Н. А. Бестужева. 1828.



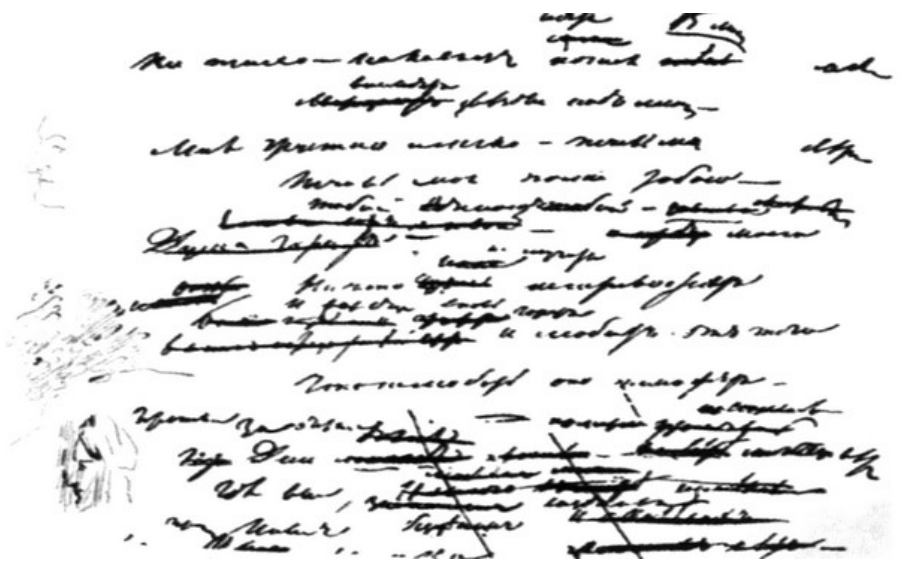
Благодатский рудник. Дом, в котором жили княгини М. Н. Волконская и Е. И. Трубецкая. Фотография. 1889.

Генерал-майор С. Р. Лепарский, комендант Нерчинских рудников.



Читинский острог. Н. А. Бестужев. 1829–1830.

Княгиня М. Н. Волконская в Чите. Н. А. Бестужев.1828.

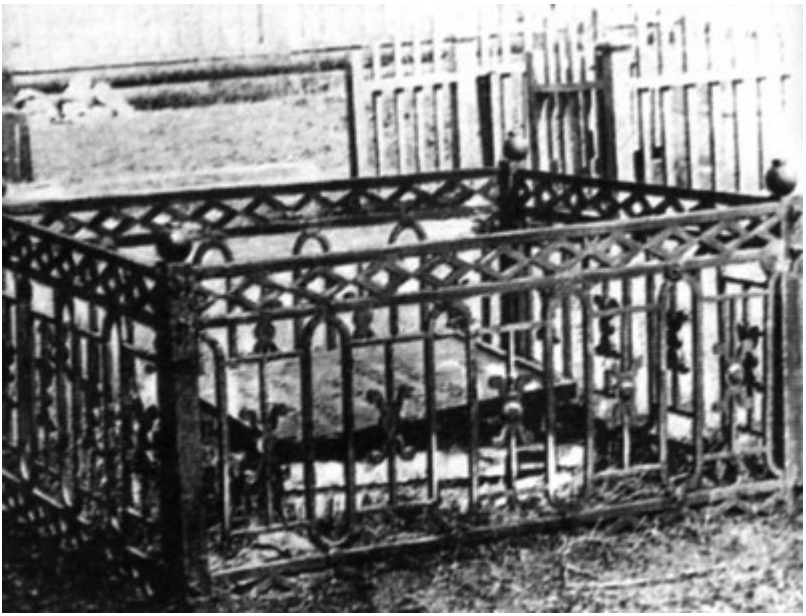


Стихотворение А. С. Пушкина «Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…». Черновой автограф. 1829.

Княгиня М. Н. Волконская (?). Рисунок А. С. Пушкина в черновике стихотворения «Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…». 1829.

С. Г. Волконский (?). Рисунок А. С. Пушкина в черновике седьмой главы «Евгения Онегина». 1828.

Главная улица в Чите. Н. А. Бестужев. 1829–1830.



Могила Софьи Волконской в Чите. Фотография. 1883.

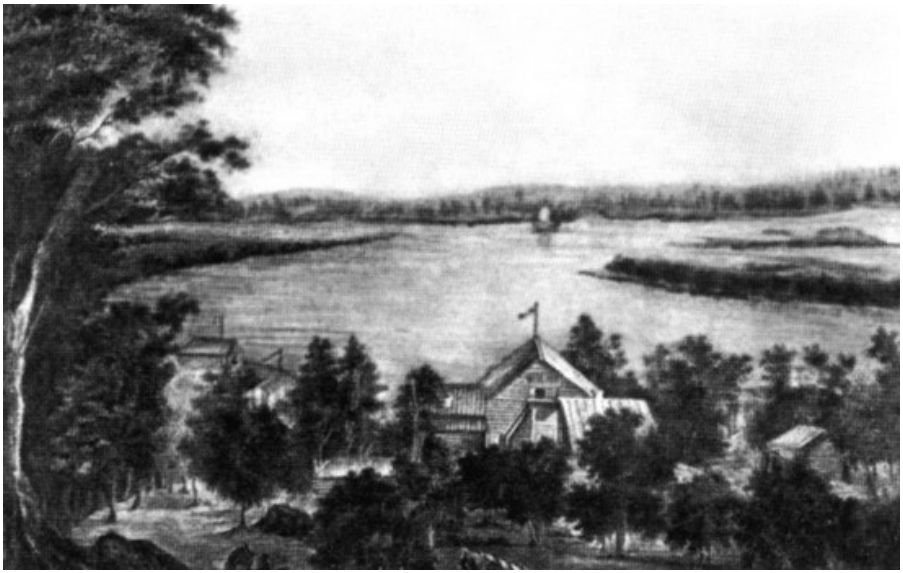
А. В. Поджио. Н. А. Бестужев. 1837.

С. Г. Волконский. Н. А. Бестужев. 1837.

Княгиня М. Н. Волконская с мужем в камере Петровской тюрьмы. Н. А. Бестужев. 1830.

Н. Н. Раевский-младший. Рисунок И. К. Айвазовского. 1840.

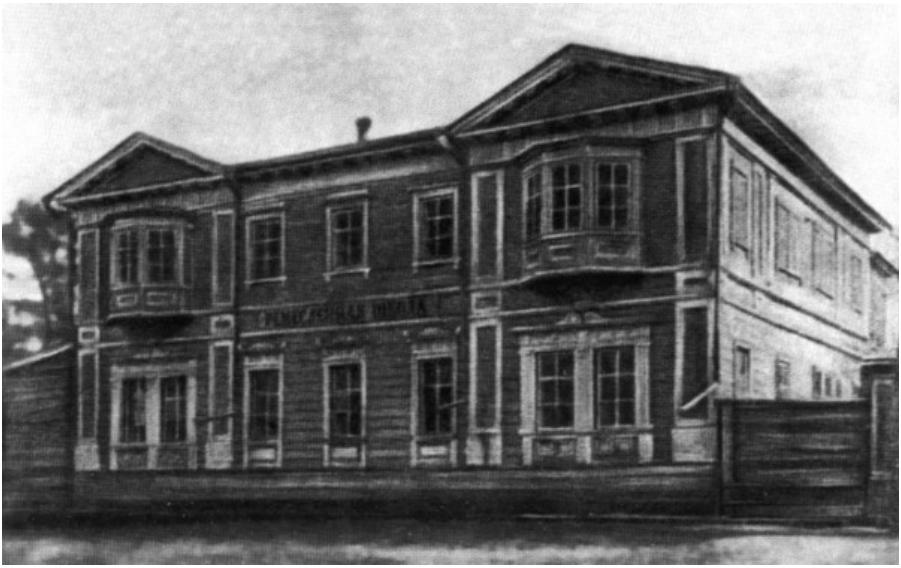
М. С. Лунин. Н. А. Бестужев. 1836.



Дача Волконских «Камчатник» на берегу Ангары. Неизвестный художник. 1840-е гг.

Нелли и Михаил Волконские. Дагеротип. 1840-е гг.

Граф Н. Н. Муравьев-Амурский. Фотография 1860-х гг.



Дом Волконских в Иркутске. Фотография конца XIX в.

Княгиня М. Н. Волконская. К. П. Мазер. 1848.

С. Г. Волконский. Гравюра В. Унгера с фотографии конца 1850-х гг.

Князь М. С. Волконский. Фотография начала 1860-х

Е. С. Молчанова-Кочубей. Рисунок Н. П. 1858.

Княгиня М. Н. Волконская. Посмертный портрет работы Н. Гордиджиани с фотографии начала 1860-х гг.

Список сокращений

АР — Архив Раевских.

Басаргин — Басаргин Н. В. Записки. Красноярск, 1985.

Гершензон — Гершензон М. О. История Молодой России. М.; Пг., 1923.

Жуйкова — Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996.

Зильберштейн — Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев. М., 1988.

Звенья — *Попова О.* История жизни М. Н. Волконской// Звенья. Кн. 3–4. М.; Л., 1934.

ИВ — Исторический вестник.

Летопись — Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991.

Лунин — Лунин М. С. Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988.

Мироненко — Декабристы: Биографический справочник / Изд. подг. С. В. Мироненко; под ред. акад. М. В. Нечкиной. М., 1988.

МНВ — Записки княгини Марии Николаевны Волконской. СПб., 1906.

О декабристах — *Волконский С.* О декабристах: По семейным воспоминаниям. Пб., 1922.

ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы).

Поджио — Поджио А. В. Записки, письма. Иркутск, 1989.

Пущин — Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989.

РА — Русский архив.

Русские пропилеи — Письма кн. М. Н. Волконской из Сибири 1827–1831 гг.//Русские пропилеи: Материалы по истории русской мысли и литературы / Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. Т. 1. М., 1915.

РС — Русская старина.

СГВ — Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902.

Султан-Шах — Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830–1832 годов // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 1. М.; Д., 1956.

Трубецкой — Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. Иркутск, 1987.

Труды ГИМ — Труды Государственного Исторического музея. Вып. II: Неизданные письма М. Н. Волконской. М., 1926.

Цявловская — Цявловская Т. Г. Мария Волконская и Пушкин: Новые материалы // Прометей. Т. 1. М., 1966.

Щеголев-1 — Щеголев П. Е. Мария Волконская. СПб., 1922.
Щеголев-2 — Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы. М., 1987.

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ КНЯГИНИ М. Н. ВОЛКОНСКОЙ (УРОЖДЕННОЙ РАЕВСКОЙ)

1805, 25 декабря. В семье полковника Н. Н. Раевского появился на свет пятый ребенок — дочь, которую при крещении нарекли Марией.

1806, *17 ноября.* Рождение сестры, Софьи Раевской.

1806 — весна 1820. Младенчество, детство и ранняя юность Машеньки Раевской, проведенные в Петербурге, Киеве, малороссийских имениях и путешествиях.

1817–1820 (?). *Петербург.* Знакомство «смуглого подростка» Маши Раевской с Александром Пушкиным.

1820, *май — начало сентября.* Поездка семьи Раевских на Кавказские минеральные воды и в Крым. Встреча в пути с больным Пушкиным и совместное путешествие с поэтом (Екатеринослав — Таганрог — Новочеркасск — Ставрополь — Пятигорск — Железноводск — Кисловодск — Екатеринодар — Тамань — Керчь — Феодосия — Гурзуф). Сближение Марии с Пушкиным.

1821, *конец января — начало февраля, июнь.* Свидания с Пушкиным в Киеве и Кишиневе.

1823 *(не позднее октября).* Сватовство графа Г. Олизара к Марии Раевской и ее отказ стать женой польского магната (формальный ответ графу был дан отцом девушки, генералом Н. Н. Раевским-старшим).

Конец октября — 3 ноября. Приезд Марии Раевской в Одессу (где с начала августа находился и Пушкин).

3 ноября. Одесса. Письмо Марии к поэту (на французском языке) с признанием в любви.

Ноябрь — середина декабря. Одесса. Свидание и решительное объяснение Пушкина с Марией: поэт «пренебрег» ее любовью. Возвращение Раевской в Киев.

1824, *середина августа.* Сватовство генерала князя С. Г. Волконского. *Август, вторая половина.* Послание Марии Раевской к Пушкину, где она сообщила о своем согласии выйти замуж за генерала С. Г. Волконского и велела поэту уничтожить одесское «письмо любви».

5 октября. Киев. Помолвка Марии Раевской с князем С. Г. Волконским.

1825, *11 января. Киев.* Венчание Марии Раевской и князя

С. Г. Волконского.

Конец весны — осень. Пребывание княгини М. Н. Волконской в Одессе.

19 ноября. Таганрог. Кончина императора Александра I.

14 декабря. Петербург. Бунт на Сенатской площади. Восшествие на престол императора Николая I Павловича.

29 декабря — 1826, 3 января. Бунт Черниговского пехотного полка на Юге России.

***1826**, 2 января. Болтышка.* Рождение первенца — князя Николая Волконского.

5 *(или 7?) января. Умань.* Арест князя С. Г. Волконского.

14 января. Генерал С. Г. Волконский доставлен в Петербург и помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

5 апреля. Приезд княгини М. Н. Волконской в Северную столицу.

21 апреля. Свидание с мужем в Петропавловской крепости.

24 апреля. Княгиня М. Н. Волконская оставляет Петербург и возвращается к сыну (находящемуся в Александрии).

10 июля. Петербург. Осужденный Верховным уголовным судом на смертную казнь С. Г. Волконский по конфирмации царя приговорен к лишению чинов и дворянства и двадцатилетней каторге (с последующим поселением).

23 июля. Отправка государственного преступника С. Г. Волконского в Сибирь.

22 августа. Сокращение срока каторжных работ С. Г. Волконского до 15 лет.

4 ноября. Второй приезд княгини М. Н. Волконской в Петербург.

21 декабря. Письмо императора Николая Павловича к М. Н. Волконской с разрешением на поездку к находящемуся в каторжных работах супругу. Отъезд княгини из Петербурга.

26 декабря. Приезд княгини в Москву, в дом З. А. Волконской на Тверской. Музыкальный вечер, на котором М. Н. Волконская встретилась с Пушкиным.

29 декабря. Прощальное свидание (?) княгини с поэтом в доме З. А. Волконской. Спешный отъезд М. Н. Волконской из Первопрестольной.

1827, 6 января. Пермь. Княгиня М. Н. Волконская с дороги пишет письмо В. Ф. Вяземской и просит подругу рассказать Пушкину о ее встрече с Пущиным.

21 января. Княгиня, «сделав весь путь <…> в три недели», достигла Иркутска.

11 февраля. Прибытие М. Н. Волконской в Благодатский рудник.

12 февраля. Встреча с мужем в помещении тюрьмы.

Начало августа. Получение посылки от В. Ф. Вяземской, где (среди прочего) был пакет с книгой, надписанный Пушкиным.

25 сентября. Прибытие княгини М. Н. Волконской в Читинский острог (куда были переведены находившиеся в Благодатске декабристы).

***1828**, 17 января. Петербург.* Смерть сына, двухлетнего Николиньки Волконского.

***1829**, начало мая.* Получение письма от Н. Н. Раевского-старшего, к которому была приложена пушкинская эпитафия младенцу Волконскому («В сияньи, в радостном покое…»).

16 сентября. Болтышка. Кончина отца, генерала Н. Н. Раевского-старшего.

***1830**, 10 июля. Чита.* Рождение и смерть дочери, Софьи Волконской.

7 августа — 23 сентября. Путешествие декабристов и их жен из Читы на новое место каторги — в Петровский завод.

19 октября. Письмо к В. Ф. Вяземской с резкой, язвительной оценкой пушкинского стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».

***1832**, 10 марта.* Рождение сына Михаила.

8 ноября. Сокращение срока каторжных работ С. Г. Волконского до 10 лет.

***1834**, 28 сентября.* Рождение дочери Елены (Нелли, Нельги).

23 декабря. Петербург. Смерть свекрови, княгини А. Н. Волконской.

***1835**, 24 июня. Петербург.* Императорский указ об освобождении государственного преступника С. Г. Волконского от каторжной работы и обращении его на поселение в Петровском заводе.

***1836**, июнь-июль.* Поездка Волконских на Тункинские минеральные воды.

7 августа. Петербург. Высочайшее повеление о переводе С. Г. Волконского на жительство в с. Урик Иркутской губернии.

***1837**, 29 января. Петербург.* Смерть Пушкина.

Конец марта. Прибытие Волконских в с. Урик.

Весна — лето. Пребывание в с. Усть-Куда, в 8 верстах от Урика. *Осень.* Возвращение в Урик.

***1841**, лето — осень.* Болезнь сына.

***1842**, 21 февраля. Петербург.* Указ императора об облегчении участи «детей, рожденных в Сибири от сосланных туда государственных преступников, вступивших в брак в дворянском состоянии до постановления о них приговора».

16–19 апреля. Иркутск. Переговоры генерал-губернатора

Восточной Сибири В. Я. Руперта с С. Г. Волконским, С. П. Трубецким и Н. М. Муравьевым по «детскому» вопросу. Дискуссии в семьях поселенцев. Отказ декабристов от помещения их детей в казенные учебные заведения под чужими фамилиями.

Весна — осень. Тяжелое нервное заболевание М. Н. Волконской.

Лето. Поездка княгини на Тункинские минеральные воды.

***1843**, 24 июля.* Смерть брата, Н. Н. Раевского-младшего.

***1844**, август.* Переезд Марии Николаевны в Иркутск, для лечения «упорной болезни».

16 декабря. Рим. Кончина матери, С. А. Раевской.

***1845**, январь. Петербург.* Княгине М. Н. Волконской высочайше разрешено «остаться в Иркутске впредь до выздоровления, с дозволением мужу ее приезжать туда по временам».

***1847**.* Приезд в Иркутск нового генерал-губернатора Восточной Сибири — Н. Н. Муравьева.

***1849**. Иркутск.* Сын княгини, М. С. Волконский, оканчивает с золотой медалью Иркутскую губернскую гимназию и поступает на службу в Главное управление Восточной Сибири.

***1850**, 15 сентября. Иркутск.* Бракосочетание дочери, Е. С. Волконской, и Д. В. Молчанова.

***1852**, весна.* Пребывание в Иркутске сестры Марии Николаевны, С. Н. Раевской.

10 сентября. Смерть в Италии другой сестры княгини, Елены Раевской.

***1855**, 18 февраля. Петербург.* Кончина императора Николая I. Восшествие на престол его сына, императора Александра II Николаевича.

24 июня. Петербург. Княгине М. Н. Волконской высочайше разрешено покинуть Сибирь и прибыть в Москву для лечения.

6 августа. Отъезд Марии Николаевны из Иркутска.

Осень. Прибыв в Москву, М. Н. Волконская останавливается у дочери, Е. С. Молчановой, в наемном доме на Спиридоновке.

***1856**, 26 августа. Москва.* Высочайший Манифест об амнистии государственных преступников, осужденных за участие в заговоре 1825 года.

21 ноября (?). Москва. Беседа с историком и археографом П. И. Бартеневым, в ходе которой княгиня Волконская поделилась своими воспоминаниями о Пушкине.

***1857**, 15 сентября.* Смерть зятя, Д. В. Молчанова.

***1858**, середина апреля — 1859, начало лета.* Первое заграничное путешествие княгини М. Н. Волконской.

1858, осень. Бракосочетание дочери, Е. С. Молчановой, и

Н. А. Кочубея.

***1859**, 24 мая. Женева.* Венчание сына, князя М. С. Волконского, и княжны Е. Г. Волконской (внучки графа А. Х. Бенкендорфа).

9 августа. Имение Воронки Козелецкого уезда Черниговской губернии. Рождение внука, А. Н. Кочубея.

«*Конец, пятидесятых годов».* Работа княгини Марии Николаевны над воспоминаниями.

***1860**, весна — 1861, лето.* Второе заграничное путешествие княгини М. Н. Волконской.

1860, 4 мая. Фалль (Эстляндия). Рождение внука, князя С. М. Волконского.

***1861**, август.* Смерть другого внука, А. Н. Кочубея.

1861, зима — 1862, весна. Воронки. Болезнь княгини.

***1862**, конец, июня.* Приезд в Воронки А. В. Поджио с семейством.

Лето. Воронки. Пребывание в кочубеевской усадьбе сына, князя М. С. Волконского, с женою и детьми.

***1863**, весна. Воронки.* Начало предсмертной болезни Марии Николаевны.

Июль. Спешный приезд в имение князя М. С. Волконского. *Первые числа августа. Воронки.* Княгиня Волконская передает сыну пушкинский «перстень верный».

***10 августа**. Воронки.* Кончина княгини Марии Николаевны Волконской «на руках сына и дочери».

БИБЛИОГРАФИЯ

Архив декабриста С. Г. Волконского. Т. 1.4. 1: До Сибири / Под ред. кн. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского. Пг.: Тип. тов-во Р. Голике и А. Вильборг, 1918.

Архив Раевских. Т. 1–5 / Изд. П. М. Раевского; ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908–1915.

Декабристы: Биографический справочник / Изд. подг. С. В. Мироненко; под ред. акад. М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1988. С. 42–43, 133–134, 152–154, 239–240, 294–295, 307.

Записки княгини Марии Николаевны Волконской / С предисл. и прилож. князя М. С. Волконского. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1904 (2-е изд. — СПб.: Тип. А. Бенке, 1906).

Письма кн. М. Н. Волконской из Сибири 1827–1831 гг.// Русские пропилеи: Материалы по истории русской мысли и литературы / Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. Т. 1. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1915. С. 1–81.

Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста) / С послесл. изд., князя М. С. Волконского. СПб.: Синодальная тип., 1902.

Труды Государственного Исторического музея. Вып. И: Неизданные письма М. Н. Волконской / Предисл. и примеч. О. И. Поповой. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1926.

Алексеев М. П. Новый автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии» // Временник Пушкинской комиссии: 1963. Д., 1966. С. 31–47.

Бестужев К. Жены декабристов. М.: Дело, 1913. С. 19–38.

Бурцев В. Л. «Утаенная любовь» Пушкина: А. С. Пушкин и М. Н. Волконская//Иллюстрированная Россия. Париж, 1934. № 48. С. 10–11; № 49. С. 6–7; № 51. С. 8–9.

Веневитинов А. В. Вечер у княгини Зинаиды Волконской // РС. 1875. № 4. С. 822–824.

Вересов Л. Подвиг русской женщины: Страницы из истории общественного движения в России. СПб.: Живая мысль, <1906>.

Волконский С. М. О декабристах: По семейным воспоминаниям. Париж: книгоизд-во Я. Поволоцкий и К°, 1921 (2-е изд. — Пб.: Начала, 1922).

Гершензон М. О. История Молодой России. М.; Пг.: ГИЗ, 1923. С. 9–78 (глава «М. Ф. Орлов»).

Доброхотов В. И. «На холмах Грузии лежит ночная мгла»: Об одной черновой редакции // Московский пушкинист. Вып. IX. М.:

ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. С. 158–169.

Есипов В. М. «Скажите мне, чей образ нежный…»: К проблеме «утаенной любви» // Московский пушкинист. Вып. IV. М.: Наследие, 1997. С. 86–118.

Калугин Ю. А. Жена декабриста: Мария Волконская. Киев, 1963.

Кузмин Н. Первая любовь Пушкина: Поэтическая монография из жизни Пушкина // Заря. 1905. № 250.

Мазур Т. П., Малов Н. Н. Новые материалы о Пушкине // Прометей. Т. 10. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 237–240.

Назарова Г. И. «Дева Ганга»: О портретах М. Н. Волконской // Пушкинская эпоха и Христианская культура. Вып. VII. СПб.: Центр Православной культуры, 1995. С. 80–88.

Некрасов Н. А. Княгиня М. Н. Волконская: Поэма // Отечественные записки. 1873. № 1. С. 213–250.

Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании: О женах и сестрах декабристов. М.: Наука, 1976.

Попова О. История жизни М. Н. Волконской // Звенья. Кн. 3–4. М.-Л., 1934. С. 21–128.

Рассадин С. Волконская из Раевских, или Русская женщина // Российская провинция. 1994. № 5. С. 129–133.

Сергеев М. Несчастью верная сестра: Повесть о женах декабристов // Сибирские огни. 1974. № 6. С. 3–61; № 7. С. 8–61.

Соколов Б. М. М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М.: Задруга, 1922.

Стрежнев И. В. «Милый идеал»: А. С. Пушкин и Мария Раевская // Красная пристань. Архангельск: Правда Севера, 1998. С. 161–192.

Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830–1832 годов // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 257–267.

Тихантовская А. «Вас должна удивить та решимость…» // Знание-сила. 1975. № 10. С. 53–56.

Тихантовская А. О смерти Пушкина в Сибирь — М. Н. Волконской // Нева. 1994. № 3. С. 300–304.

Удимова Н. И. Стихотворение Пушкина памяти сына С. Г. Волконского//Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 405–410.

Философов Д. Южная любовь Пушкина// Русское слово. 1911. № 114. 19 мая.

Хандрос Б. «Я летаю на собственных крыльях»: Несколько дней из жизни Марии Николаевны Волконской — год 1826 // Радуга. 1989. № 12. С. 116–137.

Хин Р. М. Княгиня Мария Николаевна Волконская // Жены

декабристов: Сборник историко-бытовых статей / Сост. В. Покровский. М.: Тип. Лисснера и Б. Собко, 1906. С. 18–41.

Цявловская Т. Г. Мария Волконская и Пушкин: Новые материалы // Прометей. Т. 1. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 54–71.

Шумигорский Е. «Сокровище души» Пушкина // Новое время. 1913. № 13 557. 7 декабря.

Щеголев П. Е. Подвиг русской женщины // ИВ. 1904. № 5. С. 530–550.

Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина//Пушкин и его современники. Вып. XIV. СПб., 1911. С. 53–193.

Щеголев П. Е. Мария Волконская. СПб.: Парфенон, 1922.

Яблоновский А. А. Женщины, которых любил Пушкин: М. Н. Раевская // Русское эхо. Берлин, 1924. № 29. С. 9–10.

Lednicki W. Puszkin i Maija Wolkonscka // *Lednicki W.* Alexander Puszkin: Studia. Kraków, 1926. S. 226–263.

Sutherland Christine. The Princess of Siberia: The Story of M. Volkonsky and the Decembrist Exiles. London, 1984 (2nd edition — New York, 1986).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в подборе и подготовке изобразительных материалов для данной книги Т. Л. Латыповой и Т. В. Покатову.

notes

Примечания

1

Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Пг., 1921. С. 56.

2

Позднее, по завершении каторжных сроков декабристов, в Сибирь приехали и некоторые другие их родственники (матери, сестры и т. д.). Напомним, что к концу 1825 г. в браке состояло 23 заговорщика; подробнее об этом см., напр., в кн.: *Павлюченко Э. А.* В добровольном изгнании: О женах и сестрах декабристов. М., 1976. С. 28–29.

3

Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 99, 103.

Гражданин. 1873. № 13. С. 425.

5

МНВ. С. XVII (раздел «От издателя»). Заодно приведем и характеристику, которую дал «Княгине М. Н. Волконской» (составившей вместе с другой некрасовской поэмой, «Княгиней Трубецкой», дилогию «Русские женщины») Сергей Михайлович Волконский, внук княгини: «Должен сказать, что при всех своих достоинствах поэма Некрасова представляется мне, после того как я познакомился с собственноручными письмами княгини Марии Николаевны, очень грубой; в ней есть что-то кустарное. Скажем прямо — в ней сквозит сам Некрасов; в ней больше Некрасова, нежели той, кого он воспевает. Всякий автор проявляет себя, не может не проявлять; о чем бы он ни писал — в том, как он пишет, под каким углом видит, какую оценку дает, наконец, — и, может быть, самое главное, — какие речи вкладывает в уста другого — во всем этом всегда сквозит автор. И здесь неизбежно действует влияние двух, иногда далеко не равноценных величин: описываемого героя и описывающего автора. Не всякий выдерживает сопоставление. И в то время как, может быть, самое дорогое для нас в „Евгении Онегине“ есть непрестанно ощутимое присутствие Пушкина, — в „Русских женщинах“ нас расстраивает соприкосновение с Некрасовым» (О декабристах. С. 55; выделено князем С. М. Волконским).

Цит. по: Русские писатели: 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 278.

Хин Р. М. Княгиня Мария Николаевна Волконская // Жены декабристов: Сборник историко-бытовых статей. М., 1906. С. 40–41.

8

Сергеев М. Подвиг любви бескорыстной. М., 1975. С. 5–6.

Коваль С. Ф. Декабристы в Сибири: «за» и «против» революционного пути // Империя и либералы: Материалы международной конференции. СПб., 2001. С. 224.

10

СГВ. С. 76.

11

Здесь и далее ссылки на пушкинские произведения и письма даются в тексте по так называемому Большому Академическому собранию сочинений поэта в 17 томах (М.; Д.: Изд-во АН СССР, 1935–1959), причем римской цифрой обозначается номер тома, а арабской — страницы. Зачеркнутые слова и фразы Пушкина помещаются нами в квадратные скобки, а дописанные или добавленные по смыслу — в угловые.

12

Биограф генерала дает следующее обоснование указанной датировки: «Принимая во внимание, что Н. Н. Раевский до 4 декабря 1794 г<ода> находился на Кавказе и что только с этого числа он отправился, как упоминалось выше, „по законной нужде“ в С.-Петербург, мы приходим к заключению, что ранее конца декабря вряд ли он мог успеть прибыть в столицу. В это же время был Рождественский пост, а следовательно, венчаться предстояло по исполнении установленного обряда, безусловно, в начале 1795 г<ода>. Полагаем, что последняя дата ближе подходит к действительной» *(Борисевич А. Т.* Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский: Историко-биографический очерк. СПб., 1912. С. 91–92).

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 27. Выделено Н. Н. Раевским.

14

Там же. С. 54 (письмо к графу А. Н. Самойлову от 10 января 1807 г.).

15

О декабристах. С. 129.

16

АР. Т. 2. СПб., 1909. С. 123. Позднее запрет на пребывание А. Н. Раевского в столицах был все-таки снят.

17

Цит. по: Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники / Сост., биограф, очерки и примеч. В. В. Кунина. Т. 2. М., 1986. С. 112 (письмо к Екатерине Раевской, 1820).

18

Цит. по: *Гершензон.* С. 44.

19

Обличительные стихи Пушкин напечатал в журнале «Московский вестник» (1828. Ч. 8. № VI. С. 136–137). Незадолго перед тем, составляя в апреле — августе 1827 г. список произведений, предназначенных для издания, он озаглавил данное стихотворение иначе — «Измена» (*//, 1088)*.

Это было сделано в беседе с княгиней В. Ф. Вяземской и зафиксировано в письме В. А. Жуковского к Пушкину от 16 ноября 1836 г.; см., напр.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. Д., 1989. С. 142.

Ради справедливости следует сказать, что в биографии Александра Раевского были и весьма достойные страницы. Об одной из них поведал М. О. Гершензон: «После смерти отца, когда его мать и сестры уехали жить в Италию, он заперся в Болтышке, чтобы привести в порядок расстроенное хозяйство и исправно посылать им деньги на жизнь. Из экономии он не завел своего стола, а ел то, что ела застольная <прислуга>, и одевался почти так же. Это продолжалось года три. За это время Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе; он всегда интересовался медициною. Самоотвержение, выказанное им при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера; но в то время, говорят, один из его знакомых выразился по этому поводу: „Пушкин его демоном зовет, а люди в Болтышке ангелом“» (*Гершензон.* С. 78). Предполагаем, что подробное и объективное жизнеописание А. Н. Раевского стало бы заметным явлением в нашей историографии.

Жуйкова. С. 254–258 (№ 564–574).

Там же. С. 300–302 (№ 696–704).

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 443.

24

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 1. М., 1936. С. 496 (характеристика, данная М. Н. Волконской в беседе с П. И. Бартеневым 21 ноября 1856 г. в Москве).

АР. Т. 4. СПб., 1912. С. 290.

СГВ. С. 495.

27

АР. Т. 4. СПб., 1912. С. 534 (письмо М. Н. Волконской от 2 ноября 1856 г.).

28

Эта «Некрология» была напечатана анонимно в 1829 г., вскоре после кончины Н. Н. Раевского-старшего. Автором ее был зять умершего героя, генерал-майор М. Ф. Орлов. Его сочинение вызвало неоднозначные суждения современников: например, Денис Давыдов даже издал свои «Замечания», где, в числе прочего, писал: «Я ищу человека, а вижу в Некрологии одного храброго, искусного генерала». Схожий упрек, но в более мягкой форме, выдвинул автору и Пушкин: «Желательно, чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека» *(XI, 84)*.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. III. СПб., 1886. С. 236–237.

30

1812–1814. Секретная переписка генерала П. И. Багратиона. Личные письма генерала Н. Н. Раевского. Записки генерала М. С. Воронцова. Дневники офицеров Русской армии: Из собрания Государственного Исторического музея / Сост. Ф. А. Петров и др. М., 1992. С. 209–210, 215.

31

О декабристах. С. 59.

32

Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского. СПб., 1829. С. 11.

Гершензон. С. 26.

СГВ. С. 490.

См., напр.: О декабристах. С. 59.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 43–44 (в подлиннике год не указан).

Щеголев-1. С. 6.

Там же. С. 20.

MHB. C. XI.

40

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 43. Любопытно, что в том же году Б. Л. Модзалевский в своей книге «Род Раевских герба Лебедь» (СПб., 1908. С. 73) привел другую дату рождения Марии Раевской — 25 декабря 1805 г., которую, правда, ученый сопроводил вопросительным знаком.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 54.

42

Лунин. С. 264.

Более подробно об этой «красивой картине» будет поведано ниже, в главе 4.

Летопись. С. 214.

45

MHB. C. 22.

Там же. С. 30.

О декабристах. С. 40, 77.

АР. Т. 2. СПб., 1909. С. 138. См. также: Сочинения князя А. И. Одоевского. СПб., 1893. С. 8.

МНВ. С. 2.

Щеголев-1. *С.* 9. Схожую точку зрения высказала и О. И. Попова, едва ли не самая обстоятельная исследовательница биографии Марии Николаевны; см.: Звенья. С. 28.

Щеголев-1. С. 6, 8.

МНВ. С. 6.

Борисевич А. Т. Указ. соч. С. 164.

МНВ. С. VII–IX.

55

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 219. Помимо гувернантки, у Марии была также и компаньонка — крестная дочь Н. Н. Раевского Анна Ивановна Гирей, «родом татарка, сохранившая в выговоре и лице восточный отпечаток» *(Бартенев П. И.* О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 370).

Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 140.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 219. См. также: *Борисевич А. Т.* Указ. соч. С. 157.

Труды ГИМ. С. 6.

MHB. C. IX.

Русский вестник. 1893. № 9. С. 102.

61

Цит. по: Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники / Сост., биограф, очерки и примеч. В. В. Кунина. Т. 2. М., 1986. С. 104–105.

MHB. C. IX.

63

Цит. по: Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники / Сост., биограф, очерки и примеч. В. В. Кунина. Т. 2. М., 1986. С. 102.

MHB. C. IX.

О декабристах. С. 27.

Щеголев-1. С. 6.

К примеру, сохранилось письмо С. А. Раевской к архангельскому генерал-губернатору вице-адмиралу С. И. Миницкому; оно было написано в Киеве и датируется 25 февраля 1825 г.:

«Милостивой Государь Степан Иванович. Чрез Газеты узнала я о истенно патриотическом предприятие Вашего Превосходителства — привесть в исполнение мысль Архангелскова Преосвященнова воздвигнуть памятник знаменитому Ломоносову на его родине. Как уважающей отличное достоинство сего Беликова мужа и как одной из ближайшей его родственниц, Вы позволите мне быть участницей в похвалном предприятие Вашем.

С сею же почтою поручила я Евграфу Андреевичу Богданову выслать в Архангелск, на имя Вашево Превосходителства, 1000 рублей. Прошу не именовать меня в публикациях о пожертвованиях на сей предмет, равно принять уверенние в чуствах душевной благодарности и совершеннова почтения, с коим имею честь быть, Милостивой Государь, Вам покорная ко услугам София Раевская» (АР. Т. 4. СПб., 1912. С. 673–674; сохранена орфография подлинника). 13 марта того же года указанная сумма была препровождена к С. И. Миницкому (там же. С. 674).

68

Этот афоризм находится в письме ученого к графу И. И. Шувалову от 19 января 1761 г. Впервые данное письмо было опубликовано в альманахе «Урания… на 1826 год» (М., 1825. С. 54–58), но С. А. Раевская и другие вполне могли знать содержание эпистолии и раньше. Попутно отметим, что ломоносовская фраза пришлась по душе и Пушкину, который в несколько измененном виде трижды процитировал ее: в дневнике 1833–1835 гг. *(XII, 329),* в письме к жене от 8 июня 1834 г. *(XV, 156)* и в главе «Ломоносов» «Путешествия из Москвы в Петербург» *(XI, 254)*.

О декабристах. С. 27.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 62.

Там же. С. 65.

Там же. С. 509.

73

Невестка *(фр.)*.

Звенья. С. 66. Речь шла о свадебном подарке, который Мария Николаевна просила сделать своей племяннице, выходившей замуж за графа Кушелева-Безбородко.

Там же. С. 65.

Русские пропилеи. С. 24.

77

Звенья. С. 71 (письмо к сестре, Софье Раевской, от 9 марта 1829 г. из Читинского острога).

78

Там же. С. 60, 71 (письмо к родным от 29 декабря 1826 г. из Москвы и письма к Софье Раевской от 23 февраля и 9 марта 1829 г. из Читинского острога).

79

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1985. С. 377 (письмо к Г. С. Батенькову от 4 мая 1856 г.).

80

Трубецкой. С. 272 (письмо к З. С. и Н. Д. Свербеевым от 4–5 апреля 1857 г.).

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 219.

Русский вестник. 1893. № 9. С. 102.

83

Звенья. С. 71 (письмо к Софье Раевской от 23 февраля 1829 г. из Читинского острога).

Русский вестник. 1893. № 9. С. 102.

85

Труды ГИМ. С. 13 (письмо М. Н. Раевской к Н. Н. Раевскому-младшему, датируемое 1824 г.).

Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891. С. 54.

87

Звенья. С. 78 (письмо к сестре, Елене Раевской, датируемое 1838 г.).

88

Труды ГИМ. С. 18 (письмо к сестре, Ек. Н. Орловой, от 13 июня 1825 г.).

89

См.: *Серков А. И.* История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 200, 259, 280.

Мироненко. С. 295.

91

Там же.

См., напр.: *Кушаков А. В.* Пушкин и Польша. Тула, 1990. С. 39–53.

93

Обоснование датировки см. в кн.: Летопись. С. 666–667 (комментарий Т. Г. Цявловской).

Кушаков А. В. Указ. соч. С. 26.

Вероятно, эти слова относятся к «державному» эпилогу «Кавказского пленника» (напечатанного в 1822 году), где Пушкин воспел «русский меч», которому «всё подвластно»:

> На негодующий Кавказ
> Подъялся наш орел двуглавый… и т. д. *(IV, 114)*.

Намек на популярное в то время стихотворение польского поэта Ф. Карпинского «Плач Сармата над могилой Сигизмунда Августа», наполненное «мотивами патриотической скорби».

Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 42.

Русский вестник. 1893. № 8. С. 27.

99

Впервые этот рисунок воспроизведен в кн.: Литературное наследство. Т. 31–32. М., 1937. С. 263. Набросок Н. Н. Раевского-младшего имеет определенное сходство с пушкинским портретом 1823 г. в черновиках второй главы «Евгения Онегина», что и дало основание М. И. Яшину высказать предположение, что на рисунке поэта изображен Г. Олизар (*Яшин М.* «Итак, я жил тогда в Одессе…» // Нева. 1977. № 2. С. 125).

100

«Из которого делают маршалов» *(фр.)*.

101

Русский вестник. 1893. № 9. С. 102.

102

Самый высокий *(лат.)*.

103

Там же. С. 102–103.

104

В воспоминаниях граф Олизар нарушил хронологию тогдашних событий. Он сообщил следующее: «Предчувствуя близость решительного объяснения с моей стороны и боясь отказом огорчить заботливого о будущности дочери отца, Мария поспешила принять предложение ухаживавшего за ней кн<язя> Волконского. Я опоздал, ибо долго боролся с мыслью о том, вправе ли я жениться на девушке из общества, нам враждебного» (Русский вестник. 1893. № 9. С. 103). Только после этого граф решил просить у Н. Н. Раевского-старшего руки Марии Николаевны. Выходит скандальная нелепица: поляк вознамерился увести из-под носа С. Г. Волконского его официальную невесту.

Здесь же отметим, что Б. Л. Модзалевский датирует сватовство графа Олизара к Марии Раевской 1824 г. (АР. Т. 5. СПб., 1915. С. 422), однако ничем не подкрепляет это мнение. Датировка пушкиниста перекочевала (опять-таки без объяснений) и в некоторые другие труды.

105

Вероятно, генерал имел в виду то обстоятельство, что Г. Олизар в 1816 году лишился отца.

106

Русский вестник. 1893. № 9. С. 103 (перевод Д. М. Филина).

107

Щеголев-1. С. 15–16.

108

Русский вестник. 1893. № 9. С. 104.

109

Помимо декабристской передряги, о которой рассказано выше, в биографии графа была и высылка на жительство в Курск во время польского бунта 1830–1831 годов, и эмиграция в Италию в 1832-м с последующим возвращением в Коростышево в 1836 году. В 1830 году Олизар женился вторично — на графине Юзефе Ожаровской. Добавим, что после начала польского мятежа в 1863 году граф вновь эмигрировал и вскоре скончался в Дрездене.

О декабристах. С. 42.

АР. Т. 5. СПб., 1915. С. 422.

112

Рукою Пушкина: Выписки и записи разного содержания. Официальные документы. Изд. 2-е, перераб. / Отв. ред. Я. Л. Левкович, С. А. Фомичев. М., 1997 (*Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 17, доп.). С. 177.

113

Послание к графу Олизару было впервые опубликовано в отрывках В. Е. Якушкиным в его описании пушкинских рукописей, хранящихся в Румянцевском музее (РС. 1884. № 7. С. 11).

Щеголев-1. С. 16.

115

См., напр.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 307.

116

Русский вестник. 1893. № 9. С. 102.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 389–390.

118

Там же. С. 390. К сожалению, ученый не высказался по поводу загадочной фразы о «несправедливом сомнении». Допускаем, что генерал имел в виду слухи, которые возникли после замужества Марии Николаевны; в этих «сопоставительных» толках могли фигурировать имена графа Г. Ф. Олизара и князя С. Г. Волконского.

119

Уместно будет тут повторить, что род Раевских некогда произошел от старинного польского рода; см. главу 1.

120

Этого Олизару показалось недостаточным, и через много лет в мемуарах граф выдвинул дополнительную причину своей неудачи: дескать, князь С. Г. Волконский опередил его. Таким непродуманным пассажем поляк выставил себя в крайне невыгодном свете (см. примеч. 12 к этой главе).

121

Бартенев П. И. Пушкин в Южной России: Материалы для биографии. М., 1914. С. 33.

Щеголев-1. С. 12.

123

См., напр.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 75; Летопись. С. 146, 649 (комментарий Т. Г. Цявловской).

124

Этот адрес известен из объявлений, помещенных Раевскими в «СПб. ведомостях» за 1817 год; см.: Летопись. С. 649 (комментарий Т. Г. Цявловской).

125

Пущин. С. 65.

126

Подразумевается ода «Вольность» (1817 или, подругой версии, 1819).

127

Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 188–189.

Летопись. С. 207–208.

129

Вероятность этого посещения велика, ибо 7 мая 1820 г. Екатерина Раевская в письме к брату Александру в Киев сообщила: «Мама забыла послать это письмо с Пушкиным» (Былое. 1906. № 10. С. 302).

130

Точная дата отъезда Раевских извлечена из воспоминаний штаб-лекаря Е. П. Рудыковского, который путешествовал вместе с ними; см.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 211.

131

Там же.

132

Там же.

133

MHB. C. 22.

134

Цит. по: Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники / Сост., биограф, очерки и примеч. В. В. Кунина. Т. 2. М., 1986. С. 104.

135

MHB. C. 22.

136

Дальнейшие стихи строфы княгиня М. Н. Волконская в воспоминаниях опустила. О данной строфе романа будет сказано и в следующей главе нашей книги.

137

Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 167 (письмо Н. Н. Раевского-старшего к Екатерине Раевской от 29 июня 1820 г.).

Там же. С. 166–167.

139

Летопись. С. 220.

Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 150.

141

Эта «северная любовь» Пушкина — отдельная и крайне сложная, спорная тема. Однако она никак не связана с Марией Раевской и посему не рассматривается в нашей книге.

142

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 217.

143

Там же.

Так, А. И. Тургенев писал князю П. А. Вяземскому в Варшаву 23 февраля 1821 г.: «Михайло Орлов женится на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал поэт Пушкин» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. СПб., 1899. С. 168).

145

Летопись. С. 257–259.

Гершензон. С. 33.

Летопись. С. 664 (комментарий Т. Г. Цявловской).

148

Пушкин в печати. 1814–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни / Сост. Н. Синявский и М. Цявловский. Изд. 2-е. М., 1938. С. 20.

149

Летопись. С. 318–319.

150

Дамский журнал. 1823. Ч. I. Кн. 1. С. 41. Ноты (на трех страницах) помещались в особом приложении к журналу; автором музыки был композитор И. И. Геништа.

151

Жуйкова. С. 95–97 (№ 167–170; определения Т. Г. Цявловской и М. Д. Беляева).

Там же. С. 35 (№ 5).

153

Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891. С. 54.

Соколов Б. М. М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922. С. 23–24. Ср., напр., с фрагментом стихотворения «У моря» В. Ф. Ходасевича (кстати, католика и пушкиниста):

Увы! он слушал не впервые,
Как у изломанных снастей
Молились рыбаки Марии,
Заступнице, Звезде Морей!

(Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 255).

155

См., напр., статью В. В. Вересаева «Таврическая звезда» (1925), который опирался на астрономические наблюдения Н. Н. Кузнецова *(Вересаев В.* Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 295–298).

156

Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 153. Выделено М. О. Гершензоном.

157

Есипов В. М. «Скажите мне, чей образ нежный…» (К проблеме «утаенной любви») // Московский пушкинист. Вып. IV. М., 1997. С. 107.

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 36.

159

Фонтаном слез *(фр.)*. Выделено Пушкиным.

160

Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 832 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 235.

161

Портфель *(фр.)*.

162

Русский вестник. 1893. № 9. С. 108.

163

МНВ. С. 24. У Пушкина:

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи… *(IV, 159)*.

164

Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 205.

165

Ср, напр.: «Как это нередко бывало у Пушкина, один и тот же образ мог выявиться не в одном персонаже, а в двух: в данной поэме в Зареме и в Марии» *(Соколов Б. М.* М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922. С. 30).

В черновике намек на Густава Филипповича еще прозрачнее:

И много графов и князей
Руки Марииной искали… *(IV, 389)*.

167

Ср. с последним стихом «Таврической звезды»:

И именем своим *подругам* называла *(II, 144;* выделено мною. — *М. Ф).*

Вариант черновой редакции:

Веселым пеньем оживляла… *(IV, 389)*.

169

Грановская Н. И. Всесоюзный музей А. С. Пушкина: Очерк-путеводитель. Л., 1985. С. 58.

170

«Я слышал, — писал граф в статье „К эпизоду о высылке Пушкина из Одессы в его имение Псковской губернии“, — что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени с его семейством в Крыму, в Гурзуфе, когда писал свой „Бахчисарайский фонтан“. Мне говорили, что впоследствии, создавая „Евгения Онегина“, Пушкин вдохновился этой любовью, которой он пламенел в виду моря, лобзающего прелестные берега Тавриды, и что к предмету именно этой любви относится художественная строфа, начинающаяся стихами: „Я помню море пред грозою“ etc.» [РС. 1899. № 5. С. 242.].

171

Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Paris, 1987. С. 13. Выделено С. Л. Франком.

Исключение составляет лишь упомянутое в предыдущей главе письмо поэта В. И. Туманского к С. Г. Туманской от 5 декабря 1823 года, где речь идет о Марии как «идеале Пушкинской Черкешенки» и о семействе Раевских вообще: «Вся эта фамилия примечательна по редкой любезности и по оригинальности ума» [Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891. С. 54.].

Здесь поэт слукавил: оно «не будет окончено» *наверняка,* а не предположительно, так как длящаяся Жизнь (в отличие от романа) художником неостановима — и любое «волевое», даже очень изящное и внутренне оправданное, завершение художником «романа Жизни» порождает на фоне самой Жизни, продолжающейся и удаляющейся все дальше от замершего романа, у неудовлетворенных читателей устойчивое (и во многом верное) ощущение, что роман остановлен на каком-то мгновении, прерван на полуслове («вдруг» — по определению самого Пушкина). Недаром приятели в тридцатые годы советовали поэту вернуться к «Онегину», напрасно-де заброшенному, а представители последующих поколений от советов перешли к делу и развили сюжет: записали неудавшегося любовника Евгения Онегина в члены тайного общества, потом куда-то сослали бедолагу и т. д.

174

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 174.

175

Там же. С. 114–115.

Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 493.

177

Приведем в качестве образчика небольшие фрагменты рассуждений ученого. Например, об Ольге Лариной, невесте Ленского, он пишет: «По нормам той эпохи она, вероятнее всего, была несколько моложе его и одновременно ей не могло быть меньше 15 лет. Вероятнее всего, ей было 16 лет. Татьяна, видимо, была старше Ольги на год». Далее, датируя время действия второй и третьей глав летом 1820 г., пушкинист приводит следующее обоснование датировки: «В первой строфе второй главы упомянуты „нивы золотые“ как деталь пейзажа первых дней пребывания Онегина в деревне. Озимые хлеба желтеют в северо-западных губерниях России в конце июня — начале июля» и т. д. *(Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 19, 21). Литература, посвященная внутренней хронологии романа, состоит преимущественно из подобных или еще более прискорбных опытов.

178

См. «Прибавления» к «Санкт-Петербургским ведомостям» (№ 88–104 за 1825 г. и № 1–3 за 1826 г.), которые исправно печатали метеорологические сводки.

В дальнейшем, при удобном случае, мы постараемся показать, *как* Пушкин в рассказе о дуэли и смерти Ленского откликнулся на драматические декабрьские события этого года.

180

Подробнее об этом см.: *Филин М.* «Противоречий очень много» (Загадки первой главы романа «Евгений Онегин») // Литература в школе. 1988. № 2. С. 14–17.

181

Непомнящий В. Пушкин. Избранные работы 1960–1990-х гг. В 2 т. Т. 2: Пушкин. Русская картина мира. М., 2001. С. 69. *(Выделено автором.)*

Жуйкова. С. 97–98 (№ 171–174; определения А. М. Эфроса и Т. Г. Цявловской). См. также: Летопись. С. 370.

183

Правда, первый публикатор данной записи П. И. Бартенев (РА. 1881. № 1. С. 228), а вслед за ним В. Е. Якушкин (РС. 1884. № 6. С. 69) и некоторые другие пушкинисты расшифровывали загадочные инициалы иначе: «Madame Riznic», имея в виду Амалию Ризнич (ок. 1803–1825), жену негоцианта, которой увлекался поэт в Одессе. Однако еще М. А. Цявловский резонно возразил сторонникам этой версии, что «едва ли в интимной записи Пушкин назвал бы Амалию Ризнич „Мадам Ризнич“» *(XVII, 236)*. Еще менее убедительным выглядит чтение, предложенное В. Б. Сандомирской — «Maiguine Ralli» (т. е. Майгин <Мариола> Ралли, кишиневская приятельница поэта). Несостоятельность обеих текстологических гипотез заключается прежде всего в том, что они жестко локализованы во времени и пространстве и рассматривают полученное поэтом письмо как обыденную «интрижку», коим несть числа, как *одесский эпизод,* не имеющий продолжения и глобальных последствий для жизни и творчества Пушкина в двадцатые и тридцатые годы.

Жуйкова. С. 98–99 (№ 175, 176; определения А. М. Эфроса и М. Д. Беляева).

Непомнящий В. Указ. соч. С. 104. Выделено автором.

186

История заполнения «второй масонской тетради» исследована С. А. Фомичевым; см. его работу: *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 27–65. В краткой форме выводы ученого изложены в кн.: *Фомичев С. А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 162–173. В дальнейшем рассказе о письме Татьяны к Онегину мы используем некоторые из этих наблюдений.

Фомичев С. А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 162.

188

В черновиках письма Татьяны есть еще две прозаические вставки, стоящие особняком: «Мой стыд, моя вина теперь известны вам» и «Зачем я вас увидела — но теперь поздно» *(VI, 314, 316)*. Руководствуясь вышеизложенными соображениями, мы полагаем, что эти фразы также восходят к ноябрьскому письму М. Н. Раевской и посему могут учитываться наравне с конспектом при реконструкции содержания «билета».

189

Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1986. С. 62, 63.

190

Ср., напр.: «Едва ли у провинциальной барышни была „своя печать вырезная“ — скорее всего поэт вспоминает знаменитый перстень Е. К. Воронцовой, дубликат которого она подарила Пушкину перед расставанием» (*Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 40). О заблуждении пушкинистов насчет существования «парного перстня» графини Е. К. Воронцовой, супруги новороссийского генерал-губернатора, будет поведано в следующей главе нашей книги.

191

«Род ключницы в боярском доме, которой поверялись припасы» (В. И. Даль).

Прощай! *(лат.)*.

193

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 231.

194

В предлагаемой версии за основу взят пушкинский экстракт, который кое-где дополнен (в ломаных скобках) цитатами — этакими фразеологическими «мостиками» — из черновиков Татьяниного письма (черновые рукописи поэта, думается, чуть «ближе» к одесскому оригиналу М. Н. Раевской и в большей степени сохраняют его изначальный, «и увлекательный, и вредный», аромат, нежели многократно правленный канонический текст). В квадратных скобках помещены слова, придающие эпистолии логическую и стилистическую стройность (эти слова, сверяясь опять-таки с письмом Татьяны, рискнул вставить в реконструируемый текст автор данной книги). Текст реконструкции приведен в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации.

195

Первая часть письма, вероятно, самая откровенная, восстановлению не подлежит.

196

В черновиках романа говорится про «липовые аллеи» или «липовый лесок» *(VI, 328)*. Такими аллеями как раз славилась Одесса.

197

Предмет страсти, любви *(фр.)*.

198

Цитируется прозаический вариант исповеди Онегина, имеющийся в черновой тетради Пушкина.

199

Труды ГИМ. С. 14 (в публикации, подготовленной О. И. Поповой, письмо ошибочно датировано 21 октября 1824 г.).

200

Из письма С. Г. Волконского к П. А. Вяземскому от 16 июня 1824 г. (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 166).

201

Керцелли Л. Ф. Мир Пушкина в его рисунках. М., 1988. С. 38, 40.

202

СГВ. С. 3.

203

РА. 1895. Кн. 1. С. 494.

СГВ. С. 4, 68.

Прометей. Т. 9. М., 1972. С. 37.

СГВ. С. 286.

Там же. С. 355.

Цит. по: *Глинка В. М., Помарнацкий А. В.* Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1980. С. 21.

209

Государственный Исторический музей: Портреты декабристов в собрании музея. М., 1927. С. 17.

ИВ. 1891. № 7. С. 225.

211

Об этом см.: О декабристах. С. 102.

212

Государственный Исторический музей: Портреты декабристов в собрании музея. М., 1927. С. 17. По мнению современного писателя, всматривавшегося в портреты С. Г. Волконского, у князя был «большой висячий нос» *(Нагибин Ю.* Время жить. М., 1987. С. 130).

Памяти декабристов. Л., 1926. С. 203.

Там же. С. 217.

215

Гершензон. С. 62.

Красный архив. 1924. № 6. С. 230.

217

Декабристы на поселении: Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 51.

218

См., напр.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. Вып. 1. СПб., 1909. С. 28, 128 (письма: А. Я. Булгакова к брату от 7 декабря 1823 г.; П. А. Вяземского к жене от 10 июля 1824 г.). К этому можно добавить, что сестра Волконского, княжна Софья Григорьевна, придумала свое, тоже довольно вычурное, прозвище брату — «Ая» (Архив декабриста Волконского. Т. 1. До Сибири. Пг., 1918. С. X).

219

Серков А. И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 96.

Там же. С. 156, 194–195, 197.

221

СГВ. С. 420.

222

По рассказу С. И. Муравьева-Апостола, осенью 1823 года на смотре войск, проходившем в Бобруйской крепости в присутствии императора Александра I, некоторые заговорщики «положили овладеть государем и потом с дивизиею двинуться на Москву. Сие осталось без исполнения по недостаткам средств» [Цит. по: *Брюханов В.* Заговор графа Милорадовича. М., 2004. С. 134.].

Мироненко. С. 239–240.

Там же. С. 240.

По прошествии многих лет он, работая над мемуарами, переложил всю ответственность за случившееся на давно почившего декабриста А. И. Якубовича[СГВ. С. 415–416.].

МНВ. С. 58.

Серков А. И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 251.

СГВ. С. 414.

229

Декабристы на поселении: Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 51.

230

Вероятно, Екатерина Алексеевна Константинова, сестра С. А. Раевской.

231

Конец фразы был кем-то зачеркнут.

Труды ГИМ. С. 16–17.

233

РА. 1880. № 3. С. 432.

Щеголев-1. С. 17.

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 229.

MHB. C. 4.

Сто́ит заметить, что эти «слезы заклинаний» мотивированы в романе, кажется, только «бедным жилищем» Лариных.

238

10 декабря 1826 г. А. Н. Раевский писал Марии, отвечая на какие-то упреки сестры: «Если ты хочешь говорить о твоем несчастном замужестве, то ты не имеешь права никого в нем винить» (Звенья. С. 31). Эти строки, думается, лишний раз подтверждают, что родители ограничились советами и намеками, не более того, а решение о вступлении в брак приняла сама М. Н. Раевская.

239

СГВ. С. 414.

240

Мазур Т. П., Малов Н. Н. Новые материалы о Пушкине // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 240. Выделено С. Г. Волконским.

241

Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 282–283. В более ранней черновой записи на ту же тему П. В. Анненков, сохраняя общий смысл рассказа, говорил о «талисмане», «перстне из корналина (т. е. из карнеола, сердолика. — *М. Ф.)* с восточными буквами». Этот перстень, по уверениям биографа, был «подарен после смерти Вигелю, а у Вигеля его украл пьяный человек» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1985. С. 39). Однако в книге «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855) П. В. Анненков утверждал иное: «Перстень, испещренный какими-то каббалистическими знаками, <…> находится теперь во владении Даля» *(Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1983. С. 175). Другими словами, «первый пушкинист», не изучив довольно специфический вопрос подробно, просто запутался в перстнях-талисманах поэта, что и немудрено: их у Пушкина было несколько (подробнее об этом см.: *Звягинцев Л.* Перстни-талисманы // Солнце нашей поэзии: Из современной Пушкинианы. М., 1989. С. 146–161). Поэтому для нас в указанных заметках П. В. Анненкова важно не описание самого перстня (в описании биограф, полагаясь на сбивчивые рассказы современников, ошибался) — но то, что О. С. Павлищева сообщила ему два «опорных» факта: 1) почта, взволновавшая Пушкина, поступила из Одессы; 2) эта почта была запечатана такой же печатью, какая имелась у поэта.

Из рассказа О. С. Павлищевой можно также понять, что на имя Пушкина в Михайловское пришло не одно письмо «с печатью», а несколько. Никаких документальных данных по этому вопросу нет, но что-то порождает сомнение в достоверности данной информации. В нашем повествовании мы ведем речь о *единственном* послании, факт получения которого подтвердил сам поэт.

Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л., 1974. С. 52, 68.

243

См., напр.: *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. И. Л., 1983. С. 40.

Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 193.

Вестник Европы. 1909. № 2. С. 537.

Макогоненко Г. П. Указ. соч. С. 69.

247

Кстати, потерял Пушкина из виду в те дни и ее брат Александр Раевский, от которого Мария могла бы узнать о местопребывании поэта. 21 августа 1824 года А. Н. Раевский пенял Пушкину: «Вы совершили большую оплошность, дорогой друг, не дав мне своего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас в глуши <…> Псковской губернии; вы избавили бы меня от лишней траты времени на розыски и раньше получили бы мое письмо» *(XIII, 105–106, 529)*. Чуть позже и Н. Н. Раевский-младший писал А. Н. Раевскому, что не имеет адреса Пушкина [АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 251.].

В этот день 11 января 1825 года шампанское («три бутылки Клико») лилось и в Михайловском: Пушкина посетил его лицейский друг И. И. Пущин.

248

Точная дата и место этого события неизвестны; можно только сказать, что оно произошло в интервале между 7 июня 1820 г. и 14 декабря 1823 г. (Летопись. С. 217).

249

О декабристах. С. 42.

250

Там же.

Февчук Л. П. Личные вещи А. С. Пушкина. Л., 1970. С. 40.

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М., 1931. С. 240; Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 301; *Макогоненко Г. П.* Указ. соч. С. 71.

Учитывая это обстоятельство, приверженцы «воронцовской» легенды с некоторых пор стали писать, что в пушкинской заметке присутствуют инициалы «[EW]». Что означают в данном случае квадратные скобки — не совсем ясно. Вскоре эта монограмма также сделалась аксиомой. Однако в подлиннике нет ничего похожего на нее.

Любопытно, что Т. Г. Цявловская, наиболее радикальная сторонница легенды, в своей основной работе на эту тему — «Храни меня, мой талисман…» — оперирует сразу двумя комбинациями инициалов — «L.V.» и «[EW]» (Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 37, 72).

Гершензон М. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 193–194.

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М., 1931. С. 240; *Макогоненко Г. П.* Указ. соч. С. 71.

Тогда и позднее в России бытовало два равноправных варианта написания фамилии Волконских — через «V» или через «W». Хотя французских текстов Пушкина, где бы она фигурировала, не имеется, резонно предположить, что поэт склонялся к первому варианту, то есть использовал «V». Он доподлинно знал, что того же правила придерживались и некоторые представители этого рода. Так, княгиня З. А. Волконская под письмом к нему от 29 октября 1826 г. подписалась: «P-sse Zénéïde Volkonsky» *(XIII, 299),* а князь П. М. Волконский именовал себя в послании к Н. Н. Пушкиной от 25 февраля 1833 г. «le P<rince> Pierre Volconsky» *(XV, 214).* Кроме того, транскрипция «Volkonsky» встречается в переписке близких к Пушкину лиц; см., например, письмо В. Ф. Вяземской к мужу от 29 июня 1824 г. (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. Вып. 2. СПб., 1913. С. 114) и т. д.

Сама же Мария Николаевна, выйдя замуж, стала следовать другой традиции и подписывалась: «Marie Wolkonsky».

257

Жуйкова. С. 99 (№ 177; определение М. Д. Беляева).

258

Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 59. Стихи были впервые опубликованы в книге «Стихотворения Александра Пушкина» (СПб., 1826. С. 24). В оглавлении указывалось: «Сожженное письмо. 1825» (Пушкин в печати. 1814–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни / Сост. *Н. Синявский* и *М. Цявловский.* Изд. 2-е. М., 1938. С. 31–32). Таким образом, поэт умышленно датировал стихотворение годом замужества М. Н. Раевской.

Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман…» // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 53.

Звенья. С. 30.

261

Там же.

СГВ. С. 416.

263

Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 205–206.

264

В этот день 11 января 1825 года шампанское («три бутылки Клико») лилось и в Михайловском: Пушкина посетил его лицейский друг И. И. Пущин.

265

MHB. C. 4.

MHB. C. 4.

267

Там же.

Звенья. С. 33 (письмо М. Н. Волконской к А. Н. Раевскому от 7 ноября 1826 г.).

269

Гершензон. С. 70 (письмо Н. Н. Раевского-старшего к Е. Н. Орловой от 20 марта 1827 г.).

270

Подразумевается Варвара Аркадьевна Башмакова (1785–1855), жена чиновника по особым поручениям при графе М. С. Воронцове.

Труды ГИМ. С. 17–18.

Жуйкова. С. 99 (№ 178; определение М. Д. Беляева).

MHB. C. 4.

Нечкина М. Д. Декабристы. М., 1975. С. 106 (письмо И. И. Пущина к московским заговорщикам).

275

Труды ГИМ. С. 19 (письмо написано в Умани «во вторник»).

276

МНВ. С. 4. В мемуарах декабриста этот эпизод представлен следующим образом: «Первым занятием моим было, хоть не подробно, а слегка обозначить всю сумятицу происшествий в Тульчине, затем я просил жену сказать прислуге моей зажечь камин, будто бы по той причине, что озяб дорогой, а моя цель была — уничтожить разные бумаги, которые могли бы компрометировать меня; камин был зажжен, бумаги в него кинуты и обращены в пепел. В числе сих бумаг было нераспечатанное мною письмо от Бестужева-Рюмина к члену польского общества, назначенного этим обществом для переговоров между двумя обществами» (СГВ. С. 438–439).

277

СГВ. С. 439.

MHB. C. 4–5.

СГВ. С. 440.

280

Имеется в виду князь П. М. Волконский, женатый на сестре декабриста.

281

То есть к годовщине их венчания.

Звенья. С. 32.

283

МНВ. С. 6.

Там же.

285

Там же. С. 124.

СГВ. С. 440.

См., напр.: *Мироненко.* С. 42.

СГВ. С. 440–442.

289

Былое. 1906. № 5. С. 204.

290

Звенья. С. 36 (письмо С. А. Раевской к С. Г. Волконскому от 17 апреля 1826 г.).

291

Там же. С. 32 (письмо С. Н. Раевской к Е. Н. Раевской от 3 февраля 1826 г.).

МНВ. С. 6.

Там же. С. 8.

Звенья. С. 33 (письмо А. Н. Раевского к Е. Н. Орловой от 18 февраля 1826 г.).

295

Там же (письмо С. Н. Раевской к Е. Н. Орловой и Е. Н. Раевской от 5 марта 1826 г. из Болтышки).

Тестем *(фр.)*.

297

Последнее слово не разобрано.

Там же. С. 29.

299

Показательно, что даже в переписке со свекровью Мария Николаевна, не стесняясь, убежденно говорила о «заблуждении» Волконского.[Русские пропилеи. С. 20 (письмо к А. Н. Волконской от 28 мая 1827 г.)].

300

MHB. C. 10.

301

MHB. C. 8.

302

Там же. С. 10.

303

Щеголев-1. С. 21.

MHB. C. 10.

305

Звенья. С. 35.

Щеголев-1. С. 21–22.

307

Труды ГИМ. С. 20.

Там же. С. 20–21.

309

Звенья. С. 36.

310

Труды ГИМ. С. 22.

Там же. С. 22–23.

МНВ. С. 10. Выделено мемуаристкой.

313

Там же.

Звенья. С. 36.

315

Там же.

316

Там же.

317

MHB. C. 12.

318

Труды ГИМ. С. 123 (письмо С. Г. Волконского к сестре, С. Г. Волконской, от 12 ноября 1826 г.).

319

MHB. C. 12.

Щеголев-1. С. 25.

321

Звенья. С. 33–34 (письмо А. Н. Раевского к Е. Н. Орловой от 18 февраля 1826 г.).

322

Гершензон. С. 62 (письмо А. Н. Раевского к Е. Н. Орловой от 12 марта 1826 г.). Далее Александр Николаевич добавил: «…Но я не ручаюсь, что завтра он опять не начнет хныкать» (там же).

323

Красный архив. 1924. № 6. С. 230–231.

Звенья. С. 34 (письмо А. Н. Раевского к Н. Н. Раевскому-старшему).

325

СГВ. С. 447.

MHB. C. 6, 8.

327

Восстание декабристов: Материалы. Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии. Т. X / Под ред. проф. М. В. Нечкиной; подг. к печ. А. А. Покровский и Г. Н. Кузюков. М., 1953. С. 95–180, 311–313. Далее, в рассказе о поведении С. Г. Волконского в ходе судебного разбирательства, мы пользуемся материалами этой публикации. Кроме того, свыше 30 показаний князя Сергея Григорьевича обнаружено в других делах Следственной комиссии.

Мироненко. С. 240.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 267, 296.

Через несколько десятилетий княгиня М. Н. Волконская, которую, по понятным причинам, эта печать (о ней сообщили в 1826 году и петербургские газеты) «больше всего мучила», попыталась в мемуарах как-то оправдать проступок мужа, однако ее объяснения (со ссылкой на сбивчивый рассказ Е. Н. Орловой) выглядели малоубедительно. Сама того не желая, Мария Николаевна только лишний раз напомнила о проделке князя.

331

Император Николай Первый: Николаевская эпоха. Слово русского царя. Апология Рыцаря. Незабвенный / Изд. подг. М. Д. Филин. М.,2002. С. 135–136.

MHB. C. 14.

Там же. С. 12.

Звенья. С. 37.

Там же. С. 33.

336

Там же. С. 39 (письмо к С. Г. Волконскому от 16 августа 1826 г.).

337

Там же. С. 37 (письмо к С. Г. Волконской от 27 августа 1826 г.).

Там же. С. 16.

339

Там же.

340

Там же (июльское письмо С. Г. Волконской к С. Г. Волконскому).

341

Осуществлению этого замысла помешала прежде всего быстрота последующих действий Марии. 12 ноября 1826 года Сергей Григорьевич, оповещенный родней, написал жене, «теряя силы и мужество» (О. И. Попова), ожидаемое Волконскими письмо: «Я знаю, что ты только можешь быть спокойна, быв со мною или имев возможность видеть меня, и обманул бы тебя, ежели бы стал уверять, что свидание с тобой не было <бы> для меня единственным утешением в горестной моей участи», и т. д. [Там же. С. 54–57. Письмо сохранилось в черновом виде, а его подлинник — в соответствии с принятыми к тому времени правилами переписки данной категории преступников — попал в III Отделение и позднее был уничтожен].

Однако это послание уже не застало княгиню в Петербурге.

Там же. С. 16.

343

Там же. С. 17 (письмо Е. Н. Орловой к Ел. Н. Раевской от 17 октября 1826 г.).

Родной брат С. Г. Волконского, в ту пору малороссийский военный губернатор. Назван Репниным в 1801 году в честь своего деда и в связи с прекращением рода Репниных.

345

Там же. С. 39 (письмо Н. Г. Репнина к С. Г. Волконскому от 12 августа 1826 г.).

346

См.: *Щеголев-2*. С. 178–183 (в очерке «О „Русских женщинах“ Некрасова в связи с вопросом о юридических правах жен декабристов» приведен текст указанного нормативного акта).

347

MHB. C. 16.

Там же.

349

Звенья. С. 49 (письмо от 7 ноября 1826 г.).

350

Свекровь *(фр.)*.

351

Там же. С. 15 (письмо к С. Н. Раевской от 17 ноября 1826 г.).

Золовка *(фр.)*.

353

Там же (письмо к Ел. Н. Раевской, написанное в середине ноября 1826 г.).

Там же. С. 49 (письмо к А. Н. Раевскому от 9 ноября 1826 г.).

355

Имеется в виду князь Никита Григорьевич Волконский (1781–1841), егермейстер и генерал-майор свиты, родной брат декабриста и муж известной Зинаиды Волконской (о которой будет рассказано в следующей главе).

Там же. С. 18 (письмо к А. Н. Раевскому от 30 ноября 1826 г.).

357

MHB. C. 16.

Там же.

359

Звенья. С. 15 (письмо М. Н. Волконской к А. Н. Раевскому от 9 ноября 1826 г.).

Там же. С. 41 (письмо Н. Н. Раевского-старшего к П. Л. Давыдову от 9 ноября 1826 г.).

361

Там же. С. 17 (письмо Е. Н. Орловой к Ел. Н. Раевской от 17 октября 1826 г.).

Там же. С. 40.

Гершензон. С. 68.

Звенья. С. 41–42.

Там же. С. 41.

366

Там же. С. 42 (письмо к А. Н. Раевскому от 13 августа 1826 г.).

Там же. С. 43.

Гершензон. С. 70.

369

Звенья. С. 43.

Гершензон. С. 70 (письмо Н. Н. Раевского-старшего к Е. Н. Орловой от 20 марта 1827 г.).

371

Звенья. С. 42 (письмо к А. Н. Раевскому, датируется началом августа 1826 г.).

Там же. С. 42–43 (письмо от 23 августа 1826 г.). Содержание этого письма позволяет предположить, что Н. Н. Раевскому-старшему все-таки удалось что-то разведать о готовящемся секретном предписании генерал-губернатора Восточной Сибири А. С. Лавинского.

Там же. С. 44.

Там же.

Там же.

Гершензон. С. 68. В письме к А. Н. Раевскому от 3 декабря 1826 г. из Москвы старый генерал писал: «Машенька по первому пути едет в Иркутск, — я не смел отказать ей в этом, она здорова, надеюсь, что через год мы ее увидим» (*Щеголев-1.* С. 30).

377

Внук княгини, С. М. Волконский, позднее назвал портрет Марии Николаевны «прелестным» и писал о нем так: «С белым покрывалом на голове, в синем платье, с шитыми золотом рукавами, держит она, грустная, своего первенца на коленях. Один из популярнейших портретов того времени, много раз воспроизведенный, и это не помешало одному иллюстрированному журналу во время войны отпечатать его с надписью: „Тип галицийской крестьянки“. Оригинал принадлежал моей родной тетке Елене Сергеевне Рахмановой и находился до революции в ее имении Вейсбаховка Прилукского уезда Полтавской губернии» [О декабристах. С. 28.]. Ныне этот портрет хранится в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве.

378

Гершензон. С. 68. В 1832 г. княгиня А. Н. Волконская в прошении на высочайшее имя указала, что, по духовному завещанию С. Г. Волконского, имение его («родовое в Нижегородской и Ярославской губерниях 2127 мужеского пола душ и благоприобретенный дом в Одессе, хутора близ сего города и деревня Новорепьевка в Таврической губернии») поступило: «родовое, — как принадлежащее малолетнему сыну его князю Николаю Волконскому, — в опекунское управление, а благоприобретенное, — следующее жене его же Сергея Волконского Марии, урожденной Раевской, — в управление отца ее генерала Раевского, сообразно данной ему от дочери его доверенности, коею Раевской уполномочен был принять впоследствии и подлежащую Марии Волконской из родового имения 7-ю часть» *(Щеголев-2.* С. 187). Прошение скаредной матери декабриста инициировало долгое разбирательство данного имущественного вопроса в Комитете министров.

379

В своих воспоминаниях княгиня М. Н. Волконская, вероятно, запамятовав, утверждала, что два эпизода, о которых пойдет речь далее, случились после получения высочайшего разрешения на поездку, в день ее отбытия из Петербурга, то есть 21 декабря 1826 г. Между тем уже 3 декабря Н. Н. Раевский-старший был в Москве, а 17 декабря писал дочери из Милятина (Звенья. С. 60), да и сама княгиня посылала отцу письма 18 и 21 декабря (там же. С. 18, 59). Поэтому мы предполагаем, что описанные Марией Николаевной сцены прощания имели место перед отъездом генерала из Петербурга в конце ноября: она провожала уезжающего отца, а не он ее.

MHB. C. 18, 20.

Звенья. С. 18 (письмо от 18 декабря 1826 г.).

382

Там же. С. 59 (письмо от 21 декабря 1826 г.).

383

Там же. С. 58 (письмо от 17 декабря 1826 г.).

Так, в недошедшем до жены письме из Благодатского рудника он жаловался: «Со времени моего прибытия в сие место я без изъятия подвержен работам, определенным в рудниках, провожу дни в тягостных упражнениях, а часы отдохновения проходят в тесном жилище, и всегда нахожусь под крепчайшим надзором, меры которого строжее, нежели во время моего заточения в крепости, а по сему ты можешь представить себе, какие сношу нужды и в каком стесненном во всех отношениях нахожусь положении», и т. д. [Там же. С. 55 (письмо от 18 ноября 1826 г.)].

Там же. С. 18.

Ранее император не только разрешил Марии Николаевне свидеться с мужем в крепости, но и пошел навстречу Н. Н. Раевскому-старшему, незамедлительно утвердив духовное завещание С. Г. Волконского (тем самым государь защитил и имущественные права княгини). Кроме того, в начале декабря царь через Софью Волконскую «поручит предостеречь молодую женщину (М. Н. Волконскую. — *М. Ф.)* от такого ужасного путешествия» [*Павлюченко Э. А.* В добровольном изгнании. М., 1976. С. 23.]. Кстати, много позже в частной беседе Николай I сказал (по-французски) об уехавших женах декабристов: «Это было проявление преданности, достойное уважения, тем более, так часто приходится наблюдать противоположное» [Цит. по: *Щеголев-2.* С. 175.].

387

МНВ. С. 16, 18. Примерно в это же время «государь, узнав, что по городу ходили слухи о том, что семья Волконских некоторым образом принуждала Марию ехать к мужу в Сибирь, — сделал упрек в том Волконским» (Звенья. С. 18).

Щеголев-1. С. 28.

389

MHB. C. 20.

Гершензон. С. 70.

391

MHB. C. 20.

Там же. С. 30.

Желвакова И. А. Улица Горького, 14. М., 1987. С. 16.

MHB. C. 20.

395

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. СПб., 1899. С. 223 (письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 февраля 1833 г.).

396

В 1829 году княгиня З. А. Волконская покинула Россию и поселилась в Риме, где перешла в католичество.

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 12.

398

Цит. по: *Гаррис М. А.* Зинаида Волконская и ее время. М., 1916. С. 18. Выделено в документе.

399

РА. 1873. № 6. С. 1085.

ИВ. 1897. № 3. С. 941.

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. СПб., 1889. С. 36.

То есть как в доме, где в 1825 году скончался ее кумир, император Александр I.

403

Разновидность шелка.

Желвакова И. А. Указ. соч. С. 28 (письмо А. П. Волконской к С. Г. Волконской от 11 августа 1826 г.).

405

Смеясь, говорить истину *(лат.)*.

МНВ. С. 20, 26, 30.

407

См.: Дамский журнал, издаваемый князем Шаликовым. 1827. Ч. XVII. № 1. С. 45–48.

Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 61–62.

409

«Многие знакомые, — свидетельствует современник, — просили у княгини позволения составить партию виста; но она положительно заявила, что никогда не дозволит, чтобы у нее в доме играли в карты»[РА. 1878. № 10. С. 252.].

410

В послании «Княгине Марии Волконской, рожденной Раевской», созданном, по-видимому, гораздо позже, З. А. Волконская почти дословно повторила слова гостьи: «Как ты вслушивалась в наши голоса, когда мы пели около тебя хором! „*Еще, еще*, повторяла ты, *еще*! ни завтра, никогда не услышу более музыки“» [РС. 1875. № 4. С. 825 (подлин. на фр.). Выделено княгиней З. А. Волконской].

411

MHB. C. 20, 22.

РС. 1875. № 4. С. 822–824.

То есть мужа и ребенка (кстати, Веневитинов, почти не знавший княгиню, предполагал, что у Волконских растет дочь).

Эти фрагменты мемуаров Марии Николаевны приведены нами выше, в четвертой главе.

Если *во всех* — то, значит, и в нее, Марию?

MHB. C. 22.

417

Далее приводятся пушкинское «Послание в Сибирь» («Во глубине сибирских руд…») и стихотворный ответ декабриста А. И. Одоевского («Струн вещих пламенные звуки…»).

Там же. С. 24, 26.

Щеголев-1. С. 14–15.

420

«Однако я слышала твое пение: оно не умолкло, оно никогда не умолкнет…» — читаем в новелле З. А. Волконской «Княгине Волконской, рожденной Раевской» [РС. 1875. № 4. С. 825 (подлин. на фр.).].

421

О том, что слова «смиренная доля» неприменимы к Онегину (зато вполне приложимы к ссыльному Пушкину), см. главу 5 нашей книги («Одесса»).

422

Напомним, что Мария Раевская обвенчалась с генералом князем Волконским в январе 1825 года — то есть к моменту встречи с поэтом в Москве она была замужем *тоже* около двух лет.

423

Благопристойности *(фр.)*.

Вульгарным *(англ.)*.

Ср., например, с портретной характеристикой Марии Николаевны, данной княгиней Зинаидой Волконской: «У тебя глаза, волосы, цвет лица, как у девы, рожденной на берегах Ганга…»[Там же.].

426

Герой «Горя от ума» приехал, как известно, в *Москву*.

Об этой дате и о реальных календарных датах романа вообще см. главу 5 («Одесса»).

Впрочем, этот факт надо учитывать, но не переоценивать: многие постройки XVIII века имели сходное расположение покоев.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 224.

Назарова Г. И. «Дева Ганга»: О портретах М. Н. Волконской // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. VII. СПб., 1995. С. 82–83. Этот портрет ныне хранится во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Царском Селе.

Об этом послании будет подробно рассказано во второй части нашей книги.

Звенья. С. 60.

433

См. главу 5 («Одесса»).

Подробнее об этом см., напр., в кн.: *Зильберштейн.* С. 154–156. Один из этих портретов, принадлежавших до революции семейству Волконских, в настоящее время находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина, другой утрачен.

435

Занятное совпадение: и Пушкин имел обыкновение усаживаться подобным образом; об этом свидетельствуют один из его автопортретов [*Жуйкова.* С. 34–35 (№ 5).], гравюра Е. Гейтмана и некоторые другие прижизненные изображения поэта.

Возможно, вследствие этой тоски Пушкин 28 декабря 1826 года, то есть накануне визита на Тверскую, сделал то, что по традиции делает русский человек любого сословия в тягостную минуту, — и историк М. П. Погодин, посетивший поэта, застал того «в развращенном виде» [Цит. по: Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837. В 3 т. / Сост. *Г. И. Долдобанов.* Т. 1. Кн. 1. М., 2000. С. 100 (запись в дневнике М. П. Погодина от 28 декабря 1826 г.).].

437

Персонаж наделен родовым именем, которое вполне ассоциируется с именем Волконского. В черновиках «Дубровского» фигурируют также князь В. (*VIII, 812, 818)* и князь *** (*VIII, 826),* что, думается, еще более многозначительно. К тому же Верейскому «было около 50 лет» *(VIII, 207),* то есть почти столько же, сколько и декабристу (в начале тридцатых годов).

РС. 1875. № 4. С. 825.

439

До сих пор в большинстве авторитетных книг и справочников предположительно указывается, что Пушкин начал работу над «Посланием в Сибирь» 26 декабря 1826 г. Исследователи почему-то не учитывают, что поэт возвратился домой от княгини Зинаиды Волконской, скорее всего, только ранним утром 27 декабря.

440

Из письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 6 января 1827 г.; цит. по: *Щеголев-1*. С. 37.

Цявловская. С. 58–59 (подлин. на фр.).

MHB. C. 28.

443

Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 143. Речь шла об отставном майоре Ф. П. Шаховском, который по делу декабристов был приговорен к лишению дворянства и вечной ссылке в Сибирь на поселение.

МНВ. С. 36.

445

Через три недели, 20 января 1827 года, Мария Волконская писала В. Ф. Вяземской из Красноярска: «Тысячу и тысячу нежностей нашей очаровательной Зине от той, которая заставила ее проливать слезы умиления»[*Цявловская.* С. 62 (подлин. на фр.).].

446

Там же. С. 28. По всей видимости, именно от Е. Н. Орловой Раевские вскоре что-то узнали о встрече (или, что гораздо менее вероятно, встречах) М. Н. Волконской с Пушкиным. Так, 20 января 1827 г. С. А. Раевская сообщила в Тифлис сыну Николаю, что поэт «теперь в Москве, и Мария видела его там…» *(Мазур Т. П., Малов Н. Н.* Новые материалы о Пушкине // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 238).

447

Звенья. С. 60. Спустя десятилетия княгиня оценила свое настроение накануне отъезда из Первопрестольной куда более сдержанно: «Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом…» (МНВ. С. 30).

Русское прошлое. 1923. № 1. С. 125–126.

449

Цит. по: Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837. В 3 т. / Сост. *Г. И. Долдобанов.* Т. 1. Кн. 1. М., 2000. С. 108. По некоторым сведениям, поэт передал А. Г. Муравьевой также послание И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный…») и, возможно, отдельное издание второй главы «Евгения Онегина».

450

ИВ. 1896. № 10. С. 102 (мемуарный рассказ Е. П. Шумиловой, дочери актера).

451

Пушкин в печати. 1814–1837 / Сост. *Н. Синявский* и *М. Цявловский.* М., 1938. С. 42.

Цит. по: Разговоры Пушкина / Собр. С. Гессен и Л. Модзалевский. М., 1929. С. 155.

453

МНВ. С. 30.

Там же. С. 32. Выделено автором.

455

Там же.

Там же. С. 30.

О декабристах. С. 51.

Цявловская. С. 59 (подлин. на фр.).

Волконская заблуждалась: неподалеку от города (Оханск располагался в 67 верстах к западу от Перми) она повстречала не Ивана Пущина, «первого и бесценного друга» поэта, а его брата Михаила, бывшего капитана и командира лейб-гвардейского Конно-пионерного эскадрона, тоже декабриста, приговоренного к лишению чинов и дворянства и к отдаче в солдаты до выслуги.

О декабристах. С. 50–51.

461

Русские пропилеи. С. 29 (письмо М. Н. Волконской к С. Г. Волконской от 26 июня 1827 г.).

MHB. C. 34.

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 228–229.

МНВ. С. 36.

465

Там же. С. 38. Выделено в документе. Смысл расплывчатой формулы «уничтожается право на крепостных людей» был разъяснен императором Николаем I, который редактировал проект А. С. Лавинского: «…Достаточно объявить женам, что по положению они не могут брать с собой людей своих, как с добровольного их согласия» *(Щеголев-2.* С. 182).

Подробнее о создании данного подзаконного акта рассказано в главе 8 («Борьба за Сибирь»).

Щеголев-2. С. 182.

Русские пропилеи. С. 20 (письмо от 28 мая 1827 г.).

469

MHB. C. 40.

Там же.

Изгачев В. Г. Жены декабристов в Забайкалье // Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. С. 136–140.

MHB. C. 40.

473

20 марта 1827 года Н. Н. Раевский-старший сообщил Екатерине Орловой: «Письмо ее от 29-го января, писанное из Иркутска, принесло не малое утешение. Или она не знает, что ей не позволено будет возвратиться, или сие запрещение существует только для удержания жен несчастных от поездки в Сибирь. Милосердный Государь наш не будет наказывать несчастных и невинных жертв своей любви к мужьям за оную, и, конечно, через некоторое время им позволено будет возвратиться. Дай Бог мне дожить до этого! Я тебе говорю, мой друг, что письмо ее усладило мою горесть, и в самую нужную для сего минуту, ибо за час до получения оного я писал к Машеньке, и писал в первый еще раз по ее отъезде» [*Гершензон.* С. 70–71.].

МНВ. С. 40, 42.

Там же. С. 42.

476

СГВ. С. 461–463 (документ помещен в «Послесловии издателя», князя М. С. Волконского).

Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. М., 1976. С. 33.

Пущин. С. 98.

479

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 220, 221.

MHB. C. 44.

481

Там же.

482

Русские пропилеи. С. 39–40 (письмо М. Н. Волконской к А. Н. Волконской от 9 сентября 1827 г.).

Там же. С. 5.

МНВ. С. 44, 46.

Там же. С. 142 (раздел «Приложения»).

Там же. С. 144.

Там же.

Трубецкой. С. 76.

МНВ. С. 154 (раздел «Приложения»).

Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании. М., 1976. С. 54.

491

Трубецкой. С. 77 (письмо С. П. Трубецкого к жене от 29 октября 1826 г.).

См.: Звенья. С. 55–57.

МНВ. С. XVII (раздел «От издателя»).

Там же. С. 46, 48.

Там же. С. 48.

Еще 22 августа 1826 года срок каторжных работ Волконского был сокращен — с 20 до 15 лет.

Русские пропилеи. С. 5.

По предположению некоторых историков, как раз там, под землей, М. Н. Волконская и передала 13 февраля декабристам пушкинское «Послание в Сибирь».

МНВ. С. 48, 50.

500

Русские пропилеи. С. 42 (письмо к А. Н. Волконской от 2 октября 1827 г.).

501

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 230–231.

502

Русские пропилеи. С. 28, 37, 40 (письма к А. Н. Волконской от 18 июня, 2 и 9 сентября 1827 г.). *(Выделено М. Н. Волконской.)*

503

МНВ. С. 50, 52.

504

Там же. С. 144 (выдержка из «Списков о поведении, занятиях и здоровье государственных преступников» от 16 февраля 1827 г. помещена в разделе «Приложения»).

505

Там же. С. 50.

506

Цит. по: К России любовью горя: Декабристы в Восточном Забайкалье. Иркутск, 1976. С. 17.

507

МНВ. С. 54.

Там же. С. 60.

509

Там же. С. 64.

510

Русские пропилеи. С. 22 (письмо к А. Н. Волконской от 4 июня 1827 г.).

511

Звенья. С. 63.

512

MHB. C. 54.

513

Там же. С. 56.

Там же. С. 64.

515

Далее, при рассказе о благодатских письмах М. Н. Волконской, мы пользуемся публикацией М. О. Гершензона; см.: Русские пропилеи. С. 5–40 (первое письмо княгини датируется 12 февраля, заключительное — 9 сентября 1827 г.).

516

Выделено в подлиннике.

517

МНВ. С. 150 (раздел «Приложения»).

Там же. С. 148.

519

Там же. С. 68.

520

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3: Декабристы. М., 1938. С. 90 (письмо М. Н. Волконской к матери, С. А. Раевской, от 26 сентября 1827 г.).

521

МНВ. С. 150 (раздел «Приложения»).

522

Русские пропилеи. С. 41 (письмо к А. Н. Волконской от 2 октября 1827 г.).

523

Эта дата устанавливается нами приблизительно — на основании письма княгини Марии Николаевны к свекрови, отправленного из Читинского, острога: 2 октября 1827 г. она сообщила А. Н. Волконской, что находится на новом месте «уже восемь дней» (Русские пропилеи. С. 41).

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3: Декабристы. М., 1938. С. 89.

525

Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925. С. 283 (письмо А. Е. Розена к М. В. Малиновской от 21 октября 1832 г.).

Басаргин. С. 116–117.

527

К России любовью горя: Декабристы в Восточном Забайкалье. Иркутск, 1976. С. 48.

528

На следующее лето Александра Васильевна Ентальцева отправилась вслед за мужем на поселение в г. Березов Тобольской губернии.

529

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3: Декабристы. М., 1938. С. 90.

530

Русские пропилеи. С. 52.

531

Там же. С. 55 (письмо к С. Г. Волконской от 27 декабря 1827 г.).

532

Там же. С. 79 (письмо к А. Н. Волконской от 8 декабря 1829 г.).

533

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 115.

Русские пропилеи. С. 54–55.

535

Там же. С. 50 (письмо к А. Н. Волконской от 19 ноября 1827 г.).

536

Там же. С. 47, 65, 71. А в письме к брату, Н. Н. Раевскому-младшему, от 28 сентября 1829 г. Мария Николаевна сообщила, что регулярно знакомится даже с петербургскими и тифлисскими газетами (Труды ГИМ. С. 24).

537

Русские пропилеи. С. 50 (письмо к А. Н. Волконской от 19 ноября 1827 г.).

Там же. С. 47.

539

МНВ. С. 76.

Русские пропилеи. С. 55.

541

Бестужев Н. А. Статьи и письма. М.; Л., 1933. С. 260–261.

MHB. C. 70.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 339.

Басаргин. С. 122–123.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 335.

546

Русские пропилеи. С. 51 (письмо к С. Г. Волконской от 20 декабря 1827 г.). В другом письме к свекрови, от 6 ноября 1827 г., Мария Николаевна писала, что на здоровье мужа «не может жаловаться: оно довольно хорошо, несмотря на суровую погоду» (там же. С. 44).

547

Там же. С. 54 (письмо к С. Г. Волконской от 27 декабря 1827 г.).

Там же. С. 44 (письмо к А. Н. Волконской от 6 ноября 1827 г.).

549

Там же. С. 55 (письмо к С. Г. Волконской от 27 декабря 1827 г.).

Там же. С. 54. Выделено в подлиннике.

551

Там же. С. 49 (письмо к А. Н. Волконской от 19 ноября 1827 г.).

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 230.

553

MHB. C. 84.

О декабристах. С. 39.

555

Пирютко Ю. М. Кладбища Александро-Невской лавры // Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 141. Впоследствии родственники забыли о Н. С. Волконском, и его могила была утрачена. «Мы знаем, что он похоронен в Александро-Невской лавре, — сокрушался князь С. М. Волконский в начале XX века, — но могилы его нам не удалось разыскать» (О декабристах. С. 39). Захоронение нашли только в начале 1950-х гг.: «Небольшой гранитный саркофаг был обнаружен повалившимся набок, глубоко ушедшим в землю. Когда его откопали, оказалось, что на гробнице не было ни имени, ни годов жизни похороненного; на камне был высечен один лишь текст пушкинской эпитафии, без подписи» (*Цявловская.* С. 55).

Русские пропилеи. С. 61.

Звенья. С. 66 (письмо к Ел. Н. Раевской от 6 января 1829 г.).

558

Русские пропилеи. С. 63 (письмо к А. Н. Волконской от 8 февраля 1829 г.).

559

Исследователь художественного наследия декабриста пишет по этому поводу: «Несмотря на то что художник, вероятно, уловил сходство, выражение лица Волконской несколько безжизненно. Цвет в акварели глухой, тяжелый. Не удалось Бестужеву и правильно передать перспективу — вот почему изображение получилось плоскостным» *(Зильберштейн.* С. 154).

По всей видимости, князь С. М. Волконский не учел, что онегинские «времена» тогда были не прошлым, а настоящим: в 1828 году Пушкин еще не завершил работу над романом.

561

О декабристах. С. 64–65.

562

В мемуарах нашей героини это событие ошибочно отнесено к 1829 г. (МНВ. С. 84).

563

Михайлова М. С. Свод данных о декабристах (1826–1856). Красноярск, 1989. С. 55.

МНВ. С. 76.

565

Звенья. С. 67.

Имеется в виду ее сестра Е. Н. Орлова.

Там же. С. 67–68.

Там же. С. 68 (письмо от 15 февраля 1829 г.).

569

Там же (письмо от 23 февраля 1829 г.).

Там же (письмо от 23 февраля 1829 г.).

571

Русские пропилеи. С. 57.

Звенья. С. 71 (письмо от 9 марта 1829 г.).

Русские пропилеи. С. 73 (письмо от 5 июля 1829 г.).

Звенья. С. 71 (письмо от 23 февраля 1829 г.).

575

Русские пропилеи. С. 57, 61, 63, 70, 72. Ранее прочих жен декабристов разрешение на «неразлучное соединение с мужем своим» получила А. Г. Муравьева (*Щеголев-2.* С. 193). На нее-то, очевидно, и намекала М. Н. Волконская в письме к свекрови от 17 мая 1829 г.

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 447 (письмо из Милятина от 3 апреля 1829 г.).

Звенья. С. 66 (письмо от 6 января 1829 г.).

Щеголев-2. С. 193.

Звенья. С. 71.

Труды ГИМ. С. 25 (письмо от 28 сентября 1829 г.).

581

Там же.

Фрагмент этого послания приведен нами в главе 2 («Детство и ранняя юность»).

583

Звенья. С. 72.

584

АР. Т. 1. СПб., 1908. С. 447 (письмо к Н. Н. Раевскому-младшему от 3 апреля 1829 г.).

Звенья. С. 73 (письмо от 22 июня 1829 г.).

586

Русские пропилеи. С. 78 (письмо к А. Н. Волконской от 8 декабря 1829 г.).

Звенья. С. 73–74.

MHB. C. 84.

589

Подразумевается С. Р. Лепарский.

Русские пропилеи. С. 78–79.

591

Там же. С. 78.

592

Там же. С. 72 (письмо к А. Н. Волконской от 17 мая 1829 г.).

593

См.: *Зильберштейн.* С. 178.

594

За перипетиями Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Мария Волконская наблюдала особенно пристально: ведь Н. Н. Раевский-младший принимал участие в кровопролитных кавказских сражениях. «Я с восхищением следила за победным маршем нашей армии до Ерзерума, — писала княгиня в одном из писем к нему, — и с радостью и гордостью говорила себе, что и мой брат участник этой славы. Прими, славный Николай, мои поздравления с твоей блестящей карьерой, особенно так достойно заслуженной. Пусть это доставит утешение нашему почитаемому отцу; признаюсь тебе, что о нем я подумала прежде всего» [Труды ГИМ. С. 24–25 (письмо от 28 сентября 1829 г.).].

595

Русские пропилеи. С. 76 (письмо к А. Н. Волконской от 7 июля 1829 г.).

Там же.

Там же. С. 68 (письмо к А. Н. Волконской от 2 марта 1829 г.).

Зильберштейн. С. 210.

Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1906. С. 271.

600

Декабристы на поселении: Из архива Якушкиных. М., 1926. С. 51 (письмо Е. И. Якушкина к жене, Е. Г. Кнорринг; датируется 1855 г.).

601

MHB. C. 84.

Записки жены декабриста П. Е. Анненковой. Пг., 1915. С. 129.

603

Цит. по: *Зильберштейн.* С. 623. Эта икона была случайно обнаружена в 1904 г. священником О. Г. Асташевским в читинском городском пятиклассном училище; сообщение о данной находке вскоре появилось в петербургской газете «Русь» (1904. № 262. 3 сентября). В некоторых публикациях и справочниках указывается, что Софья Волконская родилась и умерла 1 июля 1830 г.

604

Русские пропилеи. С. 44 (письмо к А. Н. Волконской от 6 ноября 1827 г.).

605

МНВ. С. 90, 92. Бывший среди перемещаемых заключенных Н. И. Лорер сочинил фантастическую историю, будто С. Г. Волконский отправился в Петровский завод без жены, ибо «бедная Волконская, быв на сносе, волею и неволею должна была на некоторое время оставаться в Чите без мужа и без доктора». Примчавшийся из столицы фельдъегерь сообщил путешествующему узнику высочайшее повеление и отвез его с дороги обратно в острог, «к жене в родах». «Причиной такой внимательности царской, — пишет декабрист, — было вот что, как мы узнали впоследствии: мать Волконского, первая статс-дама при дворе, жила в самом дворце — на ее дочери <был> женат к<нязь> Петр Михайлович Волконский — и пользовалась постоянно особенным вниманием всей царской фамилии. Узнав однажды, что при переселении нашем из Читы в Петровский завод невестка <ее>, а супруга ее сына, беременная оставлена одна на произвол случайностей и разлучена с мужем, старуха так возмущена была этой неуместной строгостью, что не вышла к столу царскому. Государь заметил, само собой разумеется, ее отсутствие, спросил о причине неудовольствия княгини и, узнав, в ту же минуту отправил нарочного в Сибирь с приказанием оставить Волконского при больной жене. Фельдъегерь сделал это путешествие в 16 суток, и бедная княгиня успокоилась» (*Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 151, 153).

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 373.

607

Басаргин. С. 137.

Звенья. С. 77 (письмо к С. А. Раевской от 1 декабря 1833 г.).

609

MHB. C. 92.

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 255.

611

Матханова Н. П. Декабрист Александр Викторович Поджио // *Поджио.* С. 9.

612

Басаргин. С. 142.

613

MHB. C. 92.

614

Ранее М. Н. Волконская отправила Раевским свой портрет работы Н. А. Бестужева — ту самую акварель 1828 года, где пребывающая в трауре княгиня запечатлена на фоне тына Читинского острога.

Зильберштейн. С. 240.

616

К России любовью горя: Декабристы в Восточном Забайкалье. Иркутск, 1976. С. 118 (письмо А. Г. Муравьевой к Г. И. Чернышеву от 1 октября 1830 г.).

617

Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925. С. 11 (письмо А. Х. Бенкендорфа к С. Р. Лепарскому от 27 ноября 1830 г.). А. Е. Розен сообщил в своих воспоминаниях: «Наши жены, в особенности Трубецкая, Муравьева, Волконская и Нарышкина, красноречиво описывали родным наше мрачное жилище; жена моя послала князю Одоевскому портрет сына его, сидящего в своем нумере в полумраке, как в пещере» *(Розен А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 258).

Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. G. 154.

619

Краснова З. В. О домах жен декабристов в Петровском заводе // Сибирь и декабристы. Вып. 1. Иркутск, 1978. С. 185, 187–188.

Щеголев-2. С. 194.

621

Басаргин. С. 166–167.

МНВ. С. 92, 94. Выделено мемуаристкой.

623

Имеется в виду княгиня З. А. Волконская.

О декабристах. С. 67–68. В настоящее время обе акварели Н. А. Бестужева находятся в Государственном историческом музее.

625

Зильберштейн. С. 246 (письмо от 10 сентября 1831 г.).

Попутно скажем, что в другом послании к сестре княгиня выразила неудовольствие дилетантской работой Н. А. Бестужева: «Не уверена, узнаете ли вы меня в этой вытянутой черной фигуре, — она должна изображать меня; мне мало польстили, что же касается Сергея, то он совсем не похож на себя». [Там же. С. 245 (письмо к С. Н. Раевской от 2 апреля 1831 г.). Ср. с мнением искусствоведа: «М. Н. Волконская, конечно, права, давая невысокую оценку этим работам Бестужева. По-видимому, то были первые его произведения в этом жанре. Опыт Бестужева-художника сводился до переезда в Петровскую тюрьму главным образом к портретным и пейзажным работам. Вот почему, когда там он впервые взялся за исполнение интерьерных видов, работы эти оказались несовершенными. Но зато они сохраняют свою ценность как единственные произведения, запечатлевшие условия, в которых декабристы и жены их находились первые восемь месяцев в Петровском остроге» (*Зильберштейн.* С. 246).].

627

Басаргин. С. 168.

Зильберштейн. С. 244.

629

Басаргин. С. 167.

Зильберштейн. С. 245 (письмо от 19 июня 1831 г.).

631

MHB. C. 94.

632

Русские пропилеи. С. 81.

633

MHB. C. 92.

634

СГВ. С. 473 (раздел «Послесловие издателя»). Родившаяся еще в Читинском остроге дочь декабриста И. А. Анненкова, О. И. Иванова, позднее (видимо, со слов отца и матери) писала, что «сперва позволили женатым уходить утром и возвращаться только ночевать, а со временем и это было смягчено, и им позволили даже ночевать в домах их жен» (Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 344).

635

Краснова З. В. О домах жен декабристов в Петровском заводе // Сибирь и декабристы. Вып. 1. Иркутск, 1978. С. 187–188.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 388.

637

MHB. C. 94.

638

Декабристы в Забайкалье: Неизданные материалы. Чита, 1925. С. 32.

Султан-Шах. С. 259.

Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 261.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 412.

642

МНВ. С. 96.

643

Русские пропилеи. С. 87 (письмо И. Д. Якушкина к Н. Н. Шереметевой от 13 марта 1832 г.).

Басаргин. С. 179–180.

645

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 128.

МНВ. С. 96.

К России любовью горя: Декабристы в Восточном Забайкалье. Иркутск, 1976. С. 129.

Труды ГИМ. С. 32 (письмо от 11 августа 1833 г.).

649

Там же. С. 38 (письмо от 20 апреля 1834 г.).

СГВ. С. 474 (раздел «Послесловие издателя»).

651

Русские пропилеи. С. 75 (письмо М. Н. Волконской к А. Н. Волконской от 7 сентября 1829 г. из Читинского острога).

Звенья. С. 50.

АР. Т. 2. СПб., 1909. С. 138–139.

654

В такой куртке декабрист изображен на бестужевской акварели 1835 года. М. Н. Волконская находила, что этот портрет «довольно похож». [*Зильберштейн.* С. 293 (письмо к З. А. Волконской от 20 июля 1835 г.); там же (на с. 282) есть и воспроизведение портрета.].

655

Пущин. С. 105 (письмо И. И. Пущина к С. Г. Волконскому от 11 марта 1832 г.).

Трубецкой. С. 87 (письмо С. П. Трубецкого к С. Г. Волконскому от 10 марта 1832 г.).

Поджио. С. 149 (письмо А. В. Поджио к С. Г. Волконскому; март 1832 г.).

Волконский, быстро исчерпав свои аргументы, попытался воздействовать на свою жену через А. В. Поджио; последний (в марте) ответил Сергею Григорьевичу следующее: «Я напишу ей несколько строк, но можно ли ручаться за успех; надо быть матерью, чтобы испытать столь сладостную потребность кормить, — мы это понимаем лишь абстрактно. Во имя ребенка умоляю вас о мягкости!» (*Поджио.* С. 149).

659

MHB. C. 94.

Звенья. С. 77 (письмо к С. А. Раевской от 1 декабря 1833 г.).

661

Труды ГИМ. С. 28 (письмо от 18 февраля 1833 г.).

662

Там же. С. 32 (письмо к Н. Н. Раевскому-младшему от 11 августа 1833 г.).

Там же. С. 35 (письмо от 9 марта 1834 г.).

Крестным отцом М. С. Волконского был И. И. Пущин; позже, в переписке, «Большой Жанно» не раз величал Марию Николаевну «доброй кумушкой» [См., напр.: *Пущин*. С. 115 (письмо к Е. П. Оболенскому от 16–17 августа 1839 г. из Иркутска).].

665

Там же. С. 38 (письмо от 20 апреля 1834 г.).

666

Зильберштейн. С. 414 (письмо к тетке, Е. А. Константиновой, от 28 апреля 1835 г.). Эта работа художника, по всей видимости, не сохранилась.

667

Звенья. С. 77.

Зильберштейн. С. 414 (письмо М. Н. Волконской к Е. Н. Раевской от 16 января 1837 г.).

669

Звенья. С. 78.

Там же. Приведены (или пересказаны) фрагменты писем М. Н. Волконской от 13 августа 1836 г., 13 февраля и 19 мая 1838 г.

MHB. C. 94, 96.

Звенья. С. 78.

673

Труды ГИМ. С. 28.

Там же. С. 32 (письмо к Н. Н. Раевскому-младшему от 11 августа 1833 г.).

MHB. C. 98, 100.

СГВ. С. 475 (раздел «Послесловие издателя»).

677

Там же.

МНВ. С. 166 (раздел «Приложения»).

Уже упоминавшийся Фердинанд Богданович Вольф (1796 или 1797–1854), бывший штаб-лекарь и член Южного общества, сосед Волконского по каземату, отбыв десятилетнюю каторгу, по высочайшему указу от 14 декабря 1835 года был обращен на поселение в Урике Иркутской губернии.

СГВ. С. 476 (раздел «Послесловие издателя»).

681

Зильберштейн. С. 311 (письмо от 31 июля 1836 г.). Сохранился карандашный рисунок неизвестного автора, на котором изображено *всё* семейство Волконских, расположившееся на отдых в живописном уголке Тункинских вод (см.: Звенья. С. 107). Сообщение М. К. Юшневской позволяет, однако, предположить, что Мария Николаевна с детьми вернулась с лечебных вод раньше мужа.

СГВ. С. 477 (раздел «Послесловие издателя»).

683

MHB. C. 100.

Первый дом М. Н. Волконской («крестьянская избушка») вскоре был определен под солдатские казармы, а позднее переделан под квартиры заводских служащих. В большом же доме на Дамской улице поселился управляющий заводами; спустя четверть века там открылась школа *(Краснова З. В.* О домах жен декабристов в Петровском заводе // Сибирь и декабристы. Вып. 1. Иркутск, 1978. С. 188).

СГВ. С. 477 (раздел «Послесловие издателя»).

Наступивший 1837 год стал последним для благодетеля декабристов: 17 июня С. Р. Лепарский скончался на 85-м году жизни.

687

Среди заключенных бытовало и прямо противоположное мнение об этом плац-адъютанте; ср.: «…Немец Розенберг, худо говоривший по-русски, был отъявленный негодяй» *(Завалишин Д.* Воспоминания. М., 2003. С. 357).

Пущин. С. 75–76.

689

Свояченицу *(фр.)*.

Тихантовская А. О смерти Пушкина в Сибирь — М. Н. Волконской // Нева. 1994. № 3. С. 301–302.

691

«Цыганы» были напечатаны в Москве в типографии Августа Семена в начале мая 1827 г.; там же в первых числах июня был изготовлен тираж «Братьев разбойников». Фрагменты обеих поэм публиковались и раньше — в «Московском телеграфе» (1825. Ч. VI. № 21. С. 69), «Полярной звезде на 1825 год» (С. 24–27, 359–367) и «Северных цветах на 1826 год» (С. 100–102), однако М. Н. Волконская, как считает Т. Г. Цявловская, могла читать «Цыган» и в рукописи; см.: *Цявловская.* С. 64.

Султан-Шах. С. 260; *Цявловская.* С. 63–64.

693

МНВ. С. 84. См. также: *III, 645*.

694

Ср.: «В написанной Пушкиным эпитафии на смерть малолетнего сына М<арии> <Николаевны>, вскоре после отъезда матери в Сибирь, младенец „благословляет мать и молит за отца“. Может — за отца можно было лишь молить?..» (*Соколов Б. М.* М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922. С. 82).

695

MHB. C. 84.

Цит. по: *Цявловская.* С. 55.

Звенья. С. 67. См. также: Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 405.

698

Труды ГИМ. С. 26 (О. И. Попова, подготовившая эту публикацию, не сумела разобрать инициалов поэта, чуть исказила текст и поместила очевидное имя Пушкина в квадратных скобках).

Невелев Г. А. «Истина сильнее царя…»: А. С. Пушкин в работе над историей декабристов. М., 1985. С. 51.

Цявловская. С. 65; *Султан-Шах.* С. 261.

В. Ф. Вяземская проявляла тогда неподдельный интерес к этой теме, и муж даже упрекал ее в чрезмерной словоохотливости. «Зачем ты мне о Пушкине сплетничаешь по почте? — писал князь Петр Андреевич 4 июня 1830 года из Петербурга. — Разве ты не знаешь, что у нас родительское и чадолюбивое правительство, которое, за неимением государственных тайн, занимается домашними тайнами любезнейших детей своих? Я почти уверен, что твои письма читаются. Наши тайны пускай узнают, но не должно выдавать других» и т. д.[Звенья. Т. 6. М., 1936. С. 265–266.].

702

Речь идет о фрагментах романа Антония Погорельского (А. А. Перовского), напечатанных в № 14 и 15 «Литературной газеты» (от 7 и марта).

Султан-Шах. С. 262–263.

704

Там же. С. 266 (копия рукой С. Г. Волконского); *Цявловская.* С. 68.

Султан-Шах. С. 267.

См., напр.: *Мазур Т. П., Малов Н. Н.* Новые материалы о Пушкине // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 237–240.

Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 21.

708

Пушкин в печати. 1814–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни / Сост. Н. Синявский и М. Цявловский. Изд. 2-е. М., 1938. С. 50, 52.

709

Жуйкова. С. 301–302 (№ 701–704; определения А. М. Эфроса, Л. Ф. Керцелли, Т. К. Галушко и Я. Л. Левкович).

710

В ответ на эту просьбу начальник III Отделения сообщил поэту 3 апреля, что император «запрещает вам именно эту поездку, так как у него есть основание быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время» *(XIV, 75, 404;* подлин. на фр.).

Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 348.

Доброхотов В. И. «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (Об одной черновой редакции) // Московский пушкинист. Вып. IX. М., 2001. С. 168.

Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910. С. 179.

Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М., 1994. С. 215–216.

715

Гершензон М. В ответ П. Е. Щеголеву // Пушкин и его современники. Вып. XIV. СПб., 1911. С. 4.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 229.

717

Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 104–105.

718

Пушкин не раз употреблял слово «пустыня» (или производные от «пустыни» слова) в таком именно значении. См., например, его «Деревню» (1819):

> Приветствую тебя, пустынный уголок,
> Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… (*II, 82).*

Заодно вспоминается, что мать Дубровского в письмах к мужу из Кистеневки «описывала ему свою пустынную жизнь» (*VIII, 182),* и т. д.

Там же. С. 105, 106.

Жуйкова. С. 99 (№ 179; определение Р. Г. Жуйковой).

Цявловская. С. 56–57.

Измайлов И. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 105–106.

723

РА. 1881. № 2. С. 468.

Галушко Т. К. Пушкин и братья Раевские // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989. С. 205–206.

725

Пушкин А. С. Дневники. Записки / Изд. подг. Я. Л. Левкович. СПб., 1995. С. 18.

Там же.

Цявловская. С. 68.

Напомним читателю, что в 1820 году поэт и Раевские Грузию не посещали.

729

На другой стороне листа расположены еще четыре стиха, которые, по утверждению некоторых текстологов, «без всяких сомнений, являются продолжением того же стихотворения, его пятой строфой»:

[См., напр.: *Левкович Я. Л.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841 (История заполнения) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 247. Такое предположение считал «очень вероятным» и С. М. Бонди.].

> И чувствую душа в сей слад<кий>[Ср.: «…Этот эпитет замечателен всем, кроме одного: он делает ямб пятистопным, тогда как остальные нечетные стихи — шестистопны» *(Доброхотов В. И.* Указ. соч. С. 162). Автор указанной статьи считает, что «более подходит редакторская конъектура „сокровенный“» (там же).]. час
>
> Твоей любви тебя достойна
>
> [Зачем же не всегда]
>
> Чиста, печальна и спокойна *(III, 724)*.

Бонди С. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. М., 1978. С. 23.

Султан-Шах. С. 265–266.

732

Левкович Я. Л. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841 (История заполнения) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 248.

733

Жуйкова. С. 100, 296, 302 (№ 181, 678, 704; определения Я. Л. Левкович).

Бонди С. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. М., 1978. С. 23.

Там же. С. 24–25.

736

Там же. С. 23–24. О резком письме М. Н. Волконской от 19 октября 1830 года Пушкин узнал, скорее всего, в декабре, когда приехал в Москву из Болдина и неоднократно встречался с Вяземскими. В частности, он гостил у супругов в Остафьеве 16–17 декабря (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. / Сост. Н. А. Тархова. Т. 3. М., 1999. С. 274), где княгиня Вера Федоровна могла ознакомить поэта с посланием из Петровского завода (к тому времени письмо жены декабриста должно было дойти до нее). Думается, что вскоре после этой поездки к Вяземским Пушкин и внес карандашную правку в черновик стихотворения.

РС. 1884. № 10. С. 371.

Дабы не нарушать ход повествования о княгине Волконской, мы коснемся этого малоисследованного вопроса здесь, в комментариях.

Дуэль Ленского с Онегиным произошла зимой. В первой части настоящей книги (в рассказе о внутренней хронологии «Евгения Онегина» — см. главу 5) нами уже отмечено, что описанная автором романа зима:

> В тот год осенняя погода
> Стояла долго на дворе,
> Зимы ждала, ждала природа.
> Снег выпал только в январе
> На третье в ночь… *(VI, 97)* —

была тождественна русской зиме 1825/26 года. Как зафиксировано в тогдашних петербургских газетных метеосводках, ее приход явно задержался и долгожданная «девственная ткань» (П. А. Вяземский) укрыла землю лишь в самом начале января. Причем вожделенный снег шел в течение нескольких дней, а повалил он как раз *в ночь на третье.* (Характерно, что и в черновиках романа Пушкин упорно повторял: «Второго в ночь», «В начальных числах» — *VI, 378,* очевидно, эта январская дата была ему важна как знак, указывающий на *реальный* год.)

Мельком отметим и некоторые другие «декабристские» аллюзии в повествовании о дуэли Владимира Ленского.

Его поединок состоялся через сутки после шумно отпразднованных именин Татьяны — то есть Владимир вышел к барьеру утром *четырнадцатого* числа. Это случилось в *понедельник,* ибо торжество у Лариных, как следует из текста, происходило «в субботу» (*VI, 93).*

Здесь, похоже, есть определенное «сближение»: ведь *четырнадцатое* декабря 1825 года тоже пришлось на *понедельник.*

Кое-что дает и изучение элегии, которую Владимир сочинял ночью, «в лирическом жару», накануне рокового размена выстрелами:

> «Куда, куда вы удалились,
> Весны моей златые дни?..» и т. д. *(VI, 125).*

Исследователи давно установили, что эти строфы, где Пушкин пародировал лексикон романтической поэзии, имеют «насквозь цитатный характер» (Ю. М. Лотман). В качестве объектов для иронической интерпретации он использовал хорошо знакомые читателям той эпохи штампы и обороты из произведений Жуковского, Милонова, Туманского и иных поэтов. Но пушкинисты не уделили должного внимания двум другим авторам и сочинениям, которые, на наш взгляд, решающим образом повлияли на содержание элегии Ленского.

30 ноября 1825 года Пушкин писал А. А. Бестужеву из Михайловского: «Сколько я не читал о романтизме, всё не то; даже Кюхельбекер врет. Что такое его Духи? до сих пор я их не читал» *(XIII, 245)*. Речь тут шла о драматической шутке Кюхли под названием «Шекспировы духи» (СПб., 1825). Через несколько дней Пушкин получил экземпляр этой комедии и, ознакомившись с ней, написал другу свою «критику», местами не слишком лестную *(XIII, 247–248)*. В. К. Кюхельбекер прочитал ее перед самым 14 декабря. А «Шекспировым духам» суждено было стать *последним* произведением декабриста, опубликованным до мятежа.

Однако «стихи на случай сохранились» *(VI, 125)* у рачительного Пушкина. Прошло некоторое время — и элегия Владимира Ленского стала завуалированной калькой с комедии В. К. Кюхельбекера.

Так, если герой «Духов» — незадачливый Поэт — сочинял «бред», «ахинею», и делал все это в «тоне унылом», то не отставал от него и Ленский, который свою «чепуху» «писал темно и вяло» (*VI, 126;* выделено Пушкиным). Были в «Евгении Онегине» не только интонации-близнецы, но и откровенные реминисценции; например, на изысканное двустишие В. К. Кюхельбекера:

> Но когда огнем денницы
> Загорится небосклон… —

Пушкин в шестой главе романа откликнулся почти зеркальным:

> «…Блеснет заутра луч денницы
> И заиграет яркий день…» *(VI, 126)*.

Идентичными оказались и финалы творческих усилий героев. В «Шекспировых духах» отпрыску В. К. Кюхельбекера так и не удалось окончить задуманную пиесу («один не вычищен куплет»):

он… банально заснул. Сходным образом завершился и ночной труд его романного двойника:

…И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал…

(VI, 126; выделено Пушкиным).

Но это еще не всё: незлобивая пушкинская пародия на своем финише вдруг обретала второе дыхание. Оказывается, что слово «*идеал*», последний росчерк пера Ленского перед гибелью, восходило к другому всамделишному литературному опыту 1825 года, который, как и комедия В. К. Кюхельбекера, с некоторых пор также *был* под рукой у Пушкина.

Примерно за три недели до бунта находившийся в северной глуши поэт получил послание из Петербурга, от К. Ф. Рылеева. Оно завершалось короткой, но весьма любопытной припиской-просьбою: «На днях будет напечатана в С<ыне> О<течества> моя статья о Поэзии; желаю узнать об ней твои мысли» *(XIII, 242)*. Однако мнения Пушкина о сочинении, озаглавленном «Несколько мыслей о поэзии (Отрывок из письма к NN)», К. Ф. Рылееву уже не было суждено узнать: спустя несколько дней предводителя мятежников взяли под стражу и поместили в Петропавловскую крепость.

Его статья, опубликованная в «Сыне Отечества», касалась модных в ту пору журнальных дискуссий о романтизме и классицизме, их роли и месте в поэтической иерархии. Симпатизируя романтизму, автор все же не отрицался и классических доблестей, позволявших, по его мнению, достигать в творчестве наивысшего накала гражданственности. К чему же призывал К. Ф. Рылеев соперничающие лагери?

Ответ давался им в заключительных строках статьи: «Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить дух рабского подражания и, обратись к источнику истинной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях *идеалы* (выделено мной. — *М. Ф.*) высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близко к человеку и всегда не довольно ему известных» (*Рылеев К. Ф.* Сочинения. М., 1983. С. 298).

Перед читателем *вообще последние* строки, напечатанные в 1825 году кем-либо из лиц, прикосновенных к заговору. И эти строки заключались страстным авторским воззванием: братья по

музе, полноте участвовать в журнальных драках, мы должны обратиться к *«идеалам»*.

Думается, что данные слова поэта-декабриста и породили «идеал» Ленского.

Выявленные факты позволяют нам констатировать, что элегия Владимира Ленского символизировала собой, по замыслу Пушкина, *прощальный литературный поклон обреченного на гибель декабризма*.

К сказанному надо добавить и такую геопоэтическую деталь: в описаниях могилы Ленского, сделанных в шестой (см. строфу XL: «Есть место: влево от селенья…») и седьмой (см. строфу VI: «Меж гор, лежащих полукругом…») главах «Онегина», угадывается весьма точное указание на *место погребения пятерых казненных декабристов*, тела которых были преданы земле на северо-западной окраине острова Голодай, на берегу Финского залива. (Как известно, Пушкин живо интересовался указанной темой и последовательно, по крупицам, не без риска для себя, собирал отовсюду сведения о тайном некрополе.) Подробнее об этом сюжете см.: *Филин М.* Могила декабристов: миф и факты // Литературная Россия. 1989. № 16. 21 апреля. (К сожалению, одна из глав данного очерка, который базировался на изучении множества источников и «Подробного плана столичного города С.-Петербурга», опубликованного в 1828 году, была без ведома автора сокращена редакцией еженедельника — и потеряла всякий смысл.)

В строфах «Евгения Онегина», посвященных Владимиру Ленскому и дуэли «юноши-поэта», есть и другие декабристские мотивы и переклички с «более или менее кровавыми и безумными» *(XI, 43)* событиями 1825 года. Мы предполагаем когда-нибудь вернуться к этой теме в специальной работе.

739

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 120–121.

740

«Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. *Байрон*» *(англ.)*.

Сын Отечества. 1823. Ч. 85. № 18. Отд. I. С. 182.

Тархов А. Комментарий // *Пушкин А. С.* Евгений Онегин. Роман в стихах. М., 1980. С. 306.

743

Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 51.

744

Мы основываемся на том, что пушкинская <«Заметка о холере»> составлена (по крайней мере, в интересующей нас части) строго по хронологии. Поэт пишет в данном мемуаре: «Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям. — Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве» *(XII, 310)*. Отсюда и получается, что Пушкин перечитывал в Болдине С. Т. Кольриджа *до 2* октября, отвлекаясь от «Сказки о попе и о работнике его Балде» или от «Сказки о медведихе», — то есть в *сентябре*.

Дьяконова Я. Лирическая поэзия Байрона. М., 1975. С. 123–124.

Труды ГИМ. С. 63.

В. Б. Сандомирская (вслед за редактором шестого тома Большого академического собрания сочинений Пушкина Б. В. Томашевским) считает, что «место для „Письма“ в тексте восьмой главы было определено еще в 1830 г.», в Болдине *(Сандомирская В. Б.* Рабочая тетрадь Пушкина 1828–1833 гг. (ПД № 838) (История заполнения) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 10. Л., 1982. С. 266). Она исходит из того, что на полях «Путешествия Онегина» (оконченного также в Болдине, 18 сентября; *VI, 506)* есть приписанные варианты интересующего нас стиха:

> И вот письмо его точь в точь…
> Вот это вам письмо точь в точь… *(VI, 632)*.

Надо, однако, учитывать важную хронологическую тонкость: «Путешествие» писалось в Болдине *прежде* восьмой главы. В восьмой же главе, завершенной через неделю после «Путешествия», места для онегинского Письма отведено так и не было. Иными словами, указанные выше строки — плод *более поздних* размышлений автора, и отнюдь не обязательно болдинских. (Знаменательно, что поэт, вернувшись из Болдина, в письме к П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г. назвал последнюю главу «Онегина» — тогда еще не имевшую в своем составе послания героя! — «совсем готовой в печать»; *XIV, 133.)* Стихи могли появиться (что происходило у Пушкина не раз) на оказавшейся под рукой рукописи и спустя какое-то время — допустим, через год. Напомним, что поэт, готовя в 1831 году к изданию «осьмую и последнюю главу» романа, параллельно решал и судьбу «Путешествия» (так, в предисловии к публикации он признавался, что «выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России»; *VI, 642)*.

Но если стихотворные маргиналии, о которых говорит В. Б. Сандомирская, сочинены Пушкиным всё же холерной «Болдинской осенью» (после 25 сентября 1830 г.), то они в момент своего возникновения были не более чем *гипотетическим вариантом* развития сюжета — так сказать, вариантом «на случай». Окончательное решение о включении «Письма» в текст романа поэт принял не в Болдине, а только осенью следующего года — и (это главное) содержание созданного в октябре послания Евгения к Татьяне отвечало *тогдашним* (1831 года)

пушкинским потребностям, творческим и жизненным.

Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830–1833). Л., 1974. С. 31–32.

Благой Д. Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 198.

Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977. С. 188.

751

«Други» неоднократно советовали Пушкину «опять приняться за „Онегина“» *(III, 396)* — а поэт, не желая откровенничать с приятелями на эту тему, отговаривался шутливыми стихами («В мои осенние досуги…» и проч.).

Стоит подчеркнуть, что в этом Письме уделено повышенное внимание именно *глазам* героини: тут есть не только «гордый взгляд», но и «движенье глаз», и «суровый взор», и другие варианты в черновике *(VI, 516, 518)*. Не будем повторять, чьи очи тогда вызывали общее восхищение, разделяемое поэтом.

753

Ср. с «Посвящением» «Полтавы»: «Последний звук твоих речей…» *(V, 17)*.

Здесь и далее выделено мною. — *М. Ф.*

Да, и «пени» тоже — за то, что пушкинское «стремленье сердца» упорно не признается, не понимается «душою скромной».

В черновике есть и такое горькое восклицание:

Когда б вы только разумели
Всё то, что в сердце я ношу!.. *(VI, 518),*

и даже такое:

Вы незнакомы с этим адом… *(VI, 518).*

Не об этом ли черновая строка онегинского письма:

В моей несчастной, чудной доле… *(VI,* 516)?

Как известно, княгиня Волконская в то время также ждала ребенка.

По мнению Н. В. Измайлова, Пушкин, скорее всего, сам придумал этот английский текст *(Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1976. С. 106).

«Я люблю это нежное имя» *(англ.)*.

760

Жуйкова. С. 100 (№ 183; предположение Т. Г. Цявловской).

761

Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. «Люблю тебя, Петра творенье…»: Пушкинские места Ленинграда. Л., 1989. С. 212.

СГВ. С. 134.

763

Труды ГИМ. С. 67 (письмо М. Н. Волконской к А. М. Раевской от 7 апреля 1840 г.).

MHB. C. 100.

СГВ. С. 478 (раздел «Послесловие издателя»).

MHB. C. 100.

767

Труды ГИМ. С. 82 (письмо к А. М. Раевской от 14 июня 1841 г.).

Там же. С. 45 (письмо к Н. Н. Раевскому от 3 июля 1838 г.).

Там же. С. 82 (письмо к А. М. Раевской от 14 июня 1841 г.).

Там же. С. 63 (письмо к А. М. Раевской от 25 августа 1839 г.).

Трубецкой. С. 131 (письмо С. П. Трубецкого к И. И. Пущину от 6 июня 1841 г.).

772

Труды ГИМ. С. 72 (письмо к А. М. Раевской от 14 июля 1840 г.).

773

О декабристах. С. 75. Указанные акварели сохранились; см. их воспроизведение: Звенья. С. 91, 95.

Труды ГИМ. С. 81 (письмо от 14 июня 1841 г.).

775

МНВ. С. 104. Выделено мемуаристкой.

Труды ГИМ. С. 50–51 (письмо от 6 марта 1839 г.).

Там же. С. 71 (письмо от 14 июля 1840 г.).

О декабристах. С. 65.

779

Труды ГИМ. С. 45.

Там же. С. 50 (письмо от 6 марта 1839 г.).

781

Там же. С. 67 (письмо к А. М. Раевской от 7 апреля 1840 г.).

Там же. С 7.

783

Поджио. С. 415 (письмо А. В. Поджио к М. С. Волконскому от 30 августа 1870 г. из Женевы).

Звенья. С. 78.

785

Труды ГИМ. С. 48 (письмо от 5 августа 1838 г.).

Там же. С. 63–64.

Там же. С. 85 (письмо от 23 ноября 1841 г.).

Там же. С. 48 (письмо от 5 августа 1838 г.).

789

Там же. С. 60. Примерно в то же время (ориентировочно в начале мая 1839 г.) «милый, славный Николай» Раевский написал письмо императору Николаю I: «Ваше Императорское Величество. Отдаленный службою и войною, я лишился последнего утешения видеть кончину отца моего. Последнее завещание его было препоручить мне участь сестры моей. Без заблуждения и любви, она пожертвовала собою святым узам супружества. Верноподданный, я не прошу за Волконского: он сего не достоин; частное лицо, я не прошу за него: он погубил сестру мою; но поселением Волконского на восточных берегах Черного моря Вы приблизите сестру мою к ее семейству, к родительской могиле. Моя жизнь Вам посвящена, Государь, — удвойте мои силы Вашим милосердием; дочь и внуки покойного Раевского — поселянами в Сибири! Вашего Императорского Величества верноподданный Н. Раевский» (АР. Т. 3. СПб., 1910. С. 126). Это ходатайство Н. Н. Раевского-младшего (кстати, поддержанное князем М. С. Воронцовым) не дало положительных результатов.

790

Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 24. М., 1961. С. 374 (письмо С. Г. Волконского к И. И. Пущину от 12 сентября 1842 г.).

СГВ. С. 479 (раздел «Послесловие издателя»).

Трубецкой. С. 126 (письмо от 27 апреля 1841 г.).

Звенья. С. 85.

РА. 1885. № 3. С. 358.

Звенья. С. 82.

Крутов В. В., Швецова-Крутова Л. В. Белые пятна красного цвета: Декабристы. Кн. 2. М., 2001. С. 170.

Лунин. С. 255 (письмо от 1/13 декабря 1839 г.).

798

Там же. С. 260 (письмо к М. Н. Волконской от 30 января 1842 г.).

799

Там же. С. 88. Под «мыслью апостола», видимо, подразумевался следующий фрагмент Первого соборного послания Святого апостола Петра: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет., 3, 3–4).

Кроме Волконских и Лунина, в Урике в разные годы были водворены на поселение декабристы Ф. Б. Вольф, А. М. и Н. М. Муравьевы и Н. А. Панов. Поблизости, в Усть-Куде, жили братья А. В. и И. В. Поджио, а также П. А. Муханов и А. Н. Сутгоф [*Михайлова М. С.* Свод данных о декабристах (1826–1856). Красноярск, 1989. С. 44.].

801

Звезда. 1940. № 8–9. С. 262–263.

MHB. C. 104, 106.

803

Лунин. С. 208.

Там же. С. 87.

805

Там же. С. 226.

Там же. С. 252, 256 и др.

807

Подробнее об этом см.: *Эйдельман Н. Я.* Лунин. М., 1970. С. 253–254.

808

Лунин. С. 87.

809

Там же. С. 183.

810

Там же.

811

Там же. С. 267 (письмо 1843 г.).

MHB. C. 104.

813

РА. 1885. № 1. С. 367. Как засвидетельствовал чиновник Л. Ф. Львов, вместе с М. Н. Волконской в прощании участвовали А. З. Муравьев, Н. А. Панов и А. И. Якубович.

Лунин. С. 267 (письмо 1843 г.).

815

Там же. С. 264.

MHB. C. 106.

817

Бриген А. Ф. Письма. Исторические сочинения. Иркутск, 1986. С. 274 (письмо от 22 сентября 1850 г.).

MHB. C. 106.

819

Лунин. С. 367 (письмо В. Я. Руперта к А. Ф. Родственному от 24 августа 1846 г.).

820

Там же. С. 369.

821

Труды ГИМ. С. 55.

822

Там же. С. 93–94 (письмо к А. М. Раевской от 15 марта 1843 г.).

823

Там же. С. 78 (письмо к А. М. Раевской от 25 ноября 1840 г.).

СГВ. С. 482–483 (раздел «Послесловие издателя»).

825

MHB. C. 108, 110.

826

Труды ГИМ. С. 77 (письмо М. Н. Волконской к А. М. Раевской от 25 ноября 1840 г.).

827

Там же. С. 90 (письмо от 10 октября 1842 г.).

Там же. С. 82.

829

Там же. С. 85–86 (письмо к А. М. Раевской).

СГВ. С. 484 (раздел «Послесловие издателя»).

831

Там же.

Впоследствии данные условия были распространены и на детей А. Е. Розена.

833

MHB. C. 106, 108.

СГВ. С. 484–485 (раздел «Послесловие издателя»).

835

MHB. C. 108.

836

Поселенный поодаль, в Красноярске, многодетный В. Л. Давыдов тогда же согласился на предложенные правительством условия. Его сыновья позднее воспитывались в кадетских корпусах как Васильевы и только в 1856 году получили обратно фамильное имя.

837

СГВ. С. 486 (раздел «Послесловие издателя»).

MHB. C. 108.

839

Там же. С. 188 (раздел «Приложения»).

СГВ. С. 487 (раздел «Послесловие издателя»).

841

MHB. C. 108.

Отметим заодно, что граф А. Х. Бенкендорф помогал Волконским и в решении запутанных имущественных вопросов. Позднее Сергей Григорьевич признавался сыну: «Его (Бенкендорфа. — *М. Ф.)* советам обязан я, что вам сохранены несколько крох моего имения, которого остальная часть перешла законно, но не совестно в другие руки» [Звенья. С. 53 (письмо от 5 апреля 1860 г.).]. (Декабрист имел в виду свою родную сестру, С. Г. Волконскую.)

843

СГВ. С. 488 (раздел «Послесловие издателя»).

Поджио. С. 151–152.

845

Цит. по: Звенья. С. 93–94.

846

Крутов В. В., Швецова-Крутова Л. В. Белые пятна красного цвета: Декабристы. Кн. 2. М., 2001. С. 176–177 (письмо Е. Н. Орловой к Н. Н. Раевскому-старшему от 30 января 1827 г.).

847

Труды ГИМ. С. 89.

С 1843 года в его владениях шла масштабная ревизия, которую возглавлял сенатор Толстой. «Все вошедшие в состав ее чиновники из Петербурга и Москвы, — писал князь М. С. Волконский, — сделались близкими знакомыми декабристов, посещая их в Иркутске и соседних деревнях» [СГВ. С. 492 (раздел «Послесловие издателя»).].Долгая работа этих ревизоров завершилась отозванием В. Я. Руперта.

849

Там же. С. 488.

850

Там же. С. 489.

851

Там же.

852

MHB. C. 110.

853

Как пишет О. И. Попова, «братья Поджио приходились М<арии> Н<иколаевне> кузенами по второй жене И. В. Поджио — Марии Андреевне, ур<ожденной> Бороздиной, которая была дочерью тетки М. Н. Волконской — Софьи Львовны Бороздиной, ур<ожденной> Давыдовой» (Труды ГИМ. С. 133).

Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 251.

855

Об ответном письме А. В. Поджио к С. Г. Волконскому (по поводу кормления младенца Михаила), датируемом мартом 1832 года, сказано выше.

856

Бриген А. Ф. Письма. Исторические сочинения. Иркутск, 1986. С. 293 (письмо А. Ф. Бригена к Е. П. Оболенскому от 7 июля 1851 г. из Туринска).

Звенья. С. 82, 85.

Там же. С. 86.

859

РА. 1885. № 3. С. 358. Подразумевается, что княгиня наносила неафишируемые визиты Александру Поджио.

Звенья. С. 86.

861

Там же. С. 102.

862

Русские пропилеи. Т. 2. М., 1916. С. 271 (из дневника А. Б. Гольденвейзера).

863

Звенья. С. 28.

Там же. С. 81.

865

Там же. С. 23.

866

См. раздел «Библиография».

867

Поджио. С. 35.

Там же.

869

Труды ГИМ. С. 82 (письмо к А. М. Раевской от 14 июня 1841 г.).

870

Звенья. С. 86 (запись И. И. Благовещенского «со слов сибирских жителей»).

871

Там же. С. 125.

Поджио. С. 204 (письмо А. В. Поджио к С. Г. Волконскому; датируется августом-сентябрем 1857 г.).

Там же. С. 360.

Там же. С. 280, 302, 325, 332, 358, 362, 391 и др.

Там же. С. 269, 317, 415.

Там же. С. 444.

877

Звенья. С. 125 (письмо к М. С. Волконскому от 15/27 июня 1861 г. из Парижа).

Там же. С. 127.

879

Труды ГИМ. С. 97.

880

О декабристах. С. 80.

881

СГВ. С. 490 (раздел «Послесловие издателя»).

882

Там же. С. 490–491. Выделено в подлиннике.

883

Цит. по: Русские мемуары: 1826–1856 гг. М., 1990. С. 51.

СГВ. С. 493 (раздел «Послесловие издателя»).

885

Там же. С. 492.

MHB. C. 110.

887

За годы своего генерал-губернаторства (1847–1861) Н. Н. Муравьев многое сделал для изучения и освоения вверенного ему края. Так, он руководил экспедицией по Амуру в 1854–1855 годах, способствовал заселению тех мест и налаживанию в них хозяйства. В 1858 году Муравьев подписал Айгунский договор с Китаем, который утвердил российскую государственную границу по Амуру.

888

Жену Н. Н. Муравьева, урожденную де Ришемонд, звали Екатериной Николаевной. 23 января 1850 года сын княгини писал своему дядюшке А. Н. Раевскому о положении семейства Волконских в иркутском обществе: «Теперь оно для нас выгодное, так что маменька не желает никаких перемен в этом отношении. Муравьевы расположены к нам как нельзя более, в особенности же Екатерина Николаевна, которая принимает большое участие во всём, что до нас касается»[Труды ГИМ. С. 134.].

889

О декабристах. С. 81.

Там же. С. 109, 111 (письмо М. Н. Волконской к А. М. Раевской от 10 июля 1852 г.).

891

Подразумеваются супруги Трубецкие.

892

Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. Иркутск, 1983. С. 411.

893

Труды ГИМ. С. 102.

894

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1985. С. 293 (письмо от 27 июня 1854 г.).

Трубецкой. С. 36 (письмо от 15 января 1852 г.).

Там же. С. 188.

897

MHB. C. 112.

Трубецкой. С. 36 (письмо к И. И. Пущину).

899

Там же. С. 513 (письмо от 7 декабря 1854 г.).

900

Пущин. С. 249.

901

Труды ГИМ. С. 101–102.

902

Там же. С. 103.

903

Звенья. С. 112 (письмо от 22 ноября 1850 г.).

МНВ. С. XXV (раздел «От издателя»).

905

Цит. по: Русские мемуары: 1826–1856 гг. М., 1990. С. 49–50.

906

Труды ГИМ. С. 111 (письмо к А. М. Раевской от 10 июля 1852 г.).

Звенья. С. 111–112.

Звенья. С. 109.

909

Там же.

910

Пушкинское кольцо с сердоликом княгиня Волконская хранила отдельно, в каком-то *особом* месте, что и спасло в Иркутске «перстень верный».

Там же. С. 111.

СГВ. С. 496 (раздел «Послесловие издателя»).

Звенья. С. 110 (письмо от 15 декабря 1850 г.).

914

Там же (письмо к Д. В. Молчанову от 27 ноября 1850 г.).

915

СГВ. С. 494 (раздел «Послесловие издателя»).

916

Там же.

917

MHB. C. 110.

Звенья. С. 110 (письмо от 15 декабря 1850 г.).

919

Там же. С. 112 (письмо датируется 1850 г.).

920

Там же.

921

Там же. С. 115.

922

См.: Труды ГИМ. С. 114, 116.

923

О декабристах. С. 85.

Там же. С. 87.

925

Труды ГИМ. С. 135 (письмо от 4 ноября 1850 г.).

926

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1985. С. 560 (письмо Г. С. Батенькова к В. И. Штейнгейлю; датируется 1856 г.).

927

Звенья. С. 94.

928

Труды ГИМ. С. 112 (письмо к А. М. Раевской от 10 июля 1852 г.).

Звенья. С. 97 (письмо от 26 октября 1850 г.).

Пущин. С. 280 (письмо к Ф. Ф. Матюшкину от 2 июля 1853 г.).

931

Звенья. С. 97 (письмо Е. И. Якушкина к жене; датируется 1855–1856 гг.).

932

Там же. С. 102 (письмо А. Н. Раевского к М. С. Волконскому от 25 февраля 1850 г.).

933

Там же. С. 97–98.

Там же. С. 101.

Там же. С. 102.

Русский вестник. 1888. № 2. С. 107.

937

Труды ГИМ. С. 110 (письмо от 10 июля 1852 г.).

938

Звенья. С. 105.

939

Пущин. С. 281 (письмо от 2 июля 1853 г.).

Звенья. С. 94, 97 (письмо М. Н. Волконской к Е. С. Молчановой от 23 ноября 1850 г.).

941

Поджио. С. 158 (письмо к И. И. Пущину от 4 декабря 1854 г.).

942

Там же. С. 441 (письмо от 21 мая 1871 г.).

943

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск, 1985. С. 376–377.

Рок *(лат.)*.

Пущин. С. 333–334.

Трубецкой. С. 272.

947

Звенья. С. 106.

948

Труды ГИМ. С. 129.

Зильберштейн. С. 518.

950

Там же. С. 532. Воспроизведение этого портрета см. в кн. г Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Западноевропейский рисунок и живопись из собрания доктора искусствоведения И. С. Зильберштейна. М., 1973. С. 27–28.

Там же. С. 551.

Бомонд, высший свет *(фр.)*.

953

Труды ГИМ. С. 105.

954

Там же. С. 112 (письмо к А. М. Раевской от 10 июля 1852 г.).

955

СГВ. С. 495–496 (раздел «Послесловие издателя»).

956

О декабристах. С. 57.

Звенья. С. 50 (письмо 1863 г.).

Лощиц Ю. Гончаров. М., 2004. С. 128.

959

MHB. C. 112.

СГВ. С. 496 (раздел «Послесловие издателя»).

961

О декабристах. С. 97.

СГВ. С. 496–497 (раздел «Послесловие издателя»).

963

Пущин. С. 314 (письмо от 1 августа 1855 г.).

964

Уезжая с больным мужем в Россию, Е. С. Молчанова оставила своего маленького сына Сергея на попечение княгини Волконской.

Трубецкой. С. 244 (письмо от 27 июля 1855 г.).

966

Труды ГИМ. С. 103 (письмо М. Н. Волконской к Е. Н. Орловой от 10 мая 1848 г.).

Трубецкой. С. 245.

Там же. С. 519.

Звенья. С. 116.

Цит. по: *Пущин.* С. 438–439.

971

О декабристах. С. 98.

Михайлова М. С. Свод данных о декабристах (1826–1856). Красноярск, 1989. С. 35.

973

Звенья. С. 115 (письмо к М. С. Волконскому от 29 марта 1855 г.).

СГВ. С. 498 (раздел «Послесловие издателя»).

Там же. Выделено в подлиннике.

976

Эта дата устанавливается на основании письма С. П. Трубецкого к Д. И. Завалишину от 15 сентября 1856 г.: «Дмитрий Иринархович, спешу вас уведомить, что вчера Михайло Сергеевич Волконский приехал курьером <…> и привез манифест, вышедший в день коронации…» *(Трубецкой.* С. 254).

977

Поджио. С. 164 (письмо А. В. Поджио к С. Г. Волконскому от 6 декабря 1856 г.).

Звенья. С. 117 (письмо от 10 (22) декабря 1860 г.; последнее предложение в подлиннике написано по-французски).

СГВ. С. 502–503 (раздел «Послесловие издателя»).

MHB. C. 110.

981

СГВ. С. 501 (раздел «Послесловие издателя»).

Русские мемуары: 1826–1856 гг. М., 1990. С. 50.

983

Летописи Государственного Литературного музея. Т. 3: Декабристы. М., 1938. С. 110 (письмо от 13 января 1857 г.).

Звенья. С. 118.

985

Крутов В. В., Швецова-Крутова Л. В. Белые пятна красного цвета: Декабристы. Кн. 1. М., 2001. С. 390.

986

Летописи Государственного Литературного музея. Т. 3: Декабристы. М., 1938. С. 497.

MHB. C. 112.

988

Поджио. С. 198 (письмо к З. С. и Н. Д. Свербеевым от 25–29 мая 1857 г.).

MHB. C. 2.

О декабристах. С. 129.

991

И. И. Пущин сообщал Г. С. Батенькову 16 апреля 1858 г.: «Известно <…> из „Полицейских ведомостей“ об отъезде за границу семьи Волконского. Кажется, 14-го должны были оставить Москву. С<ергей> Г<ригорьевич> остается на Руси и будет странствовать вроде „вечного жида“» (*Пущин.* С. 377). Вероятно, князь М. С. Волконский ошибся, датируя отъезд княгини М. Н. Волконской в Европу «для лечения от болезни» 1857 г. (СГВ. С. 504).

О декабристах. С. 131.

Пущин. С. 384–385.

СГВ. С. 504 (раздел «Послесловие издателя»).

995

Там же.

Там же. С. 504–505.

997

О декабристах. С. 128.

Звенья. С. 127.

999

АР. Т. 5. СПб., 1915. С. 53 (подлин. на фр.).

1000

Поджио. С. 236 (письмо к Н. А. Неустроевой от 18 октября 1859 г.).

1001

Там же. С. 246.

1002

Князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) стал впоследствии не только камергером и предводителем дворянства Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, но и видным театральным деятелем, художественным критиком, прозаиком и мемуаристом. В 1899–1901 гг. он был директором Императорских театров. После революции (с 1921 г.) князь жил в эмиграции, преимущественно в Париже, где возглавлял Русскую консерваторию и работал газетным театральным рецензентом.

1003

Трубецкой. С. 434 (письмо С. П. Трубецкого к З. С. Свербеевой от 7 октября 1860 г.).

1004

СГВ. С. 507 (раздел «Послесловие издателя»).

1005

Там же.

1006

АР. Т. 5. СПб., 1915. С. 274.

1007

Поджио. С. 259 (письмо от 28 августа 1861 г.).

1008

Воспроизведение этого снимка см. в кн.: Звенья. С. 119.

1009

28 августа 1861 г. пребывавший в Москве А. В. Поджио сообщал Е. П. Оболенскому о Волконском: «…Он скоро едет в Малороссию к семейству, оплакивающему сына Nelly Кочубея, умершего недавно» *(Поджио.* С. 259). Однако Сергей Григорьевич не форсировал отъезда и оставался в Белокаменной по крайней мере до середины сентября (Звенья. С. 117). Более того, декабрист (по версии его сына) из Москвы отправился вовсе не в Воронки, а в Фалль, и только потом «переехал в Черниговскую губернию к жене и дочери» (СГВ. С. 507).

1010

Стоит отметить, что книга была задержана цензурой и вышла в свет только благодаря вмешательству императора Николая I, который незадолго до кончины ознакомился с рукописью П. В. Анненкова.

1011

Отечественные записки. 1855. Т. 100. Отд. III. С. 41.

1012

На эту привычку Сергея Григорьевича когда-то обратил внимание и Л. Н. Толстой. В его незавершенном романе «Декабристы» прототипом П. И. Лабазова, приехавшего в Москву, был именно Волконский *(Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 207). В описании поездки героя романа в Кремль к обедне есть показательная фраза: «Когда они вышли, дамы оправили платья, и Петр Иванович взял под руку свою Наталью Николаевну и, *закинув голову назад* (выделено мною. — *М. Ф),* пошел к дверям церкви» *(Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. Т. 17. М., 1936. С. 27).

1013

Волконский С. Разговоры. СПб., 1912. С. 122.

1014

Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 163.

1015

О декабристах. С. 43.

1016

Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 164. Поэзия и судьба. М., 2001. С. 206.

1017

Такую характеристику П. И. Бартеневу дал М. А. Цявловский (цит. по: *Зайцев А. Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 77).

1018

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 486.

1019

МНВ. С. III (раздел «От издателя»).

1020

Об этом свидании подробно рассказано в первой части нашей книги, в главе 9 («Москва»).

1021

Непомнящий В. Пушкин. Избранные работы 1960–1990-х гг. Т. 1: С.206.

1022

О декабристах. С. 128.

Впоследствии князь М. С. Волконский получил камергерский ключ (1866), являлся председателем правления («президентом») Международного банка, активно занимался строительством железных дорог и земскими делами; еще позже он был назначен товарищем министра народного просвещения и членом Государственного совета. В начале XX века князь роскошно издал мемуары отца и матери. М. С. Волконский скончался в Риме 7 декабря 1909 г., в возрасте 77 лет.

Уже вскоре, в 1862 г., у Кочубеев родился сын Михаил (позже близкие величали его «воронковским панычем»). Однако в 1864 г. Елена Сергеевна лишилась и второго, горячо ею любимого, мужа: Н. А. Кочубей умер в Италии от чахотки. В 1868 г. она, тридцатитрехлетняя мать двоих сыновей (Сережи Молчанова и Миши Кочубея), вышла замуж за управляющего ее имением А. А. Рахманова, «человека бедного, но богатого умом и душой» (*Поджио.* С. 336), который сам имел троих детей от первого брака. В 1871 г. у них родилась дочь, нареченная Марией. Окружающим Рахмановы казались вполне благополучным семейством, но письма информированного А. В. Поджио к М. С. Волконскому и иные документы свидетельствуют, что и этот брак Нелли не был слишком счастливым. К примеру, 8 ноября 1871 г. декабрист писал Михаилу Сергеевичу следующее: «Теперь Нелля <…> ведет жизнь, не свойственную ее желаниям, привычкам, и под названием какого-то искусного, поддельного счастия скрывается принужденность и покорность непреоборимой судьбе! <…> Мне больно видеть ее в таком неестественном безвыходном положении и не видеть такого исхода, который бы мог облегчить всю тяжесть возложенного на себя ярма!» (там же. С. 448). А сама Е. С. Рахманова спустя несколько лет откровенно назвала (в письме к брату) собственное замужество «глупым» (там же. С. 568). Она дожила до глубокой старости и скончалась 23 декабря 1916 г., на 82-м году от рождения.

1025

В январе 1863 г. С. Г. Волконский, весьма тяготившийся «надзором не доверяющей ему правительственной власти», обратился к императору Александру II с прошением о снятии полицейского наблюдения за ним («как излишней предосторожности, не согласной с теми чувствами искренней верноподданнейшей верности и глубочайшей благодарности к Особе Вашего Величества»). И уже через месяц, 19 февраля того же года, начальник штаба корпуса жандармов генерал А. Л. Потапов сообщил князю М. С. Волконскому: «Государь Император, по всеподданнейшему докладу шефом жандармов письма родителя Вашего, Высочайше повелеть соизволил освободить его от тех ограничений, которым он еще был подвергнут» (СГВ. С. 507–508; раздел «Послесловие издателя»).

Поджио. С. 269.

1027

Там же. С. 273.

1028

О декабристах. С. 129.

1029

Звенья. С. 122 (из письма С. Г. Волконского к Н. А. Кочубею от 8 августа 1863 г.).

1030

МНВ. С. XI (раздел «От издателя»).

1031

СГВ. С. 510 (раздел «Послесловие издателя»).

Звенья. С. 122.

Там же. С. 53.

1034

О декабристах. С. 134.

1035

СГВ. С. 511 (раздел «Послесловие издателя»).

1036

«Господь разрешает узников… Господь восставляет всех низверженных….» (Пс., 145, 144).

1037

В современных изданиях этот икос обычно печатается так: «Радуйся, в узах и темнице седящих Посещающая утешением благодатным…» Князь М. С. Волконский отнес данный икос к «Акафисту Покрову Пресвятыя Богородицы» (МНВ. С. I, XI).

1038

Часть черно-белых иллюстраций заменена на аналогичные цветные (прим. верстальщика).